

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

11

1998

Н[О]ВЫЙ М[И]Р

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 11(883)

Ноябрь, 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОРИЯ ИНОЗЕМЦЕВА — У меня есть молодость, вокруг про- ходит война, стихи	3
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО — Дурочка, роман-житие	9
ОЛЬГА ИВАНОВА — Чужая жизнь, стихи	74
МАКСИМ АМЕЛИН — За Сумароковым с победною оливой, стихи	78
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ — Аполлон разоблаченный, рассказ	83
ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ — Пироги остыли. Дальше школа, стихи	88
АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ — Совпис, стихи	90
ДМИТРИЙ ПОЛИЩУК — Любовные метры, стихи	91
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть первая (1974 — 1978). Про- должение	93

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА — Болезнь	154
-----------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛ. НОВИКОВ — Бедный эрос. Неподъемная тема современной словесности	180
ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — Что бредится и что сбудется	192

По ходу текста

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — Наивный читатель и образованный автор	198
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Мария Ремизова. Невыносимая хрупкость бытия	206
Ирина Роднянская. Здесь и там	209
Николай Мельников. Злодеяния Джона Апдайка	216
Алексей Зверев. Пуговицы для сюртуков	219
Юрий Кублановский. О публицистических мыслях Льва Тихомирова	223
В. К. Авантюристы как зеркало эпохи	227

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Владимир Абашев. — I. И. Гурвич. Русская лирика XX века. Рубежи художественного мышления. II. София Парнок. Собрание стихотворений. III. М. Цветаева. Неизданное. Сводные тетради	230
Юлия Скородумова. — Татьяна Вольтская. Тень. Стихотворения	236
Олег Ларин. — В. С. Елистратов. Язык старой Москвы. Лингвоэнциклопедический словарь	237

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	240
Периодика (составитель Андрей Василевский)	244
SUMMARY	256

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

НОВЫЙ РОМАН

АНТОНА УТКИНА

«САМОУЧКИ»

Первый роман двадцатидевятилетнего прозаика «Хоровод» («Новый мир», 1996, № 9, 10, 11), действие которого происходит в сороковые годы XIX века, вызвал многочисленные отклики в прессе и вошел в шорт-лист литературной премии Букера 1997 года. Новое произведение Антона Уткина повествует о современной России.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3331 экземпляр журнала «Новый мир».

ВИКТОРИЯ ИНОЗЕМЦЕВА



У МЕНЯ ЕСТЬ МОЛОДОСТЬ,
ВОКРУГ ПРОХОДИТ ВОЙНА

* *
*

Жили-были,
ели-пили,
распевали блатаря,
папиросочку куря.

Жили-пили, не тужили,
печку чудную сложили,
и вокруг печи избу,
и вокруг избы резьбу.

И в суровые метели
надо — нежились в постели,
надо — по небу летели,
просто жили как хотели,
просто так, душа да в теле.

Ну а войны да цари —
а хоть пропадом гори.

* *
*

Обживают жильё не свое
на веревочке сушат белье
белы простыни
как паруса
сей кораблик несут в небеса

серый пол под шагами скрипит
вот ребенок не плачет, а спит
вот на кухне кипит молоко
а кораблик уже высоко

вот окно
 вот постель
 вот стена
 и заплачена злая цена
 но жилье — ипостась бытия — не свое
 и судьба — не своя

и аренды закончится срок
 как закончился срок этих строк
 улетит
 не хозяин, а гость

на стене не картинка, а гвоздь

* *
 *

Ты пройдешь по Времени, как Иисус Христос по воде
 проходил, — неровен шаг, тяжела вода,
 хлипы, всплески, силы Господние, — но нигде
 не останется твоего следа.

Зачерпни свой мир сетью пленительной водяной,
 зачеркни его паутинкой липкой стремительной нитяной,
 отмоли свой грех, в ладони прими штыри
 ржавой славы распятой и с ней воскресни во тьме зари.

Прозрачен мир в глазах безликого старика.
 Не ровен час устанет рука
 Того, кто держит тебя над гладью воды
 дланью невидимой — кто сокроет твои следы.

* *
 *

Вы не знаете, где останетесь ночевать,
 кто погасит свет, расстелив кровать,
 с кем совместно распитая бутылка вина
 себя окупит сполна.

Тридцать лет. Ресторанный оплачен счет.
 Жизнь прекрасна, и все остальное уже не в счет.
 На небесах нерожденное Вами дитя
 играет с ангелами, балуясь и шутя.

Скольких женщин Вы осчастливили высотой
 падения медленного в глубину пропасти грешной
 и улыбкой детской своею, почти святой,
 озарили их светлый лик в темноте кромешной.

* *
*

Он и сам себе что чужой, и хоть есть у него душа,
для тебя за его душой
ни гроша.

Он хорош, и губами дрожь, он хорош, и на сердце брошь,
он хорош, и последний грош
не берешь.

И цыганскую благодать чужой песней не передать,
не принять, не отнять — не дать,
не понять.

И все помнишь его лицо, и в руке его не кольцо,
а монеты веселый глаз
напоказ.

* *
*

Порой мы красиво играли на разнице в нашей морали, судьбу без
любви выбирали, и нас не любила она,

но даже в тоскливой печали мы счастье себе получали, и чутко шаги
различали за дверью, и жили сполна.

У счастья веселые губы, но ангелов звонкие трубы так пели
неслышно — к чему бы? — знать, ангелы были мудры,

и счастье то самое — это, которое — *ждите ответа*, — оно убегало от
света по правилам этой игры... —

.....
.....

Господь. Ты такой чародей. Придумай счастливых людей.

* *
*

По всему, ты изведal измеры
бездны этой, — итог разрешен,
сладкий путь от судьбы до измены
не однажды тобой совершен;
дети выросли, многие лета
им, а волчью не приняли стать,
но тебя беспокоит не это.
Будто вправду умеешь летать,
ты карабкался выше и выше
вдоль по лестнице, страждущей вверх,
и теперь словно карлсон на крыше
старый ангел, летающий век...

Так случается новая эра.
 Злая поросль, отросток иной
 из далеких глубин эсэсэра
 прорастет к цитадели земной.
 И утрачено будет навеки
 в том побеге, в каленом цветке
 то, что было тогда в человеке.

Пальцы тянутся к сильной руке.
 Зреет рана, как плод нарывая.
 Все дается ненужной ценой.
 Третья скука бурлит мировая
 в пене мюнхенской кружки пивной.
 Неживая утроба, опека
 обступает лавиной. Тогда

если
 можешь
 любить
 человека —
 то люби. Без стыда и суда.

* *
 *

Я не могу быть игрушкой в его руках
 беспрекословной, но не понимаю, как
 вырываются из мимолетных сетей
 одиноких забав и хмельных затей.

Чистотельный фаянс щеки, филигранных очей смола,
 перекрестный захват руки, и одежда уже мала
 становится мне, разрывается на лету,
 я лечу во сне, я кричу, я уже расту.

Моя участь необратима, ибо она решена,
 у меня есть молодость, вокруг проходит война,
 старый дом размыт, вещи прежние, скудный хлам,
 разлетаются по окрестным мирским потайным углам...

...Он закроет глаза и увидит такое зарево
 наружного света, дневного тепла и сна, —
 дымит государю отпущенное государево
 золото, славы расклад, нутряное варево
 чужих судеб, желанных себе,
 и на что ему наши две,
 отгорит война,
 вернется душа, ветряного костра бутон,
 в усталое тело,
 последний ее притон.

* *
*

На исходе один, у порога иной
век, —
и правда, какой-то особенный зной,
средний август,
цветения запах,
злая бонна спешит за чумной детворой,
самовар на веранде,
замучен игрой пес, на задних танцующий лапах.

Зной прошел,
ожиданье начала дождя, суета;
приглашенные чуть погодя входят в дом,
лает пес-мефистофель,
стол ломберный, зеленое стерто сукно,
тройка в прикупе,
дождь,
на веранду окно,
у валета изысканный профиль.

Все в гармонии смысла, в плену естества
золотом, и к стеклу прилипает листва,
дама трэф,
гром вдали для остратки,
в дополненье к тому — фортепьяно, свирель, до минор,
окончанье дождя, акварель
дорисована, высохли краски.

Закладная, именье, была не была —
револьвер в потайном отделенье стола,
слабый свет из пришторенных окон;
ритуалы сердец так легки до поры:
ах, сударыня, Вы были б очень добры, —
смех, румянец, рассеянный локон.

В обрамлении света — цветка двойника —
полоумная бабочка реет, легка,
как курсистка в плену диамата,
ветер носит разорванный лист дневника,
слепо вяжет старушка,
по типу клубка век намотан на век,
замирает рука над ф-но, знаменуя *fermato*.

* *
*

Так вышло, я многое в жизни могу,
но пальчиком *счастье* чертить на снегу
умеет лишь сын мой, соври-голова,
он пробует жить — постигая слова.

Он выучил буквы и в азбуке горд,
 он шествует прямо, уверен и тверд, —
 он знает, что знает азы бытия, —
 и следом за ним это знаю и я.
 Три года с полтиной. Достаточный срок,
 чтоб выучить жизни домашний урок,
 и все объяснить на своем языке,
 и спрятать конфету в счастливой руке.
 А слово красивое ветер занес.
 И варежка где-то. И пальчик замерз.

* *
 *

Что нам тихим, Господи, судьбу выбирать,
 загляни же, Господи, в детскую тетрадь,
 там святые черточки и рука слаба,
 личики и челочки, пальчики у лба.

Загадай же, Господи, и не прогадай.
 Погадай же, Господи, и не передай
 твоего гадания правильный ответ.
 Урони на пальчики свой веселый свет.

* *
 *

И жизнь наша будет прожита, и прожита, и прожитá,
 иголкою ржавой прошита по кромке худой лоскута.

Мы будем менять ударенья, коверкать слова, забывать
 язык и как сварим варенье, — на зиму его закрывать.

Горька черноплодка-рябина. Чуть ветер — косынка со лба.
 Какое же слово — судьбина. Судьбина. Не просто судьба.

И терпкая ягода зреет в прожилистой теплой руке,
 и боль потихоньку стареет, поет на своем языке.

А к вечеру весело ляжет на угли, сиречь на углй,
 огонь, и хозяйка расскажет, чего мы и знать не могли.

Так сладко гнетет временами — не в знанье великая честь,
 а в чем-то незримом за нами, которое все-таки есть.



СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО



ДУРОЧКА

Роман-житие

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

1

С

крып.

Скрып.

Скрып-скрып...

Скрып.

Скрып.

Скрып-скрып...

Надька на ржавых качелях катается: вверх-вниз, скрип-скрып.

Я на крыше стою смотрю.

Рядом во дворе мама мокрое белье развешивает: синюю трикотажную майку отца — скрип, мою такую же, только выцветшую, — скрип, черные сатиновые семейные трусы отца — скрип-скрып, мои трусы, такие же, но поменьше, нижнюю рубашку — свою и Надькину, бюстгальтер, панталонны: одни — голубые, огромные, во все небо, другие — розовые, мягкие байковые...

Чулочки повесила Надькины, один и второй. Чулочки висели, как Надькины ножки: одна ножка, другая.

Папа заводит машину ручным приводом. Раз крутанул, не завелась — черт! — второй — ни дна ей ни покрывки, третий, четвертый... Он крутит ее, чертыхаясь, как заводной, без передышки, беззвучно матерясь.

Машина называется «газик». Или по-другому — «козел».

Осень.

2

Год назад весной тюльпаны были кровавые. Надька, моя сестра, бежала по степи, собирала. Бежала, на змею наступила, та грелась, вылезла гадюка, взяла Надьку укусила, гадюка, гадина, как собака — гам, — гадость серая, дрянь, выше коленки, я стал высасывать, Надька обоссалась, не ссы, говорю, прямо на голову, дура, я губами высасывал, на губах трещина, весь яд я всосал в себя, я как змеюка стал, я ходил по больнице и шипел — а-х-а — и хватал Надьку за ногу, я подползал и хватал, Надька ссала прямо на пол, я уползал, хвоста не было, хотелось, чтоб был хвост, не ссы, говорил я, тут тебе не степь, тут тебе больница, тут тебе не моя голова, я медленно уползал в палату, мне очень не хватало хвоста. Она, когда уползала, гадюка, хвостом тюльпаны — трыньк-трыньк, — те своей кровавой башкой — трыньк — вздрагивали. Тюльпаны потом мы в отцовский «газик» отнесли, только что полетел Гагарин в космос, мы в честь него со-

бирали тюльпаны, привезли и Ленину положили у его ног в честь Гагарина. Тюльпанов было так много, прямо Ленину по каменные колени, он стоял по колено будто в крови, было красиво. А когда мы с Надькой вышли из больницы, то тюльпаны уже засохли, лежат неживые, Надька заплакала, ей жалко стало, мне тоже, но она дура, ей можно, мне нельзя, — а-х-а — говорю, она обоссалась прямо на площади перед Лениным, отец со стыда чуть не умер, он в военном был, как дал ей, еще хуже стало, стыднее: сверхсрочник девочку бьет — пьяный, нет? — это дочка его — все равно нельзя, ребенок — да она у него дурочка — что? — дебилка — все равно нельзя, пусть лучше в сумасшедший дом отдаст, чтоб не издевался, — да она того, описалась — ну и семейка... Отец не доживет до пенсии, чтоб они все сдохли, о, эти люди проклятые, проклятый военный городок, окруженный ржавой колючей проволокой, мне бы хвост и зуб, полный яду, — а-х-а — он мне как даст в зуб: што ты шипишь, што? — с губы красная кровь, как тюльпан, на асфальт закапала, никогда не заживет моя трещина на губе! — папа! — што ты шипишь все, змееныш! Рядом Надька, как красная пожарная машина, ревела — А! — горлом, из горла красная «А» выходила, капала на асфальт. Отец нас сгреб, в красные губы целует, замолчите, говорит, замолчите. Мы замолчали.

Он глаза голубые к небу поднял и кровавыми губами говорит:

— ГОСПОДИ, — говорит, — ГОСПОДИ!

Надька тогда у нас только появилась.

3

— Не скрипи!

Скрып.

— Не скрипи!

Скрып. Скрып.

— Я кому сказал, не скрипи?! Надька! Ты слышишь?

Она не слышит. Она вообще ничего не слышит. Она глухая, глухая со всем, ни грамма она не слышала, — глухая тетеря!

Но Надька улыбается мне снизу странной своей улыбкой, будто услышала меня, но не расслышала, что я там сказал, кивает мне и, лицом помогая телу толкать качели, раскачивая их, поднимается ко мне поближе — чтобы расслышать, — взлетая все выше и выше. Она почти долетает до меня, можно коснуться рукой ее лица. И я решил.

Я ложусь на крышу, животом на холодный шифер, лицом к Надьке.

Выше, говорю я ей, Надька, выше!

И когда ее пунцовой от счастья лицо с безумными выпученными глазами взлетает от земли и несется со страшной скоростью на меня, я говорю ей:

— Надька! — говорю я. — Откуда ты взялась, откуда ты приплыла к нам? Зачем? Мы ведь жили без тебя, откуда ты взялась, Надька?

Ее растерянное лицо висит на секунду рядом с моим.

Я смотрю ей в зрачки: близко-близко.

Я смотрел на нее: Надька!

Она молчит, но я услышал, как она сказала молча:

— Я — Ганна.

Скрипели качели: вверх — вниз. Все громче скрипели.

4

В жарком мае 193... года въезжала в старинное астраханское село Капустин Яр телега, ржаво скрипела. Кто сидел в телеге, было не разобрать: на тот час налетела пыльная буря и те, кто сидел в телеге, закрыли лица руками от песка ли, от страха, будто ударить их хотят. Вдруг и в наши гла-

за будто кто кинул песком и пылью: ветра в астраханской степи чудные и лучше нам сесть на ту телегу и ехать и видеть.

И не оттого, что мы сели в чужую телегу и не в свое время, а оттого, что она живая, лошадка подымет хвост, и из-под хвоста покатаются золотые конские яблоки.

— Рыжая бесстыжая, раньше не могла, — скажет ей старуха, та, что правит лошадкой. Старуху зовут тетка Харыта, и лета ее не старые: она сама себя рядит в старуху, потому что калека она, ноги ее неподвижны.

— Такое добро пропадает, — будет ворчать она, и девочка рядом откроет лицо, и будет ей лет тринадцать на вид, будет она в темном платье, светлом платке, с лицом иконным и бесстрастным. Имя ей — Ганна. Она молчит и молчит, думу думает.

Тетка Харыта выглядывала людей в пыли, поздоровкалась с мужиком в пыли: тот шел сквозь бурю, и споткнулся о ее приветствие, и встал, и смотрел на тетку и девочку бессмысленно, будто пьяный, не понимая, но был не пьян.

И дальше поехали и другому сказала: здравствуй, — и тот на бегу споткнулся о слово, и встал, как вкопанный придорожный столб, и смотрел бессмысленно, пережидая, пока проедут. И баба с пустыми ведрами встала и глядела молча, лишь песок ударял в ведра, и они тихо звенели, качаясь. И стало темно, буря целиком вся вошла в село, все дымилось от белой пыли: дорога, крыши, деревья; как на пожар бежали в пыльном дыму люди, не остановишь, только один вдалеке стоял, будто ждал тетку Харыту с Ганной, чтоб путь указать. К нему повернули.

Подъехали, каменные пыльные сапоги увидели, сапоги большие, нечеловеческого размера, выше не стали смотреть, страшно, глупую лошадку тетка Харыта разворачивает: цоб-цобе, ах, твою мамку лошадиную, — лошадка храпит, развернуться трудно очень, в клумбу попали, топчется, на цветы дышит, пыль с них сдувает, под пылью тюльпаны, головы у тюльпанов красные, живые, отъехали подальше, посмотрели — клумба красная, как кровь, посередке сапоги чьи-то пыльные нечеловеческого размера, а сверху не видно: белым-бело от пыли. И едут они уже как в молоке, и спросить, где здесь детдом, тетке Харыте не у кого, а они детдом ищут, а село огромное, и день можно ехать, и ночь — все не кончается.

И вот когда рыбу ловишь на рассвете в тумане, а туман как молоко, ни реки не видно, ни берега, так вот, в этом тумане вдруг — дрынък-дрынък — незвонкий рыбацкий колоколец колотится, рыбка на донку попалась, значит, так и здесь, в этом пыльном тумане: дрынък-дрынък впереди, и лошадка на этот незвонкий звон потянулась и пошла, и пошла, и все светлее и светлее, виднее и виднее, и слава тебе, Господи, — хороший такой мальчик впереди идет, добрый такой хлопчик, с удочками и донками, и рыбки серебряные на прутике светят прямо в глаза, даже больно. Он оттуда, он из детдома, он им покажет дорогу, ехайте за мной, до рогатой школы, это в рогатой школе, за мельницей. Тетка Харыта ему радуется, тетка Харыта ему жалуется на нелюдимых людей, а мальчик идет и говорит, что люди здесь — да, народ еще тот, ссыльный народ, народ — враг, взял этот народ и придумал всем селом, что он глухонемым будет, глухонемой народ, без языка, ничего не слышит, приказов не понимает, никто не знает, что с этим народом делать. Они одни здесь нормальные, их детский дом, у них хорошо, даже рыбу ловить можно, отпускают.

Ганна смотрит на рыбок серебряных, в них солнце, и глазам щекотно-щекотно, она смеется, звонко, как звонкий колоколец, и мальчик оглядывается. «У нас очень хорошо! — убеждает он Ганну. — Не верит!» И сам засмеялся, и тетка Харыта засмеялась, так хорошо Ганна смеется, как птица смеется. А жарко. И мальчик кепочку снял, встряхнул, будто снег стряхивает, лоб потный вытер кепочкой, вместе с потом и смех стер, повернулся и пошел. Тетка Харыта смеяться перестала: на голове у мальчика

крест выбрит, от уха до уха — полоса, от лба до затылка — полоса, жилка одна пульсирует. Что ж это такое у тебя, хлопчик, кто ж крестил тебя и за чем? А чтоб не разбежались, бабушка, чтобы не убегли.

И идет. Они за ним. За живым крестом, жилка одна пульсирует.

А Ганна смеется все, как раненая птица, остановиться не может: это рыбки серебряные ей глаза щекочат. Она дурочка, Ганна, ей бы глаза закрыть и не смотреть на тех рыбок, тетка Харьта говорит ей — не смотри, Ганна, — а она не знает и смеется, как больная птица, как усталый колокол, до слез: дрыньк-дрыньк.

5

Подъехали к храму, четыре башенки у храма: вместо крестов, на каждой башенке по флюгеру. Тетка Харьта перекрестилась на храм Божий. Мальчик засмеялся:

— Это наш детский дом. Рогатая школа называется, раньше здесь монахи жили, сейчас дети живут по кельям. Что вы, тетя Харьта, креститесь? То не кресты, то рога, на рогах флюгеры, чтобы ветер куда дует показывать. Богу ветров вы креститесь.

— Бог един! — поклонилась тетка Харьта рогатому храму.

Девочки-тройняшки окружили мальчика, заговорили наперебой:

— Марат! Братик! Рыбки принес?

Мальчик присел на корточки, стал рыбок делить:

— Эта рыбка тебе, Вера. Эта тебе, Надежда. Эта тебе, Любочка, — одна рыбка осталась. — Поглядел на Ганну: — А эта тебе, девочка.

Взял ее за руку, положил на ладонку рыбку. Маленькая серебряная рыбка на ладонке лежала. Ганна посмотрела на рыбку, подняла глаза, посмотрела на Марата, улыбнулась.

— Рыбу сдать мне! Сдать рыбу мне! — закричала вдруг женщина в красном галстуке, шла и кричала командирским голосом: — Пойманная рыба пойдет в общий котел.

Девочки испуганно протянули ей своих рыбок:

— Мы только посмотреть хотели...

— Знаю я вас! Абрамовых... Посмотреть... Индивидуалисты! Все в свою семью тащите. Родычаются все! Ваш отец хоть и враг народа, но до этого был-то он политработником. А вы ведете себя хуже детей раскулаченных! Стыдитесь. Захочу — и распределю вас по разным детским домам. Тебя, Вера, отправлю на север, тебя, Надя, на юг, Любу — на запад, а Марата — на восток, в Сибирь! Дородычаются у меня!

Увидела телегу, подошла:

— А это что за тачанка?

— Новенькую, — сказал Марат, — привезли.

— Тракторина Петровна. Директор детского дома, — сурово сказала, встав перед теткой Харьтой. — Что хотишь, старая?

— Возьми к себе сиротинушку, Петровна, за-ради Христа возьми. Бога за тебя молить буду, — поклонилась ей тетка Харьта. Стояла она на земле, на костыльках, маленькая. Будто в ноги кланялась.

Тракторина Петровна рассердилась:

— Отставить религиозную агитацию. — Перевела взгляд свинцовых глаз на Ганну: — Сирота из вас кто? Ты?

Ганна испуганно посмотрела на свою рыбку, потом на Тракторину Петровну. Засунула рыбку в рот, давась, глотала вместе с чешуей.

Проглотила, жалко улыбнулась. Губы от налипшей чешуи у Ганны стали серебристые, будто рыбки.

— Дикая какая, — брезгливо подивилась Тракторина Петровна. — Следуйте за мной на оформление. Ничего, перевоспитаем, мы и не таких

перевоспитывали. А вы — к сторожу. Всей семьей. Попроси у него березовой каши. Десять порций на всех!

— Тракторина Петровна! — взмолился Марат. Сестрички дружно заплакали.

— Ладно. Уговорил. Прими все удары на себя, ты мужчина, ты рыцарь. Добрая я сегодня!

6

В кумачовой комнате только стул стоял и зеркало висело. Ганна на стуле сидела, на себя смотрела: сама себе нравилась.

— Оставайся у нас уборщицей, Харитина Савельевна, — предлагала Тракторина Петровна, подступая к Ганне с ножницами. — Нас тут взрослых двое: я да сторож. Не справляемся.

— Мне до хаты своей надо. У меня там хозяйство, огород. Вот девочку сдам — и айда домой. Как ее оформлю, так и...

— Девочку мы оформим быстро, — сказала Тракторина Петровна, начиная стричь. — Наша стрижка — это и есть документ. Мы не бюрократы. Закрой глаза.

Ганна послушно закрыла глаза. Тракторина Петровна стригла, расспрашивала:

— Откуда ты, девочка? Кто родители? Как осиротела?

— Сирота с рождения она, Петровна, — отвечала тетка Харьта вместо Ганны. — На плоту приплыла, по реке, в колыбельке. На малиновой подушечке, как куколка, лежала. Я лошадку поила, смотрю — плывет, я мужиков покричала, выловили. Она еще грудная была, всем селом выкармливали... Сейчас кормить нечем, голод кругом, вот сдаю...

— А чего ж она-то молчит?

— Она все время молчит. Не умеет говорить.

— Кулачья она дочь! — убежденно сказала Тракторина Петровна. — Хитрит. Откуда у бедняка колыбелька? А бревна для плота? Отец ейный и мать — кулаки... На любую хитрость пойдут, чтобы кровь свою грязную вражью оставить в нашем чистеньком новом мире!

— Не было тогда кулаков. Война была.

— Война, говоришь? Ну, тогда точно буржуйская дочь! Подушечка у ней малиновая... Дочь белогвардейца!

— Не бери грех на душу, Петровна...

— А ты не бойся. Мы документов не держим. Я про них все вот здесь держу, — Тракторина Петровна постучала себя по голове. — Хочу — казню, хочу — милую. Никому не доверяю. Так что не бойся и скажи, чья она дочь. Ишь выдумала — плот... Врать ври, да не завирайся... Ну-ка, девочка, ответь...

— Говорю ж, не умеет она. С головкой у нее что-то. Слаба умом, — ответила тетка Харьта.

— Слаба умом? — неизвестно чему обрадовалась Тракторина Петровна. — То есть лишена разума? То есть животное. Как бы обезьяна. А из любой обезьяны можно сделать человека. Вот и проведем над ней эксперимент.

— Она не зверь. Она человек! — возразила тетка Харьта.

— Чем отличается человек от животного? Наличием разума! Значит, она животное.

— У нее есть ее бессмертная душа!

— Душа — это предрассудок. Души нет.

— Есть!

— Хорошо. Если есть душа, то и Бог есть? Так? Тогда почему твой Бог дал ей душу, а ума не дал? Ответь!

— Буяя мира избра Бог, да премудрыя посрамить! — сказала тетка Харыта твердо.

— Для уборщицы больно ты божественная будешь. Ну да ладно, открывай, девочка, глаза. Правда красиво?

Ганна посмотрела на себя стриженную наголо, с выбритым крестом. Провела рукой по затылку. Встала, сняла башмак, ударила им по зеркалу. Зеркало рассыпалось со звоном.

— Ты дочь врага народа, — с ненавистью сказала Тракторина Петровна Ганне. — Ты — обезьяна, ты мразь, ты животное...

На дворе вдруг закричал кто-то. Повернули головы. Огромный неуклюжий мужик бил розгами Марата. Тетка Харыта охнула, костыльками задвигала, к дверям поползла, выползти во двор хотела. Тракторина Петровна через нее перешагнула; у дверей, как часовой, встала:

— Не трудись, старая, стой где стояла.

— Дэтыну ж обижают, Петровна, — не понимала тетка Харыта. — Зверюга мальчонку бьет, як же это, за что?

— То не бьют, Савельевна, то воспитуют... Мы им с Егорычем как мать и отец. Как мамка и папка. И кормим, и поим, и порем — все как в семье, — торжественно сказала Тракторина Петровна. — В нашей дружной советской рабоче-крестьянской семье! — И строго добавила тетке Харыте: — Убереешь здесь. А за зеркало расплатишься с первой получки. Когда заплотишь, тогда и поедешь до своей хаты.

Ганна у окна стояла, глядела, как Марата бьют: от каждого удара всем телом вздрагивала, будто те удары на себя принимала, будто не его, а ее бьют.

— Га! — кричала. — Га!

— Прости, — обхватила ее ноги тетка Харыта. — Прости меня, Ганночка, прости меня, доченька, за то, что я тебя сюда привезла.

Ганна села, обняла тетку Харыту. Так и сидели обнявшись.

7

Ночью в келье собрались вокруг Ганны дети. Одна девочка рыжая, Конопушка, сгорая от любопытства, спросила Ганну:

— Кто ты такая, девочка?

Ганна молчала. Смотрела ясно.

— Как тебя зовут? — спрашивала Конопушка в нетерпении. — Скажи! Чи она немая, чи она глухая?

Ганна глядела иконно и бесстрастно.

— Я ей сейчас сказку расскажу, — сказал худенький мальчик по прозвищу Чарли.

— Зачем? — пожал плечами толстый мальчик Булкин. — Если она глухая, она твоей сказки не услышит.

— Вот мы и проверим, глухая или нет. Слушай сказку, девочка. В одном доме жила мама с дочкой. Жили-жили, пришло время матери умирать...

Три сестрички — Вера, Надя и Люба — заплакали.

— И вот перед смертью позвала она дочку и говорит ей: — Об одном прошу тебя, дочка, — не покупай, дочка, красного пианино, не открывай, дочка, красной-красной крышки, не играй на красных-красных клавишах красную-красную-красную музыку... И вот мать умирает, ее хоронят на очень хорошем кладбище, ставят памятник, и дочка начинает жить одна. Вот живет она, живет и забывает слова своей матери. Однажды она пошла в магазин и увидела там красное пианино. И так оно ей понравилось, что она его купила. Привезли ей красное пианино домой. И вот настала ночь, и решила дочь поиграть на пианино. Подошла она к красному пианино, открыла она красную-красную крышку, заиграла на красных-красных кла-

вишах, полилась красная-красная-красная кровь... ОТДАЙ МОЕ СЕРДЦЕ, ДЕВОЧКА! — протянул вдруг к Ганне свою руку мальчик.

Закричала Ганна, побежала по коридорам, будто гнался за ней Тот, требуя красного сердца, и сердце ее само из груди выскакивало, она его рукой держала, чтоб не выпрыгнуло. Тяжело кричала: «Га-а-а-а!!!» — позвериному, как дети не кричат, так только звери от смертельного страха кричат. Следом за ней бежал Марат.

Все из келий выскочили и тоже кричали, бежали за ней по мрачным коридорам монастыря.

Ганна наткнулась на кого-то. Подняла глаза — Тракторина Петровна стояла скрестив руки, как скала; над скалой — в глазах — молнии. Дети встали позади Ганны тяжело дыша. Тракторина Петровна Ганну за руку взяла, всем остальным сказала:

— На улицу — марш!

8

При лунном свете бегали по двору кругами дети.

В центре Тракторина Петровна стояла, крепко Ганну за руку держала:

— Бегом марш! Быстрее! Еще быстрее! Я покажу вам, как издеваться над Ганной! Запомните: Ганна — дурочка! Она — сумасшедшая! Понятно? Она — не как вы! Она — как животное! Она — как собака. Разве можно мучить животных? Бегом! Не обижать ее! Ганна — больная! Я пойду, а вы побегайте, подумайте. Ганна — стой и смотри. Я скоро приду. Марш! Марш! Левой! Марш! Марш! Левой! — Тракторина Петровна ушла, шагая, громко командуя голосом себе и своим ногам.

В строю бежал Чарли. Сказал Марату:

— А все же я ее проверил! Ведь не глухая! Может, она и душой притворяется? Давай проверим!

— Тронешь Ганну еще раз — убью! — Марат показал кулак.

— Втюрился, что ли? В дуру влюбился? Да?!

Схватились, как молодые щенки, покатались по земле рыча.

Дети не останавливаясь бежали. Марат и Чарли клубком подкатились к ногам Ганны.

Ударил Чарли Марата поддых головой. Убежал в строй.

Марат лежал у ног Ганны. Ганна присела, погладила лицо Марата, убрала окровавленные волосы со лба.

Марат открыл глаза, благодарно взглянул на нее.

Дети продолжали свой бег. Дышали хрипло, изнемогая.

9

Утром, убираясь в кумачовой комнате, тетка Харьта достала из узелка икону. Вытерла пыль: Божья Мать с ребеночком. Повесила в красный угол, перекрестилась. Услышала рядом:

— Убери икону! — Тракторина Петровна стояла в дверях.

— Нельзя, — кратко сказала тетка Харьта.

— Тогда я сама, — двинулась Тракторина Петровна к иконе.

— Нельзя, — заслонила ей путь тетка Харьта.

— Да почему нельзя?

— Нельзя, и все. Пасха сегодня, Петровна. Христос воскрес!

— Сказки! Не было никакого Христа. А если был... Раз его власти казнили, значит, знали, за что, поняла? Властям виднее. Сними икону! В советском учреждении ей не место!

— А где?

— На свалке истории!

— Где ж она, та свалка?

— Убирайся! — не стерпев, заорала Тракторина Петровна. Потом добавила, себя сдержав: — Убирайся, раз уборщица. Не лезь не в свои дела. Иди вон, детей накорми!

10

Марат с Ганной шли по двору.

— Хочешь, я тебе что-то покажу? — спросил Марат Ганну.

Ганна кивнула.

— Марат, вы куда? Пойдем в столовую! — крикнули брату сестренки, пробегая.

— Мы сейчас... — Марат вел Ганну к сторожке.

Заглянули в щель. В сторожке сидел сторож и ел. Отрезал огромный ломоть хлеба, намазал его маслом, отрезал сало, сало положил на масло... Откусывал, мерно жевал. Ганна оглянулась на Марата.

— Я знаю про него одну тайну... — прошептал Марат. — Ты никому не скажешь?

Ганна покачала головой: нет.

— Поклянись!

Ганна беспомощно улыбнулась.

— Ладно, я так скажу, — решил Марат и отчетливо по слогам прошептал ей на ухо: — Говорят, что, когда был голод, Он Ел Детей!

С ужасом посмотрела на Марата Ганна. Перевела взгляд на сторожа: челюсти сторожа работали как жернова. Ганна вдруг схватилась за горло, прикрыла ладошкой рот, скорчилась: ее тошнило. Сухие спазмы сотрясали ее тело.

— Что с тобой? — зашептал Марат. — Тебе плохо? — И, не зная, что делать, бил ее по спине, словно она подавилась.

Сторож вышел на порог — огромный, небритый. Глянул на них. Они застыли. Долго глядел на них, нелепо застывших. Поглядел им в глаза. Потом расстегнул ширинку, начал мочиться. Ганна посмотрела вниз, подняла глаза. Сторож слегка усмехнулся. Попятилась Ганна.

Схватив Ганну за руку, побежал Марат. За углом спрашивал:

— Ты испугалась? Тебя рвало? Ты представила, что он тебя ест?

Ганна на все его слова мелко кивала.

— Ты не бойся! Тракторина Петровна говорила, что он не всех детей ел. Он выбирал. Он ел только кулацких детей. Чтобы польза была для общества. А мы же с тобой — не кулацкие. Ты не бойся...

11

В столовой по столам расхаживал Чарли. Прогуливался по столам походкой Чарли Чаплина, на которого был похож. Вместо тросточки — поварешка, лихо ею он покручивал да поигрывал.

— Чарли, иди к нам! Нет, к нам! К нам! К нам! — кричали дети со всех сторон.

Чарли, стянув с головы Булкина шапку, перепрыгнул на другой стол.

— Булкин! Шляпа! — крикнули толстому Булкину.

Булкин схватился за голову. Побежал за Чарли. Падая, кувыркаясь, Чарли зашел в тыл к Булкину, ударил того в зад и, спрыгнув на пол, теперь улепетывал.

— Держи вора! — кричала Конопушка. — Лови его!

Три сестры выстраивали стулья на пути Чарли. Чарли, подбежав, легко перемахнул через них ласточкой и — оказался в объятиях Тракторины Петровны: пойманной птахой трепыхался в ее могучих руках. Поставив Чарли рядом с собой, призывным, влажным, грудным голосом — каким корова-мать зовет своих детей — Тракторина Петровна сказала:

— Пионеры! К борьбе за дело Коммунистической партии большевиков будьте готовы!

— Всегда готовы! — грохнуло в столовой.

— Песню запевай! Поют только пионеры! Поет только левый стол! Начали!

Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы пионеры, дети рабочих, —

пел левый стол.

Правый стол молчал. Чарли из-за спины Тракторины Петровны корчил рожи. Поварешкой дирижировал. Уткнувшись в ладони, правый стол трясся от смеха. Потом засмеялся и левый — поющий. Беззвучно смеялись уже все. Только одна Ганна среди тишины пела сильным чистым голосом, глядя куда-то вверх, выше потолка:

Близится эра светлых годов...
Быть человеком всегда будь готов!

С поварешкой в руках Чарли застыл:

— Люди, гля! Немая запела!

Марат дергал Ганну за рукав:

— Не пой, Ганна! Ты не так поешь! Неправильно!

Та не замечала. Допела до конца.

Тракторина Петровна оглянулась на вошедшую с горшком печеной картошки тетку Харыту:

— А ты сказала, что она говорить не умеет...

— Не умеет, — подтвердила тетка Харыта. — Только поет. Как птица небесная...

— Хорошо поешь, — сказала Ганне Тракторина Петровна. — Будем тебя в пионеры принимать. Люблю голосистых! Песню люблю! — проследила. — Завтракайте! — Дверью в сердцах хлопнула так, что мел с потолка, будто снег, посыпался: хлопьями, белый. Вышла.

Тетка Харыта раздавала горячие картофелины.

Ганна стояла одна. На голове ее будто снег лежал.

Не таял.

12

Через минуту картошку съели.

— Тетечка Харыточка, — ластилась Верочка к тетке Харыте. — Будьте так добреньки, дайте мне добавочки.

— Нету ничего, деточка.

— Ну хоть шкурочку от картошки дайте!

— И шкурочек нет, деточка, съели. Ничего не осталось.

— А я тоже кушать хочу, — заплакала Надя.

— Дай нам исты! — заревела вместе с сестрами Люба. — Исты хочу...

Исты...

Бросилась к ним тетка Харыта, обняла сестер ревущих, успокаивала:

— Потерпеть надо, детоньки. Только ж поели...

— Мы хотим кушать, — плакали сестры.

— Жрать хочу! — завопил и Чарли.

— Мы хотим есть! — подхватила вся столовая. — Дайте нам кушать!

Стучали по столам ложками.

— Подождите немного, скоро обед будет. Нет ничего, съели все. Нет! Ну, нема! — развела руками тетка Харыта.

Потом задумалась

— Тихо! — сказала. — Будет вам еда. Только поработать надо.

13

На базаре шла своя жизнь. На дощатых, серых от дождей прилавках, на ящиках, на траве или прямо на земле, разложив на газетах, на простынях и покрывалах присыпанный белой пылью товар, продавал народ что было.

Шамкая беззубым ртом, продавала древняя старуха прошлогодний початок кукурузы: держала его в руках, словно вынула изо рта челюсть — с желтыми блестящими янтарными зубами — и держит себе, продает.

Муж и жена продавали с подводы картофель. Фиолетовый майский, с проросшими бледными ростками — для посадки — картофель лежал в мешках: две мелкие сморщенные картошины выпали из мешка и смотрели с земли детскими фиалковыми глазами.

Будто отрубленные, лежали на деревянном помосте грязно-бурые головы буряков: огромный мужик хватал их за чубы, тряс перед толпой, бросал обратно — туда, где вперемешку лежали, словно сломанные и выкрученные пальцы, морковины, выпачканные в земле, землисто-ржавого цвета, большие и маленькие.

Рядом на клеенке лежало кровавыми кусками мясо, капало кровью на землю. Зеленые мухи ползали внизу прилавка, впившись в свернувшуюся, словно от дождя, пыль, высасывая из нее, будто из кровавых цветов, пьяную сладость...

Серебряной живой горой лежали сазаны: открыв в крике молчаливые рты, округлив от ужаса глаза, бились за жизнь сильными серебряными телами. Одного сазана, самого большого, рыбак, жилистый худой мужичок в драной фуфаячке, достал из садка, поднял, гордясь им, как ребенка, на руки, и тот лежал неподвижно, собирая народ, — тяжелый, сияющий на солнце, как серебряный слиток, а потом вдруг, медленно изогнувшись, со всей силой ударил мокрым хвостом по лицу обидчика, худого мужичка, и раз, и второй — и упал, заплывав в пыли, у самых ног верблюда: того, большого и гордого, продавали тоже...

Вроде бы все было на этом базаре так же, как на всех базарах. Так, да не так...

Молча, на пальцах показывали цену продавцы. Покупатели, торгуясь, отрезали жестом лишние пальцы — сбавляли цену. Продавцы кивали, соглашались.

Лишь одна несговорчивая торговка не уступала мужику, покупателю. Била себя в сердце, целовала синюю куриную тушку курицы, видно показывая мужику, как дорога ее сердцу эта синяя курица. Мужик закатывал глаза, складывал на груди руки, как покойник, рассказывая ей неммым языком, как тяжело ему живется. Та закатывала глаза тоже: всем тяжело. Долго торговались они молча. Пока мужику не надоело. Громко выругался он: — Ах, едри тебя и в рот и в печень, толстомордую!!!

Повернул весь базар к ним головы, посмотрел осуждающе.

Испугалась торговка, палец к губам приложила: тс-с. Одними губами сказала: бери. Взял мужик курицу, засопел обрадованно. Отошел, прижав мертвую тушку к груди.

Все отвернулись.

Тихая, шелестящая жизнь шла на том базаре: примеряли платье — не мало ли; пробовали на зуб кольцо — золотое ль; прижимали к земле рога козла, проверяя, силен ли. Молча зазывала к себе, потрясая тыквами, бабица: щеки ее были, как две тыквы, круглы и оранжевы, на груди — бусы из лукавиц, шелухой шелестели.

Вошла на базар тетка Харыга с ребятами. Выстроила их в ряд. Оглядела люд. Поклонилась. Громко сказала:

— Христос воскрес!

Весь люд замер, повернулся к тетке Харыте. И снова поклонилась она до земли, сказала громко:

— Христос воскрес!

Молча окружили ее люди плотно кольцом. И в третий раз она поклонилась народу:

— Люди добрые! Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — выдохнули одними губами люди. Тихо, неслышно, немо, как общий вздох.

Потрескавшиеся губы женщины сказали молча: воистину. И губы рыбака в сазаньей чешуе. И губы древней старухи. И сочные губы мясника. Выдохнули и потянулись целоваться: потрескавшимися губами женщина целовала рыбака, трижды. Губы древней старухи целовали губы мясника, трижды. Мужик с курицей неуклохе целовал торговку, ту, что только что обругал. Со слезами целовались. Молча. Истово. Трижды.

14

На тележке пьяного, покрытого рогожей, молодуха через базар везла.

— Христос воскрес! — говорила всем тетка Харыта, целовала.

— И меня, матушка, поцелуй! — услышала.

Оглянулась: пьяненький мужичонка мокрыми губами к ней из-под рогожи тянется, бородашкой тощей тычется, целоваться лезет. Сам нерусский: глаза-щелочки, нос приплюснутый. Тетка Харыта рукавом от сивушного запаха да от пьяных губ закрылась, потом спросила, не вытерпела:

— Да нашей ли ты веры?

— По крови я калмык, а по вере — православный, — кротко отвечал мужичонка, лежа в тележке. — Христа с детства возлюбил всем сердцем. Окрестился. После Духовной академии в местном храме служил священником...

— Священником?! — удивилась тетка Харыта.

— Благочинный он у нас, — подтвердила молодуха. — Отец Василий.

— Стало быть, батюшка? — переспросила тетка Харыта и подбоченилась. — Как же тебе, батюшка, не стыдно! Тебе в храме сегодня службу служить, людей со Светлым Воскресением поздравлять, а ты с утра глаза залил! — заругалась.

— Не батюшка я теперь, — заплакал отец Василий. — Храм закрыли, кресты поломали, колоколу язык вырвали...

— А уж какой колокол был! — быстро-быстро заговорила молодуха. — Всем колоколам колокол! Пятьсот пятьдесят пудов весил! На пароходе везли по трем рекам: сперва по Волге-матушке, потом по Ахтубе, потом по Подстёпке. Я девчонкой была, помню, на пристани всем народом встречали его, будто царя. Он и правда как царь был. Царь-колокол! Силен был! Зазвонит — человека вот тут, на базаре, не услышать. На двадцать пять километров звон его слышали: и в праздники, и в пургу, и в буран звонил... А теперь вот молчит без языка... Вырвали!

— Что колокол! У вас людям вон языки будто повырывали — молчат! — с горечью сказала тетка Харыта.

— Это сейчас молчат, — не успокаивалась молодуха. — Расскажи, отец Василий, как они раньше в церкви пели! — и к тетке Харыте повернулась, сама быстро-быстро рассказала: — На клиросе в четыре голоса пели, с регентом во главе, сорок человек! Дисканты, альты, тенора и басы — как в театре, — то ж какая красота была!

— Красота! — подтвердил отец Василий.

— Красота! — как эхо повторила молодуха. — А праздники как праздновали! — не могла угомониться. — На Крещение после службы к реке Подстёпке шли. Впереди батюшка наш, отец Василий, с золотым крестом идет, за ним — весь народ. Там посреди Подстёпки стоял крест, изо льда

вырубленный, голубой. Сиял весь на солнце. У креста вырубали прорубь, и в той проруби народ купался. В мороз голые купались — и ничего. И больные купались, чтобы выздороветь. И выздоравливали... Вера потому что была!

— А сейчас где ж ваша вера? — спросила тетка Харыта сурово. — Кончилась?

— Нет, не кончилась, — прошептал батюшка.

— А не кончилась, так служи.

— Как служить, когда храма нет? — спросил.

— Как храма не стало, он и запил горькую. Раньше гребовал, — сказала молодуха.

— Где двое или трое соберутся во имя Мое, — там Я посреди них, — сказала тетка Харыта, пылливо на отца Василия глядела. — Где двое или трое соберутся во имя Его, там и церковь Его. Понял ли ты, батюшка?

— Понял, матушка, — отозвался.

— И не пей больше, батюшка, — строго, как мать, выговаривала тетка Харыта ему. — Ты здесь службу несешь, тебя здесь сам Господь поставил, — и зашептала в его ухо что-то.

Загорелся огонь в узких глазах отца Василия. Дослушал, из тележки встал:

— Спасибо, матушка...

— Так-то, батюшка, — ответила.

Стояла на костыльках в пыли.

— Теперь похристосываемся, — сказала.

Встал отец Василий на колени в пыль, чтобы вровень с теткой Харытой быть.

— Христос воскрес! — громко сказал, будто в церкви, чтоб весь народ слышал.

— Воистину воскрес! — улыбаясь, сказала тетка Харыта.

Глаза в глаза друг другу посмотрели. Расцеловались. Трижды.

— И со мной похристосывайся, тетечка! — попросила молодуха.

Тетка Харыта ее попытала:

— Как зовут тебя? И кто ты отцу Василию?

— Боканёвы мы, из подкулачников, — назвалась молодуха. — А отцу Василию я — дочь духовная... Марьей зовут.

Поцеловались.

15

Чистым сильным голосом запела Ганна:

Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ
И сущим во гробех живот даровав...

Посыпались в сумки детей хлеб да картошка. На шею Чарли надела баба свою гирлянду из лука. Сестрам вручила огромную тыкву: они втроем ее держали, обняв как живую, щечками к ней прижавшись.

Тетка Харыта стояла с иконкой в руках. Около нее выстроилась очередь из баб. Подходили к иконе, падали на колени, целовали. Перекрестясь, отходили. Давали тетке Харыте крашеные яйца. Та укладывала их в мешочек: осторожно складывала, чтоб не побились.

Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангелы поют на небесах,
А мы Тебя чистым сердцем славим на земли... —

пела Ганна, глядя с улыбкою на небеса, словно бы увидев там кого-то.

Люди стояли, слушали, на небеса украдкой посматривали: что там Ганна увидала?

— Глянь-ка! — сказал кто-то тихо. — Солнце играет...

Задрали головы.

Небо было синим-синим, будто его специально покрасили к празднику. И в нем, словно в чаше, крашеным яйцом солнце каталось туда-сюда: играло будто.

— Разойдись! Разойдись! — вдруг услышали чей-то грозный голос.

Расталкивая народ, шел к тетке Харыте крепкий мужчина в полувоенном френче, Председатель.

— Слушаете?! — радостно закричал он. — Вот вы и попались, голубчики, товарищи глухонемые, мои дорогие. Раз слушаете — значит, не глухие. Значит, и говорить умеете! Что и требовалось доказать. Не вышло у вас! Попались! Теперь слушайте меня! Теперь попробуйте не услышать! Сюда вас в пески сослали на перевоспитание, а вам здесь плохо? Глухими притворились! Уши песком засыпало? На север пошлю, кому здесь не нравится, там вам уши-то прочистят: снежком ототрут, до кровушки! Слушайте, товарищи бывшие кулаки, что вам ваш Председатель скажет! Завтра все на колхозное поле, в степь! Буряков, Попов, Рогозин, — ткнул он пальцем в мужиков, — вы завтра на помидоры отправляйтесь, к Стасову хутору. Ясно? Я говорю: ясно?

Те молчали, смотрели на него не мигая, будто не слыша. Потом повернулись, ушли.

— Королева, Забирюченко, Бойко! На баштан завтра в Пологое Займище поедете, гарбузы сажать. Слышите? — поглядел на баб. Те посмотрели на него не мигая, повернулись, исчезли.

— Вы крестьяне или кто? — закричал чуть не плача. — Земля скоро как камень будет: зубами не угрызешь... Анна! — увидел бабу, что тыквы продавала. — Пшеничная Анна! Поведешь завтра баб на сахарный тростник, в пойму. Культура новая, надо освоить...

Пшеничная Анна, тыкву приладив к голове, как кувшин, мимо Председателя перегруженной ладьей проплыла не дыша. И не вижу будто тебя, и не слышу.

— Ластовкин! — ткнул в мужика с курицей. Тот не дослушав повернулся, ушел.

— Петр! — позвал мужичка в драной фуфаячке. — Рыбаков!

Тут же исчез Рыбаков. На плечах корзину с рыбой, будто с серебром, уносил.

— Боканёва! Подкулачница! Попа возишь? Стой, твою мать!

Быстро уходила молодуха, уводя батюшку под руку, толкая перед собой пустую тележку.

— Канарейки! Слышите меня?

Канарейки, муж и жена — одна сатана: волос желт, лица конопаты, оба пьяны, море им по колено, а уйти некуда: они верблюда продавали. Застыли Канарейки, Председателя увидав, постояли-постояли, да и пошли себе, засвистав вдруг по-птичьему, будто не муж они и жена, а две птички-невелички, две канареечки-пташечки, — идут себе, покачиваются да посвистывают, ничего не слышат. Верблюд сидел в пыли, жвачку жевал, на Председателя сверху вниз смотрел презрительно, как паша. Заело Председателя, плюнул верблюду под ноги, в пыль:

— Не смотри на меня так, козел!

Верблюд повернул к нему голову, скучно пожевал губами, вытянул длинно шею да как плюнет в него!

Весь в зловонной пене Председатель стоял.

— Ничего! — сказал верблюду, утираясь. — Ничего! В колхоз пойдешь! На скотный двор! Я тебя заставлю власть уважать!

Отошел, утираясь.

Древняя старуха к Председателю кинулась, кукурузный початок тычет в лицо, беззубым ртом улыбается: на, мол, купи.

— Отойди, — отмахнулся, — старая.

Та все тычет.

— Или ты меня не слышишь тоже? — погрозил.

Та ухо подставила, спросила:

— Ась?

— Уйди от меня, бабка!!! — заорал что есть мочи прямо ей в ухо. — Стрелять вас надо! Кулачье недобитое! Враги! Всех, всех расстрелять!

Отскочила от него старуха, кукурузный початок в пыль бросила — и бегом от Председателя.

— Все ваше племя жадное! — ярился Председатель. Шел по торговым рядам. — От детей до стариков! Всех до одного! Как бешеных собак! Перестрелять!

Люди спешно уходили, бросая товар. Убегали.

— Подайте Христа ради! — стоял у рядов Чарли, выклянчивал.

Председатель обернулся:

— Ты откуда? Из детдома? Я Тракторине Петровне просигнализирую: опиум агитируешь! Вон отсюда!

Побежал Чарли. Дети и тетка Харьга тоже убегали, сев на лошадку.

На пустынной базарной площади осталась одна Ганна.

— А ты откуда? — спросил Председатель Ганну. — Из детдома?

Ганна молчала. Молча смотрела.

— Что, тоже из этих? Из глухонемых?! — с издевкой спросил Председатель.

Пасха священная нам днесь показася,
Пасха нова, Пасха свята,
Пасха таинственная, Пасха всечестная,
Пасха Христос Избавитель пришла, —

запела Ганна.

Она пела и пела, глядя вверх. На небеса.

16

В столовой пир стоял горою. На тарелках вперемишку лежали: хлеб, картошка, сало, лук, лепешки, жареная рыба; огромная тыква, развалясь, посреди стола лежала. Рядом с каждой тарелкой — крашеное яйцо.

Тетка Харьга разрежала что-то на пирог похожее, по кусочку всем давала. Подходили дети по очереди, забирали кусочек, на ладошке держа, отходили.

Вера подбежала:

— Это что? Торт?

— Это пасха, Верочка, — отвечала тетка Харьга. — Святое кушанье. Надя, Люба, подходите!

Надя с Любой тетку Харьгу не слышали: они крашеными яйцами с Маратом бились, с братиком.

— Кто чье яйцо разобьет, тот и забирает его, — объяснял Марат сестренкам правила.

Ударил красным по ихним желтеньким, разбил, стал забирать.

Надя свое отдала. Люба кричит:

— Не по-честному бил! Острым концом по тупому! Давай перебьем!

Перебили. Разбила Люба красное яйцо, схватила его.

— Мое! — кричит.

Почистила быстро и — раз — проглотила. К тетке Харьге подбежала:

— Дайте мне кусочек! Исты хочу, исты!

Чарли Булкину рассказывал, мокрым пальцем слезы на щеках рисуя:

— Я заплакал и говорю: дяденька, подайте ради Христа. А он мне отвечает: опиум у меня просишь? Вон, говорит, отсюда! А не то расстреляю!

— Опиум — это что? — спрашивал Булкин.

— Помнишь, мы с тобой в том году белены объелись, ходили как пьяные...

— Чарли! — позвала его тетка Харыта, кусок отрезала. — Это тебе. А этот, последний, самый сладкий, — Ганне... Ганна! — позвала. — Где Ганна?

— А она на базаре осталась, — сказала Конопушка.

— Как же так? — растерялась тетка Харыта.

— Я ей говорила: пойдём, Ганна!

— А она?

— На меня рукой махнула: уходи, мол. Она песню свою не допела... — объяснила Конопушка. — Видно, допевать осталась!

— Идти за ней надо, — стала собираться тетка Харыта, платок накинула, к дверям пошла. — А то потеряется...

К дверям подошла, а дверь — будто вышибло ее — вдруг сама открылась: Тракторина Петровна грозно в дверь ввалилась. Следом Председатель и сторож Ганну ввели.

— Харитина Савельевна! — закричала Тракторина Петровна на тетку Харыту. — Объясните мне: что Ганна делала на базаре? Ее привел Председатель. Это вы ее послали? Что она там делала?

— Побирались они, — сказал Председатель. — И эта старушенция ваша. И вот этот пацан, — указал на Чарли. Оглянулся. — Да все они там были. Все.

— Побирались?! Пионеры побирались?! — вскричала Тракторина Петровна.

— Покушать и пионерам хочется. Что ж они — не люди? — сказала тетка Харыта. — С голоду скоро опухнут твои пионеры...

— Вас не спрашивают! Им дают здесь все необходимое для их организма. Витамины, белки, калории. Все, что положено. Понятно?

— Калорией жив не будешь...

— А это что такое? — вдруг увидела Тракторина Петровна еду на столах.

— Люди дали.

— Нет, вот это что такое? — Тракторина Петровна с брезгливостью взяла крашеное яйцо. — Харитина Савельевна, я вас спрашиваю!

— Яйцо, — кратко ответила тетка Харыта.

— Я вижу, что яйцо. Но почему оно синее?

— Крашеное оно.

— Так. А почему оно крашеное?

— Праздник сегодня. Ты что, нехристь, Петровна?

— Вон! — закричала Тракторина Петровна. — Чтобы ноги твоей в детском доме не было! Вон! Егорыч, собери эту всю антисанитарию! Нормальное яйцо должно быть белым! Белым! Белым!

Тракторина Петровна сбрасывала со столов яйца, топтала их ногами. Кричала в истерике:

— Белым! Белым! Белым!

Сторож сваливал в мешок еду: хлеб, сало, лук, картошку. Хотел и огромную тыкву в мешок положить. Сестры обняли тыкву, не отдают:

— Это тыква не общая! Это тыква наша!

Молча длинной рукой тыкву заграбастал, выдернул ее у сестер, закатил в мешок.

— Белым! Белым! — кричала, топчась на крошеве, Тракторина Петровна.

Выдохлась, выскочила. Сторож с Председателем следом за ней ушли.

Дети посидели за пустыми столами, помолчали. Опустились на пол. Собирали раздавленные яйца:

— Вот мое — красненькое...

— А вот мое — желтое...

— А от моего ничего не осталось...

Сидели, соскабливая с пола крошево, — ели.

— Тетя Харыта! А чего она так? — спросила Конопушка.

— Рогатый бес в ней дом себе нашел, поселился, тешится. Силе-е-ен!

— Ты теперь от нас уедешь?

— Нет, я вас одних не оставлю теперь. Поборюсь...

17

Ночью в палате дети не спали. Конопушка сказала шепотом:

— А давайте в дочки-матери поиграем?

— Давайте, — согласились сестры. — Чур, мы будем дети. А Марат будет нашим отцом!

— Хорошо, — согласилась Конопушка. — А я буду вашей матерью...

Дети! Садитесь ужинать!

— А что у нас на ужин? — заинтересовалась Люба.

— На ужин у нас огромный-огромный пирог с повидлом, сто котлет и мороженое...

— А что такое мороженое? — спросила Надя.

— Это сладкий снег. — Конопушка губами ловила как бы падающий с неба сладкий снег. — Марат, что же ты? Садись за стол, как будто ты только пришел с работы. Пальто надень, будто ты с улицы. А потом снимешь его. Вставай!

Конопушка Марату горло в шарф закутала, пальто на все пуговицы застегнула, кепочку на голову ему напялила.

— Ох, хорош муженек, — вздохнула совсем по-женски. — Глаз да глаз нужен: как бы не украли! — сказала и застыдилась, зарделась вся, засмеялась. — Раздевайся быстрее! Ужин стынет!

Стала Марата из шарфа раскутывать: крутила Марата, как куклу, — туда покрутила и обратно — только запутала.

Марат рассердился.

— Ты не можешь быть матерью моих детей! — сказал он по-взрослому. — Матерью моих детей будет Ганна.

— Ой! Ну и нашел себе жену! — оскорбилась Конопушка. — Ни мычит ни телится. Дуру себе в жены взял!

— Зато красивая! — сказал Марат, поглядел выразительно на Конопушку: поняла ли?

Та зашмыгала острым носиком, обижаясь.

— Сам-то на себя посмотри! Урод! — прошептала.

— Мужчина должен быть умным и сильным. А женщина — доброй и красивой. Тогда и дети будут умные, добрые, сильные и красивые. Понятно тебе, злюка? — сказал ей Марат самодовольно.

К Ганне подошел, уверенно спросил:

— Ганна, хочешь стать моей женой?

Ганна сидела на кровати, молчала.

Марат заглянул ей тревожно в глаза:

— Ганна, будешь ли ты моей женой? Да или нет? Говори! Я тебя никогда не обижу! Пальцем не трону! Я тебе всю получку отдавать буду! Все до копейки!

Ганна молчала.

— Так тебе и надо, — зло радовалась Конопушка.

Упал Марат на колени, крикнул отчаянно, будто судьба его и вправду решалась:

— Ганна! Стань моей женой! Прошу твоей руки и сердца!

Ганна помедлила. Потом кивнула чуть, руку навстречу его руке протянула.

Счастливый, подводил ее Марат к столу.

— Это наши дети, Ганна. Это наши с тобой дочери. Это вот Верочка. Это Надя. Это Люба.

Заглянула каждой дочке Ганна в глаза, каждую погладила по голове, поцеловала. Побежала, принесла из угла все свои сокровища: гребешок, конфетку, китайский мячик на резинке, — разложила перед ними. Миски с водой перед каждой поставила, будто то борщ. Кормила их из ложки, дула на воду, чтобы борщ остыл. Сестры от ложки с водой увертывались, есть не хотели и хихикали. Ганна ласково и настойчиво их кормила, руки целовала, упрасывая.

— Что ты их целуешь! — не вытерпела Конопушка. — Ты их выпори! Ишь расфулиганились!

— Тук-тук-тук! — постучал Марат по столу. — Это ваш папа с работы пришел.

Кинулась птицей Ганна к мужу, пальто ему расстегивала, шарф размазывала. Усадила Марата во главе стола, подала с поклоном миску с водой.

— Ух, уморился, — рассказывал семье Марат. — Двадцать две резолюции наложил да тридцать три партийных поручения выполнил. Устал!

— Ишь как устроился! На чистую работу, лентяй, — завистливо сказала Конопушка. — Контора пишет, а денежки идут.

Ганна расшнуровала Марату ботинки. Поставила тазик с водой. Помыла Марату ноги, вытерла. Потом вдруг подняла тазик с водой, хотела выпить из него воду.

— Не пей! — закричал на нее Марат. — Не надо, это грязная вода...

— Раньше древние жены мыли ноги мужу и эту воду пили, — сказала Конопушка. — Я сама читала.

— Мы же не древние! Зови Чарли и Булкина! — Конопушка выбежала за дверь.

В дверь постучали.

Испуганной птицей глянула на дверь Ганна. Сестры затихли. Марат напряженным, каким-то деревянным голосом спросил:

— Кто там?

— Открывайте! А не то дверь ломаем!

В дверь забухали.

Марат подошел, открыл. В дверь ввалились Чарли и Булкин. Злые, страшные. Все в доме перевернули, что-то искали.

— Кто вы такие? И что вы делаете в моем доме? — спросил их Марат.

— Мы — «черный ворон»! — закричали те, показали белую бумагу. — А ты — враг народа. И ты — арестован! — скрутили Марату руки. Потащили к дверям.

Разом заплакали сестры в голос:

— Папа! Папа! Папочка! Не уходи!

Заплакала вся палата. Плакали по-настоящему, укрывшись с головой одеялами.

Одна Ганна стояла, не плакала. Стояла-стояла, застыв: будто не здесь она, будто думу думает... Бросилась вдруг коршуном на Чарли и Булкина, налетела, била их изо всех сил, в лица плевала, царапалась и кусалась, била, била, била...

— Это же игра! — кричал, отбиваясь, Чарли. — Дура! Мы же играем! Мы понарошку его уводим! Игра! Понимаешь? Ты испортила всю игру!

А Ганна не слушая била и била. Покуда не убежали.

Обняла Марата, подвела к столу, посадила за стол. Сестер успокоила, налила им в миски «борща». Погрозила кулаком двери.

Села рядом с Маратом.

Семья начала есть.

Мокрые глаза детей следили за ними со всех сторон.

18

Утром Тракторина Петровна всех будила:

— Подъем!

Дети спали.

— Подъем! — кричала Тракторина Петровна, срывая одеяла. — Ночью надо было спать! На линейку — марш! Марш! Марш!

Дети сонно вскакивали, одевались нехотя.

Тракторина Петровна сорвала одеяло с Ганны. Ганна лежала мокрая: обмочилась.

— Ах ты дрянь! — Тракторина Петровна даже руками всплеснула. — Обоссала всю кровать! Тебе что? Ночью лень было встать? Лень?!

Ганна закрыла лицо руками от стыда.

— Нет, ты смотри! — отводила ее руки Тракторина Петровна. — Ты ссыться будешь, а я стирать? Ну-ка понюхай! Чем пахнет? Нюхай! — Ткнула Ганну лицом в мокрое: — Нюхай! Так щенков учат, чтоб не гадили! Нюхай! — Она вошла в раж: — Нюхай!

Марат дотронулся до руки Тракторины Петровны. Та оглянулась, потная, красная.

— Чего тебе?

— Она сама стирает. Я ее на реку поведу. Можно? После завтрака?

Тракторина Петровна кряхтя вставала:

— Ладно. Только завтрака не будет. Разгрузочный день сегодня. Яблоки будете грызть. Витамин! — Пошла к дверям, остановилась. — Только смотри у меня! Чтобы не ты! Чтобы она сама стирала! Сама! Я по глазам узнаю!

Тракторина Петровна вышла. Потом почти сразу открылась дверь. Сторож с порога, не заходя, высыпал из мешка яблоки на пол. Мелкими круглыми блестящими ядрами заплясали зеленые яблоки по полу, покатались по палате.

Каждый взял по яблоку. Марат откусил, поморщился.

— Кислятина! Выплюньте! — сестрам сказал. — Мы на речку с Ганной пойдем, там в саду сладких вам нарвем!

Ганна послушалась, выбросила яблоко.

Чарли и Булкин набросились на яблоки: Чарли кидал их себе за пазуху, Булкин набивал карманы. Конопушка бегала между ними, яблоки надкусывала одно за другим — чтоб никто не взял.

— Это мое яблочко, — говорила. — И это мое. И это.

Лицо ее кривилось от кислого, а она все надкусывала, остановиться не могла.

Надкусывала и жевала, приговаривая:

— Витамин! Вита-а-амин! Потому и кислый!

19

Ганна с Маратом подошли к реке, к Ахтубе.

— В воду положи, — показал Марат на простыню, — пусть отмачивается. Мы ее камнем придавим. А сами пойдем купаться. Не бойся — не уплывет.

Марат разделся, стоял в трусах. Ганна разделась донага. Стояла голышом, крестик на груди.

— Ты что? Совсем? Хоть трусы надень, — застеснялся за Ганну Марат.

Ганна смотрела, не понимая, чего он хочет.

— Ну, поплыли, — вздохнул Марат.

Ганна покачала головой: нет.

— Ты плавать не умеешь? — догадался Марат. — Давай я тебя научу.

Поддерживал одной рукой, вел ее вдоль берега.

— Бей ногами! Бей сильнее! Только в воде бей, не брызгайся. Попро-
буй на спине теперь!

Перевернулась Ганна, Марата ослепило будто: розовые нежные два со-
ска на груди у Ганны, а в низу живота — золотой треугольник жаром го-
рит, золотым раскаленным углем...

Глаз не может отвести.

— Нырай! — закричал, а голоса нет. — Плыви под водой!

Ганна нырнула с открытыми глазами. Увидела маленьких серебристых
рыбок под водой, поплыла за ними. Они веселой серебряной стайкой
плыли, с ней играли, серебряными прохладными лицами ее лица касались.
Она их поцеловать хотела. Потянулась губами. Засмеялись серебряно, как
колокольчики, умчались. Ганна вынырнула. В ушах звенело.

— Ты же просто ас! — кричал Марат. — Ты метров двадцать проплы-
ла. Я думал, утонула! Ты же талант! Я тебя всему научу! Хочешь, читать
научу?

Ганна замолотила руками воду, опьянев от счастья и брызг, кивнула:
хочу.

Поплыла к нему. Он к ней.

Вдруг змея проплыла между ними. Сверкающей бечевой, словно мол-
ния. Высоко, будто вытянув шею, несла она свою голову над водой. Гроз-
но глянула.

Замерли.

— Змея, — выдохнул Марат. — На берег поплыла. Она в воде не куса-
ется...

Ганна стояла замерев. Боялась пошевелиться.

— Чего ты? Поплыли на ту сторону, — предложил Марат. — Там мель-
ница. Может, муки натырим.

Поплыли рядом. Испугалась Ганна, забила руками.

— Не бойся, я рядом. Я с тобой... — сказал Марат.

20

У мельницы стоял красноармеец с винтовкой. Марат и Ганна за угол
забежали. Марат отогнул доску:

— Лезь!

Проползли в щель, оказались будто в другом мире: шум машин, белая
пыль. Мерно работали жернова, шумно лилась вода, сыпалось зерно. Бе-
лая, как туман, мука висела в воздухе.

— Встань и стой! Пусть мука на тебя садится! — шептал Ганне на ухо
Марат. Встал сам, разведя руки в стороны. Показывал Ганне. Ганна встала
рядом, подняла руки.

Стояли, покрываясь мукой. Бородатый краснорожий мельник, весь в
муке и солнце, их увидел. Красноармеец к нему подошел. Мельник под-
мигнул Ганне, увел красноармейца подальше.

Выползли на свет божий — Марат и Ганна — белые, все в муке, даже
ресницы. Шли осторожно, разведя руки в стороны, чтобы мука не осы-
палась.

21

Ганна облизывала спину Марата. Слизывала муку со спины. Марат
ежился, хохотал:

— Это тебе вместо завтрака. Щекотно! Ганна, ты как кошка. Ой, не
могу! Давай лучше я тебя!

Повернулся, начал муку с нее слизывать. Ганна смеялась, запрокинув голову: щекотно. Белые ресницы дрожали, с них мука осыпалась.

— Ганна, не смейся! Стой смирно! Не трясись, вся мука осыпется.

Он вылизывал ей спину и вдруг вылизал — родинку. Около самой шеи. Прикоснулся губами к родинке. Погладил завиток волос. Присмирела Ганна, не смеется больше. И спину напрягла, выпрямила.

— Ганна, — глухо сказал Марат. — Я люблю тебя.

Оглянулась беспомощно. Марат понял:

— Ты не дуручка! Ты не дуручка! Ты красивая! Я женюсь на тебе!

Поцеловал ее в белые губы. Обнял Ганну покрепче. Ганна, упершись руками в его грудь, Марата отталкивала. А он все сильнее ее прижимал, лез целоваться:

— Ну чего ты? Я правда женюсь. Не бойся...

Ганна лицо отворачивала.

Повернула голову к реке. Там течение простыню уносило. Замычала, забилась в руках Марата.

— Что? — отпустил ее.

Показала рукой:

— Га!

Марат посмотрел на реку:

— Ну, унесло. Догоним! — Вздыхнул: — Эх ты!

Побежал вслед за рекой. Ганна — за ним.

Они бежали по берегу. Река стала шире, повернула в сторону.

На песке вдруг увидели плот. Старенький, разошедшийся. Столкнули в воду. Поплыли на плоту.

22

Ганна, подоткнув платье, полоскала простыню у берега. Марат прятал плот у старой ивы: забрасывал листьями, ветками, травой:

— Пригодится еще.

Подошел к Ганне. Повернул к себе ее лицо. По-новому смотрела она на него: любяще, глаз с его глаз не спуская.

— Ты меня любишь, Ганна?

Закрыла глаза: да.

Убрал ресничку у нее со щеки:

— Эх, уплыть бы нам с тобой отсюда, Ганна!

Смотрели на реку. За рекой солнце садилось.

23

Вечером тетка Харыта полы помыла, пошла воду вылить. Мимо сторожки проходила. Вдруг дверь сторожки открылась: сторож Тракторину Петровну выталкивал. Та молча могучими руками за дверной косяк держалась.

Дал ей кулаком прямо в душу.

— Пошла! Надоела! — дверь закрыл.

Покатилась Тракторина Петровна с крыльца кубарем. Плюхнулась на четвереньки, платье на зад у задрато. Отползла в кусты.

— О! О! О! — воем звериным завывала.

Подошла к ней тетка Харыта, окликнула:

— Арина! — Руку на плечо положила. — Аринушка!

Оглянулась та, лицо заплакано:

— Я!

— Случилось что?

— Следишь за мной? — Слезы у Тракторины Петровны сразу высохли.

— Мимо проходила, помочь тебе хотела, Арина.

— Какая я тебе Арина?! — закричала. — Тракторина я.

— Ты ж человек, — сказала тетка Харыта. — И имя у тебя должно быть человеческое, какое при крещенье дали, — сказала тетка Харыта.

— Меня Советская власть крестила, — сказала гордо Тракторина Петровна, вставая. — Назвала, как зовусь, — Тракторина! И не человек я! А — коммунист! Поняла?

— Давно поняла, что не люди.

— Прочь с моей дороги! — закричала Тракторина Петровна, пошла, оглянувшись: — Договорись — язык отрежут. Не со своим братом ты связалась, Харитина Савельевна, ох не со своим!

Тетка Харыта вылила грязную воду из ведра. Долго смотрела, пока вода не ушла в землю.

24

Ночью в палате стон стоял. Конопушка, держась за живот, плакала:

— Ой, мамочки мои, как живот болит!

— Дай спать! — закричал на нее Чарли. — Разревелась тут!

Конопушка, согнувшись до пола, побежала к двери.

Возвратилась уже с теткой Харытой.

— Где болит-то? — спрашивала тетка Харыта, мяла Конопушкин живот. — Тут болит?

— Везде болит! — стонала Конопушка.

— У нее понос! — сказал Чарли. — Бегает и бегаёт. Дрищет и дрищет.

— Я тебе сейчас щавеля конского заварю. Пройдет! Потерпи маленько, — говорила тетка Харыта.

— Не могу терпеть! Не могу! — Конопушка вскочила, побежала к двери.

— Ты куда?

— На двор!

— Дристуныя, — сказал Чарли, укладываясь поудобнее. — Замучила всех!

25

Утром Ганну принимали в пионеры.

В степи, выстроенные в шеренгу, стояли дети. Тракторина Петровна говорила:

— Сегодня в наши дружные пионерские ряды мы принимаем нового члена, нашего нового товарища Ганну... — Тракторина Петровна замялась, — ... Бесфамильную Ганну. Ганна, подойди ко мне.

Ганна пошла к ней.

— Ганна немая, вы знаете. Поэтому я прочитаю пионерскую клятву вместо нее. А ты, Ганна, слушай и произноси в уме. — Тракторина Петровна откашлялась. — Вступая в ряды пионеров, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь! Бороться за дело Коммунистической партии большевиков! Безжалостно уничтожать врагов Советской власти! Всю свою кровь, до последней капли, отдать за дело рабочих и крестьян!..

— Пропусти меня! — прошептал Чарли Булкину. — Живот схватило.

Побежал к кустам. Сел там, только галстук видно.

И другой к кустам побежал, и третий... К концу клятвы все пионеры в кустах сидели. Хотела Тракторина Петровна, чтобы кто-нибудь из пионеров Ганне галстук повязал, оглянувшись: никого нет. Сама Ганне галстук на шею накинула, пока с узлом возилась, ветер галстук подхватил, в небо унес: красным змеём он, извиваясь, в небе реял.

Тракторина Петровна побежала за галстуком. Подпрыгнула. Упала.

— Тракторина Петровна! — сестры ее позвали. — Идите скорей в палату. Там Конопушка лежит на кровати и не дышит!

— Холоднющая!

26

Конопушка лежала на кровати мертвая.

Тракторина Петровна дотронулась до ее лба. Отдернула руку. Подняла глаза на тетку Харыту:

— Умерла?

— Преставилась, — коротко сказала та.

— От простого поноса?

— На холеру похоже, Петровна, — строго сказала тетка Харыта.

Мальчики вбежали:

— Там Чарли в кустах завалился!

— Умер?

— Нет, живой... Околесицу несет, бредит, что ли?

— Изолировать надо, — с тоской сказала Тракторина Петровна. — Но куда положить? Некуда... Сюда несите его, в палату. Что же делать, Харыта? В этой деревне ни врачей, ничего...

— Что ж, — сказала тетка Харыта. — Будем помирать.

— Я пойду, — заторопилась вдруг Тракторина Петровна. — В город буду звонить, в Царев. Позовете... если надо будет.

27

Чарли умирал. Непохожий на себя, бледный, строгий, лежал он на кровати с открытыми глазами. Быстро говорил:

— Ты беги по левому краю, а я побегу в центр... Ты навесишь на ворота, я ударю головой... Бей! Ну, бей! Бей! — почти привстал он, потом сник, откинулся. — Промазал... Пить хочу. Пить...

Ганна метнулась с кружкой к нему. Тетка Харыта ее не подпускала:

— Отойди, я сама. Заразишься.

Ганна помотала головой: нет. Напоила Чарли. Тот закрыл глаза, потом снова открыл, ясно посмотрел, спросил тетку Харыту:

— Я умру?

— Бог даст, выздоровеешь, сынок, — ответила тетка Харыта.

— Я умру, я знаю, — сказал Чарли. — Я боюсь. Ты мне скажи, тетя Харыта, где я буду, когда умру? Куда девается жизнь? И кто я буду, когда умру. Или я не буду? Скажи мне...

— Жизнь твоя вечная, милый. Душа бессмертна. А будешь ты ангелом в небесах, — сказала тетка Харыта. — А пребывать будешь в раю. Ты крещеный?

— Нет.

— Ах ты Господи! — всплеснула руками тетка Харыта. — Ганна! Неси корыто. И воды подогрей. Мы Чарли крестить будем.

28

Ганна вылила ведро воды в корыто. Тетка Харыта выбрала двоих детей.

— Вы будете крестные родители Чарли. Встаньте сюда.

Подошли к тетке Харыте сестры.

— Не мешайте, деточки, — попросила их тетка Харыта.

— Это игра, тетя Харыта? — спросила Вера.

— Нет, это по-настоящему.

— Тогда я тоже хочу ангелом стать, — заявила Вера. — Крестите меня тоже.

— И меня. Я тоже хочу летать, — сказала Надя.

— Мы вместе хотим быть, когда умрем, в небесах, — сказала Люба.

— И я хочу быть ангелом, — сказал Булкин.

— И я... — подошли другие дети.

— Ганна! Марат! — позвала тетка Харыта. — Встаньте сюда. Вы будете крестными родителями для всех. За руки их возьмите, — и неожиданно низким незнакомым голосом громко сказала: — Изгони из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его. — Подула на Чарли, шепча: — На уста его, на чело и на перси.

Потом громко спросила у Чарли:

— Отрицаешься ли сатаны, и всех дел его, и всех аггел его, и всего служения его, и всей гордыни его?

— Отрицаюсь, — сказал Чарли.

Дети потолкались и хором сказали:

— Отрицаюсь.

— А теперь повернитесь на запад. И дети, и их родители крестные. Вот сюда, к двери. Там, на западе, живет князь тьмы, сатана, и как я скамандую, плюньте. И дуни, и плюни на него!!! — крикнула она.

Дети плюнули. Дверь неожиданно открылась, и вошла Тракторина Петровна.

— Ой, — испугалась Вера.

— Что здесь происходит? — спросила Тракторина Петровна.

— Крещение, — сурово сказала тетка Харыта. — Выйди отсюда, Петровна.

— Выйти?! Прекратите эти свои поповские штучки! Это безобразие. Они же пионеры, наши советские дети... Дети! Покиньте помещение. Бога нет!

— Уйди, сатана, — сказала ей тетка Харыта сурово. — Мы тебе все отдали: и плоть свою, и имущество свое, дела и мысли свои, родину свою тебе, сатана, отдали. Оставь нам душу нашу. Изьди! — и показала повелительно на дверь.

Тракторина Петровна в гневе выбежала.

29

Тракторина Петровна звонила по телефону:

— Але, девушка, соедините меня с районным НКВД.

30

Крещение подходило к концу. Чарли лежал в белой рубаше, с крестиком на груди. В корыто залезли Вера, Надя и Люба. Закрыв каждой ноздри и рот, тетка Харыта погружала головы девочек трижды в воду:

— Крещается раба Божия Вера. Крещается раба Божия Надежда. Крещается раба Божия Любовь! Во имя Отца, аминь! И Сына, аминь! И Святаго Духа, аминь!

Вошли без стука много людей в военном, окружили детей и тетку Харыту.

— Бесы прилетели, — сказала тетка Харыта и улыбнулась. — Опоздали. Они теперь не ваши.

Один, со шрамом, сказал:

— Гражданка Мова? Харитина Савельевна? Вы арестованы.

— Попрощаться дайте, — сказала тетка Харыта.

— Я теперь не боюсь, тетя Харыта, — сказал Чарли, — умирать.

— Простите меня, детки, — поклонилась им до земли тетка Харыта. — Прощайте.

Ганна вцепилась в тетку Харыту, не отпускала.

— Мы еще увидимся, Ганна, с тобой. Не на земле, так на небе. Не плачь! Марат, береги Ганну...

В корыте, окруженном военными, стояли, как ангелы, беззащитные голые девочки: Вера, Надежда, Любовь.

31

Марат бежал, держа Ганну за руку, по степи. Они бежали задыхаясь.

— Мы должны отомстить! Уничтожить, слышишь?! Мы ее отравим. Помнишь, мы видели на реке змею? Возьмем у нее яд и отравим Тракторину!

Ганна села, повиснув на Марате. Нет, качала она головой, нет!

Марат опустил на корточки.

— Как ты не понимаешь? Тракторина Петровна — убийца. Тетя Харыта не выживет в тюрьме. Тракторина убила ее. А Конопушка? А Чарли? Накормила яблочками до смерти! Витамин! Смерть за смерть! Пошли!

Марат искал нору змеи.

— Вот здесь она ползла. Потом сюда поползла. Вот ее нора! — Марат засунул в нору палку. — Вылезай, гадюка! Вылезай, серая!

Медленно выползла из норы змея. Марат ударил ее палкой. Змея зашипела. Он ударил еще, прыгнул боком, ухватил змею за голову.

— Ганна, банку давай! Под зуб ей суй!

Ганна медлила.

— Быстрее, Ганна! Я не удержу ее, она меня укусит!

Ганна подошла. Марат сжал голову змеи, та разинула пасть. Ганна подставила стеклянную банку ей под зуб.

По стеклу медленно потекла желтая, цвета канифоли, жидкость.

— Яд, — прошептал Марат.

Гадюка на Ганну с Маратом грозно глядела.

Палкой Марат хотел добить змею. Ганна перехватила палку, отобрала.

Грязной серой веревкой гадюка по песку, пыли, уползала.

— Ганна, ее убить надо. Змеи злопамятны. Видела, как она на нас смотрела? Запомнит, в другой раз отомстит. Как мы Тракторине Петровне! «Нет!» — головой покачала.

Разожгли костер. Марат достал из кармана тряпицу, развернул.

— Мука, — сказал.

Замесил тесто, слепил лепешку, пальцем сделал в лепешке вмятину. Касаясь лицами, наклонились над лепешкой; из банки вылил Марат во вмятину каплю яда. Яд быстро впитался. Положили лепешку на черепицу, черепицу с лепешкой положили в костер.

Ждали, когда поджарится. Молчали.

— Готово! — сказал Марат, вытащив из огня лепешку. Аккуратно положил ее на тряпицу, завернул. — Моментальная смерть!

Ганна взглянула на него со страхом. Неохотно поднялась. Пошла за ним прихрамывая. На ходу растирала ладонью ногу: отсидела.

32

На раздаче Марат подошел к Булкину: тот в белом колпаке разносил по столам пшеничную кашу. Марат стащил с него колпак, надел себе на голову, выхватил тарелки у Булкина из рук.

— Я сегодня вместо тебя подежурю, — сказал.

Расставил тарелки с кашей. Оглядываясь, развязал тряпицу, достал лепешку. Положил ее рядом с самой большой тарелкой — вместо хлеба.

33

Дети сидели за столами, когда вошла Тракторина Петровна. Привычно, как «Отче наш», проговорила: «Пионерыкборьбеделокоммунистическойпартиибольшевиковбудьтеготовы!»

— Га-га гагага! — грохнула столовая привычно и набросилась на еду.

Ганна и Марат ждали.

Вот Тракторина Петровна вздохнула, ложкой попробовала кашу.

— Каша недосолена, — сказала она. Взяла соль, посолила. Долго размешивала кашу, сидела, о чем-то думая над нею. Задумавшись, взяла лепешку, поднесла ко рту...

— Я! Я! Я! — закричала вдруг Ганна, вскочив. Марат держал ее, она вырывалась.

Тракторина Петровна удивленно смотрела, надкусывая лепешку.

Ганна вырвалась, подбежала, выхватила лепешку изо рта, бросила на пол.

Тракторина Петровна налилась красной кровью, наклонилась поднять.

Ганна ее оттолкнула.

— Я! — кричала она, затаптывая лепешку ногой.

— Яд? — поняла Тракторина Петровна. — Кто сегодня дежурный?

Марат медленно вставал.

34

Ночью из окошка башни доносились удары кнута и крики Марата.

Ганна стояла под старым кленом. Вдрагивала телом от каждого удара. На земле металась огромная тень сторожа. Потом вдруг все затихло. Ганна поплевала на руки и полезла на дерево. Осторожно заглянула в окно.

35

Огромная спина сторожа ворочалась перед окном. То наклонялась, то выпрямлялась. Ганна от каждого движения спины пряталась за ветку.

Наконец спина отодвинулась, отошла.

Прямо на нее смотрел мертвый Марат, повешенный сторожем.

Лицо Марата было заплакано.

36

Ганна закричала так, что задрожали листья.

Сторож подошел к окну, невидяще вглядывался во тьму. Потом побежал вниз, громыхая сапогами.

— Ганна! Слезай! — услышала Ганна голос Тракторины Петровны. — И не кричи так. Ребят разбудишь. Слезай, кому говорю!

Ганна обхватила дерево еще крепче. Затаилась. Услышала тихий разговор внизу:

— Он мертв? Ты проверял? Она видела все? Что будем делать, Егорыч? Ее убирать надо...

Сторож подошел к дереву, изо всех сил потряс его. Дерево закачалось, словно в бурю. Ганна крепко прижалась к стволу. Потряс еще. Ушел.

— Слезай, Ганна! Ты же хорошая девочка. Ты добрая честная девочка. Ты мне жизнь спасла. Я тебя не трону. Чего ты испугалась? Что Марат умер? Так он сам виноват. Зачем он хотел отравить меня? Вот он и повесился от страха! От страха перед наказанием. Он сам, сам повесился! Сам! Слезай, Ганна. Слезай, детонька...

Ганна залезала еще выше.

Дерево вдруг вздрогнуло от удара топора. Еще раз и еще.

Сторож яростно рубил дерево.

Ганна испуганно посмотрела вниз. Тракторина Петровна ей с земли кричала:

— Слезай, дрянь! Я тебя собственными руками задушу! И никто не спросит! От холеры умерла, скажу! Подойти побоятся!

Ганна забралась на самую верхнюю ветку. Собралась с нее на крышу башни перепрыгнуть.

— Прыгай, прыгай! Упадешь — разобьешься! Там три метра до башни, не меньше!

Что-то прошептала Ганна неслышное и — прыгнула. И тут же повалилось дерево.

Огромное, оно падало прямо на Тракторину Петровну. Тракторина Петровна с криком бежала от падающего дерева. Дерево догнало ее, свалило с ног. Придавило.

37

Ганна переползла с крыши вниз, перелезла через забор.

Побежала по селу, оглянулась: нет никого за нею. Перешла на шаг. Повернула привычно к базару. Около деревянного магазина легла в пыль, свернувшись калачиком.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

1

Утром Ганна обходила ряды. Стояла напротив торговков, глазами выпрашивая подавание. Торговки были чужие, приезжие. Ганну не знали. Одна, мордастая, с нежностью, будто ребенку лицо, вытирала тряпочкой копченую голову свињи.

— Иди, девочка, мимо. Самим есть нечего. С голоду пухнем!

Тогда села Ганна у магазина и запела:

На улице дождь, дождь
Землю поливает,
Землю поливает —
Брат сестру качает.
Брат сестру качает —
Песню напевает:
Ой, сестра, сестрица,
Вырастешь большая,
Вырастешь большая —
Отдам тебя замуж
В деревню чужую.
Мужики там злые,
Дерутся кольями.
На улице дождь, дождь
Землю поливает...

Народ шел по своим утренним делам, Ганны не замечая.

Одна молодая баба остановилась, сказала, пирожок откусывая:

— Ну, нагнала тоску... Ни кусочка не дала б за такую песню.

Другая баба шла с коромыслом. Несла ведра, полные молока. Ни к кому не обращаясь, в пустоту сказала:

— Про наше село поет. Только у нас не мужики, а бабы злые. — К Ганне повернулась: — Дай, дочка, во что молока налить...

Ганна поискала — нет ничего. Подставила ковшиком руки. Баба налила ей из ведра молока в ладошки.

Ганна стала пить. Молоко между пальцев уходило в пыль.

Подполз другой нищий, ударил по рукам снизу. Молоко разлилось.

— Вали отсюда! Это мое место.

Сел рядом, начал Ганну выталкивать. Не заметили, как милиционер подошел.

— Прекрати мне девчонку обижать! Э! Да не тебя ли мы ищем? — взгляделся в Ганну. — Ты из детдома?

Ганна отодвинулась, кивнула: да. Потом покачала головой: нет.

— Так да или нет? Говори! Или ты немая? Точно, немая! И та, сказали, тоже немая. Детишек потравила ядом и воспитательницу. Ее по всему району ищут, а она здесь сидит, под боком. Вставай, пошли! Тюрьма по тебе плачет! — Милиционер больно схватил Ганну за плечо.

— Какая она немая? Пела здесь только что! — вступилась баба с ведрами.
— Пела? — засомневался милиционер.

Ганна вырвалась, побежала.

— Держи! — закричал милиционер. — Она это, точно она!

Ганна бежала через базарную площадь. Милиционер уже настигал ее.

Вдруг из ворот выехала телега. Ганна бежала-бежала за ней, запрыгнула. Мужичок оглянулся, ударил лошадь изо всех сил:

— Но, пошла, милая! Пошла! Пошла!

— Стой, стрелять буду! — Милиционер достал из кобуры пистолет, выстрелил в воздух.

— Не пугай, непуганые! — Мужичок стоял во весь рост, торжествуя, правил.

2

Ехали по дороге шагом. Мужичок спросил:

— Это ты на базаре пела?

Ганна кивнула.

— Я слышал... Хорошо поешь, жалобно. Он в тебя стрелял за то, что пела?

Ганна подняла плечи: не знаю, мол.

— За песню стрелял! Я знаю! — уверенно сказал мужичок. — Все дочиста отобрали, теперь последнее отбирают — песню! Вымрет народ русский без песни! — разволновался мужичок, потом подумал, сказал Ганне: — Ты не бойся. Я тебя спрячу. Будешь в моем саду песни петь!

3

Мужичок в саду с пугала одежду взял, Ганне протянул:

— Наряжайся. Будешь песни в саду петь — птиц распугивать. Повಾದились вишни склевывать. Ты ходи, в бубен бей, песни пой. Революционные песни пой, они ихних песен боятся. Птица, а чувствует. Только не усни. У нас птицы есть — в голод к человечине привыкли. Заклюют!

4

Ганна ходила по саду, среди вишен. Била в бубен, яростно пела:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И как один умрем
В борьбе за это!

Птицы сидели на большом тополе, слушали.

Уморилась Ганна. Села отдохнуть и заснула.

Проснулась — прикоснулся кто-то. Открыла глаза — птицы ходят по земле, видимо-невидимо.

— Га! Га! Га! — закричала Ганна на птиц. Целая черная туча птиц поднялась над Ганной. Пьяные от вишен, с красными клювами.

— Га! Га! Га! — над Ганной кричат.

Посмотрела Ганна на ноги: босые ноги были по щиколотку красными — от раздавленных вишен. Бегала по кровавой от вишен земле.

— А-а-а! — кидалась на птиц с палкой. Птицы были молодые, воронята. Но вот и старые черные вороны сорвались с тополя, закружились над головой Ганны низко-низко. Ганна испугалась, побежала от них.

Они летели за ней черной стаей, злобно кричали. Гнали ее долго, до самого дома.

5

Забегала в незнакомый дом без стука. Вошла в первую комнату — никого. Вошла во вторую — никого. На столе увидела миски, в мисках — горячие щи. Хлеб нарезан. Протянула руку к хлебу. Отдернула. Сглотнула слюну.

Кто-то закашлял под полом. Посмотрела Ганна: погреб. Потянула за крышку.

Три мужика с ружьями да три бабы с ребятами испуганно смотрели на нее.

— Ратуйте, люди, ратуйте! — вдруг пронзительно закричала одна баба. — Грабят! — замахнулась топором на Ганну.

Ганна со страху захлопнула крышку, побежала вон из дома. Бежала через огороды, а вслед ей несло:

— Ратуйте, люди, ратуйте! — Баба стояла на соломенной крыше, размахивая цветастым платком.

И кто-то бил в рельс, как на пожаре.

6

Пробиралась через поле. Вдруг увидела: мальчик с девочкой поле падут. Мальчик в плуг впрягся вместо лошади. Девочка за плугом идет, кроха совсем, от усталости падает.

— Устала я, братик, пить хочу, — пожаловалась кроха.

— Еще круг пройдем, Маша, тогда и напьешься.

— Не могу, Ваня. Мбчи нет...

Подошла Ганна к крохе, перехватила ручки плуга. Широким шагом пошла за мальчиком. Мальчик оглянулся, заулыбался:

— И-го-го! — взбрыкнул он по-лошадиному, пошел быстрее.

Ганна засмеялась.

7

Сидели у вечернего костра. Мальчик картофелины пек, проверял прутиком, испеклись или нет, снова в костер их закатывал.

— Мать с отцом неделю назад забрали. И брата старшего забрали. Остались мы с Машей одни. Сказали, и нас отвезут куда-то. На машине, сказали, повезут, на настоящей. Да вот что-то не едут. Может, забудут про нас? Кто кормить нас зимой будет? Вот и пашем... Машка, не спи!

8

Маша заснула на руках у Ганны. Ганна закутала ее в свой платок. Прижала к себе.

Ослепили вдруг фары. Дети вскочили. Подъехала машина.

Вышел шофер из машины:

— Беклемишевы?

— Мы, — сказал мальчик.

— Поехали.

— Картохи еще не спеклись. Подождите, — попросил мальчик.

— Некогда ждать. Там накормят.

Ганна стояла, Машу на руках держала. Мальчик сказал:

— Поехали с нами. Покатаешься.

Сели в машину, поехали. На дорогу смотрели.

— Здорово, да? — оглянулся на Ганну мальчик.

Та кивнула счастливо.

— Заяц, заяц! — закричал мальчик. — Быстро едем.

— За час доедем, — ответил шофер.

— А куда вы нас везете?

— А вы что, не знаете? В детдом. В соседнее село, где глухонемые.

Ганна стала стучать кулаком по стеклу.

— Ты чего? — спросил шофер. — На двор хочешь?

Остановились. Ганна в лесок побежала. Шофер и мальчик у колеса стояли, журчали. Разговаривали.

— А там хорошо, в детдоме? — спрашивал мальчик.

— Кормят там хорошо.

— Это главное, — сказал, как большой, мальчик.

Ганна бежала по полю. Убегала.

— Девочка! Вернись! Вернись! Поехали! — кричали ей.

Полоснули фарами. Перед Ганной ее огромная тень бежала.

Уехали.

9

Подошла к дому. Села на порог. Постучать не решилась. Долго сидела. Вышла хозяйка помой вылить. Увидела Ганну:

— Ох, напугала! Ты что тут, девочка, сидишь так поздно? Тут, девочка, сидеть нельзя.

Ганна встала, не уходила.

— Тебе ночевать негде? — догадалась женщина. — Ладно, переночуй пока в хлеву.

Услышала мужской голос, крикнула голосу:

— Сейчас приду!

Завела Ганну в хлев. Вылила помой свинье.

В темноте пошла Ганна на хлюпающий звук. Свинья, громко чавкая, ела из корыта помой. Ганна села рядом. Взяла из корыта корку, начала жевать. Потом выловила картофелину. Съела.

10

Утром Ганна таскала в поле снопы. Помогала хозяевам.

Хозяйка стояла на стогу, улыбаясь, сказала мужу:

— А хорошая девочка. Может, себе оставим?

Муж хмуро молчал. Потом сказал:

— Картошку пошли копать, болтаешь... Мне ночью на работу.

— Ночью? — встрепенулась хозяйка.

— Банда кулацкая в нашем районе объявилась. Лешка Орляк атаманом у них.

— Лешка? Он же такой тихоня был...

— Он и сейчас негромкий. Тихо убивает!

Ганна собирала в ведро картошку. Хозяин выкапывал. Хмуро, неотступно глядел на Ганну сверху. Ганна поднимала голову: видела шрам на его лице, — глаза испуганно опускала.

Вечером ужинали. Ганне налили молока, дали хлеба. Усталая, ела Ганна. Хозяин ушел за перегородку.

Вышел в форме НКВД. Ганна его узнала: он тетку Харыту арестовывал.

— Ну, я пошел.

— С Богом, — перекрестила его хозяйка. — А мы с девочкой спать будем укладываться.

— Девочку закроешь в хлеву, — строго сказал хозяин. — Нечего баловать.

11

Ночью, когда Ганна спала, открылась вдруг дверь. Ганна проснулась. Тихо, крадучись вошел в хлев хозяин. Невидяще шел, на ощупь. Ганна привстала, отползла. Хозяин оглянулся, пошел на шорох. Ганна встала, попятилась, забилась в угол. Спрятаться больше было негде. Хозяин подошел к ней.

— Вот ты где, — прошептал, — Ганна.

Ганна вздрогнула, имя свое услышав.

— Я тебя сразу узнал. Ты из детдома. Сегодня справки навел. Ты там делов наделала!

Ганна от его слов вздрагивала, как от ударов.

— Я тебя должен сдать.

Ганна от ужаса закрыла лицо руками.

— Но я не сдам тебя.

Ганна удивленно взглянула на него.

— Я не зверь! — закричал. — Я не зверь! Я не хочу быть зверем! Вы думаете, что мы звери? А мы люди, мы такие же, как вы! Люди мы! Люди! — Он вдруг заплакал. — Мы такие же люди!

Он плакал. Ганна гладила его, успокаивая.

Потом легко пошла к двери. Открыла. Встала на пороге. Он поднял глаза.

— Ты куда? Ты будешь жить с нами. Не в хлеву. В доме. У нас детей нет. Ты нам дочкой будешь. Хозяйка — матерью будет. Я — отцом.

Ганна покачала головой: нет.

— Гребуешь? Даже ты брезгуешь... — опустил он голову.

Ганна вышла и пошла по пустынной дороге.

— Стой! — закричал хозяин. — Вернись!

Она побежала.

12

Под утро Ганна у дороги легла, в теплой пыли, уснула.

По дороге верблюды шел. Шел — будто плыл, повозку вез. На козлах Канарейки сидели, муж и жена, — волос желт, лица конопаты, с утра — еще солнце не встало — уже пьянехоньки. Сидят в обнимку, песни поют.

Увидела Канарейка Ганну, крикнула верблюду:

— Тпр-р-ру! Стой, Сулеймен!!!

Верблюды не останавливались: не понимал по-русски.

— Тпр-р-ру! Я кому сказала! Який ты! Басурман! — натянула изо всех сил вожжи. — Стой! Дьявол!

Верблюды поглядели на нее бархатным басурманским глазом, встали.

Подошли к Ганне. Ганна крепко спала. Потрясли. Ганна не проснулась.

— Мертвая? — Канарейка мужа спросила.

— ...ртвая... — лыка не вязал.

— Берись за ноги, я за руки. Кидай в повозку!

Закинули спящую Ганну в повозку. Дальше поехали.

13

Спит, не проснется Ганна, снится ей: лежит где-то, на мягком. Куда-то едет. Хорошо. Только запах сладкий душит, к горлу подступает.

Проснулась, голову повернула: мертвый мужик на нее — сидя — смотрит не мигая.

В другую сторону повернула: баба с синим лицом в платочке лежит, платочек чистый на ней, белый.

На белом платке ее сидела зеленая муха, потирая руки.

Поглядела Ганна: сама на трупах лежит — мужики, бабы, дети — все вперемешку. Запах стоял сладкий, тошнотворный.

Большие мухи, осатанев, летали зигзагами, зудели, садились на трупы, беспокойно и быстро ползли по ним и вдруг срывались вверх, взрываясь зудящим звуком: — з-з-з!!! — будто пилою душу распиливали.

— Тп-р-ру! Окаянный! — услышала Ганна.

Повозка остановилась на кладбище, у большой ямы.

Спрыгнули Канарейки с козел, подошли к трупам, потащили за ноги мертвого мужика.

Раскачали, бросили в яму.

Взялись за бабу. Раскачали бабу, бросили.

Ганна ни жива ни мертва в повозке лежала. Взяли Ганну за руки, за ноги. Стали над ямой раскачивать:

— И раз! — считала Канарейка. — И два!..

Забилась Ганна, вырваться стала. Бросили с испугу наземь.

— Гля! Живая! — наклонились оба над Ганной. — Не зашиблась?

Ганна с земли глядела, молчала.

— Тю! А я тебя знаю, — сказала Канарейка. — Ты — немая, из детдома. Ищут тебя. Милиция ищет.

Ганна молчала, смотрела.

Отошли от нее.

Трупы в яму кидали быстро, молча. Присыпали бурой землей.

Сели на козлы.

Повернулась Канарейка к Ганне:

— Сидай, девочка, поехали с нами! Мы тебя так спрячем — черти не дознаются, где ты есть! На баштане тебя сховаем, за Ахтубой!

14

Ехали. Достала Канарейка из-под козел бутылку с самогонкой. Мужу стакан полный налила — выпил, себе тоже — полный, выпила, потом Ганне налила.

— На, держи! — стакан протянула.

Покачала головой Ганна: нет.

— Пей! Чтобы зараза не прилипла!

Ганна выпила глоток, задохнулась.

Засмеялась Канарейка, допила за Ганной, захмелела, разболталась:

— К нам ни одна зараза не липнет! В позапрошлом годе мертвяков возили, тиф был, — к нам не прилип. В том годе от голода мерли — тоже мы возили. В этом годе ездим по всему Царевскому уезду...

— Району, — муж Канарейкин подсказал.

— Теперь так называется, — согласилась Канарейка. — Ездим от Царева до озера Баскунчак, мертвяков собираем. Кругом — от Царицына до Астрахани — холера! Холера ее возьми! А к нам не липнет! Потому рецепт знаем от всех болезней...

Бутылку с самогонкой достала, потрясла:

— Вот он, рецепт!

Мужу плеснула:

— Пей!

Себе налила, сказала:

— Мы как птицы живем. Одним духом! Потому и болезнь не берет!

Выпили — и запели по-птичьи, засвистали, защелкали, будто две птички — две невелички — на облучке сидят, верблюдом правят. Засмеялась Ганна.

За околицей села мужики с берданками как темный лес стоят.

— Стой! — пальнули. — Стой, нечистая сила!

Окружили.

— Вы нам, Канарейки, мертвяков в село не свозите! — закричали. — Не тащите заразу со всей округи!

— То не вам решать! — закричала на них Канарейка. — То власть решает! Приказано было — в одну яму складывать! Эпидемья! Понимать надо!

— Власть одно тебе приказала, а мы другое. Завтра привезешь если — уьем! Шею свернем, как канарейке! — захохотали.

— И куды же мне их девать? Мертвяков? — Канарейка их спрашивала. — Куды?

Огрели верблюда кнутом. Повозка помчалась.

Канарейка всю дорогу сидела, убивалась:

— И куды?

15

На баштан приехали.

Бахчи кругом. То там, то сям огромные, как пороса, арбузы лежали. Ганна шла, об один споткнулась: затрещал арбуз, раскололся, распался на две половины. В сахарную алую мякоть вгрызлась зубами Ганна, ушла всем лицом в алое, сладкое, пропала.

— Брось! Этот гарбуз перезрелый! — Канарейка ее за руку схватила, дальше тащила. — Мы тебе другого гарбуза зарежем! Вот этого! Погляди на него, який красавец! А дынька! Глянь, какая дынька, яка красавица! Дамочка, а не дынька!

Мужу приказала:

— Зарежь нам этого гарбуза и эту дыню!

Муж всадил кривой нож в арбуз, провел кругом — будто горло тому перерезал: заалело под ножом, закапало. Потом дыньку вспорол, кишки ей вычистил. Разрезал на дольки.

Канарейка следила, как муж режет.

— Бандит из тебя добрый выйдет! — похвалила. Ганне сказала: — Хочешь астраханской тюри? — Хлеб с арбузом в миске смешала. — На! — сказала. — Ешь!

Налила в стаканы.

— Выпьем, батька! — мужу сказала. — Гляди, какую мы себе дочку отхватили! — обняла Ганну. — А тебе у нас, доня, нравится?

Ганна кивнула.

— Правда нравится? Это наш дом! — очертила круг до самого горизонта. Пальцем в небо показала: — А це крыша над головой, — засмеялась. — Когда прохудится — дождь льет. Не всегда так жили... — Оглянулась на поле, зашептала: — И дом настоящий был, и хозяйство было, и детки — пятеро — были.

— Молчи лучше, баба! — сказал муж.

— Да она немая, — отмахнулась Канарейка. — Что ей расскажешь, в ней и останется... Так вот, в колхоз нас сгонять стали да раскурочивать тех, кто побогаче. Видим, до нас добираются. В одну ночь собрались, покидали на подводу, что в доме было, детей на узлы, лошадь под уздцы, дом подпалили — и айда: счастья искать. Воли, где колхозов нема. Мы, воронежские, бедовые. Аж до Ташкента дошли. Говорили, что там колхозов нет. По пескам шли по пустынным. Лошадь продали, добро продали — вот Сулеймена купили, верблюда, чтоб по пустыне идти. Там подвода не проедет, в песке, как в снегу, увязнет... Шли, шли, долго шли, пришли до Ташкента — а там колхоз! Обратнo пошли. По дороге деток потеряли — в тифу сгорели все пятеро, — заплакала. — Один за другим, как

свечечки, догорали... Наливай! — закричала вдруг страшным голосом, встала, покачнулась, бутыль опрокинула, бросилась поднимать. Налила, мужу протянула: — Пей!

— Не хочу.

— Пей!

— Не буду!

— Пей! — обняла за шею, поцеловать хотела. Тут верблюд подошел, между ними мохнатую голову просунул, Канарейку от мужа отталкивает.

— Глянь-ка! — засмеялась Канарейка. — Ревнует! Ко всем мужчинам меня ревнует! — радостно Ганне сообщила. К мужу повернулась: — Будешь обижать меня — к верблюду уйду. Ты меня замуж, Сулеймен, возьмешь? Ты меня любишь, Сулеймен? — к Сулеймену приставала. — Иди, я тебя поцелую! — смеялась, в мохнатую морду верблюда целовала.

Муж плюнул, пошел.

— Ты куда? — мужа окликнула.

— Неможется мне что-то, — сказал, ушел в шалаш спать.

Развели с Ганной костер. Положила Канарейка голову Ганны к себе на колени, волосы перебирала, в голове искалась, говорила:

— Будешь с нами, доня, жить. Летом здесь, а зимой на Каспий пойдём, в теплые страны. Мы как птицы перелетные. Русские птицы...

Ганна глядела в небо. Светили звезды.

На звездном небе, как на бахче, лежала большая желтая луна — пахла дыней.

16

Утром Канарейка стала будить мужа:

— Вылезай! Уже солнце встало!

Он молчал. Полезла сама в шалаш.

А он мертвый лежит, неподвижный. Заголосила.

Нарядила его в белую рубаху.

Положила его на зеленую траву.

Лежал на траве, будто спал.

— Ваня! — позвала. — Проснись!

Голубой полевой цветок сорвала, вложила ему в руки — вместо свечки.

Ганну разбудила:

— Батька наш умер. Поехали хоронить!

Вместе с Ганной на повозку его погрузили, повезли.

— Говорила ему вчера: Ваня, выпей! Пей, чтобы зараза не прилипла! — сказала Канарейка. — Не послушал меня. — Заплакала.

У села на горе кордон из мужиков с берданками на конях стоял.

Закричали издали:

— Эй, Канарейки! Поворачивай обратно! Не то стрелять будем! Говорили вам вчера: не вези в село заразу!

— Не заразу везу. Мужа своего!

— А что с ним?

— Да помер!

— Вчера еще живой был, — не поверили. — От чего же помер-то? От холеры?

— Не знаю, — сказала и поехала себе потихоньку в гору. — Может, и от холеры.

— Стой! Куды поехала? Не пускай ее, ребята! — заорал мужик с черной бородой. — Она же смерть нам всем везет! Гони ее, м...у холерную!

Выстрелил. Пуля в плечо Канарейке попала.

— Ах, убивец! — закричала, поводья выпустила.

Мужик с бородой на коне налетел. Глаза от бешенства кровью налились — и у него, и у коня.

— Поворачивай обратно! — гаркнул.

Ганна поводья схватила, развернула повозку.

Мужик верблюда плетью огрел:

— Пошел! Пошел, сатана!

Полетели во весь дух.

Мужики на конях — за ними. Всю дорогу до моста их гнали.

Переехала мост Ганна.

Мужики у моста остановились. На берегу бочку со смолой нашли, на мосту разбили. Подожгли мост.

Смотрели, как разгорается.

— Не вернешься теперь, Канарейка! — через реку закричали. — Конец тебе, холера!

17

Платье кровью намокло.

Ганна платок с головы сняла, рану платком перевязала. Перетащила Канарейку в шалаш.

Та лежала, молчала: в лице ни кровинки. Потом глаза открыла, Ганну увидела, бескровными губами прошептала:

— Видно, он мне главную жилу жизни перебил, — сказала. — Чахну. Прости нас, доню. Позвали тебя к себе, да бросили...

Платок кровью набух.

Ганна перевязывать стала, руки трясутся.

Канарейка приподнялась:

— Там за обрывом — брод. Как умру, уходи отсюда. Видели они тебя. Сулеймена себе возьми. Твой он теперь. — Откинулась, с тоской сказала: — Эх, по-людски похоронить Ваню хотела...

Ганна лопату взяла.

Канарейка глаза в глаза Ганне посмотрела.

— Шире могилу копай, — сказала, — на двоих. Пойдем волю искать на том свете...

18

Верблюд сидел у могилы, не понимал.

Уже ночь настала. Потянула Ганна его за поводья: пойдём. Отвернул от нее голову. Не встал.

Бросила поводья. Пошла к броду.

Оглянулась.

Сулеймен сидел неподвижно, лебединую шею выгнув.

Ганна разделась, подняла одежду над головой, вошла в воду.

19

Обхватила ее Ахтуба руками сильными, будто ждала, потащила за собой. Прогнулась Ганна, как ивовый прут, вырвалась из рук.

Тогда Ахтуба песок из-под ног Ганны уносить стала. Покачнулась Ганна, за корягу схватилась, выстояла.

Пошла потихоньку дальше.

Ахтуба тоже притихла, плескалась об ее бок, будто об лодку, нежно о чем-то журчала.

Звезды в темной воде отражались.

Медленно, будто по звездному небу, шла по реке Ганна, разводя перед собой звезды руками: отгребала их, чтобы не поранить.

До середины реки дошла и — будто заманила ее Ахтуба в ловушку — ухнула вдруг в яму с головой. Бросила Ганна одежду, забила руками, вы-

пльвая. Ахтуба не дала ей плыть, скрутила ее, как зверя, закрутила в воронку.

Вынырнула Ганна, хотела ухватиться за стремительно плывущее на нее, выдернутое откуда-то с корнем дерево — не успела: дерево ударило ее, опрокинуло, оглушило.

Последнее, что услышала Ганна, — звон колокольчиков. Будто звезды бубенчиками в небе звенели. Поглядела на небо Ганна и пошла на дно.

Кто-то ее, за ноги схватив, туда тащил — сильными, страстными руками.

20

На берегу реки у потухшего костра рыбаки спали.

Вдруг услышали звон над рекой, повскакали.

То рыбацкие колокольцы колотились на лесках донок. Зазвенели, грянули разом — и затихли.

— Что это было? — спросил чубатый парень.

— Осетр проплыл, хвостом задел, — ответил Петр Рыбаков, жилистый мужичок в драной фуфаячке, обернулся, закричал остальным: — Иван да Яков! Айда на лодки! Сети выберем! Осетр прямо в них пошел!

Доставали сети.

— Тяжеленный мужик! — Петр в темноте сказал. — С человека будет!

Вытащили на берег, у костра развернули.

В сетях, вся в серебряной чешуе, как большая рыба, Ганна лежала, на рыбаков смотрела.

— Русалочка! — ахнул Чубатый. — Ребята, мы русалку поймали!

21

Подожли с опаской. Стали разглядывать Ганну.

— Дышит ли? Может, утопленница?

Отодвинулась Ганна, закрылась руками.

— Гляди-ка! Русалка, а застыдилась! Закрывается!

— Прятать ей нечего. Девчонка еще...

— А хороша собой русалочка! Красавицей будет, когда вырастет!

Чубатый подошел:

— Расступись, — сказал, курткой рыбацкой Ганну накрыл, на руки взял. — Замерзла? — спросил.

Ганна молчала, только прижалась к нему сильнее.

— Смотри, Андрей, защекотает она тебя до смерти, — сказал Чубатому Петр. — Уснешь, утащит тебя к себе под корягу, в русалочий дом...

Чубатый посадил Ганну у костра. Она села, ноги вытянула.

— Русалка-то без хвоста! — сказал, поглядев, рябой мужик. — Не русалка это!

— И не утопленница, и не русалка... Кто ж, по-твоему? — спросил Чубатый.

— Не знаю, — ответил Рябой. — Доспросить надо. Девочка, как тебя звать?

Ганна молчала, на Рябого смотрела.

Петр у костра с чайником хлопотал. Повернулся, быстро сказал:

— Не понимает, видно, по-нашему, — потом по лбу себя ударил: — Да это же Туба! Как я сразу-то не догадался!

— Что за Туба такая? — спросил Чубатый.

— Ханская дочь! Дочка хана Мамаю — Туба. Али не слыхал про нее? — волновался Петр.

— Не слыхал.

— Ну как же! У хана Мамаю дочка была. Красавица, умница. Тубой ее звали. А время на Руси тогда татарское было. Тогда князя русские к тата-

рам на поклон ходили, сюда, к нам, в Астраханскую область. Баюют, что она тогда царством была, Золотой Ордой называлась. Где Царев сейчас — там их столица была, называлась — Сарай. Вот в этот Сарай князья ходили, дань платили, княжества себе выпрашивали. Считай, что здесь — столица Руси тогда была, все здесь у нас решалось. Вот пришел к Мамаю русский князь Дмитрий, себе землю на власть просить. Увидел Тубу, да и влюбился по уши. А Туба-то — в него. Ей тогда лет тринадцать было. Для нас сейчас она дитё, а у них в этих годах замуж отдавали. Вот он и посватался: «Отдай, — говорит, — за меня свою дочку Тубу, хан Мамай!» Тот разгневался. Как так? Русский холоп руки царской дочери просит! Вон, говорит, пошел! Ни земли тебе не дам, ни власти, ни дочери своей — холопу! Разозлился Дмитрий. Ах так, говорит, не хочешь отдать по-хорошему, отдашь по-плохому. И поскакал на Русь войска собирать, на Мамаю войной идти. А Тубе приказал себя ждать. Жди, говорит. Уехал. Слухи пошли, что войска собирает. Испугался хан Мамай, решил Тубу сплавить от греха подальше — замуж за крымского хана отдать. Ее еще в утробе матери за него просватали. Так у них, у татарей, заведено. Приехал крымский хан в Сарай с калымом, невесту выкупать. Сам старый, облезлый. «Вот тебе жених, — говорит Мамай Тубе. — Через три дня свадьба». Посмотрела на него Туба, ничего отцу не сказала, ушла. Там-то у себя и заплакала. Написала Дмитрию весточку: приезжай, мол, скорее, — и на Русь ту весточку с верным гонцом отправила. Весела стала, с женихом ласкова, улыбается, вида не показывает. Сама Дмитрия ждет. И день ждет, и второй ждет. Вот третий день наступает — день свадьбы. С утра отару баранов на двор привели, резать стали, закипели котлы кипучие, бешбармак к свадьбе готовят. Тубу в свадебное платье наряжают, под венец ведут. А она ждет Дмитрия, ждет-пождет до последнего. Вот сажает молодых ихний татарский батюшка за занавеску — у них так — и через занавеску жениха спрашивает: «Женился ли ты, хан крымский, на Тубе?» — «Женился!» — отвечает. Тут он Тубу спрашивает: «Вышла ли ты замуж, Туба, за хана крымского?» А ей сказать надо, что, мол, вышла. Как скажет, так дело сделано, свадебка слажена, обратно не вернешь. У татар так. Но молчит Туба. Опять ее спрашивает батюшка: «Вышла ли ты замуж, Туба?» Молчит Туба. А в третий раз только начал спрашивать, она из-за занавески как выскочит, как побежит из хаты, выбежала в степь, побежала на реку и вот с этого моста, около нас, что на бахчи ведет, — прыгнула и утопилась! Мамай на мост прибежал, заплакал, закричал:

— Ах, Туба! — закричал. — Ах, Туба!

С того и река зовется: Ахтуба.

— А Дмитрий что ж? — не выдержал Чубатый. — Так и не приехал?

— Как не приехать? Приехал... Не успел он немного. Не один, с войском ехал. Потому и опоздал! Мамай выведал, что Дмитрий к нему войной идет, ему навстречу тьму послал — так у татар войско называлось. Вот встретились свет и тьма — Дмитрий и Мамай — на поле Куликовом. Сверкают сабли булатные, катятся шеломы злаченные добрым коням под копыта. Валяются головы многих богатырей с добрых коней на сыру землю. Три дня и три ночи бились. Кровь русская с кровью татарской вперемешку по оврагам, будто по руслам, реками текла, в Волгу впадала. Волга вся красная была. Победили мы, русские. Кончился для русских полон татарский. Подъехал князь Дмитрий после битвы к полю Куликову, встал у края. Подъехал хан Мамай после битвы к полю Куликову, встал у другого края. Встали у поля Куликова, стоят смотрят: изустлано поле мертвыми телами, христианами да татарами. Христиане как свечи теплятся, а татары как смола черна лежат. Видят: сама Матерь Божья по полю ходит, за ней апостолы господни, архангелы — ангелы святые со светлыми со свечами, отпевают мощи православных. Кадит на них сама Мать Пресвятая Богородица, и венцы с небес на них сходят. Устрашился Мамай: «Велик Бог земли русской!» — сказал и в Золотую Орду побежал. Прибежал, говорит татар-

ским бабам: «Всех ваших мужиков русские поубивали, теперь сюда за вами идут, скоро будут. Спасайтесь кто может!» Сказал — и тикать: с крымским ханом в Крым убог. А бабы что? Бабам деваться некуда. Сели они всей своей женской ордой в степи да давай плакать, своих татарских мужиков оплакивать. Девять дней и девять ночей плакали. Целых два озера слез наплакали — Баскунчак и Эльтон, — до сих пор там соль добывают. Потом русские пришли, женок татарских расхватили, домой к себе — на Русь — увезли...

— А Дмитрий? Он-то что? — не выдержал опять Чубатый.

— Дмитрий раньше войска своего в Сарай приехал. Приехал, к ханскому дворцу подскакал, спешился, вошел во дворец, а там никого. Одного слугу нашел. Где, у слуги спрашивает, Туба? Нету, говорит слуга, Тубы. А где, спрашивает, Мамай? С зятем убог, отвечает слуга. Каким таким зятем? Крымским ханом, женихом Тубы. Задрожал Дмитрий: с женихом?! Значит, не дождалась, спрашивает, меня моя возлюбленная Туба? Молчит слуга, боится правду сказать. Дмитрий постоял-постоял, повернулся и прочь пошел. Вышел, пошел к реке. Упал на берег лицом в траву-мураву и заплакал:

— Ах, — плачет, — Туба! Ах, — плачет, — изменщица!

Вдруг чует: по кудрям его кто-то ладошкой провел: легко так, словно ветер.

Поднял голову: Туба!

Стоит перед ним в венке из белых лилий, как невеста.

— Не изменщица я, — говорит. — Я от жениха, от хана крымского, убежала. И тебя, моего суженого, три дня и три ночи, а потом еще девять дней и девять ночей, да еще три дня и три ночи ждала-дождалась. Вот дождалась.

Обнял ее Дмитрий, поцеловал, глядит на милую свою — не наглядится.

— Сегодня же, — говорит, — свадьбу сыграем.

— А любишь ли ты меня, Дмитрий? — спрашивает Туба.

— Люблю, — отвечает Дмитрий.

— Крепко ли любишь? — пытается Туба.

— Крепко, — отвечает.

— А пойдешь ли со мной?

— С тобой — хоть на край света!

— Так пойдём...

Взяла его за руку и повела за собой в реку.

Идет Дмитрий за ней как во сне: все дальше и дальше. Уж глыбоко стало! А впереди — шаг шагнуть — и яма: черная вода над нею, будто уха в котелке, кипит, ходуном ходит, щепки да палки в воронку закручивает.

Туба Дмитрия к яме тянет. Он за ней идет. Только и спросил:

— Куда мы?

— В дом мой новый, — отвечает Туба. — Там уже к свадьбе все приготовлено...

И Дмитрия — толк в яму! Следом сама прыгнула.

И закурило их, завертело, в черную воронку засасало.

22

Очнулся Дмитрий, озирается. Видит: сидит он женихом на своей свадьбе. За дубовым столом сидит на стуле-золоте, во дворце кристальном. Рядом с ним его невеста, Туба. Слуги в красных кушаках носятся, блюда на столы мечут. Вокруг — парни и девчата в венках: поют да пляшут, молодых славят.

Чего хотела душа, то и сбылось.

Только нехорошо что-то Дмитрию, будто на сердце камень тяжелый лег, дышать не дает, давит.

Тут старик старый — седые усы до плеч — чашу поднял:

— За здоровье молодых, — говорит, — царя Дмитрия и царицы Тубы!

Дивуется Дмитрий: какой он царь?

А старик вино пригубил:

— Горько! — говорит. — Подластить надо!

Тут все «горько!» закричали.

Встал Дмитрий. И Туба встала.

Поглядел на свою зазнобушку Дмитрий — и забыл тоску-кручину: смотрит на него Туба глазами — ясными звездочками, губки аленьки ему для поцалуя подставляет.

Весело, хорошо стало Дмитрию!

И уж поцеловать хотел Тубу Дмитрий, обнял ее покрепче, обхватил за бока, к себе Тубу клонит. Только чувствует вдруг под руками что-то склизкое, словно он не Тубу обнимает, а налима скользкого, будто рыба слизь под руками — нехватишь! Глянул вниз — а там у Тубы вместо платья — рыбий хвост!

Догадался Дмитрий, куда попал. Пригляделся, видит: то не старый старик — усы до плеч — «горько!» кричит, — то сом усатый пузыри пускает. То не слуги в красных кушаках, — то раки с клешнями носятся, блюда с мертвечиной на стол мечут. То не девки с парнями поют да пляшут, а утопленники.

Оттолкнул Дмитрий от себя Тубу. Закричал что есть мочи. Стол дубовый поднял и ударил в стены дворца кристальные. Разбились стены.

Дмитрий за доску дубовую ухватился, от речного дна оттолкнулся — выплыл наверх.

Выплыл, на берег вышел, не чует: жив ли он еще али нет?

Смотрит — жив.

Позвал коня своего буланого. На Русь домой собирается.

А русалочка уж тут как тут. В реке у берега плещется, просит Дмитрия жалобным голосом:

— Не покидай меня, Дмитрий. Не уезжай!

— Обманула ты меня, Туба, — говорит Дмитрий. — Не сказала, что русалкой стала.

— За тебя я жизнь отдала! Царицей речною стала! Вернись — и ты царем станешь! Сокровища в нашем царстве речном несметны...

— Нет, — отвечает Дмитрий. — Лучше князем быть на святой Руси, чем царем в речном царстве.

Сел на коня. Через брод поехал. Туба ему в стремя вцепилась, заплакала.

— Не пуцу, — говорит. — Не могу без тебя. Люблю тебя больше жизни.

Заплакал тогда и Дмитрий.

— Люблю тебя и я, — отвечает. — Да только не судьба нам, видно, на этом свете вместе быть. Может, на том свете Бог над нами сжалится...

Поцеловал ее крепко.

— Прости и прощай! — говорит.

Отпустила Туба стремя.

23

— Так и уехал? — спросил Чубатый.

— Так и уехал. На Руси себе женку нашел, Евдокией ее, бают, звали. Детки у них пошли.

— А Туба?

— А Туба речной царицей стала. В Ахтубе до сей поры живет, в реке. Днем она плещется, с людьми вместе плавает. Но кто зазеваается — догонит, за ноги схватит и на дно к себе утащит. Особенно малых ребят и дев-

чат любит топить. Оно и понятно: скучно ей на дне, играцца ей с ними хочется, ведь совсем дитё еще... А как ночь настает, кличет Туба своего золотого коня и под степью на золотом коне скачет...

— Под степью? На золотом коне? — поднял голову Чубатый.

— На нем. Говорят, хан Мамай когда убежал, все свое золото расплавил и во весь рост — золотого коня — отлил! Схоронил коня в степи.

— Где ж он его зарыл? — облизнул сухие губы Рябой.

— Про то не знает никто. Уж сотни лет того золотого коня ищут — не найдут никак. Баят, как ночь, конь золотой с Тубой под степью скачет, золотыми копытами под землей стучит. А днем на место возвращается, где его Мамай закопал: лежит, весь день отсыпается... — сказал Петр. — Только в одну ночь в году не зовет Туба золотого коня, не кличет. Раз в году, в ночь на Ивана Купала, выходит Туба на берег, на иву плакучую садится и Дмитрия зовет, приговаривает: «Где ты, светлое красно солнышко, красно солнышко, князь Дмитрий! Ты приди ко мне, красной девице. И свети во весь, во весь долгий день. Надо мною...» И всю-то ночь она по Дмитрию плачет. Да так жалобно, тоненько так...

Вдруг заплакал кто-то в ночи: жалобно, тоненько, — и замолк.

— Чу! — Петр привстал. — Слыхали?! Она плачет!

И опять заплакал кто-то жалобно, как ребенок, — и опять замолк.

Повскакали рыбаки, в темноту — хоть глаз выколи — вглядывались.

И третий раз заплакал кто-то горько-горько, неудержимо.

Заозирались.

Плакали совсем рядом, у костра.

Подошли — Ганна у разошедшей лодки сидит, в рыбацкую куртку с головой закуталась, плачет.

Лицо открыли: будто дождем лицо залито. Плечики от плача дрожат.

— А ведь правда она это! Туба! Ханская дочь! — изумился Чубатый. — Вишь, услышала про своего Дмитрия и заплакала.

— Ханская? — переспросил Рябой. — Тогда надобно сдать ее властям!

— Это зачем же? — удивился Чубатый.

— Хан — по-нашему будет — царь, — сказал Рябой. — Ведь так?

— Ну, так, — согласился Чубатый.

— А раз так, то она по-нашему — царская дочка. Так?

— Ну, так, — опять согласился Чубатый.

— Вот и выходит, — сказал торжественным голосом Рябой, — что мы царскую дочь у себя укрываем!..

Стихи все. Молча на Рябого смотрели.

Петр к нему в своей драненькой фуфаячке бочком близко-близко подошел, в лицо тому глянул.

— Ишь ты! — непонятно чему восхитился.

Да как хажнет кулаком Рябого по лбу!

Наклонился над ним, когда тот упал, со лба его комара снял.

— Вот, — показал комара остальным. — Комарика убил! Гада сосу-щего...

Засмеялся:

— Добро сделал Стенька Разин, что комара не заклил. Наши-то, рыбаки астраханские, все к нему приставали: «Закляни да заклини у нас комара. Спасу, мол, от комарья нету!» А Стенька им отвечает: «Не заклину, — говорит, — вы же без рыбы насидитесь!» Так и не заклил.

Отошел Петр от Рябого, к костру подсел, подбросил поленьев в костер.

Рябой кряхтя с четверенек встал, утерся, на Ганну угли глаз уставил.

— А все ж расспросить девку надо! — повторил с угрозой.

— Ты опять за свое? — повернулся к нему Петр.

— Клады пусть укажет! — закричал Рябой. — Где отец ее, Мамай, золотого коня зарыл. А не скажет — властям ее сдать! Пусть допросят. Они любого говорить заставят!

Ганна со страхом взглянула на Рябого. Побежала, спряталась за спину Петра.

Петр с земли поднялся.

— Ты вот что... Ты от девочки отстань! — Рябому сказал. И строго добавил: — Не бери грех на душу! Запомни! Мы — рыбаки, артель Христова: никого не сдаем, не предаем! Когда Христос на землю с неба спустится второй раз, то к нам первым придет, нас первых спросит: как вы тут без Меня были? Что мы Ему ответим?

Укутал Ганну потеплее.

— Спи, — сказал. — А мы рыбки тебе наловим, утром ухи наварим...

Повернулся к остальным Петр, закричал:

— Эй! Рыбаки! Вставайте! Андрей! Иван! Яков старший да Яков младший! Семен! Фаддей! Филипп! Матвей! Варфоломей! Фома! Айда на лодки! Сети поставим: скоро рыба пойдет...

Заплескались лодки в реке.

Рыбаки закинули сети.

Тихо стало.

Слышно было, как Петр над рекою молится:

— Честные ангелы-архангелы наши! Берегите и стерегите нашу рыбную ловлю: во всяк час, во всяк день и во всяку ночь. Силою честного и животворящего креста Господня, сохраняя нас, Господи, рыболовов, на древе крестном распятый Иисус Христос!..

Ганна закрыла глаза. Легла на землю. Ухо к земле приложила. Услышала: конь золотой под землей скачет, золотыми копытами стучит.

Сладко заснула.

24

На рассвете почуяла Ганна: перешагнул через нее кто-то осторожно.

Открыла глаза. Увидела чью-то спину, пошевелилась.

Человек оглянулся на нее — Рябой. Наклонился.

— Спи-спи-спи, — прошептал испуганно.

И пошел, озираясь, от костра к дороге.

Повернулась на другой бок Ганна, заснула.

25

Через минуту проснулась опять. Вскочила будто ужаленная.

Выбежала на дорогу: Рябой быстро шел по дороге к деревне.

Испугалась Ганна. К рыбакам сказать побежала.

Рыбаки у потухшего костра, как богатыри убитые, лежали, крепко спали.

Заметалась Ганна. Куда спрятаться, не знала.

Побежала к реке тогда, к броду.

Спустилась к воде, смотрит: как корабль, верблюд по реке плывет, Сулеймен.

Пошла ему навстречу. Сулеймен подплыл к ней. Обняла его за шею руками, на спину влезла, села.

26

Вставало солнце.

Из воды верблюд с Ганной выходил.

Чубатый проснулся, увидел.

— Ах, — ахнул, — Туба! Ханская дочь!

Ударил Ганна босыми пятками верблюда в бок.

Побежал верблюд в степь.

27

Ехала Ганна на верблюде по степи. Есть захотела. Смотрит — в балке вдоль по склонам дикий терн растет. Слезла с верблюда, вниз спустилась.

На колючих кустах, как чернильные капли, черный терен висел.

Потянулась рукой к терну — тернием руку до крови оцарапала.

Облизала кровь, опять потянулась — уколола теперь палец.

Осерчала на терен Ганна, пошла на куст грудью: оцетинился куст терновыми иглами, не подпускает.

Опустилась на землю. Уколотый палец болел сильно. Вверх его подняла, подула.

Вдруг из ниоткуда, будто с неба спустилась, прилетела стрекоза. Шелестя слюдяными крыльями, села на палец.

Замерла, увидев Ганну. Удивленно на нее уставившись, смотрела.

Замерла и Ганна. Выдохнуть боясь, стрекозу разглядывала.

У стрекозы было легкое, почти невесомое, будто ненужное ей, сухое тело. У стрекозы были легкие, прозрачные, как воздух, крылья. На круглой же голове ее помещались два огромных глаза. Они были во всю голову и вместо головы — глаза. Она будто думала глазами. Стрекозу, словно легкую и невесомую душу, спустили с небес на землю — смотреть.

Когда насмотрится — улетит в небо.

Напряженно — выпуклым твердым внимательным взглядом, будто запоминая ее, — смотрела стрекоза на Ганну.

Так и смотрели друг на друга: глаза в глаза.

— Раз верблюд здесь, то и она здесь, — вдруг услышала Ганна знакомый голос. — Далеко не ушла. В балке небось спряталась!

На склоне балки рядом с верблюдом стоял Председатель. Прямо на Ганну смотрел и не видел: солнце глаза слепило.

Размышлял вслух:

— Девчонку поймаем, а верблюда в колхоз заберем. Верблюд может двести дней не жрать. Без жратвы работает. Выгодное животное для колхоза!

К нему подошел Рябой, не видя, тоже слепо, посмотрел на Ганну.

Ганна попятилась. Хрустнула под ней одна веточка — выдала.

— Вот она! — повернув голову, закричал Председатель, указывая на Ганну пальцем.

Рябой бросился вниз, побежал к Ганне.

Ганна быстро легла на живот, поползла, как уж, под терновник. Терновник остя свои спрятал, пропустил Ганну.

Перед Рябым оцетинился, не пускал.

Рябой начал куст ломать. Окровавив руки, выдернул куст. Спряталась Ганна за другой куст. Выдернул и этот.

Побежала Ганна через колючую чашу. Рябой двинулся за ней напролом. Оглянулась Ганна, видит — Рябой ее догоняет, — спряталась за чалый куст. Не дыша за кустом сидела.

— Вон она! — сказал Председатель сверху, указывая на Ганну.

Рябой повернулся, пошел прямо на Ганну. Углями глаз Ганну жег. Схватил куст, стал ломать. Затрещали ветки, словно кости. Наклонился, хотел Ганну схватить — шипы будто ножи в его глаза вонзились. Потухли угли. Зарычал Рябой, как раненый зверь. Закружился на месте, кровавыми глазами на Ганну слепо смотрел, окровавленными руками Ганну поймать пытался.

Увернулась Ганна и побежала, через чашу, через терновник продираясь. Выскочила на другой стороне балки. Побежала в степь.

— Стой! Все равно поймаем! — кричал Председатель с другой стороны балки. — Вернись! От жары в степи сдохнешь, дура!

Ганна уходила все дальше и дальше в степь.

Солнце стояло уже высоко в белом выгоревшем небе.

Степь, стальная от полыни, постепенно накалялась, как сковорода. Становилось жарко.

Руки и тело Ганны были изодраны терновником в кровь, и раны саднили.

Хотелось пить.

Ганна оборачивалась и там, далеко внизу, видела речку, от которой она уходила все дальше. Речка сверкала на солнце и становилась все меньше и меньше, будто усыхала у нее на глазах; ее уже всю можно было поместить в кружку.

Хотелось выпить речку.

Ганна облизывала пересохшие губы.

На лице выступали капли пота и высыхали, оставляя следы соли, — выступали новые капли. Волосы стали мокрыми, темными, и солнечные лучи падали теперь, словно стрелы в мишень, все на темную голову Ганны. Обхватив ее, свою бедную голову, руками, Ганна побежала.

Бежать было некуда. Кругом была степь. Несло жаром как из печи. Ганна в изнеможении села. Хотелось пить, пить, пить...

Увидела под собой зеленые травинки, сорвала одну. Запихнула в рот, начала жевать. Сорвала другую: белыми каплями вытекало из стебля молоко. Обрадовалась, засунула стебель в рот: губы и язык стали горькими — это был молочай. Выплюнула, заплакала. Слезы падали на руки, и Ганна начала их слизывать. Но они были так же горьки, как и молочай. На лице слезы высыхали, и кожу под глазами стянуло, и она зудела от соли.

Она обернулась, чтобы посмотреть на далекую реку с прохладной водой. Река, сверкая и извиваясь, вдруг улыбнулась Ганне злобно сверкающей, лукаво ускользящей змеиной улыбкой и исчезла.

И Ганна поняла вдруг, что не дойдет. С укоризной, как на убийцу, посмотрела на солнце. И увидела: в белом выжженном, словно степь, небе — одиноко, как и она, Ганна, шло маленькое сморщенное солнце и само страдало от жара, неизвестно откуда идущего. Но солнце упорно шло и шло себе по небу.

Надо идти.

Ганна встала и качаясь пошла.

Она шла долго. Голова кружилась. Раны на ее теле кровоточили. Пот заливал лицо, а она все шла и шла, глядя себе под ноги, ощущая боль в пятках от сухой каменной земли и от острых, как иголки, остьев.

А когда вдруг подняла голову — остановилась пораженная, не веря своим глазам.

Перед ней лежало огромное — от края до края — синее озеро.

Счастливая, побежала Ганна к озеру. С разбегу прыгнула в воду.

Соленой водой вдруг обожгло тело. Солью кровавые раны разъедало.

Словно душу насквозь прожгло.

Закричала Ганна от боли:

— ГА-ГА-ГА!!!

До самого неба кричала:

— ГА-ГА-ГА!!!

Озеро было — из слез жен татарских — Баскунчак.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

1

Побиралась Ганна по дворам. Зима наступила.

Кутаясь в лохмотья, стояла у двери дома.

Постучала. Открыли.

— Нет, ничего нет. Ступай, девочка, ступай себе, — захлопнула женщина дверь.

2

В другой двор зашла Ганна. Подошла к дому. Постучала. Никто не открывал.

Вдруг тихо, неожиданно напала на нее сзади огромная лохматая собака, опрокинула. Трепала ее, как куклу. Молча отбивалась от нее Ганна. Рыча, докатила Ганну до калитки. Выскочила Ганна за калитку.

Хозяин вышел на порог.

— Молодец, Буран, — похвалил собаку.

Кинул кусок мяса собаке. Та поймала, проглотила не разжевывая.

3

Побрела дальше Ганна. Снег пошел. Падал медленно, хлопьями.

Ганна закружилась, лоя ртом хлопья. Если поймает, счастливо смеялась. Как злые щенки, мальчишки набросились:

— Дурочка! Дурочка!

Ганна села у стены пустой церкви нахохлившись. Мальчишки отстали. Сидела дрожала от холода. Снег все падал и падал, укрывая землю.

Вдруг ударило над головой Ганны:

Бум!

Земля сотряслась.

И еще раз:

Бум!

Небо задрожало.

Подняла голову: на колокольне — отец Василий стоял, в колокол бил.

Бум! Бум! Бум!!! — медленно густым потоком, будто мед из кувшина, вытекал из колокола звон, золотом разливался над миром.

Выбежали люди из домов. Подняли кверху лица.

— Глянь-ка! Колокол безъязыкий заговорил!

— Отец Василий язык золотой ему вылил!

— Где ж столько золота взял?

— Клад нашел. Клад Стеньки Разина, говорят, ему открылся.

Спешили к церкви и стар и млад.

— Праздник сегодня, православные! Крещение!

4

После службы к реке Подстёпке пошли.

Впереди батюшка, отец Василий, с золотым крестом идет, за ним — весь народ.

Ганна за всем народом последняя идет.

5

Посреди реки крест стоял, изо льда вырубленный, голубой.

Сиял весь на солнце.

Мужики у креста вырубил прорубь.

Освятил отец Василий воду:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Повернулся к народу.

— Крещение сегодня, православные! — сказал. — С праздником!

Поскидывали смелые мужики и парни одежду и в чем мать родила в прорубь попрыгали.

Ледяной водой из проруби в баб плеснули.

Завизжали бабы, рассмеялись. Голых мужиков в проруби снежками забрасывали.

— Все как в старину! — зашептались старухи. — Все как раньше было!

Худая баба санки к проруби везла. На санках запеленутый, как младенец, больной мужик лежал, в небо смотрел.

Подвезла к проруби, пелена раскутала:

— Примите, хрестьяне, мужа моего. Год лежит, не встает. Может, от святой воды получшает ему?

Приняли мужики бледное, исхудавшее, как мощи, тело. С рук передавая на руки, окунули в воду.

Положили, как младенца, на пелена. Укутали.

Мужик лежал-лежал в пеленках, да как заорет на жену благим матом:

— Растуды тебя туды!!! Растудыкалку мою всю мне отморозила! Чем теперь тебя туды я тудыкать буду?

Загоготал народ:

— Глянь-ко! Вылечился! Видно, водица помогла! Святая водица!

Подхватили, закричали:

— Святая водица! Святая! Святая!

С хохотом и криком стали раздеваться все остальные мужики, парни и мальчишки. Сбрасывали с голов шапки, стаскивали с ног валенки, скидывали тулупы, портки, рубахи — и сигали в ледяную воду: аж дух захватывало!

Ганна подошла к проруби, святой воды в ладошку набрала и всю — по ледяному глоточку — выпила...

Вдруг засвистело вдаль, заулюлюкало.

Поглядела Ганна вдаль. По льду темная толпа бежала — лед дрожал — приближалась.

— Мужики! Вылезай из проруби! — закричал парень рядом с Ганной. — Комсомольцы бегут!

Выскочили из воды, порты надели, встали стеной.

6

Подбежал комсомол, темной стеной напротив встал. Будто птенцы вороны, рты раззявили.

— Бога нет!!! — проорали. — Бога нет!!!

Мужики молча стеной стояли.

Заломивши шапку на кудрявой голове, подбоченившись, вышел вперед статный комсомолец-секретарь. Оглядел мужиков зорко.

— Убирайте крест! — закричал.

Мужики стояли стеной, молчали.

За их спиной — крест сиял на солнце ледяной. Слепил комсомольцу глаза.

— Рубите крест! — заслонившись от света, закричал комсомолец.

Не договариваясь, молча мужики сцепились друг с другом руками.

Отец Василий встал у креста, заслонил крест собою.

— Рубите!!! — заорал комсомолец, взбесившись, с пеной у рта. — Нету Бога! Нету!.. Сдох ваш Бог!!!

— Врешь!!! — закричал вдруг кто-то позади мужиков.

Толпа раздалась в обе стороны.

Навстречу статному комсомольцу вышел небольшой — комсомольцу по пояс — мужичок: тело его было все в шрамах от пуль, в рубцах от сабель. Встал напротив, бросил шапку оземь:

— Врешь, собака! Жив Бог! Бог живой!!!

— Батяка? — удивился комсомолец.

— Я, сынок, — ответил.

— Уходи, отец! — приказал сын.

Грудью на отца пошел:

— Ты ж, отец, красноармейцем был, за Советскую власть кровь проливал!

— Против Бога я не воевал! — ответил отец.

Грудью на пути сына встал.

Налились глаза комсомольца кровью.

— Уйди с дороги! — закричал бешено. — Уйди!

Толкнул изо всей силы отца. Упал отец, ударился головой об лед. Кровь изо рта показалась.

Ахнул народ.

Но поднялся, шатаясь, отец. Схаркнул кровь, подошел к сыну.

— Чертов сын! — сказал, размахнулся и ударил его по зубам.

Словно бусы, изо рта на лед белые зубы посыпались, жемчугом по льду раскатились.

— А-а-а!!! — страшно закричал сын окровавленным ртом. — Убью!!! — и пошел на отца.

Будто обнявшись, схватились в смертельной схватке отец и сын.

— Наших бьют!!! — закричали с обеих сторон.

И пошла потеха.

Начался кулачный бой.

7

Все смешалось: голые по пояс мужики, комсомольцы в куртках из чертовой черной кожи, бабы в цветастых полушалках, шнырявшие тут и там мальчишки...

Засвистало кругом, закричало.

Застонало потом, заголосило.

Били друг друга со всего плеча, не жалея, будто булатным топором дубы рубили, сырые дубы крековастые:

— И-ах!!! И-ах!!! И-ахх!!!

...Стукнул мужик комсомольца кулаком — в нос.

Утер комсомолец кровь с соплями, ударил мужика подлым ударом — поддых.

Скрючился мужик, глаза выпучил, ртом воздух хватает. Подышал, размахнулся — скулу комсомольцу своротил, с правой стороны на левую. Потом, на кулак поплевав, в ухо врезал.

Зазвенело в ушах у того. Рассердился. Ледышку со льда подобрал, развернулся, ударил со всего маха мужика — прямо в висок. Повалился мужик на лед как подрубленный.

...Ветряной мельницей — краснорожий мельник — посреди толпы стоял.

— Подходи, комсомол!!! — ревел. — Косточки перемелю!

За шиворот комсомольцев, как мешки с мукой, хватал, лбами сталкивал. Трещали, как орехи, головы. Обвисали, как пустые мешки, тела, — тогда их отбрасывал. Летели с высоты пустые тела, падали со стуком на лед.

...Анна Пшеничная — кулаки как тыквы — ринулась в бой. Ухватила комсомольца за рыжий чуб. Молча за чуб комсомольца таскала — туда-сюда, туда-сюда, — приговаривала:

— Человеком будь, человеком будь...

Не выдержал комсомолец, взмолился:

— Маманя! Больно же! Отпусти чуб, мама! — Личико конопатое в плаче скривил.

Пожалела сына, отпустила чуб:

— Человеком будь, Никола!

Отбежал от матери подальше.

— Бога нет! — закричал ей издали.

Погналась Пшеничная Анна опять за сыном.

Поскользнулась, упала, зашиблась, горько заплакала.

...Плач и стон стояли над побоищем, лилась кругом кровь, трещали кости.

Друг бил друга, брат — брата, сын — отца, отец — сына.

Как щепка с сырого дуба летит, валились на лед бойцы.

— Братья! Опомнитесь! Побойтесь Бога! Братья! — ходил между бившимися и зывал к ним отец Василий. — Избави нас, Господи, от ненависти, злобы, немирности и нелюбы... — зывал он к небу. Вставал меж дерущихся: — Братья...

Ослепнув, били его с двух сторон: оттуда и отсюда.

8

Ганна сидела спрятавшись за крест, дрожала.

Вдруг услышала тяжелый, будто удары каменного сердца, топот.

Топот приближался. Ганна выглянула из-за креста.

Во весь опор скакали по льду всадники в военных фуражках.

Подлетели.

— Разойдись! — закричали.

Кнутами били и тех, и других.

Огрели комсомольца: рубец на лице вспух.

— Энкавэдэ, — вслед глядя, угрюмо сказал, утерся.

Конями лежащих на льду топтали.

Один — прямо на Анну Пшеничную шел.

Бросились к коню с одной стороны — отец Василий, с другой — рыжий Никола, схватили коня под уздцы.

Встал на дыбы конь.

Покатился с лошади кубарем всадник.

Тут же налетели на отца Василия и Николу другие всадники, подхватили их под руки, подтащили к проруби, ударили со всей силы кнутовищем по голове, столкнули обоих в черную воду.

Толпа ахнула.

Очнувшись, побежали люди к проруби.

9

Неподвижная лежала черная вода в полынье, стыла.

— Батюшка! Отец Василий! — над полынью Марья Боканёва плакала, отца Василия дочь духовная.

По льду к полынью Анна Пшеничная ползла.

Подползла, заглянула в бездну.

— Никола! Сынок! — позвала.

Вызывала его из полыньи, будто с гулянки звала, с улицы ужинать.

— Где ты, Никола? Никола!!! — закричала.

И, будто услышав мать, вздохнул кто-то там, на дне. По черной воде пузыри пошли.

Выплыла рыжая голова Николы. Схватила Анна его за рыжий чуб, поднатужилась, вытащила сына. Полежал немного Никола, открыл конопатые глаза.

— Мама, — сказал. — Больно же!

И закрыл глаза.

Заголосила мать.

10

— Разойдись! Разойдись! — закричали энкавэдэшники.

Погнали людей кнутами на берег.

Впереди Анна Пшеничная шла, сына на руках несла. Словно спящий лежал.

Марья Боканёва у полыньи осталась. Сидела у полыньи, словно около могилы отца Василия. На могиле — крест стоял ледяной, сверкал на солнце.

— Пошла! Пошла! — вернулись на конях за Марьей.

— Не пойду! — закричала.

Схватили Марью, через коня положили, повезли.

— Изверги! Изверги! — кричала.

Ганна со всеми побежала.

Один ее догнал, ударил кнутом. Оглянулась: на коне человек со шрамом — тот, из хлева. Увидел ее.

— Ганна? — узнал.

Побежала Ганна на другой берег. Повернул коня, поскакал за ней:

— Постой, Ганна!

На берегу бревна лежали — коню не проехать, — прыгнула на них, побежала.

Остановился с конем у бревен. Спешился. Побежал за ней по бревнам.

Выбежала Ганна в чистое поле. Побежала по насту.

Он за ней побежал, провалился по пояс в снег.

— Я не виноват! — крикнул Ганне вслед. — Нас сюда послали!

Отстал.

11

Долго бежала Ганна.

Прибежала в незнакомое село.

Села в снег у забора, напротив чайной.

Снег пошел.

Сидела дрожала.

Вышла на крыльцо чайной веселая, будто хмельная, девушка с раскосыми синими глазами. Посмотрела на снег.

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь, —

продекламировала она.

Увидела Ганну.

— Девочка, иди — шей налью.

12

— Ешь, миленький, ешь, золотой. — Раскосая девушка налила Ганне щей. Сама напротив села, смотрела. Ганна поводила ложкой, бросила.

— Невкусно? — встрепенулась девушка. — Э, да ты горишь вся, миленький. Ты ложись, я тебе вот здесь постелю. Одеялом укутаю. вот так.

Напоила отваром из трав. Положила Ганну на лавку в углу, укрыла лоскутным одеялом.

13

Ганна металась. Сквозь жар и дымку видела она, как ходили по чайной распаренные мужики, пили водку, обнимались пьяные, целовались. Раскосая девушка разносила еду, собирала посуду, шла на зов:

— Эй, Катерина! Повторить!

Она шла как царица.

Когда не было работы, подсаживалась к чубатому парню, что-то говорила ему, звонко и нежно смеялась. К Ганне подходила, прохладную руку на раскаленный лоб клала, спрашивала:

— Тебе полегче? Правда?

Ее звали, она отходила.

Рядом с Ганной сидели за столом два мужика: один — кряжистый, чернобородый, кузнец Данила Рогозин, другой — молодой, русоволосый: волосы как рожь, копной на голове лежат, — конюх Ерема Попов. Склонив друг к другу головы, тихо говорили между собой.

Сквозь жар и забытые слышала Ганна:

— Слышал? В Капустине Яре батюшку, отца Василия, сегодня в проруби утопили, — говорил чернобородый кузнец.

— Да неужто?! — вскричал русоволосый, закрыл рот ладонью, шепотом спросил: — Кто утопил? Эти?

— Они...

— А за что?

— В колокола звонил. Крещение сегодня. На Подстёпке крест ледяной поставил, в проруби людей крестил. Как раньше было.

— И не побоялся? — удивился русоволосый.

— Не побоялся... Говорят, — чернобородый кузнец оглянулся, склонился к русоволосому поближе, сказал шепотом: — сама Матерь Божья ему приказала в колокола бить. Бей в колокола! — сказала.

— Приснилась она ему? Али привиделась?

— Ни то, ни другое. Сама явилась.

— Сама?! — поразился русоволосый.

Чернобородый, прикрыв глаза, кивнул.

— Сама! Из Эфеса небесного приехала. На лошадке, старенькая. Говорят, по всей Руси на лошадке проехала. Нищего увидит — хлеба дает. Вдов — утешает. Больным — раны перевязывает. Сиротам в детских домах — слезы вытирает. Сейчас, говорят, по тюрьмам пошла, безвинных вызволять. Все горе русское соберет, на небе Сыну покажет. «Помоги, — скажет, — Господи, русским! Настрадались они, хватит!»

Помолчали.

Кузнец продолжал:

— Одному отцу Василию открылась. Видела ее также и Марья Боканёва... — Чернобородый задумался. Придвинулся к русоволосому, зашептал: — Отец Василий ко мне полгода назад в кузню пришел, спросил: можешь ли ты, Данила, нашему колоколу язык сделать?

— А ты что?

— Могу, говорю. Было бы из чего. Серебра, говорю я отцу Василию, для голоса надобно много, и меди, и золота немало — колокол-то огромный, его в старое время к нам на пароходе по Волге везли! Пятьсот пятьдесят пудов весит! Язык у него тяжеленный должен быть!

— А он что?

— Материал, говорит, есть. Бери, говорит, подводу, поехали!

Сказано — сделано. Запряг я лошадь: куда, спрашиваю, ехать? Правь к Царицыну, а там дальше я покажу, говорит отец Василий. Целый день

ехали. Уж ночь настала, когда к селу подъехали. «Как село называется?» — спрашиваю. «Песковотовка, — отвечает отец Василий. — Поворачивай к Волге, — говорит, — видишь курган!»

У меня сердце так и дрогнуло! Знал я, что здесь клад Стеньки Разина положен. Целое судно закопано, как есть полное золота и серебра. Стенька его сюда в половодье завел, а когда вода спала, наметал над судном курган да наверху яблоневую ветку в землю воткнул. Выросла из ветки яблоня большая, только яблоки с нее, сказывали, без семян.

Подъехали к кургану. И точно! Яблоки в темноте светятся.

— Узнал? — говорит отец Василий.

— Узнал, — говорю. — Клад Стеньки Разина здесь лежит.

— Бери лопату, — приказывает. — Пойдем клад тот разроем.

Испугался я.

— Нет, — говорю, — не пойду. Все знают, что в кургане клад лежит, да рыть страшно: клад этот не простой, а заколдованный, на много человеческих голов заклят. Через него много людей погибло, никому клад Стеньки Разина не открывался!

— А нам откроется! — говорит отец Василий. — Сама Матерь Божья приказала Стеньке клад нам открыть. Не бойся, Данила! Пойдем!

И пошли на курган. Шли мимо яблони, я сорвал яблоко, съел; и вправду без семян оно, не врут люди!

Влезли на самую вершину. Копнули — и раз и другой. Видим: яма не яма, а словно погреб какой, с дверью. Дверь на засове, под замком. Только дотронулись до двери — упали засовы, открылась дверь. Зашли мы. А там чего только нет! И бочки с серебром, и бочки с золотом! Камней разных, посуды сколько! И все как жар горит.

Стали с отцом Василием бочки с золотом выкатывать да на подводу грузить. Все золото погрузили, за серебром пошли. К дверям подошли — а дверь-то уже закрыта, яма глиной засыпана! Закрылся клад, в землю ушел.

И поехали мы домой.

Золото я в кузне у себя расплавил, язык колокола вылил, выковал.

Золотой язык — из чистого золота!

Кузнец замолчал, закрыл глаза, переживая.

Русоволосый пожалел:

— Вырвут комсомольцы язык у колокола, как узнают, что он из золота.

— Пусть попробуют! — засмеялся кузнец, открывая глаза. — Как снимут, золото у них в руках тут же в черепки превратится.

— Откуда ты знаешь? — спросил русоволосый.

— Знаю. Я себе одну золотую монету взял, в карман положил, смущенно опустил глаза кузнец. — Так, на память...

— И что же?

— Потом полез в карман зачем-то... А там, в кармане, у меня вместо золотой монеты лежит... Что бы ты думал? — спросил русоволосого кузнец и выкрикнул: — Свежая коровья лепешка! — И захохотал радостно, красный рот, будто горн раскаленный, раскрыв. — Шутку сшутил надо мной Стенька Разин!!!

Мимо с кружками пива бежал молодой краснощекий, будто румянами нарумяненный, парень, остановился.

— Стенька? Разин? — загорелись глаза у него. — Он здесь бывал?

— Тю! Ты откуда свалился, парень? — удивился кузнец. — Откуда тебя выслали?

— Из Тулы, — отвечал краснощекий.

— Живет в Туле да ест пули! Туляки блоху на цепь приковали, — поддразнил его кузнец. — Нездешний ты, сразу видно. Тот, кто на Волге рожден, тот о Стеньке раньше, чем о своем батьке, узнает. Мать в люльке дитя качает да вместо колыбельной о Степане Разине песню поет. Оставил

по себе память, Степан Тимофеевич, ох оставил! Помнит Волга его: Царицын, Саратов, Самара... Астрахань помнит!

Возвысил кузнец голос, чтобы слышала вся чайная. Стеклись к нему из углов мужики.

И Катерина присела послушать. Села рядом с Чубатым. Обнял ее Чубатый за плечи.

Подбросил русоволосый поленьев в печь. Запылало.

Ганна тоже вся пылала. Слушала.

— Царство вольное здесь было при Степане Разине, — начал кузнец свой рассказ. Астраханская вольница, слышал ли? И тот, кто правды ищет, и тот, кто воли хочет, и тот, кто сир, и тот, кто убог, и тот, кто сердцем добр, а душою смел, — все сюда — в астраханское царство вольное — со всей Руси шли.

Астрахань всех принимала, всех кормила. Край богатейший! В реках осетр плавает, в садах виноград зреет, на бахчах арбузы да дыни лежат, на огородах — тыквы, как головы... Солнце горячее, небо синее... Райская земля!

Вот собрал Степан Разин люд обиженный со всей земли русской и порешил: быть здесь, в Астрахани, царству не Кривды, но Правды. Подневольным — волю дал, бедным — имущество свое, что добыл, раздал, из тюрем судом неправедным засуженных выпустил, домам святой Богородицы — церквям — поклонился.

Написали астраханцы промеж себя письмо: «Жить здесь, в Астрахани, в любви и в совете, и никого в Астрахани не побивать, и стоять друг за друга единодушно...»

Правителей всех выгнали. Теперь, говорят, все дела круг решать станет. Соберутся на круг и стар, и мал, и казак, и посадский, и калмык, и добрый христианин — и решают, как быть, как жить. Всяк что думает, то и скажет, свое словцо, как лыко в строку, куда-нибудь да вставит.

Степан на кругу стоит, совет со всеми держит. Если любо кругу его слово, любо, кричат, батька! Не понравится — шумят: не любо! А делай, говорят, вот так... Степан стоит под знаменем казацким, слушает.

Но и в строгости всех держал. Порядок был. Если кто что украл у другого, хоть пусть иголку, — завяжут тому рубашку над головой, песка в рубаху насыпят и в воду кинут... Строг был Степан Тимофеевич, ой строг!

Сердце же имел доброе. Полюбил парень девку. Родители же согласия на свадьбу не дают. Пришли молодые к Разину: что нам делать, Степан Тимофеевич? Нам друг без дружки не жить. Взял их Степан за руки да и обвел вокруг березки: «Вот вы муж и жена теперь, — говорит. — Любовь всего главнее».

Хорошо при Степане жили! Да недолго.

Душа у Степана болью за всех русских людей болела. Задумал он с войском на Москву идти, Кривду и измену из Кремля выводить.

Бился он, бился с Кривдой, да одолела она его, Кривда-то, обвела его, кривая, обманула!

И поймали добра молодца! Завязали руки белые, повезли во каменну Москву. И на славной Красной площади отрубили буйну голову!..

Ахнул Чубатый, закачался как от боли.

— Ах, зачем же он, зачем же на Москву пошел! — пожалел. — Оставался бы здесь править. Было бы две Руси: одна Русь здесь — вольная, другая Русь там — подневольная...

— Русь одна, — строго кузнец сказал. — Русь делить — все равно что человека на куски резать: мертва будет. И без Москвы как? Москва всему голова. Без головы человеку как прожить? Нет, все он правильно рассудил, Разин, только сам вот пропал... Такого, как Стенька, не было на Руси и не будет больше. Один он такой!

— Говорят, с самим дьяволом дружбу водил, — сказал русоволосый, угли в печи помешивая.

— Брешут! Православный он! А просто человеком был — необыкновенным! — сказал кузнец. — Пуля его не трогала, ядра мимо пролетали. Бывало, сядет на кошму — и на Дон перелетает, в другой раз сядет — на кошме по Волге плывет. В острог запрячут — возьмет уголь, на стене лодку нарисует, попросит воды испить, плеснет — река станет. Сядет на лодку, кликнет товарищей — и уж плывет Стенька. Вот какой был! Ни в огне не горел, ни в воде не тонул. Ничем его убить нельзя было... И говорят, не умер он. Вернется. Только срок дай. Придет, говорят, опять с Дона. Кривду из Кремля выгонит, Правду на трон посадит. Всей Руси волю даст. Клады свои разроет, бедным раздаст... Не даются людям клады Стеньки Разина. — Кузнец засмеялся. — Сам видел, как в землю уходят. Хозяина своего, стало быть, ждут...

— А вот в это я не верю! Чудеса это все! Не правда! Не верю я! — сказал краснощекий.

— Ах ты, тульский пряник! — возмутился кузнец. — Не верит он! Чудес много на свете, — не соглашался он. — Вот, говорят, верблюд по астраханскому краю холеру разносит, трубит, конец света предвещает.

— Не верю! Бабы сказки все это! — закричал ему в ответ краснощекий парень.

— Чудеса! — сам с собой говорил русоволосый Ерема, сидя у печки и о чем-то крепко задумавшись.

— А то говорят, дочка ханская мамынская на золотом коне ночью по степи скачет, жениха ищет. Кого ночью встретит, тотчас к себе под землю утащит, — сказал кузнец.

— А вот не верю! Ей-богу, не верю! — закричал краснощекий.

— Чудеса! — задумчиво говорил русоволосый.

— А то еще говорят, рыбаки этим летом русалочку из Ахтубы в сети поймали!

— Ни во что не верю! — чуть не плакал, будто пытаются его, краснощекий.

— Андрей! — позвал кузнец чубатого парня. — Скажи, правда это ай нет?

— Правда, — сказал Чубатый и засмотрелся на Катерину.

Катерина встала, пошла к Ганне, поправила одеяло, подоткнула. Отошла к окну. Тревожно прислушалась.

— Говорят, защекотала тебя русалка? — допытывался кузнец у Чубатого.

— Что? — сказал невпопад Чубатый, зачарованно глядя на Катю.

— Его другая защекотала! — засмеялись все.

Подошла Катерина, обняла Чубатого, подтвердила:

— Никому не отдам! Вчера как увидели друг друга — поняли, что это — навек!

— Верю! — вдруг захохотал краснощекий. — Вот теперь я верю.

Рассмеялась Катерина счастливо.

Чубатый смотрел на нее как заговоренный.

14

Сквозь жар и дымку Ганна видела, как забежал мужик, закричал:

— Банда Лешки Орляка в деревне! Сюда скачут.

Вскочили мужики, кинулись к дверям.

Грохнула дверь: на пороге атаман стоял. Побледнела Катерина. Входили вооруженные люди.

— Алеша? — спросила Катерина атамана, закрывая чубатого парня собой. — Ты зачем пришел? Я ведь просила тебя сюда не ходить...

— Я за тобой. Собирайся. Легавые за нами по пятам идут. Уходим за Каспий, за море.

— Нет, — сказала тихо Катерина. — Не пойду.

— Почему не пойдешь?

— Я другого, миленький, люблю.

— Так... — не ожидал атаман. — Время другое — и любовь другая?

Вчера еще меня любила...

— Не время виновато — сердце.

Оттолкнул Катерину атаман. Увидел Чубатого:

— Босняка полюбила?

— Мне что бос, что обут, лишь бы сердцу был мил.

Атаман достал обрез.

— Добром, Катя, прошу: поехали! Знаешь ведь, ты мне одна любя.

— Нет, миленький, — покачала головой.

— Нет?

Не успела ответить, выстрелил атаман ей в сердце. Поглядел на Чубатого. Тот бледен стоял, не шевелился. Крикнул атаман:

— Уходим! — и вышел.

15

Забегали вооруженные люди по чайной.

— Водку бери! — закричал один другому. — Семен!

— Девку хватай, Степан!

Волосы Ганны разметались по подушке, лица не видно. Схватили Ганну прямо в одеяле, потащили.

— Пусти им петуха напоследок!

Деревня горела. Скакали лошади во весь опор. На телеге в одеяле лежала Ганна. Лежала — смотрела: будто в ней уже бушевал пожар, рушились балки, горели люди.

— Тебе бы только водку пить, Степан.

— А тебе только девок любить, Семен.

— Водка да девка — слаще ведь ничего на свете нет.

— Ну уж нет...

— А скажи — что? То-то же...

Бандиты гуляли в лесу. Сидели у костра, пили. Рассматривали, что награть успели. Степан кольца примеривал:

— Эх, последний раз на родной земле гуляем, мужики!

В лесу один за пеньком сидел атаман. Пил из кружки водку не закусывая. О чем-то думал.

Подошел к нему Семен.

— Атаман! Там парни трофей привезли, тебя зовут.

— Что за трофей?

— Женский. Девку, короче. Парням невтерпеж. Иди пробу сними, а мы за тобой. По вспаханному.

— Без меня, — сказал как отрезал атаман.

16

— Неси, Степан, — приказал Семен.

Степан принес одеяло с Ганной. Положил на снег. Развернули. Испуганно Ганна из лоскутков глядела.

— Тю, да то мала!

— Мала не мала, лишь бы эта самая у ней была... — сказал Семен.

— Да то дурочка деревенская. Убогая она, — сомневался все тот же парень. — Грех.

— Все одно в аду гореть, — ответил Семен. — А что убогая... Так они, убогие, у нас всю жизнь отобрали... Едри их в корень! Держи ее, ребята! Первым у нее буду!

Навалились на Ганну со всех сторон. Ганна выворачивалась, била Семена в лицо, кусалась. Парни держали ее за руки, за ноги. Как распятая на снегу лежала.

— Ну, Семен, давай...

Вдруг раздался выстрел.

Мужик бежал.

— Атаман застрелился!

17

Атаман сидел уткнув голову в пенек.

— Из-за Катьки... — сплюнул Семен. — Нас на бабу променял!

Бежал часовой:

— Атас! Легавые скачут!

— По коням! — скомандовал Семен.

18

Проскакали кони над Ганной. Потом другие кони прискакали, с людьми в шинелях, повернулись у костра, унесли за выстрелами.

Не заметили Ганну.

19

Ганна встала, побрела за людьми в лес. Шла в разорванной белой рубашке, падала в сугроб, снова шла.

Вышла на поляну. Луна освещала поляну. Увидела вдруг руку отсеченную Степана, в кольцах. Чуть дальше мертвого Семена увидела. Рядом Степан лежал, обняв человека в шинели. Тут и там лежали вперемешку мертвые тела. Увидела лицо энкавэдэшника со шрамом. Черный от крови снег был около него.

Подвывая от страха и ужаса, прошла Ганна поляну.

Шла, увязая в снегу. От дерева к дереву. У ели густой села отдохнуть. Сидела, дрожала. Закрyla глаза. Незаметно как — заснула.

20

То ли сон пришел к Ганне, то ли видение.

Увидела Ганна плывущее над землей светящееся облако. И на том облаке или сугробе стояла женщина с необычайно красивым лицом. Лицо было Ганне знакомо, родное лицо. На иконке у тетки Харыты она это лицо видела.

— Божья Мать... — прошептала Ганна.

Божья Мать слегка кивнула, улыбнулась.

— Ты любимая дочь Господа, — сказала Ганне.

— Я? — удивилась Ганна. — Но почему я?

— Ты страдала, — легко сказала Божья Мать.

Голос у нее был как у тетки Харыты.

— Что я должна делать? — заволновалась Ганна.

— Иди и лечи людей. Вскроются реки — плыви к другим людям.

— Тоже лечить?

— Там узнаешь.

— Но, может быть, я умерла?

— Ты не умрешь. Иди. — И Божья Мать растаяла. Только облако горело серебряно.

21

Ганна открыла глаза, зажмурилась: глаза ослепил горевший на солнце снег.

Был день. Вокруг Ганны снег растаял. Ганна встала. Сделала босыми ногами шаг. Зашипело под ногой. Ганна посмотрела вниз: с шипеньем таял снег вокруг ее ноги. Сделала другой шаг: снег под ногой растаял.

22

В рваной белой рубаше, босая, простоволосая, входила она в деревню.

— Ганна-дурочка! Дурочка! — закричали привычно мальчишки.

От Ганны шел свет. Мальчишки замолчали, расступились.

Зашла Ганна в пустую церковь — все свечи сами зажглись.

— Ганна — святая! Святая! — зашептали вокруг.

Подвели к ней нищего. Слепой, в стружьях весь.

— Где святая? Дайте дотронуться... — попросил.

Дотронулась Ганна до него: стружья спали, бельма в синие глаза превратились.

— Вижу! Я вижу! — закричал нищий.

— Чудо! Чудо! — упали на колени все.

23

Наступила весна. Сидела Ганна у могучего дерева.

К дереву — очередь тянулась, вся дорога людьми и подводами запряжена.

К Ганне лечиться едут со всего света.

— Со всего света к ней люди идут, — говорили в очереди.

— Она одна такая в мире, больше нет нигде такой!

Стояли, очереди своей ждали: слепые и глухие, хромые и прокаженные.

24

Хромой перед Ганной стоял, на костылях.

— Дочка, спаси. Один остался, хозяйка моя умерла. Как без хозяйки и без ног прожить? Скажи?

Ганна ногу его натерла мазью, что-то пошептала, ладошкой похлопала.

Костыль из рук забрала, отошла. Старик постоял, постоял и как годовалый мальчик пошел: шаг, еще один, еще шаг...

— Неужто иду?

— А ты потанцуй, — посоветовали из толпы.

Пошел вприсядку отплясывать. Народ в ладоши хлопал.

— Еще, дед, молодуху отхватишь себе! — смеялись.

25

Привели женщину. Она билась, изо рта пена шла. Идти не хотела, упиралась.

— Бесы в ней гнездо свое свили, — объяснила мать. — Кричат ночью на разные голоса. Помогите!

Подошла к женщине Ганна. Закричала бесноватая на разные голоса. И по-волчьи выла, и по-собачьи залаяла. Встала Ганна перед ней. Начала повторять все движения бесноватой. Та руки возденет — и Ганна поднимет. Та кружится — и Ганна закружилась. Все быстрее кружилась бесноватая. Вдруг свалилась как подкошенная. Дергалось тело, вздрагивало. Ганна над телом встала. Будто что-то вытягивала из него, жало или корень. Вытянула, села в изнеможении, лоб мокрый вытерла и улыбнулась.

Женщина встала с земли, подошла к матери, сказала ей как ни в чем не бывало:

— Мама, что мы тут делаем? Пойдем домой.

26

Отец прибежал:

— Дочь умирает! Горит вся, как свечечка сгорает!

Побежала Ганна с отцом девочки.

Девочка в доме лежала, бредила:

— Дай мне аленький цветочек, тата! Дай мне, пожалуйста! Дай, прошу тебя, дай, таточка, дай!..

Ганна напоила ее из бутылочки, что с собой принесла. Посидела рядом закрыв глаза. Девочка очнулась:

— Тата, ты мне сейчас приснился...

27

Шла Ганна обратно. Гроб несли с мальчиком маленьким. Остановились около Ганны.

Мать в ноги Ганне бросилась:

— Оживи его! — В глазах мольба и вера: — Оживи!

Ганна покачала головой: нет!

— Ты все можешь! Верни мне сына!

Нет, покачала головой Ганна. Пошла и заплакала.

Сквозь толпу больных шла, плакала навзрыд.

28

Слепой, только что прозревший, Ганну спрашивал:

— Это небо?

Ганна, улыбаясь, кивала.

— Это дерево?

Ганна кивнула.

— Это солнце?

Не успела Ганна ответить. Во двор к дереву уже кого-то несли на носилках.

— Пропустите! Пропустите меня к ней немедленно! — говорили с носилок.

Сжалась Ганна испуганно. На носилках Тракторина Петровна лежала, смотрела на Ганну.

— Ганна? Глазам своим не верю. Ты?! Вылечи меня... Ты покалечила, ты и лечи! — приказала.

Ганна попятилась, повернулась, побежала за дерево. Встала там, задыхалась взволнованно. Дышала и дышала, успокоиться не могла.

Прозревший слепой подошел к Ганне, спросил:

— Ты не хочешь лечить ее?

Нет, покачала головой Ганна.

— Прогнать ее? Давай прогоню!

Нет, покачала Ганна головой. Постояла. Потом решила. Вышла.

Подошла к Тракторине Петровне, повернула ее, начала разминать позвонки.

— Больно! — кричала Тракторина Петровна. — Больно! Сил моих нет терпеть! Ганна!

Отошла Ганна, взглядом приказала Тракторине Петровне: вставай!

Как замороженная Тракторина Петровна встала, пошла к Ганне.

Стояли, глядели друг на друга.

— Так это ты святая? — сказала Тракторина Петровна. — Я всегда знала, что ты плохо кончишь.

29

На рассвете от реки грохот пошел. Лед тронулся.

Ганна проснулась, прислушалась. Схватила платок, выбежала.

— Куда она? — спросил больной.

— Почуяла что-то, — ответила старуха.

Ганна бежала по берегу. Бежала туда, где когда-то Марат спрятал плот.

Убрала листья, камни. Испачкалась. Вытащила плот.

Посмотрела на реку: там огромные льдины теснились, сталкивались друг с другом.

30

В ясный солнечный день провожало село Ганну в путь.

Мужики на руках отнесли плот на воду. Поставили на плот Ганну. Оттолкнули.

Народ на высоком берегу стоял, смотрел.

— Зачем уплывает она от нас? — спросил старуху парень.

— Приказ ей от Господа прозвучал, — ответила старуха.

— И что Он сказал?

— Он ей сказал: ПЛЫВИ!

Плот был уже на середине реки. Поклонилась Ганна всем в пояс.

На берегу тоже ей все поклонились. Бабы, мужики, дети...

— Плыви, — повторил парень.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

1

Скрып.

Скрып.

Скрып-скрып...

Скрып.

Скрып.

Скрып-скрып...

Скрипят качели, взлетая все выше и выше.

Я лежу на крыше и смотрю на Надьку.

Я смотрю ей прямо в зрачки.

— Надька! Откуда ты взялась? — говорю я ей. — Откуда ты приплыла к нам, Надька? Зачем? Мы ведь жили без тебя, откуда ты взялась, Надька?

Ее растерянное лицо зависает на секунду рядом с моим.

Она молчит.

Уже полтора года я был братом дурочки, приплывшей на плоту.

Той весной был сильный разлив. Я тогда сидел на Ахтубе и удил рыбу и увидел, плывет по реке плот, а на плоту красивая такая девчонка, и я помаhal ей, она подплыла ко мне и сошла на берег и стала смотреть, как

я ловлю рыбу. Как тебя зовут? Она молчала. Я собрал удочки и пошел, она — за мной. Мать и отец были на грядках, сажали морковь, вот, говорю, на плоту приплыла какая-то девочка, увязалась. Мать медленно опустилась на колени, прямо на грядки: «Надя!» — сказала она. «Господи, — сказал отец, — Господи!»

Это приплыл их грех: когда-то давно, тринадцать лет назад, у них родилась дочь, моя сестра Надька, слабоумная девочка, дуручка, это был стыд — перед военным городком, офицерами и их женами, — мой папа сверхсрочник. Мать с отцом положили девочку в колыбельку — мама плакала, рассказывая, — на малиновую подушечку, колыбельку поставили на плот — и отправили ее по реке, по Ахтубе, с глаз долой. Надька где-то выросла и вернулась. Так у меня появилась сестра, которой у меня не было.

Все смеялись над ней, а я любил ее больше жизни, она была лучше их всех, пусть и дура. Она лучше всех вас, говорил я, лучше!

— Надька! — говорю я и строю ей рожу.

— Марат! — кричит отец, поднимая голову от машины. — Прекрати дразнить Надю! Она упадет!

— Марат! Останови качели! — кричит мама. — Ей нельзя так высоко...

Я слезаю с крыши, останавливаю качели.

Надька медленно встает. Она идет покачиваясь, поддерживая руками большой круглый живот.

Мама пристально смотрит на Надьку, отворачивается, закрывает лицо рукавом и плачет.

Наша Надька — беременна.

2

Моя сестра Надька забеременела от тополиного семени.

Тогда пух летел как снег, с юга дул горячий ветер, и была жара и белая метель, пух прилипал к мокрой от пота коже, и все чесалось, и ей этим южным ветром надуло. Надьке ветром надуло, говорили, и живот ее осенью стал раздуваться, как воздушный шар, если его надувать насосом от велосипеда. И я решил посмотреть.

— Надька, разденься! — крикнул я, когда мы остались дома одни, я крикнул ей прямо в лицо, хотя она была глухая — глухая совсем, ни грамма она не слышала. — Глухая тетеря! Раздевайся! Дура! — кричал я ей. Она улыбалась дурацкой своей улыбкой, от которой хотелось зарыться с головой в дерьмо и разреветься, — я больно толкнул ее, я подталкивал ее к дверям и потом потащил за руку по осенним мокрым дорожкам сада, я впихнул ее в дощатый летний душ и закрыл дверь на ржавый крючок. Внутри пахло мочалкой. Надька вспомнила, что летом здесь купались и что надо раздеться, и начала медленно раздеваться, вешая на гвоздь зеленую шерстяную кофту, бордовый фланелевый халат, синюю мужскую трикотажную майку — я смотрел, — розовые байковые панталоны, панталоны сорвались с гвоздя, упали, большие, розовые, будто живые, в грязь, она, наклонившись, подняла, жалея их, встряхивая, оглаживая, вешала — я смотрел, — черные сатиновые мужские трусы, перешедшие ей от меня (я еще не отвык от них), будто это часть меня — так странно — чернела, распятая на розовом, мягком, байковом...

Она стояла поеживаясь, смотрела на серый квадрат неба, с неба шел душ — осенний, мелкий, холодный, бесконечный, — за серыми облаками — курлы-курлы — улетали невидимые птицы, а я смотрел на Надькин загорелый, кожаный, круглый, огромный шар ее живота с узорным следом от резинки — этот шар становился с каждым днем больше и больше, и я все боялся, все боялся, что натянутая кожа не вытерпит и лопнет, — но он все рос, этот шар, и я стал тайком ждать, что однажды в один из дней этот воздушный шар поднимет Надьку, мою сестру, туда, вверх, откуда идет

дождь, туда, где курлы-курлы, — и она повиснет над нашим серым военным печальным городом и будет лежать в небе, как аэростат или как солнце, и улыбнется оттуда с неба своей дурацкой бессмысленной улыбкой, от которой хочется разреветься. И может, тогда наступит на земле жалость и счастье.

Под круглым животом у нее золотые волосы.

— Одевайся! — говорю я.

Она смотрит вверх на дождь и не слышит ни меня, ни птиц.

— Одевайся! — ору я. Я похлопываю ее по спине, лопатки из спины выпирают, будто острые крылья, кожа в пупырышках, как у гуся.

Она оборачивается, я протягиваю ей черные сатиновые трусы, растягивая резинку. Она понимает и вшагивает в них.

— Молодец, — говорю я ей, будто она слышит. Я всегда чего-то жду от нее. Я каждый день жду, что она вдруг услышит меня, или заговорит, или перестанет быть дурочкой. Мне всегда кажется, что вот сейчас... Или завтра... Это оттого, что я очень чувствую Надькину добрую прекрасную душу, на которую накинули зачем-то тупое глухое и немое тело, будто засадили в тюрьму, где ни звука, ни крика.

И еще я жду, когда Надька родит эту свою прекрасную душу — и она, эта душа, будет сильной, гладкоствольной, шелестящей, зеленой, растущей до неба, как тополь, от семени которого она забеременела.

3

— Пойдем в землянку, — говорю я Надьке, когда мы вышли из душевой.

Мы идем с ней в глубь сада. Там у нас выкопано убежище против атомной бомбы. Мы выкопали его с папой полмесяца назад. Папа копал большой лопатой, а мне дал свою — саперную. Мы рыли в воскресенье. В каждом дворе рыли тоже. Все ждали ядерной войны. Переговаривались через забор с соседями. Говорили о Кубе, о ракетах на Кубе, о Кеннеди, о Хрущеве, об Америке, о ракетном ударе, о том, кто ударит первый: они или мы. Мы жили в ракетном городе Капустин Яр и все ждали, что американские ракеты ударят в первую очередь по нашему военному городку.

— Ох, доиграется Хрущ! Вдарит по нам Америка, как пить дать вдарит! — говорил дядя Боря Сеницын, наш сосед слева.

— Испугаются, — говорил папа. — Мы ведь тоже тогда по ним ударим!

— Это — конец света! — сказала негромко и убежденно соседка справа — тетя Маша. Она жила без мужа и рыла убежище вместе со своей шестилетней дочкой. — Писано же в старых книгах. Никто не спасется.

— Зачем тогда роешь? — спросил дядя Боря.

— Для дочери, — ответила тетя Маша и с надеждой прибавила: — Вдруг да спасется?!

Мы вырыли яму, положили на нее прутья. Путья закидали землей.

— Если ударят — ничто не поможет, — сказал отец.

Получилось отличное убежище.

Мы с мальчишками прятались в нем, играя в войнушку. Папа сказал, что в таких землянках они жили во время войны.

Мы залезли с Надькой в убежище, сели на скамеечку. Было темно, но не очень. Земля с крыши осыпалась, и сквозь прутья было видно небо. Дождь затекал в землянку.

— Это убежище гражданской обороны, — сказал я Надьке важно. — Скоро начнется ядерная война.

Казалось, что Надька меня слушает.

— Мы спрячемся здесь, когда на нас будет падать атомная бомба.

Надька слушала.

— Атомная бомба взрывается бесшумно. — Я начал пересказывать ей то, что услышал в школе на занятиях по гражданской обороне. — Мы узнаем о ее взрыве по ослепительной вспышке. На огненный шар смотреть не следует: человек может ослепнуть. Надо повернуться спиной к огненному шару и лечь на землю лицом вниз. Потом человек ощущает действие теплового излучения, затем испытывает действие ударной волны и в последнюю очередь слышит звук взрыва, напоминающий раскат грома.

Надька съежилась. Мне и самому стало страшно.

— Не бойся, — сказал я. — Мы не увидим этого. Мы будем сидеть с тобой в убежище.

Дождь припустил сильнее, и на голову падали холодные капли.

— Нам нужно просидеть здесь не меньше минуты, чтобы не попасть под гамма-излучение.

Я замолчал и начал отсчитывать минуту.

Надька сидела и дрожала.

Капала вода.

Мне вдруг показалось, что идет война и мы по-настоящему сидим в убежище, прячась от бомбы.

— Пойдем, — сказал я и поднялся. — Теперь мы можем попасть под радиоактивное излучение. Мы этого даже можем не заметить. Главный признак, что мы получили дозу, — рвота.

Я взял Надьку за руку.

— Если человека рвет целый час после взрыва, то это плохой признак. Это значит, что он получил смертельную дозу облучения. Если же рвота появляется через несколько часов...

Я не успел договорить.

Надька вдруг согнулась, закрыла рукою рот, и ее вырвало. Потом еще и еще.

— Ты чего, Надька? Что с тобой?

Я потащил ее домой, я тащил ее по осенним дорожкам сада, но она то и дело останавливалась, сгибаясь над землей. Ее продолжало выворачивать.

Мы забежали в дом.

— Мама! Мама! — закричал я.

Мама выбежала из кухни:

— Что случилось?

— Надьке плохо, — сказал я. — Ее рвет!

Надька стояла перед матерью с бледно-зеленым измученным лицом, потом согнулась, и ее опять вытошнило.

— Токсикоз, — сказала мама.

И увела Надьку в комнату.

4

— Видимо, скоро начнется, — сказал маме отец через неделю.

Он стоял на пороге в шинели, собираясь идти на площадку — он там работал в ракетной шахте, — неулыбчивый, строгий, и глядел на нас так, будто прощался.

Мама подошла к нему, провела рукой по его лицу и вдруг бросилась к нему на грудь, заплакав. Он обнял ее крепко, нежно, потом взял за талию и отставил от себя, как рюмочку. Полюбовался. Повернулся к нам. Мы с Надькой встали из-за стола и подошли. Он обнял нас и поцеловал.

— Береги мать и сестру! — сказал он мне.

Надька заревела вдруг как сирена, низко-низко:

— У-у-у!!!

Отец повернулся и пошел.

Мы вышли на дорогу и долго смотрели ему вслед. Будто не на работу его провожали, а на войну. Не на день, а навеки.

5

Отец больше не приходил с работы.

Через неделю он позвонил матери в вычислительный центр и сказал только два слова:

— Сегодня ночью.

6

Вечером 28 октября 1962 года на весь город завывла сирена. Она выла и раньше по ночам, когда была учебная тревога.

Но сегодня она выла по-настоящему, будто живая, будто воеет от горя над городом огромный — до самого неба — человек.

Она выла низко, надрывно, Надькиным голосом:

— У-у-у!!! У-у-у!!! — не переставая.

Началась ядерная война.

Мы с мамой и Надькой выбежали из дома и, как раньше по учебной тревоге, побежали к моей 232-й школе.

Фонари были погашены.

Навстречу нам бежали люди: со скатанными одеялами на плече бежали строем солдаты — садились в грузовик, бежали к КПП на мотовоз офицеры, придерживая рукой на бегу свои фуражки.

Бежали родители с детьми, мужчины, женщины, старики, старухи. Каждый из них должен был знать, куда бежать: это было отрепетировано во время учебных тревог. Но многие растерялись и, добежав до площади, останавливались: здесь было хоть и темно, нолюдно и поэтому не так страшно. Человек с мегафоном спрашивал их разойтись по предприятиям.

Никто не расходился.

Мы пролезли сквозь толпу и побежали дальше.

В школу родителей не пускали: родители должны были идти на места своей службы и там ждать дальнейшего.

У дверей школы стоял плач. То родители прощались с детьми.

Мы начали прощаться тоже. Мама не плакала. Она была как бы в лихорадке. Она смотрела на нас с Надькой будто бы издалека сухими строгими глазами, словно смотрела не на нас, а прямо в нас, вовнутрь, заглядывая нам в душу. Она обняла и поцеловала Надьку, потом меня. Она поцеловала меня в щеку, будто обожгла, — такие сухие, горячие были у нее губы.

— Мама! — сказал я.

И нас с Надькой потащило толпой внутрь.

7

Нас построили в спортзале по пионерским отрядам, всю дружину. Наша пионервожатая — Тракторина Петровна, седая старуха в пионерском галстуке, — вышла и сказала:

— Сейчас мы поедem в степь, подальше от города. Сегодня ночью кончается время ультиматума и наступает время «Ч». Сначала, от первого ракетного удара, погибнут те, кто останется в городе. Мы погибнем от второго удара, но мы будем единственными жертвами с нашей стороны. Дальше ударят наши ракеты и уничтожат Америку в считанные минуты. Вы, дети, станете героями, как Павлик Морозов, как Володя Дубинин. Наши имена узнает вся страна. О нас будут слагать легенды и петь песни. Пионеры! К борьбе за дело Коммунистической партии будьте готовы!

— Всегда готовы! — прокричали мы.

Нам раздали сухой паек — целлофановые пакеты, в которых лежали шоколадные конфеты «Озеро Рица», вафли, печенье и мандарин, как в новогодних подарках. То ли потому, что они были уже приготовлены к Новому году, то ли потому, что это было — в последний раз.

8

Мы бежали по темным улицам, взявшись за руки, по двое, к автобусам. Мы бежали сначала по улице Победы, где стояла наша школа. Мимо Дома офицеров, куда мы всей семьей ходили смотреть кино или на концерт. Потом по улице Советской Армии, мимо дома, где мы живем: дом под номером восемь. По Авиационной, мимо «дежурки» — дежурного магазина, где мы брали хлеб — черный хлеб по четырнадцать копеек и белый хлеб по двадцать копеек за килограмм; к буханке белого часто давали довесок — корочку хлеба, которую мы с Надькой не доходя до дома съедали. Мимо улицы Ленина, по которой мы шли каждый год на парад. Мимо проспекта 9 Мая, где стояла баня: там папа парил меня в парной веником из полыни — березы в нашем краю не росли. Мимо Солдатского парка, здесь мы катались на каруселях: два самолета носились по кругу — за штурвалом я и Надька. Я бежал и прощался с городом. Это была вся моя жизнь.

9

У КПП стояли автобусы. Я побежал сильнее, чтобы залезть первыми. Надька выдернула руку из моей и остановилась. Я оглянулся. Она стояла в золотом свете фар и, тяжело дыша, руками придерживала живот. Казалось, она держит золотой шар, прижимая его к себе — чтобы он не улетел.

— Сюда! Сюда! — закричала Тракторина Петровна, маша нам из дверей автобуса красным галстуком.

Мы с Надькой подошли к автобусу. Тракторина Петровна пропускала в автобус, сверяясь со списком. Когда подошла наша очередь, я сказал:

— Марат Сидоров. Надежда Сидорова.

Она отметила меня, а Надьку не нашла.

— Ее нет в списке, — сказала она. — В каком она классе?

— Она не учится, — сказал я.

Тракторина Петровна с удивлением посмотрела на Надьку.

— Ах да, — поспешно сказала она, — мне говорили. Сидорова — эта та, что даун?

«Сама ты даун! Дура! Идиотка!» — хотел я сказать ей, но промолчал.

— Это ее солдаты изнасиловали? — допытывалась она.

Кровь бросилась мне в лицо.

— Нет, — сказал я.

— Ну как же? Еще письмо из отдела образования в школу приходило. Зимой в Солдатском парке Надю Сидорову, умственно отсталую девочку, трое солдат завели в водонапорную башню и изнасиловали...

— Никто ее не насиловал! — заорал я.

— Ну да, ну да, — улыбнулась она ехидно, глядя выразительно на Надькин живот. — Как же! Ветром надуло...

— Пропустите! — сказал я.

Тракторина Петровна заслонила дверь собой.

— Нет. Она не поедет! Ее нет в списке! — злобно сказала она.

— Как — не поедет? — не поверил я. — Ведь она здесь погибнет одна?

— Таких, как она, — с ненавистью сказала Тракторина Петровна, — еще в роддомах уничтожать надо. Она не человек! Пусть остается...

В голове моей помутилось, в глазах потемнело, я уже ничего не соображал. Я вдруг неожиданно для себя нагнулся, схватил камень с земли и — замахнулся им на Тракторину Петровну.

Но руку мою кто-то перехватил сзади.

— Не надо, сынок! — услышал я голос бабы Мани, нашей школьной нянечки. — Не бери грех на душу.

— Бандит! Бандит! — закричала Тракторина Петровна. — Ты никуда не поедешь!

— Ну-ка отойди, Тракторина, — сказала баба Маня. — Пропусти мальчика в автобус! И ее, душу живую. Это тебе не детдом! Да и время другое!

И баба Маня пошла на Тракторину Петровну грудью.

Тракторина Петровна нехотя отодвинулась и, что-то записав в свой листок, пропустила нас с Надькой в автобус.

— Ты, Марья Боканёва, как была подкулачница, так и осталась! — сказала она в сердцах бабе Мане. — И тюрьма тебя не исправила!

— Зато могила всех исправит! И тебя тоже! — легко сказала баба Маня, залезая в автобус вслед за нами.

10

Надька пристроилась рядом с бабой Маней. Я сел впереди, один, у самой кабины, чтобы никого не видеть. Лицо мое было горячим от жаркой крови. В висках стучало: Тракторина — дура! Дура! Дура!..

Но постепенно я успокоился. Посмотрел в окно. Мы ехали по бескрайней степи. Светила луна. Полынь отсвечивала серебряным. Казалось, что автобус катится по огромному серебряному блюду.

«Неужели же нас сегодня убьют?» — подумал я.

Оказывается, я сказал это вслух.

— Беда, — вздохнула баба Маня. — Уперлись, как два барана. Что наш, что ихний. А дети страдают... Не думай об этом. Даст Бог, выживем...

Но ужасная мысль о смерти поселилась во мне, не давая покоя. Я повернулся к бабе Мане:

— Баба Маня, скажи: где я буду, когда умру?

Баба Маня не успела мне ответить.

— Нигде! — сказала, будто мстя мне, Тракторина Петровна. — Превратишься в молекулы!

Я смотрел вперед на мертвую, будто ртутью залитую степь и глотал слезы.

Кто-то подошел ко мне сзади, погладил мой стриженный затылок ладошкой.

Я обернулся — Надька стоит, смотрит на степь, в серебряную даль.

11

Автобус остановился посреди степи. Он выгрузил нас и поехал назад, за следующим классом.

Мы вышли. Вся степь была усыпана детьми: их привезли из школ и детских садов. В темноте то тут то там слышался смех, крик или разговор. Разжигать костер было нельзя, чтобы не дать наводку врагу, который наблюдал за нами со спутника. Но наша Тракторина Петровна приказала нам набрать травы перекаати-поле.

Она разожгла костер в ночи.

— Пусть видит Америка нас, пусть целится в нас получше, — сказала Тракторина Петровна в черное небо — прямо в звездные глаза Америки, целящейся в нас.

Все сели вокруг костра и запели яростные песни двадцатых годов — эти песни своей юности научила нас петь Тракторина Петровна. Все было сначала так, как в походах, у пионерских костров.

Я сидел рядом с Надей и не пел. Я думал: а вдруг американцы ударят именно сейчас? Было тревожно.

Потом начали есть свои сухие пайки, шурша целлофаном и фантиками от шоколадных конфет, хрустя вафлями и печеньем. Запахло мандаринами. И сразу всем вспомнился Новый год, все засмеялись и заговорили разом. Какая-то девочка из детского сада тонким голосом запела:

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла...
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.

Все подхватили.

Я тоже запел эту детскую песенку и посмотрел с надеждой в небо.

Мне вдруг показалось, что там, в Америке, сейчас увидят нас, и наш костер, и то, как мы сидим у костра и поем, услышат наши песни — и поймут, что нападать не нужно. Не смогут они нанести удар по нам, поющим детям, не решатся...

Страх прошел.

Звездное небо было полно круглых ярких звезд, и не верилось, что с него может прийти смерть.

Войны не будет, подумал я...

Баба Маня начала рассказывать малышам сказку, и сказка заканчивалась хорошо и счастливо, и я, сраженный этим счастливым концом, глядя на чистые, ясные звезды, свисающие новогодними гирляндами, будто с огромной сказочной елки, сладко заснул.

Проснулся я как от толчка, в полной темноте, от пронзившей меня насквозь ясной и ужасной мысли, что все уже кончено.

Я был абсолютно один. Никого рядом со мной не было. Плотная, как одеяло, тьма окружала меня со всех сторон. Не было неба и звезд. Не было степи. Тьма была сверху меня и снизу.

И я понял, что настал Конец Света.

Я понял, что я проспал взрыв, что все уже убиты и остался я один.

Я ощупал свое лицо, руки, ноги — они были целы. Я не знал, видят ли мои глаза, — я ничего не видел. Я почему-то не мог кричать — чем-то перехватило горло, словно жгутом, — я еле мог дышать. Сердце, наоборот, стало огромным — оно стучало у меня в ушах. Оно стучало так громко, что я испугался, что его услышат и прицелятся сверху, со спутника, и побежал, чтобы не попали, и за мной вдруг что-то побежало тоже, ломанулось вслед, как зверь, какое-то страшное чудовище, чем-то хрустко и ломко хлопая и шурша, почти догоняя меня, — Оно бежало совсем рядом. Я побежал быстрее, но и Оно, будто играя, побежало быстрее, хлопая, лязгая и взвизгивая все громче, все радостнее.

Будто сама Смерть гонялась за мной в крошечной тьме, и, чувствуя, как волосы мои от ужаса стали дыбом, я, обезумев, закричал и так, крича, помчался от нее, задыхаясь, уже изо всех сил, а она все так же, не отставая, хрипло дышала совсем уже рядом и вдруг громким нечеловеческим голосом окликнула меня по имени, схватила меня, повалила...

Я долго катался в истерике по степи, а Тракторина Петровна стояла надо мной:

— Ты чего испугался? Меня? Я слышу, что кто-то шарается в ночи, как лось, вот и побежала.

Она говорила, но лица ее не было видно. Будто Тьма говорила со мной!

Мне стало страшно, прыгали губы, и я отполз подальше от Тракторины, в густую, как сгущенка, ночь.

Я полз по степи.

То тут то там лежали в степи кучки спящих, будто убитых, детей. Я искал среди них Надьку.

Ее нигде не было.

Я полз и полз. Я боялся вставать. Я полз, как мой папа на фронте под пулями.

На рассвете я встретил пастуха-казаха с отарой овец. Он ничего не знал. Я рассказал ему.

— Будь что будет, — махнул он рукой и, посмотрев на усыпанное спящими детьми поле, сказал: — Как ягнята лежат.

12

Я нашел ее далеко от костра. Надька сидела рядом с бабой Маней и Светкой — шестилетней дочкой нашей соседки, тети Маши. Они втроем сидели у норки суслика. Светка достала из целлофанового пакета шоколадную конфету «Озеро Рица» и положила у норки.

Потом достала печенье и мандарин и тоже положила у норы.

— Зачем? — спросил я.

— Они одни на свете останутся, суслики, — объяснила мне Светка, — после ядерной войны. Они в своих норках, как в бомбоубежищах, выживут. После войны вылезут, а тут конфета... Они сейчас ударят, — сказала она как большая. — Ровно в четыре часа.

На наш разговор стали сползаться дети. Даже Тракторина Петровна приползла, кутаясь в старую шаль. Стало так холодно. Я трясся как ненормальный, я замерз страшно.

Мы ждали конца.

Я представил маму и попрощался с ней. Папа был внизу, под степью, под нами — в ракетной шахте. Я попрощался с ним, прикинув щекой к земле, сказав в землю: прощай, отец. Щекой я ободрался о колючую степь, будто о папину шетину.

Потом сел ждать. Это было самое страшное — ждать. Это было невозможно — ждать. Нас уже всех трясло.

— Я боюсь. Я не хочу умирать, — сказала одна девочка. — Не хочу, не хочу!..

И сразу заплакали все малыши. Они плакали прямо в небо, они ревели, выворачивая душу.

И тогда я сказал Надьке:

— Надька! Ну сделай же что-нибудь!

Я не знаю, почему я так сказал, я просто так сказал. Меня трясло, и я сказал.

— Надька! Ну сделай же что-нибудь! — сказал я.

Надька посмотрела на меня. Она посмотрела осмысленно, ясно, будто услышала меня.

Потом она встала. Она стояла поеживаясь, как тогда в душевой, подняв лицо к серому холодному небу. Она стояла неуклюжая, в зеленой шерстяной кофте, бордовом платье, с огромным круглым, как мяч, животом.

Она постояла, потом обхватила свой живот, как воздушный шар, руками — и вдруг зависла над землей.

Она медленно поднималась все выше и выше, будто ввинчиваясь в небо. Я видел над собой ее пятки, грязные, потрескавшиеся, она вечно ходила босая...

— Сидорова! Ты куда?! — завопила вдруг Тракторина Петровна и даже подпрыгнула, бросившись за ней, но упала на землю. — Сидорова, вернись!

Баба Маня, глядя на Надьку, упала на колени.

— Чудо! — сказала она, воздев кверху руки. — Господи! Чудо!

И Надька посмотрела на нас сверху. Она так посмотрела!

И все как бы остановилось. Стояли недвижимо дети, задрав головы. Стояла неподвижно на коленях посреди степи баба Маня. Не двигаясь, с ужасом глядя на Надьку, лежала на земле Тракторина Петровна. Стоял, опираясь на посох и глядя вверх, пастух. Стояли овцы, подняв свои кроткие лица к небу. И птица остановилась в полете. Воздух тоже был недвижим: ни ветерка, ни дуновения. Все в этот миг остановилось.

Только Надька взлетала все выше и выше. Ее уже не стало видно.

А через несколько минут показалось солнце. Оно рождалось на наших глазах на краю земли и неба, огромное красное солнце, все испачканное в Надькиной крови.

Надька рожала солнце.

Оно поднималось и поднималось и вдруг, просияв, показало себя все.

Солнце было совсем другое, чем прежде.

Это было новое солнце.

Оно лежало в небе словно младенец в пеленках и глядело на новый, простирающийся перед ним мир.

И я вдруг понял, что войны не будет, что Надька сегодня спасла нас, что не будет ядерного удара, ракет... Смерти не будет!..

Я упал на землю, лицом в степь, и плакал навзрыд, не стыдясь. Что-то зашелестело у моего лица. Я приподнял голову. И увидел, как суслик маленькой ловкой лапкой затаскивает в свою нору шоколадную конфету «Озеро Рица».

Капустин Яр — Москва.

1993 — 1998.



ОЛЬГА ИВАНОВА

*

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

* *
*

Вы говорите — нет в этом мире душе утешенья
и нет отрады,
и ничто из этого не грозит изгнаннице из Эдема.
Но позвольте — а вот эта мокрая, сочная зелень
в глубоком блюде?
А вот эти яркие, в корочке чудной выделки, мандарины?
А вот эти прелестные, цвета ночного неба,
замшевые туфельки с бахромою?
А облеченная в черную лайкру точеная ножка,
подъем высокий?
А Восьмое марта, а в майонезной баночке
неминуемая мимоза?
А на Вас, Аэлита, с покорностью песей глядящие
из-под вьющейся русой пряди небесного цвета очи?
А роскошная лепка розовых уст,
без умолку ныне болтающих с Вами,
что будто бы нет в этом мире душе утешенья
и нет отрады
и ничто не обещает этого изгнаннице из Эдема...
И Вы сами, душенька, молоды невозбранно
и никому еще не принадлежите...
И с минуты на минуту непоправимо,
безумно влюбитеесь, и ничто Вам
не помешает вырастить в самых недрах сердечной клетки,
под засохшей коркою красной глины,
в чудной мякоти чернозема,
соцветье неслышанной красоты, райской раскраски,
с росистыми лепестками, с тычинками тончайшими,
с бархатною изнанкой...
И не надо будет, чуть погода опомнившись,
вырывать его с корнем, с кровью
и после бродить, обезумев от горя,
изнуря эфирное тело думою неотступной.
осенними узкими улочками, шурша опавшей листвою,
глотаю слезы
и уверяя себя, что в этом самом и заключается
пресловутая антиномия Закона и Благодати,

а также — некая запредельная истина,
 некая высшая справедливость...
 Как это ныне происходит с тою, кто пишет для Вас
 эти сумбурные, бесполезные строки...
 Ибо тому, кто слишком много твердит о тщете
 бытия земного,
 оно в итоге отказывает во всех даровых щедротах —
 в нечаянных маленьких радостях,
 в озареньях внезапных, в неожиданных встречах...
 И тогда уже требуется немалое внутреннее усилие,
 чтобы
 продолжать эту беспросветную жизнь,
 как ни в чем не бывало,
 ибо на самом деле нет в ней тогда уже никакого
 душе утешенья и нет отрады,
 и на самом деле ничто уже не предвещает этого
 изгнаннице из Эдема...

* *
 *

По миру бродила.
 Затупила посох.
 Истрепала платье.
 Стесала каблуки.
 Рукава в росах
 да репы в косах.
 Речи бессвязны.
 Думы далеки.

Кочевала годы.
 Коротала ночи
 с вольными ветрами,
 бросивши шатры.
 Выстудила душу.
 Выплакала очи.
 Не сыскала брата,
 не стронула сестры.

Воротилась в хату
 древнею старухой.
 Затворила двери.
 Вымела углы.
 Сказывали люди —
 уходила тихо.
 Ангела видала
 на кончике иглы.

* *
 *

...И парили Архангелы над объятьем двоих,
 играя радужным опереньем, крылами чудными шелестя,
 и душа моя пела вместе с ними
 некий незабываемый, сумеречный хорал,

и звучала над нею рапсодия горних сфер,
и вся жизнь была — ликование, и Песней Песнь
сама собою складывалась и лилась
несказанной хвалою Небу из бранных уст,
и сама я себе казалась ангелом во плоти
и была готова за это целую жизнь отдать...
...А сама эта жизнь не складывалась, и в ней
безблагодатно было, маятно, и никак
не сводились концы с концами, не клеилось ничего...
И тогда поняла я, что это — чужая жизнь.
Что в чужую участь вошла, как к себе домой.
(Ничего не значит, что ключ подошел к замку:
дверь и вовсе, как оказалось, не была заперта.)
А еще поняла я: где-то среди теней,
очертаний, огней вечерних, волнующихся дерев,
убивая годы в ожидании, невезении, ворожбе,
погибая от нежности отвлеченной, невеста твоя живет...
Неприкаянно бродит узкими улочками, вглядываясь во мглу
дымчатых очертаний, горестно обнимая
тоненькие стволы,
не замечая огней вечерних, людских теней,
ища на ощупь — осуществиться,
не оставаться все той же тенью, *сочиня себе лицо...*

...И тогда я вернулась в свою семью, залатала брешь,
распахнула окна, полы подмела, полила цветы
и вошла, как река, в свое русло и стала самой собой...
И тогда затворились хляби небесные, смолкла музыка сфер,
и туда отлетела свита бесплотных сил,
и сокрылись из вида ослепительные крыла...
И тогда, и только тогда моя душа обрела покой.
*Ища на ощупь осуществиться, смотрите выше,
ища... чего?..*

**Безвременно умершей
крестной матери моей Ирине**

Среди неслышанной отрады
и несказанной синевы,
среди щебечущей природы,
среди лепечущей листвы,

среди сумятицы цветений,
сиюминутной и земной,
непритязательнее тени
повсюду следуя за мной,

на бечеву уничтоженья
мои нанизывая дни,
о, неотвязная дуэнья!
о, смерть моя! повремени!

И, может быть, за злостраданья
среди соблазнов и утрат
я не увижу увяданья
и затворенных райских врат...

И, может быть, в конце дороги
 благая влага *vita pova*
 на раскаленные уголья
 ее терзаний пролита,

и уготована в итоге
 ее безумия земного
 душе прохлада Зазеркалья,
 а не могильная плита.

* *
 *

— Куда, мотылек?!
 — Не быть одному.
 Обнять фитилек.
 Взорвать эту тьму.
 Чтоб замертво лег
 у царственных ног
 на миг — огонек,
 навек — уголек...

* *
 *

С. Шабалову.

Не пробраться сердцу
 к сердцу на землй.
 Затворили дверцу.
 Ключик увели.

Потому и бьется
 в крике «отвори!».
 Потому и льется
 кровушка внутри.

Потому и ночи
 темные длинные.
 Потому и очи
 ясные темны.

Потому и руки
 тянутся — обнять,
 а потом и муки
 крестные принять.

Никуда не деться,
 милый человек.
 И не перепеться
 песенке вовек:

«Ты постой, постой,
 красавица моя!
 Дай мне наглядеться,
 радость, на тебя!»



МАКСИМ АМЕЛИН



ЗА СУМАРОКОВЫМ С ПОБЕДНОЮ ОЛИВОЙ

Ипполиту Богдановичу,
погребенному на Херсонском кладбище в Курске

Прохожий! пусть тебе напомнит этот стих,
исполненный порывом смелым,
о старом кладбище при церкви Всех святых
с Екатерининским приделом,
где памятника два замшелых одному
обнесены оградой ржавой,
искусством счастливым пленявшему Саму,
обремененную державой.

Один из двух камней — не Душеньки ли трон,
спаленной безутешным плачем? —
стихами с четырех исчертанный сторон,
доступными слепым и зрячим.
Ты в лучшем веке жил, о нежный Ипполит!
и умер в захолустье тихом,
чужд умоляющим из-под голгоф и плит
купцам трех гильдий и купчихам.

Пред смертью все равны, все у нее в долгу, —
расчетливая ростовщица
в любой удобный миг — ты знаешь, я не лгу —
за ним готова притащиться.
Блажен, кто не дожил, положенный предел
преодолением ускоря,
в стакан со Стиксовой мешать не захотел
ни капли жизненного моря.

Я приходил сюда частенько, милый прах
молитвой мысленно тревожил,
еще не ведая, как наш Господь всеблаг, —
ты мотыльком вспорхнувшим ожил.
Окомновение на все про все с тобой
нам было — не напрасно было, —
архангел оглушил, трубя подъем-отбой:
«Здесь Богдановича могила!»

На приобретение тома
сочинений и переводов В. И. Майкова

Сто тридцать лет, Василий Ваныч
Майков! оставив на потом,
твоих творений толстый том
никто не читывал: ни на ночь,
огарок тепла, ни с утра,
не выспавшись восстав с одра.

Никто. — *Своя у книги каждой —*
болтали римляне — судьба, —
ни властелина, ни раба,
томимого духовной жаждой,
рука не трогала страниц
сих, будто кто над ухом цыц.

Том неразрезанный, бескожий,
презревши переплета ков,
владельца выбирал. (— Майков!
а помнишь, у тебя в прихожей
подслушивал Державин од
перерывающийся ход:

«Багряну ризу распустила
по небу тихая заря
и тем прекрасных дней царя
приход вселенной возвестила.
Прохладой полный утра час
взывает дух мой на Парнас;

уже я лиру восприемлю,
хочу воспеть, на ней глася,
приятну песнь произнося,
что паки мир грядет на землю».
Ну и т. д.) — Отраднa честь
его разрезать и прочесть.

Блажен избранник, но блаженней
избравший правильно стократ! —
Любимец мудрости, Сократ
новейший тыщу возражений
на это сыщет, — так и ты,
лелея детские мечты.

* *
*

Зверь огнедышащий с пышною гривой,
серпокогтистый, твой норов игривый
не понаслышке знаком
всем, кто, вдыхая гниения запах,
некогда мызган в чешуйчатых лапах,
лизан стальным языком,

дважды раздвоенным, всем, кто копытом
бит по зубам и пером ядовитым
колот и глажен не раз
больно и нежно, кто чувствовал близко
испепеляющего Василиска
взгляд немигающих глаз,

взгляд на себе. — Никаких предисловий,
лишь заохотится мяса и крови,
зев отверзается твой
и наполняется плотью утроба
плотно с причмоком, — навывкате оба
только не сыты жратвой

ока. Бывает: ни рылом ни ухом
не поведет, расстиляется пухом,
кротко виляя хвостом. —
О Государство! не ты ли? — Повадки,
взлет ли стремя, пребывая ль в упадке,
те же, что в изверге том, —

разницы нет никакой. Поневоле
тыщами слизью набитых: «Доколе!» —
во всеуслышанье ртов
жертвы б во чреве твоём провещали.
(— *Если тебе не хватает печали,
я поделиться готов.*)

* *
*

Златыми иглами исколоты сугробы;
откалывают лед и сбрасывают с крыш;
серебряный расплав струится высшей пробы, —
не понимаю я, о чем ты говоришь!

По памяти внимать невнятицу какую
неповоротливый настраиваю слух? —
Безмолвие храня, сознательно рискую
среди пира новых дней остаться нем и глух.

Александрийскою стопой неторопливой
особенно теперь не разбежишься, нет,
за Сумароковым с победною оливой
и славы с лаврами Хераскову вослед.

* *
*

Ты в землю врастаешь, — я мимо иду,
веселую песенку на ходу
себе под нос напевая
про то, как — теряя златые листы —
мне кажешься неотразимую ты,
ни мертвая, ни живая.

Ты помощи просишь, страдания дочь, —
 мне нечем тебе, бедняжка, помочь:
 твои предсмертные муки
 искусству возвышенному сродни,
 хоть невпечатлимы ни в красках они,
 ни в камне, ни в слове, ни в звуке.

Сойдешь на нет, истаешь вот-вот, —
 благой не приносящие плод
 пускай не расклеятся почки,
 поскольку ты — смоковница та,
 которую проклял еще до Христа
 Овидий в раздвоенной строчке.

* *
 *

«Эй, черепаха в патине, в паутине,
 пылью покрытая лира! проснись и пой,
 длани мои наполнив собою ныне, —
 время настало голос подать скупой.

Расширяясь, царствуя, богатея,
 будет он раздаваться среди пиров
 Муз и Киприды праздных, — моя затея,
 нет, не пуста, и внемлющих *будь здоров*

песне струистой — всем в утоление жаждам.
 Прочь отлетает бремя мирских забот,
 рушатся в прах твердыни градов пред каждым,
 всякий над миром властвовать восстает.

Дом и слоновой костью блещет, и златом,
 нету нужды: заполнены закрома
 урожаем пшеницы да ржи богатым, —
 могут искусства грезы свести с ума.

Сыну земли дано утешаться малым,
 в море желаний сбыточных утонуть
 слаще всего на свете, пока началом
 день кончается, дню пролагая путь.

Слава забвению! Память о смерти строгой,
 скорбные мысли о том, что для смертных нет
 полного счастья, гонит оно, — не трогай,
 коль не тобой положено, в мир вошед.

Благо кому и горе одним аршином
 меряно, ядовитому не велит
 разуму попусту дух угрызать», — *Афинам*
древле вещал взволнованный Вакхилид.

* *
*

Сирень отцвела, распустился жасмин
на Малой Никитской и Бронной, —
единство враждующих двух половин,
в себя безответно влюбленный,
шагами я меряю улиц пустых
пространство, ступая сторожко, —
вдруг под ноги шмыг, раздвоивши стих,
сомнения черная кошка.

В какой-то успел переулок едва
свернуть я, как все изменилось:
пожухла трава и опала листва,
поземкой зима зазмеилась,
навстречу киша повалила толпа,
Москва переехала в Питер, —
и холодной рукою с горячего лба
я пот лихорадочно вытер.

* *
*

Подписанное именем моим
не мной сочинено, я — не *максим*
амелин, чьи *катулла переводы*,
веселая наука и центон,
холодные не мной слагались *оды*,
хвостова воскрешал не я, а он,
он (а не я) то рифмой, то размером
стремится вслед *пиндарам* и *гомерам*.

Мне в голову такого не пришло б,
я — самый заурядный курский жлоб,
из узелков составленный и петель:
хвастун и хам, торгош и скупердяй —
стихи мне звук пустой, и Бог свидетель,
что я тут ни при чем. — А ну отдай,
кто б ни был ты, взятое не по праву,
возьми взамен условленную славу.



СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ



АПОЛЛОН РАЗОБЛАЧЕННЫЙ

Рассказ

История эта, случись она за четыре-пять столетий до Креста, непременно была бы — с должным почтением к божественному возмездию — упомянута Секстом Эмпириком («Против ученых»), Псевдо-Аристотелем («Об удивительных слухах») или послужила бы Лукиану поводом для зубоскальства в каком-нибудь из его «Разговоров в царстве мертвых»; несомненно также, что названные авторы, равно как и позднеантичные комментаторы и компиляторы, не стали бы злоупотреблять по отношению к герою этой истории легкомысленными выражениями вроде «безвременная кончина» и «трагическая случайность», — как это сделали коллеги профессора Якоба Миллера, посвятившие ему в начале августа 1914 года несколько некрологов в ряде немецких и швейцарских газет. В свою очередь я не вполне уверен в своем праве называть историей события, связанные, по-видимому, лишь временной последовательностью.

Начать, наверное, следует с ноября 1912 года, когда профессор классической филологии Базельского университета Якоб Миллер — автор небыизвестных широкой публике книг «Политеизм у греков» (1898) и «Страдающие боги в языческих религиях» (1907) — невольно обратил внимание на многочисленные не по сезону толпы иностранцев, тревожившие своими возбужденными восклицаниями тихие кафе и улицы города. Нетрудно было догадаться, что речь между ними идет о политике. Заглянув в газеты, Миллер узнал, что в Базеле проводит съезд какой-то II Интернационал, предупреждающий пролетариат Европы об угрозе империалистической войны. Упоминание о войне вызвало у него недоумение и грусть. Всякое проявление грубой силы было ему противно; к тому же, по его мнению, современный этап развития христианской цивилизации уничтожил все разумные причины и поводы для военного конфликта между культурными нациями. Правда, будучи истинным гражданином своей страны, Миллер недолюбливал государства с многомиллионным населением и испытывал инстинктивное недоверие к разумности их общественного устройства и политических устремлений. Всем разговорам о социальных реформах и системе европейской безопасности он втайне предпочитал совет Аристотеля: «Сделайте так, чтобы число граждан не превышало десяти тысяч, иначе они не будут в состоянии собираться на публичной площади». Германия менее других европейских стран пробуждала его симпатии. Миллер хорошо знал и с удовольствием посещал Флоренцию, Венецию, Афины; в Берлин или Лейпциг он ездил неохотно и только по делам. Труды своих немецких коллег он ценил не очень высоко; перспектива германизации Европы ужасала его.

Цветков Сергей Эдуардович родился в Москве в 1964 году. По образованию историк. Печатался в различных периодических изданиях. В «Новом мире» публикуется впервые.

После лекций он поделился своими тревогами с профессором Готфридом Герсдорфом, медиевистом. Герсдорф был немец, что не мешало Миллеру в течение последних семи лет (с тех пор, как они сошлись) предпочитать его беседу любой другой. Их тревожили одни и те же вопросы: каким путем пойдет дальше культура, сумеет ли Европа сохранить и передать будущему хрупкую и столь часто искажаемую красоту, завещанную ей Атикой и Тосканой?

Они поднялись на облюбованную туристами террасу, между красным каменным собором и Рейном. Простое, ничем не примечательное здание университета находилось совсем близко, на склоне между музеем и рекой. Глядя вниз, на холодные волны реки, еще недалеко от верховья, но уже полноводной и шумной, Герсдорф сказал:

— Как человек я разделяю ваше отвращение к войне, но как мыслитель я не могу не признать, что война будит человеческую энергию, тревожит уснувшие умы, заставляет искать цели этой и без того слишком жестокой жизни в царстве мужественной красоты и чувстве долга. Лирические поэты и мудрецы, непонятые и отвергнутые толпой в годы мира, побеждают и привлекают людей в годы войны: люди нуждаются в них и сознаются в этой нужде. Необходимость идти за вождем заставляет их прислушиваться к голосу гения. Только война способна пробудить в человечестве стремление к героическому и высокому. Может быть, будущая война преобразит прежнюю Германию. Я вижу ее в своих мечтах более мужественной, обладающей более тонким вкусом.

— Нет, — отвечал Миллер, — вы все время думаете о грехах и итальянцах, в характере которых война действительно воспитывала добродетель. Но современные войны слишком поверхностны и потому бессильны нарушить рутину буржуазного существования. Они случаются слишком редко, впечатление от них быстро сглаживается, мысли людей не останавливаются на них. Ужас и страдания, причиняемые ими, носят слишком животный характер, чтобы высокоразвитая философия или искусство могли извлечь из них что-то новое, что-то ценное.

— И все же, — сказал Герсдорф, — я смотрю в будущее с надеждой: мне кажется, я вижу в нем черты видоизмененного средневековья. — Затем, немного помолчав, он предложил Миллеру провести этот вечер у него, поскольку он «ожидает сегодня нескольких своих друзей», и в их числе Поля де Сен-Лорана, возвращающегося в Париж из поездки по Греции и Италии.

Имя этого сравнительно малоизвестного французского критика Миллеру было знакомо. Его фельетоны, разбросанные по страницам «La Press», «Journal de Debat» и некоторых других парижских изданий, производили на Миллера странное впечатление. Критический метод Сен-Лорана казался ему причудливым до извращенности, совершенно непозволительным для исследователя распутством мысли. Сен-Лоран совершенно пренебрегал логическими доводами. Казалось, что, говоря о каком-нибудь авторе или отдельной книге, он старался вначале составить себе о них общее впечатление, которое потом воспроизводил образами, картинками, красочными и пышными уподоблениями, размышлениями, критическими отступлениями и сплошь да рядом просто красноречивыми восклицаниями. Его стиль раньше утомлял глаза, чем мозг, и, однако, Миллер испытывал при чтении его фельетонов некое одурманивающее наслаждение. В руке Сен-Лорана перо превращалось в кисть живописца, которой он пользовался умело и порою блестяще. Античность и Ренессанс, религия и философия, боги и люди, бесчисленные и многообразные образы прошлого получали свое чеканное отображение в статьях этого взыскательного эстета, небрежно рассыпавшего их по страницам газет и журналов, где они соседствовали с объявлениями и политическими пасквилями. Его произведения

напоминали Миллеру кабинет редкостей или залы Лувра, а сам Сен-Лоран представлялся ему каталогизатором, перебирающим холодными, бесстрастными пальцами драгоценные камни разных эпох.

На деле Сен-Лоран оказался весьма живым, артистически растрепанным молодым человеком, похожим в своем сияющем беспорядке на вдохновенных юношей с полотен Ренессанса. Он говорил только о Греции и Италии. Сообщая всем свои литературные планы, он поведал о дерзком желании описать метопы¹ Парфенона и с отчаянием жаловался, что во французском языке нет слов достаточно священных, чтобы описать эти торсы, «в которых божественность пульсирует подобно крови». «О, Парфенон! Парфенон! — повторил он несколько раз. — Это слово преисполняет меня ужасом Священных Рощ!» Затем он обрушился на христианство, «одевшее в монашескую сутану мир, который во времена древних греков был ярким, красочным и полным жизненных соков».

— Боги Олимпа вечно юны, прекрасны и жизнерадостны, — с жаром восклицал Сен-Лоран. — Когда я произношу их имена — Аполлон, Венера, Пан, — перед моим взором встает ясный полдень, гиацинты и фиалки на склонах холмов, я слышу журчанье прозрачного ручья и смех загорелых юношей и девушек, купающихся в холодных водах горной речки. Но вот приходит Христос... И тут оказывается, что мир полон больных, нищих, убогих, отовсюду тянущих к радостной юности свои иссохшие, покрытые язвами и проказой руки, чтобы оборвать ее смех и заставить ее видеть только их, думать только о них... Это из-за Него люди больше не могут бездумно восхищаться великолепием бытия и воспевать солнце и красоту. Это из-за Него опустели и лежат ныне в развалинах храмы, где человек поклонялся здоровью, цветущей силе и красоте. Я не понимаю, как люди могли отречься от Красоты и предпочесть ей религию страдающей плоти! Христианин — это мумия, спеленутая в сутану, его молитвы, посты и мораль — это духовная и телесная гигиена трупа. Посмотрите на наших мужчин и женщин, подставляющих свои рыхлые, бледные, покрытые прыщами тела лучам солнца на каком-нибудь пляже Ниццы, — лучшего довода против христианства не существует! Оно привело к деградации человечества. Кто хоть раз воочию видел божественную соразмерность пропорций Аполлона Бельведерского или Венеры Милосской, тот уже не сможет без отвращения смотреть на распятие. С чистым сердцем можно поклоняться только прекрасному, только Солнцу и Любви!

— Я искренне восхищаюсь чистотой форм Аполлона Бельведерского, — рискнул вставить Миллер, — но если вы захотите, чтобы я перед ним преклонялся, то, боюсь, я не увижу в нем ничего, кроме куска мрамора.

— Вы не верите в божественность Аполлона? — воскликнул Сен-Лоран. — Но попробуйте распять Солнце — и вы увидите, кто истинный Бог!

Миллер пожал плечами, и на этом, говоря коротко, беседа закончилась.

Разговор с Сен-Лораном навел его на размышления о порочной тенденции науки (не говоря уже об искусстве) последних лет вживлять античную мифологию в живую плоть современности, претворять образы древности, ее религию и культуру из объекта отвлеченного эстетического созерцания или историко-филологического анализа в факт внутреннего переживания. Результатом этих опытов, по мнению Миллера, была не новая крупица знания, а новая мифология — мифология мифа. Его возмущение

¹ На девяносто двух метопах (каменных плитах над ордерами колонн) Парфенона представлены сцены гигантомахии, кентавромахии и амазономохии, а также отдельные сюжеты из Троянской войны и жизни Эрихтония (царя Афин, сына Гефеста). (Примеч. автора.)

вызывал и воинствующий Prugelknabenmethode², на котором строили свои исследования авторы подобных сочинений, избирающие, как правило, на роль Prugelknaben если не самого основателя христианства, то, на худой конец, кого-нибудь из отцов церкви или великих схоластов.

В качестве скромного протеста против задорного неопаганизма своих современников Миллер принялся писать книгу, озаглавленную им подчеркнуто нейтрально: «Образ Аполлона в его историческом развитии». Тщательно избегая любых оценок, выходящих за рамки чисто научного комментария, он проанализировал все известные тексты, относящиеся к этому божеству. Ни один древнейший текст не свидетельствовал об Аполлоне как о солнечном боге. Хеттский Апулунас был богом ворот и хранителем дома, а его имя находилось в явном родстве с вавилонским словом «abullu» — «ворота». Его изображали в виде камня или столба, что подтверждает и Павсаний в своем описании святилища Аполлона в Амиклах: «Если не считать того, что эта статуя имеет лицо, ступни ног и кисти рук, то все остальное подобно медной колонне». Кроме того, мифы об Аполлоне обнаруживали его связь с культом лавра (любовь к Дафне — нимфе, имя которой означает «лавр»), кипариса (любовь к юноше Кипарису), плюща (эпитет «Плюшекудрый») и волка (Аполлон Ликейский, от Iuseios — «волчий»). Само имя этого бога, негреческое по своему происхождению, было непонятным для греков и ассоциировалось ими с глаголом apollyien — «губить». Аполлон Гомера — это deimos theos, «страшный бог», который «шестьует, ночи подобный», безжалостный «друг нечестивцев, всегда вероломный». Порфирий прямо называет его богом подземного царства, губителем. Это бог-разрушитель, профессиональный убийца, стреляющий без всякой цели своими смертоносными стрелами в людей и животных. Все древнейшие тексты говорили об ужасе, который испытывали перед ним природа, люди и даже боги. Земля, трепеща перед еще неродившимся Аполлоном, не принимает Латону, его мать, когда она, будучи беременной, скитается в образе волчицы, ища место, где бы она могла разрешиться от бремени. Гомеровские гимны утверждают:

По дому Зевса пройдет он, — все боги, и те затрепещут.
С кресел своих повскакавши, стоят они в страхе, когда он
Ближе подступит и лук свой блестящий натягивать начнет.

Ватиканские мифографы именуют Аполлона титаном: «Он один из тех титанов, которые подняли оружие против богов». Да и внешне он представлялся грекам совсем не таким, каким его позже изобразил Леохар, автор Аполлона Бельведерского. Спартанский историк Сосбий еще в IV веке до н. э. сообщал: «Никакой Аполлон не является истиннее того, которого лакедемоняне соорудили с четырьмя руками и четырьмя ушами, поскольку таким он явился для тех, кто сражался при Амиклах». Анализ более поздних источников показывал, что идеализация Аполлона началась с Еврипида и завершилась в эпоху упадка и разложения мифологии и языка, когда греческие и римские интеллектуалы стремились сделать древних богов более привлекательными для образованных людей. Тогда наследники орфической и пифагорейской традиций отождествили его сначала с Гелиосом — Солнцем, а затем и с Дионисом, который стал означать Аполлона, находящегося в нижней, ночной, полусфере небес.

Миллер закончил книгу весной 1914 года; в начале лета она была издана за счет университета. Один экземпляр он отослал Сен-Лорану и в конце июля получил от него сумбурное письмо. «Вы осмелились отрицать солнечное происхождение Аполлона — берегитесь! — писал Сен-Лоран. —

² Букв.: метод «мальчика для битья» (нем.).

Не вы первый вступили в соперничество с его божественной кифарой, вспомните о содранной коже Марсия. Все же я прочел вашу книгу с удовольствием, с научной стороны она безупречна. Я могу лишь воскликнуть вслед за Бодлером, перед которым один его гость небрежно уронил статуэтку африканского божка: «Осторожнее! Откуда вы знаете, может быть, это и есть настоящий Бог!»

Миллер читал эти строки утром 28 июля в Турине, куда он уехал отдыхать после окончания семестра. Днем, страдая от духоты в меблированных комнатах, снятых им на лето, он вышел побродить по берегу По и упал прямо на мостовую неподалеку от церкви Сан-Лоренцо. Врачи констатировали смерть от *солнечного удара*.

Похороны Миллера взял на себя Базельский университет. Покойному было пятьдесят два года; его жена умерла четыре года назад, — других родственников у него не было.



ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ

*

ПИРОГИ ОСТЫЛИ. ДАЛЬШЕ ШКОЛА

Н. Б.

1

Третий день в наших краях дует весенний ветер,
снег становится черным, как старые доски.
Выходя из трубы, дым поворачивает на север
и мучительно долго плывет, набирая версты.

Ты заметил, что в марте все кажется слишком длинным
и холодным и даже окна выглядят уже?
Что это, сосны? Да нет, милый мой, это опять осины.
И пока ждешь автобус, успевают замерзнуть лужи.

Отправляйся пешком, мимо овощного рынка,
где торгуют хохлы и грузины, а ночью — крысы.
Захрустит под ногами стекло, но не жаль ботинка:
далеко до лета, но ведь дом все равно — близко.

Дальше дом № 3 по Песчаной, поворот направо,
двор, где пахнет котлетами и березовым соком.
Видишь, на скамейке пьет москвовед Панкратов?
Это значит — сезон открыт, наливай по полной.

Поболтай с ним о новоделах и двигай дальше.
Скоро станет совсем темно, да и руки мерзнут.
Как лимонная косточка, под окном Наташи
прорастает месяц. «Кто там?» — «Не поздно?»

На часах девять двадцать, у Наташи гости:
на столе глинтвейн, на тебя смотрят чужие лица.
«Я, наверно, не вовремя», — говоришь, со злости
хлопнув дверью впотьмах. Двадцать один тридцать.

2

Между тем стемнело, стало больше горящих окон,
абжуры на кухнях — красные, зеленые, голубые.
Разливая чай, женщина придерживает локон
и беззвучно шевелит губами: пироги остыли.

Дальше школа: темная, как портфель из кожи.
Днем здесь очень шумно, а вечером как на кладбище.
Видишь, на фронтоне высечены какие-то рожи?
Это классики: Пушкин, Горький, Толстой, Радищев.

Три ступеньки с торца, дверь, козырек под снегом —
здесь живет одноглазый сторож, глядит за садом.
В старших классах говорят, что старик с приветом,
в младших классах считают его пиратом...

...За коробкой пустырь, его долго обходят с фланга
словно красс-антоний-алкивиад-перикл
гаражи, бытовки, ангары, и торчат как флаги
голубятни, продолжая обход, а точнее — цикл.

Где ты, Ментор, или как там тебя, Арбитр?
Я замерз и промок, я уже не чувствую шеи!
Небо в звездах колетса, как шерстяной свитер,
и не видно конца этой мартовской одиссеи...



АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ



СОВПИС

Угрюмо старость доживая,
Он едет в местный «ЦДЛ»,
Не глядя ни в окно трамвая
— Уже лет десять не глядел, —
Ни внутрь себя, а смотрит на пол:
Подсолнечная шелуха
И мысли, коих кот заплакал,
Порой подобие стиха
Рождают в нем, порою скуку
Наводят. Чаше — ничего.
Он машинально гладит руку
Свою (два пальца у него
Оттяпала война); бездумно
Выходит, медленно идет
В «дом литераторов», где шумно
Приветствует глядящих в рот
Его беззубый — секретаршу,
Вахтера, бывшую труда
Ударницу, седую Машу —
Уборщицу. Густое «м-да»
Он произносит про непруху,
Заканчивает: «Так-то, брат», —
И, машинистку-молодуху
Привычно ущипнув за зад,
Плетется в бар; Петра, Степана,
Уже поддавших с утраца
(А впрочем, пьющих постоянно,
Что видно по буграм лица),
Там обнимает. Крякнув, двести
Ко рту подносит. Выпив сто,
Закуривает. И все вместе
Минуты три глядят в ничто.
И дальше пьют. Проходит где-то
Часа четыре. Он дойти
Пытается до туалета,
Но мочится уже в пути.
Дошел. Но вынесут — ногами
Вперед. Литературный труд
Окончен. Том с его стихами
Посмертно переиздадут.

Волгоград.

Леонтьев Александр родился в 1970 году в Ленинграде. Автор трех поэтических книг. Руководит поэтической студией при Волгоградском государственном педагогическом университете.

ДМИТРИЙ ПОЛИЩУК

*

ЛЮБОВНЫЕ МЕТРЫ

1

Иду по улице и думаю о том,
что я иду по жизни прямо скот скотом.

И эту женщину, подобную лучу,
я не люблю, но исключительно хочу.

Ах, эти липы, этот воздух, этот цвет!
Я ощутительно хочу весь белый свет.

И есть надежда: небосвода синева
безумным глазом подмигнула раза два.

2

Вскрикнул от укола я
в сердце. И упал.
Ты приснилась голая
мне, а я не спал.

Тысячи протопали
дум через одну.
Ночью вышел во поле,
увидал луну.

Битою собакою
весь от страсти злой
тявкаю и плакаю
над своей судьбой.

3

Хочу, чтоб ты изнемогала,
кричала в голос, задыхалась,
в коленях медленно дрожала,
вдруг в судороге содрогалась.

Хочу, чтоб это длилось, длилось
 всечувственным прикосновеньем;
 на сон без остановки снилось,
 не прерываясь с пробужденьем.

И не кончалось, не кончалось
 и билось, как волна с волною.
 Хочу тебя, тебе, тобою
 хочу, чтобы земля качалась.

И чтоб от счастья затошнило
 и тело чтоб осточертело!
 Хочу, чтоб это было, было...
 А там — все то, что ты хотела.

4

Сядь мне на бедра, нагая и наглая, —
 мы с тобой поговорим о поэзии,
 мы с тобой поговорим поэтически
 нынче не ямбом, но вдумчивым дактилем.

И почему-то припомним Некрасова,
 милого Ваню, дорогу железную,
 будто летим мы на медленном поезде
 века прошедшего. Стыки со стуками.

Косточки русские... Впрочем, вспомним-ка
 светлой античности лиру Гомерову,
 гнев — о, богиня! — гнев сына Пелеева,
 тысяч крутого троян терминатора!

Вспомним о всех гекатомбах ритмических,
 вальсов над сопками — раз-два-три, раз-два-три,
 тучах небесных столетья двадцатого.
 Наших скелетов в рассвете пронзительном

солнца искусного тысячесветного —
 раз-два-три — завтра ль осыпятся косточки?
 К славе грядущих Гомеров, Некрасовых
 сядь мне на бедра до света скончания.



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ

Очерки изгнания

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(1974 — 1978)

Глава 2

ХИЩНИКИ И ЛОПУХИ

Во всей нашей в те годы борьбе как же было нам не знать, не помнить, что Запад существует! Да каждый день мы в Советском Союзе это ощущали, и борьба наша вызывала гулкое эхо на Западе и тем получала опору в западном общественном мнении. А вместе с тем — реальные законы Свободного Мира нами не ощущались. Зналось, конечно, что вся атмосфера его, как она из западного радио вырисовывалась, другая, не наша. Но это общее понимание — даже на иностранных корреспондентов в Москве распространялось нами ограниченно: уже они казались обязаны разделять наш суровый воздух, и забывали мы, что Москва для них — весьма престижное и выгодное место службы, которое легко и потерять. Те же иностранцы, кто втягивались как наши секретные сообщники (близкие «невидимки»), уже воспринимались нами как обданные русским ветрожомом, такие же непременно стойкие и такие же непременно верные. (Да вот, замечательно: такими они себя и проявляли: они переняли эту атмосферу безнаградской жертвенности.)

Но и просто вообще *знать* всегда мало для человека. А начнёшь проводить через опыт, через поведение — и наошибаешься, и наошибёшься.

Вся эта гекатомба самоотверженности наших «невидимок», возвысившая мои книги и выступления до зренья и слуха всего мира, так что они появлялись в полную громкость, неостановимо для Лубянки и Старой площади, — в реальной жизни не могла выситься легендарно-чистой, так, чтоб не тронула её коррозия корысти. И коррозия эта пришла в наше дело, и несколько раз, но из мира, устроенного по другим жизненным законам. Могла б и в пригнётном мире прилепиться, но удивляться надо: нет. В этом, говорят, безнадёжно испорченном обществе и народе — тогда не втиснулись между нами корысть, предательство, осквернение.

Мы — бились насмерть, мы изнемогали под каменным истуканом Советов, с Запада нёсся слитный шум одобрения мне, — и оттуда же тянулись

ухватчивые руки, как бы от книг моих и имени поживиться, а там пропади и книги эти, и весь наш бой.

И без этой стороны дела осталась бы неполна картина.

Всегда правильно толковала «Ева» (Н. И. Столярова), даже впервые открыла мне: что главная сложность не в том, как перетолкнуть рукопись через границу СССР (мне казалось только это единственно трудным, а уж дальше — всякие руки в свободном мире благожелательно напечатают, и книга быстро выполнит свою цель). Не-ет, мол, *перебросить* в нынешнее время стало совсем не тяжело — а трудно, важно: найти честные руки, куда рукопись попадёт, кто будет ею распоряжаться не с потоптанием автора, не искажая его в спешке для сенсации или прибыли.

Отправка наша до сих пор была только одна: в октябре 1964 с Вадимом Леонидовичем Андреевым, — и с тех пор она лежала спокойно, без движения, в Женеве. (Там был «Круг»-87, то есть сокращённый вариант романа, с политически облегчённым сюжетом, все пьесы и лагерная поэма «Дороженька».)

Весной 1967, приехав из эстонского Укрузица, освобождённый окончанием «Архипелага» и готовясь ко взрыву съездовского письма (как раз начал первые страницы «Телёнка»), я оказался перед необходимостью и возможностью решать: как жить моим двум романам — «Кругу» и «Корпусу». Ведь на родине, исключая самиздат, им — стена.

Да «Раковый корпус» и множился в самиздате с июня 1966. Но, видимо, ещё не быстры тогда были пути самопроникновения рукописей на Запад. И как «Иван Денисович» туда не урвался сам за год, так, очевидно, за год не успел и «Корпус». Но — успеет. И я решил: уж теперь пусть плывёт как плывёт, без моего прикосновения, без всякой опеки и соглашений. А «Круг» — куда опаснее, и я сам буду его печатать, сам выберу и пути, и руки, и момент взрыва (так, чтоб и успеть к нему подготовиться). Попробую по-разному, что выйдет.

А ведь начал ходить в самиздате и «Круг». Тут уже стерегись. И я, по совету Евы, решил прямо поручить печатать его на Западе — дочери Вадима Андреева Ольге Карлайл. Убедила меня Ева, что это уж будет издание ответственное, качественное, и точно по моему сигналу.

До сих пор все годы я действовал или в пределах ГУЛАГа, или в пределах СССР — и почти безошибочно в поступках и в разгадке людей. Но тут — предстояло касаться иного, неведомого, мира, и я стал совершать почти только одни ошибки, долгую цепь ошибок, которая и по сегодня, через 11 лет, не расхлёбана.

Из двух выбранных мною путей для двух романов оба оказались — хуже.

Правда, первый путь я невольно подпортил, но никак того не понимая. Весной 1967 получил в Рязань телеграмму двух словацких корреспондентов, просят интервью. Конечно, беспрепятственный приход телеграммы подозрителен, но бывают же и осечки, вдруг ГБ прохлопало? После японца Комото (осенью 1966) я никаких интервью не давал, «Архипелаг» успешно окончен и запрятан, меня удушали замалчиванием, — отчего бы голос не подать, да и корреспонденты «восточно-демократические», как будто не криминал? Принял. Один из них, назвавшийся Рудольфом Алчинским, стройный, загадочный, всё время молчал и приятно улыбался; но никакой его роли в дальнейшем не видно — и странно, зачем был он? соглядатаем? Старший же был — топтыжистый Павел Личко, корреспондент словацкой «Правды», уже тогда смелой газеты ещё не известного миру Дубчека. В прошлом командир партизанского против немцев отряда, человек решительный, он вёл себя и явился мне представителем ещё скованной, но уже пробуждённой словацкой интеллигенции. В конце интервью (поданного им потом с мешанским огрублением, с мелодрамными репликами, — научил меня, что важные мысли надо излагать самому письменно, а не полагаться на корреспондентов) попросил меня Личко: «А не можете вы дать нам „Раковый корпус“ для Чехословакии? Это будет нашей интеллигенции такая поддержка, мы будем пытаться напечатать его по-словацки!» — «Уж тогда и

по-чешски!» — предложил я встречно. А для начала, в журнале, напечатать главу «Право лечить» (уж самую безъершистую). И легко дал ему 1-ю часть «Корпуса» и в придачу «Оленя и шалашовку»: ведь в восточноевропейскую страну, как будто совсем не за границу, не на Запад же! Я сам не заметил, что нарушаю собственное решение: самому — «Корпуса» не давать никому. И ещё совсем не понимал я такой стороны, что машинописная пачка рукописи там дороже пачки крупных ассигнаций, — у нас ведь в самиздате всё льётся бесплатно, между энтузиазмом и уголовным кодексом.

И вот за ошибку зрения пришлось поплатиться. (Ход событий я узнал только в Цюрихе, в конце 1974, из переговоров с английским издательством «Бодли Хэд».) В ноябре того 1967 возвратившийся из братиславской поездки в Лондон лорд Николас Беттел, от других лордов отличавшийся знанием русского языка, — *от себя* предложил издательству «Бодли Хэд» роман Солженицына «Раковый корпус» на условиях: переводят он и Дэвид Бург (он же Александр Долберг, темноватый для меня эмигрант из СССР, отпущенный, когда не отпускали ещё никого), а за перевод возьмём не с издательства (как всегда), а — с автора, половину его гонорара. Что ж, «Бодли Хэду» ещё выгодней. Беттел не представил никаких полномочий от меня, лишь обещал такие от Личко, — и старинное респектабельное английское издательство легко подписало предложенный договор с Личко. («Как же вы могли поверить в полномочия, без доказательств?» — спрашиваю я их в Цюрихе в 1974. Отвечают: «А иначе мы не получили бы романа». И — какие же могут быть преградные соображения?)

Несомненно, что Личко при встрече с Беттелом в Братиславе предложил ему издать в Англии мою книгу. Поверил ли Беттел в полномочия Личко? Допустим, внешних доказательств было не так мало: машинопись 1-й части — может быть, авторская, а может быть, и не авторская; факт, что Личко получил в Рязани у меня интервью; да два моих дружественных письма к Личко вслед интервью — по тому поводу, что главу «Право лечить» напечатали-таки в словацкой «Правде» в переводе супругов Личко. Да, это было — кое-что, но никак не достаточно оснований Беттелу для уверенности, что я поручил Личко печатать «Корпус» в Англии. Однако, очевидно, ему удобнее было поверить, и он, вероятно, легко достроил, что *если* я открыто поручил Личко публикацию одной главы в Чехословакии, то *значит* я тайно поручил ему и публикацию всей книги во всём мире.

Тогда же, в декабре 1967, Личко кинулся опять в Москву. Он хотел получить моё согласие на английское издание и уверен был в том. Но разве найти меня в Москве? — я там и вообще не живу, да неизвестно где, и работаю всегда. Личко бросился к Борису Можаяеву, с которым знаком был, потому что и его переводили на словацкий супруги Личко. И возбуждённо теперь рассказал Борису и в возбуждённом письме открыто написал мне: что встречался с представителем «Бодли Хэда» и уже обещал им продать «Корпус». И лишь последнего согласия моего спрашивал, — то есть как ещё довеска к уже несомненному решению? (И — не просил 2-й части «Корпуса», что странно.)

От письма Личко, переданного Борей в моё убежище этой зимы, я взвился в солотчинской берлоге. Но конечно не поехал с партизаном встречаться, да никогда я не допускал лишних движений прочь от работы, однако написал ему ответ, полный проклятий и запрета, — он разрушал мой план не прикасаться к движению «Корпуса», через какую-то неведомую цепочку взваливал всю ответственность на меня.

Борис рассказывал потом — Личко изумился: «Но ведь какие деньги пропадают, какие деньги!» (Тогда я подумал: душа коммунистического партизана уже обзолочена. А что? такие превращения происходят запросто. Сейчас думаю: да нет! провокация ГБ от начала до конца. Не на интервью и пропускали его в Рязань — а за рукописью, чтобы я *сам дал на Запад*? И что уж так часто свободно ездил Личко в Москву? И что ж они 2-й части «Корпуса» от

меня не добивались, для полноты? сами имели? Им только и надо было, чтоб начальный коготок увяз: *сам дал.*)

На том Личко тогда и уехал из Москвы. Я думал: послушался. Начинался 1968 год, «чешская весна», — самое бы время и печатать мою книгу в Чехословакии. Нет! — партизан вёл свои безумные (или очень умные) переговоры. И вот в марте 1968 в пражском ресторане (самое безопасное место от ГБ?..) Личко встретился с предприимчивым лордом и в присутствии свидетелей, англичанина и англичанки, выдавая себя за моего полномочного представителя, подписал договор с издательством «Бодли Хэд» о продаже ему всего «Ракового корпуса», обеих частей, а заодно — и пьесы «Олень и шалашовка», и на неё простяг! При том торопились или были нахмеле — упустили распространить «договор» на все языки мира, не только на английский. Уже уехав в Англию, лорд сообразил, или указали ему в издательстве, и он письменно потребовал от Личко расширения — и Личко великодушно «расширил» простой добавочной запиской.

А всё-таки, «Бодли Хэду» верней бы получить мою собственную подпись! И — опять погнал Личко в Москву, к Можаяеву. И всучивал ему — через границу привезенный! — договор, чтоб я подписал. И Борис — того договора благоразумно и в руки не взявши — вынужден был гнать ко мне в Рождество. И в моё ранневесеннее одиночество на Истье свалился с такой новостью: оказывается, Личко договор *уже* подписал от *моего* имени!

Ах, мелкая душёнка! Ах, канальство! Всё во мне помрачилось. Только-только перед этим я так хорошо отладил всё с «Корпусом», он шёл — а я никак не участвовал, за него не отвечал, — а теперь окажется: я передал его на Запад сам? да не передал, а продал? Что делать с этим балбесом, ошалевшим от запаха денег? Борька! Подави его, гада! Запрети категорически, провались он с его деньгами! Не хочу я с ним ехать даже встречаться!

Так срывался мой замысел, что именно «Раковый» я пускал по воле волн.

Безотказный мой друг воротился в Москву, встретился с Личко — и велел ему тут же, в ресторанной уборной близ Новодевичьего, изорвать привезенный договор в клочки: «Попадёшься на границе — арестуют». И Личко — изорвал? Наверно нет, разве пообещал.

Прошло недели три — и вдруг приносят мне вырезку из «Монд»: между «Мондадори» и «Бодли Хэдом» происходит публичный спор о копирайте на «Раковый корпус». «Мондадори» — шут с ним, он меня не касается, значит, из самиздата взял, — но «Бодли Хэд»? ведь через Личко запутает меня! Из-за этой низости Личко я и должен был особым письмом в «Монд»—«Униту»—«Литгазету» заявить, что: *никто* из западных издателей не получал от меня доверенности печатать повесть. И поэтому *ничью* публикацию без моего разрешения не признаю законной и *ни за кем* — издательских прав.

Я это — с твёрдой чистой совестью заявлял, это именно так и было. В начале апреля радовался появившимся отрывкам из «Корпуса» в литературном приложении к лондонской «Таймс», их передавали по Би-би-си: поплыли, в добрый путь! И не додумался, лопух, что это с экземпляра, который Личко уже продал, — это публикация, анонсная к книге.

Публичное моё заявление, напечатанное в «Монде», потом даже и в «Литгазете» (теперь поверили мне и гебешники), было ясно, твёрдо — и как бы его криво толковать? Ведь знали: я не сделал ни одного вынужденного заявления под давлением властей — как же было не поверить и этому? Однако солидное английское издательство не посчиталось с прямыми словами автора и нашло сговорчивого адвоката — а тот быстро, в начале мая, уже и отпустил «Бодли Хэду» грех: можно с заявлением автора не считаться и печатать. Хуже: «Бодли Хэд», в противоречие мне, *публично заявил*, что их издание — *авторизованное* (то есть, как минимум, *разрешённое* автором). То есть значит: Солженицын

* Солженицын А. «Бодался телёнок с дубом». М., «Согласие», 1996, стр. 201 — 207.

врёт, он сам нам дал. Тем они — подсовывали советскому КГБ прямое основание меня обвинить, советской прессе — меня травить, — и только ради коммерческой выгоды, оттянуть мировые права на рукопись от своего соперника «Мондадори». («Мондадори» в Италии и «Дайел» в Штатах тоже в это время печатали «Корпус» со случайной рукописи, но не плели позорной небылицы, что у них от меня полномочия, не имея своих коммивояжёров со своим спектаклем.)

А изображённое перед Можаявым раскаяние Личко было коротким. Воротясь из Москвы в Чехословакию, старый коммунист написал Беттелу, что Солженицын, конечно, не мог дать письменного документа (*на границе захватят!* — но зачем же было ездить ко мне с договором? нет, тут явно ГБ!), однако «одобряет все поступки» Личко, лучше знающего европейские условия, и если сам Солженицын будет перед Союзом советских писателей публично отрекаться, то на Западе — не обращать внимания, публиковать и 2-ю часть «Корпуса» и «Олень-шалашовку», — таковы, мол, инструкции автора. (Объяснить его корыстью? — так ничего ему по договору не перепадало, как я уже в Цюрихе узнал. Вообразить его моим самым преданным другом, который лучше меня о моих книгах хлопочет? — с чего бы?)

А издательству и лорду-посреднику больше ничего и не нужно. И Беттел с Бургом бешено, в несколько месяцев, прогнали перевод обеих частей «Корпуса». (Но, к моему удивлению, все потом говорили: перевод совсем не плох.)

Что за персона был этот Личко (в сталинские годы — зав. отделом прессы при ЦК Чехословакии!), яснее из его письма Беттелу от 1 июня 1968: «Дорогой Николай! У нас в Чехословакии, особенно в Словакии, особенно сложное положение. Мне лично трудно, даже труднее, чем умеете представить себе...» — и это в разгар «чехословацкой весны»!.. Но всё же Личко тем грозным августом 1968 приехал в Лондон и присягнул на Библии (от коммуниста для строгих англичан это было уже верным доказательством), что имеет на всё полномочия. Заодно продавалась-покупалась и пьеса.

Да уж печатали бы как книжные пираты. Нет, они хотели одолеть соперников за счёт безопасности автора.

О Личко ни разгадки, ни дальнейшей развязки не знаю.

Ещё в каком-то году Беттел приезжал в Москву и через того же Можаява добивался со мной видеться. Я тогда — и имя его слышал первый раз, ничего о нём не знал, и конечно отказался. (А он потом заявил в Англии: именно эта поездка и убедила его, что он действовал в интересах автора.)

Узнал я эту историю только в Цюрихе, в конце 1974, и написал Беттелу гневное письмо. Он не снизошёл мне отвечать — ведь все его липовые договоры с тех пор, ещё до моей высылки, законно утверждены моим адвокатом Хеебом, чего ему беспокоиться? А у меня не было сил разбираться с ним (да все мысли мои были уже — в ленинских главах).

Там у них возник небольшой, но очень предприимчивый клубок: Беттел — шил юридический чехол для «Ракового корпуса», Беттел с Бургом его переводили, Бург с Файфером взялись писать мою биографию, это мог быть ходкий товар; с ними тесно сдружился Зильберберг, снабжавший их информацией (слухами) о моей частной жизни, рядом же был и Майкл Скеммел, тоже затевавший мою биографию и самовольно печатавший куски моей лагерной поэмы, заимствуя из самиздатской статьи Теуша, — вся эта компания жаждала взраститься на моём имени. Файфер, явсья в Москву, взял Веронику Туркину «на арапа»: дескать, у него уже всё собрано для биографии Солженицына (именно то и не знал ничего реально), нужны только ещё небольшие детали. И обязательно — встреча со мной. Я — встретиться отказался и предупредил его через Веронику, что публикацию *сейчас* моей биографии (иной, чем только литературной) рассматриваю как помощь гебистскому сыску, — но он не унялся, продолжал ляпать мою «жизнь», и мне пришлось публично осадить его.

А Беттел, годами позже, описал в своей книге английские предательские выдачи советских граждан назад в СССР в 1945—46. Сколько-то извлёк из

тайных английских документов и сделал дело полезное. Весной 1976 в Англии он направил ко мне венгерского режиссёра Роберта Ваши искать защиту против лорда Идена и его окружения, преграждавших показ фильма об этих выдачах. Я написал требуемое письмо, и Беттел прочёл его в Палате Лордов. Фильм отстояли*.

В том же марте 1967 сделал я и сам непоправимый шаг. Приехала в Москву Ольга Карлайл, и убедила меня Ева, что вот самый лучший случай дать надёжное движение «Кругу»: вывозить плёнку уже не надо, Ольга возьмёт у отца в Женеве, а сама энергична, замужем за американским писателем, возвращается в издательском мире, — всё стекается удобно. Будет издание спокойное, достойное, и перевод без конкурентной спешки.

Ну, двигать так двигать. Встретились у Евы. Небольшая, подвижное чернявое личико, без следов серьёзной мысли, настороженное — как у зверька какого. Да мне ли разбираться! — встреча с иностранцем, редкость для меня! А тут и настойчивая рекомендация Евы. Пошли разговаривать не под потолками — я проводил Ольгу Вадимовну в сторону её гостиницы, по ночной Домниковке. Залитые электричеством, но явно не следимые, мы походили, уславливаясь. Очень она была американка, во всех манерах и стиле, русский язык самый посредственный. Но действительно все обстоятельства складывались, что лучшего пути не придумать, да главное — доверие было к семье: Андреевы, и сам Вадим Леонидович такой благородный. Ольга совсем ещё и не понимала, что за размах и успех будет у книги, которую я ей предлагаю (Евтушенко в её глазах был куда важнее меня), а я настолько был захвачен лишь надёжностью, секретностью, внезапностью публикации, что и не затревожился: а собственно, кто же и как будет *переводить*, — хотя понимал же эту проблему даже с юности. У Ольги русский язык никуда, муж вовсе не знает. Но она уверила: есть у неё друзья, Томас Уитни и Гаррисон Солсбери, жили долго в Москве, хорошо знают русский, они помогут, вчетвером и сделают: Генри Карлайл — *стилист*. Ну что ж, тогда как будто хорошо. Назвала издательство, «Харпер энд Роу», — а для меня безразлично. Изматывающая наша борьба в СССР совсем не давала вдуматься и внять, какой там путь книг на Западе, — лишь бы взрывались ударами по коммунизму.

Через несколько дней Ольга, видимо, разузнала обо мне больше, сообразила и стала через Еву спрашивать, не поручу ли я ей и «Раковый корпус», не дам ли фотоплёнку с текстом, она повезёт! Но я отказал, только во всяком случае не из недоверия, а уж как решил: путь «Ракового корпуса» — произвольный, по волнам.

Прошло полгода — в сентябре Ольга Карлайл снова приехала в Советский Союз, и Ева свела нас на квартире у «Царевны» (Наталии Владимировны Кинд). Для прикрытия встречи собрана была компания, Ольга села в центре, посреди комнаты; держала она нога за ногу, по американской привычке высоко, на выстав, поражали никем в Союзе не виданные её какие-то особенные белые чулки с плетёными стрелками; как будто жили у неё в разговоре не руки, а ноги, будто она выражала себя не мимикой лица, не жестами рук, а этими ногами в белых стрелках. Мы с Ольгой вышли на балкон и поговорили минут двадцать, ещё опасаясь, чтобы не слышали нас с верхнего или нижнего балкона. Это был 11-й этаж, залив огней Юго-Запада Москвы простиралась перед нами, огненный мир высоких домов, неразлично — наш или американский, два мира сошлись.

* Солженицын Александр. Публицистика. В 3-х томах. Ярославль, Верхне-Волжское изд-во, 1965 — 1997. Т. 2, стр. 366. (Далее ссылки на это издание даются с указанием тома и страницы.)

Англичанам так неприятно вспоминать это своё предательство в 1945 сотен тысяч русских на гибель и казнь в СССР, что когда русский англичанин Николай Толстой опубликовал ещё более основательную книгу «Жертвы Ялты», то за последствия её поплатился по приговору английского суда в 1989 — штрафом, неслышанным в английском суде: в полтора миллиона фунтов стерлингов!! Свободу мы очень любим, но только для своих. (Примеч. 1990.)

Меня рвали вперёд крылья борьбы — и я ждал за минувшие полгода уже больших результатов, уже почти накануне печатания! С удивлением услышал я, что «так быстро дела не делаются». Это у американцев не делаются?! у кого же тогда? Оказывается, она в Штатах не решилась заключить контракт с издательством без полной от меня гарантии, что «Круг» не появится самопроизвольно. Да как же я такую гарантию могу дать, если «Круг» уже ходит в самиздате? Сам я — никому, кроме вас, не дам, твёрдо. А вот не надо было вам полгода зря терять, обидно.

По сути она ничего нового мне не сказала в сравнении с мартом, только то было видно, что теперь осознала весомость «Круга» и «Корпуса». Тем более энергично я убеждал — толкать! скорей! Я не мог понять: а почему ж они эти полгода даже *не переводили*? (Это уже Ева мне потом объяснила, опять: «так дела не делаются», на Западе никто не станет начинать работу без аванса, без финансовой прочной основы. Как странно было слышать это нашим ушам, привыкшим к бескорыстному и даже головоотчаянному стуку самиздатских пишущих машинок. Эти на каждом шагу «сколько?» — не прилеплялись, не переплетались с нашим привычным.)

Сейчас, когда я это пишу, спустя 10 лет от тех встреч, опубликована книга О. Карлайл с оправданиями, искажениями и многими измышленными приплётами. Но кое-что она помогает увидеть с их стороны.

Для неё эта наша вторая встреча была — всего лишь подтверждение полномочий, ведь она будет делать серьёзный коммерческий шаг: вступать в договор без письменной доверенности на руках. Она теперь напоминает, и верно, что я горячо говорил: «Не надо экономить! Не надо думать о деньгах! Тратьте деньги, чтобы только дело двигалось! Мне надо, чтобы бомба взорвалась!» Пишет: «Он не выслушивал объяснений». Тоже допускаю: мой порыв был — к печатанию! полвека уже загоняют нашу литературу в подпол,дохнуть никому нельзя, дайте распрямиться! и какие там могут быть встречные обстоятельства? Так и не узнаю я никогда: а что ж она собиралась в тот вечер объяснять? что она вмешает в это дело ненужного корыстолюбивого адвоката? что ее муж должен получить звание и оплату литературного агента за распространение «Круга», как если б никакое издательство брать его не хотело и надо было всучивать? Если б она мне такое и сказала — действительно б я изумился, ничего б не понял. Мне — печатать «Круг» надо было скорей! — для того и вся встреча.

Прошло три месяца — в декабре через Еву известие: Ольга опять едет (они перезванивались). Да что такое? всё свидания вместо дела. Но тут ей отказали в визе. (После предыдущей поездки в СССР, вместе с Артуром Миллером и его женой, она напечатала что-то диссидентское, критическое против власти — ей и закрыли путь в Союз. Ныне она кривит, что ей закрыли путь *из-за меня*.) Тогда она доверила весь секрет своему другу детства Степану Татищеву в Париже (самовольное расширение, но оно не оказалось вредным, напротив, Степан ещё много и многим поможет). Татищев приехал вместо неё. Снова риск, снова встреча, опять у Царевны.

У Степана и язык русский хороший. И прямодушное лицо, и глубинная взволнованность Россией. Уединяемся с ним — и что же? Карлайлы получили тревожный слух, будто этой осенью в Италии кто-то предлагал «Круг» от меня. — Да сколько же можно одно и то же повторять! Да ведь я уже дважды поручил — ей, именно ей, ей! Да ведь мы все здесь только и держимся на слове и доверии! Конечно, «Круг» есть и в КГБ, и в самиздате уже, — именно поэтому мы и должны *спешить* с печатаньем!! — Нет, на той стороне неуверенность. Они предпочитали бы письменную доверенность на ведение дел! — О, туполобые! — захватят на границе такую доверенность и до всякого «Круга» голову мою срубят с плеч! Ну, как их там убедить? Да пусть поймут: никогда я не отменю своего слова! никто меня не остановит в печатании! если уж объявятся конкуренты и будут обгонять — ну, тогда я признаю вас открыто. Но пока конфликта нет, необходимости нет, — не надо, поберегите же и меня!

А разобраться — так очень сходная ситуация с «Бодли Хэдом». Как те добивались моей прямой подписи, так и эти. Решительная разница только *для меня*: что там я не хотел поручать, плывёт как плывёт, а здесь — именно доверил, настаивал и торопил. А издательства одинаковы: воля писателя, как он там бьётся в советских тисках, весьма мало интересует их. Им нужна только гарантия коммерческого успеха: что никто не обгонит их в печатании, что на случай суда у них есть юридический документ. Наши простецкие мозги — не были приспособлены понять их.

Ольга же, на прошлом свидании узнав от меня о существовании «Архипелага», теперь через посланца запрашивает: а можно ли считать и «Архипелаг» обеспеченным для их группы и для избранного издательства?.. (Господи, головой не могу объять, почему сам «Круг» не насыщает западное издательство?) Хорошо, швыряю я и «Архипелаг» подмостью для «Круга»: ладно, усильте своё положение перед «Харпером», сообщите ему, что ещё будет и другая большая книга, только ни за что не называйте её!

Нет, Карлайлы и тут не решаются, пока не вовлекут в дело пружину американской жизни, адвоката, некоего Антони Курто. Мне никогда не пришлось его видеть, но вот как Карлайл описывает его теперь в книге: вызывает образы с Уолл-стрита, мир частных фондов, капиталовложений; никогда не занимался ничем, близким литературе; плотный, преуспевающий, радостный, стремление к успеху, подозрение к контрагентам и клиентам, сам весь новый и портфель блестящий, автомобиль огромный. И вот в эти доверенные сочувственные нежные руки вкладывает внучка русского писателя судьбу другого русского писателя, придавленного. Не удивительно, если Курто вполне безразлична и литературная и политическая суть дела, а усматривает он только: что находится в беспомощном движении какая-то материальная ценность, и можно хорошо на ней заработать.

В феврале 1968 он помогает О. Карлайл подписать договор с издательством «Харпер». В тот год я вообще не знал, не думал, что существует какой-то там договор, но через много лет в Цюрихе мне пришлось его прочесть. Боже мой! Это не был договор на взрывную книгу писателя, схватившегося насмерть с душегубным режимом, да на виду у всего мира, — но договор-диктат мощного издательства робкому автору-дебютанту, уже с первого шага виновному. Договор налагал на автора цепь ответственностей за все возможные неустойки, судебные споры с другими издательствами об авторских правах, все опасности, все помехи: компенсировать им всё, что может произойти от свободного движения «Круга», — должен буду я, и я, и я. Тут, на Востоке, я отвечаю за книгу головой — а на Западе я уже вперёд задолжал за неё штрафами или долговой ямой. Издательство детально гарантировало себя с денежной стороны: трёхлетним замораживанием всех авторских гонораров; после трёх лет — правом в любой момент остановить их выплату; односторонней обязанностью автора оплачивать любой судебный процесс, и так далее, и так далее, до мелкой оплаты всякого моего изменения в первоначальном тексте. Только об одном никто не вспомнил и не внёс в договор ни строчки: о качестве перевода, об ответственности издательства за качество книги. И без колебания О. Карлайл вывела свою подпись. А директор издательства Кэз Кэнфильд только потому и согласился даже на такой договор, что при этом устно Карлайл ему пообещала ещё и вырванное у меня согласие об «Архипелаге», который под советской давящей глыбой нам ещё предстояло докончить и перепечатать. («Как же вы могли заключить такой колониальный договор?» — спросил я недавно представителей издательства. Отвечают: зачем, мол, теперь детали вспоминать? — суда ведь не возникло. С первоприродной откровенностью: надо ж было и роман не упустить, и финансово обезопаситься. — Так же, как и «Бодли Хэд»!)

И вот только когда, за год оседлав договор, супруги Карлайлы сочли возможным потратить своё время на «Круг». Верней, попался здесь на пути самозверженный и честный человек — Томас Уитни. Карлайлы дали ему перево-

дить в сентябре 1967. Уитни не беспокоился о договоре, о вознаграждении (был состоятелен), но хотел действительно послужить движению русской книги в Америке. Чтобы не вскрыть касание ко мне семьи Андреевых, переводчиком «Круга» и назван был только он один (как, по сути, и работал он один). К марту 1968 он уже сделал, что мог, — однако он не был переводчик профессиональный. Супруги же Карлайл, не зная русского языка и уже не сверяясь с русским текстом, бросились «шлифовать» перевод «под стиль» Генри Карлайла. Не сделав ничего от весны 1967 до весны 1968, теперь нужно было успеть повернуть побыстрее к осени 1968. Что они нашлифовали — к Уитни уже не возвращалось, а шло в набор. Ему же в издательстве в последние дни предложили править гранки — он с ужасом увидел много ошибок, но исправить успевал мало.

И что ж это получился за перевод! Довольно вскоре достиг и нас в Союзе экземпляр книги — и я, делать мне больше нечего! и деться некуда, — сел проверять — сравнивать несколько глав по выбору — «Немой набат», «Спиридон», «Церковь Иоанна Предтечи». Сильно смутился. Попросил проверить специалистов. Боже мой, — и это перевод? — с потерей красок, со срезкой рельефа речи, особо частой утерей прилагательных или целых синтагм, смысловых значимостей, и уж конечно безо всякого понимания ритма, со сбивом его в чередовании фраз, с нарушением абзацев — отменой моих, появлением новых. Пропускались многие слова, выражения, оттенки; как можно понять, одни — по трудности перевода, другие пропуски не объяснить ничем, кроме небрежности. Много отчаянных нелепостей, вот — такой рекорд, о маленькой девочке: вместо «Агния всегда была расположена за зайчика, чтобы в него не попали», — переведено: «Агнию бережно располагали за маленьким домиком, чтоб об неё никто не споткнулся». И ещё удивительные места, где сочинены целые фразы, которых вовсе нет у меня.

Мучительно было это всё обнаружить. Ладно, «Ивана Денисовича» расхватали жадные соревнователи, «Раковый корпус» поплыл без моего управления, но эту-то книгу я озаболелся передать в *верные* руки, — и что же прочтут и поймут американцы?

А ещё же Карлайл подписала с «Харпером энд Роу» передачу им и мировых прав на «Круг» и, значит, распространение его на всех европейских языках. (Карлайл о том сама раньше не подумала, и со мной в Москве о том разговора не было, я с нею имел в виду именно и только американское издание, — неважно: меня не спрося, подписала она теперь и мировые.) Месяцами позже от приехавших стариков Андреевых я узнал как о готовом факте: что публикация произойдёт сразу в пяти странах. Ну что ж, пусть так, думал я: громче удар, радовался. Но если Карлайл, «отдавшая всю жизнь» моим делам, не могла хоть американский перевод издать в хорошем качестве, то где уж там следить за остальными переводами? «Харпер» теперь занялся подсчётом своего мирового дохода, и вместе с ним Карлайлы только указали жёсткий единый срок мировых публикаций — распространение же книги передали международному литературному агенту Эрику Линдеру, а тот тем более утруждался лишь получением своих процентов, а не качеством переводов. (А я именно в этот апрель 1968 в письме в «Монд»—«Униту» публично заявил, что только качества переводов ищу, напомнил: «кроме денег существует литература».)

Английский «Коллинз» по первым же пробам отказался от американского перевода. Однако составленная им самим группа переводчиков (под общим псевдонимом) тоже спешила отчаянно, не смогла перевести удовлетворительно и согласованно. Анализировали мы в Москве и их перевод, и тоже наплакались: не многим лучше.

Ещё горше был загублен французский перевод. Есть и прямое признание издателя Робера Лафона (в письме к Полю Фламану, моему достойному представителю, но уже с 1975 года), что они получили американский перевод «Круга» раньше русского текста, и переводили с английского, и на всю работу имели четыре месяца. Это видно и по книге, без его признания. Книга пере-

ведена чудовищно, ко всем ошибкам американского перевода добавлено множество своих ошибок, непонятностей и небрежностей, есть у меня и этот анализ. (Отмечалось во французских газетах, что даже строфа «Интернационала» не воспроизводила истинный французский текст, а — через двойной, вернее тройной, перевод.)

В немецком переводе, где работали две разных переводчицы, я и сам вижу, как повторены все нелепости и промахи американского, — значит, переводили тоже не с оригинала, а с английского. (Непонятно, почему Карлайлы вовремя не давали европейским издательствам исходного русского текста?)

Так Карлайл швырнула мой «Круг» на растопт, изгаженье и презрение, и считает, что оказала величайшую помощь утверждению моего имени. И что он был всё-таки разглажен через всё осквернение (а во Франции даже удостоен премии лучшей книги года), «Круг» обязан, очевидно, только своей конструкции, не уничтожимой ни в каком переводе, и тугой спирали сюжета. Удивляться надо, как через муть этих кромешных переводов пробивались события и лица.

Сидя у нас там, в СССР, под прессом, — что такое подобное можно было вообразить? Мы ставим головы против всемогущего КГБ, а уж наши доверенные друзья на Западе и вообще все свободные люди — конечно крепко держат наше рукопожатие, они-то сочувствуют нам! Одновременный в пяти странах выход моего «Круга» тотчас же за разрозненным появлением «Корпуса» — казался грозным залпом! Но, болезненно для меня, ни языка моего, ни местами смысла, ни самого автора представить было нельзя.

А весной 1968, ничего того ещё не ведая, мы как раз кончали «Архипелаг». И под Троицу 1968 — удалось отправить его, в *те же руки*, Карлайлам, — и отправка эта, и сами эти Троицыны дни казались нам святым зенитом жизни: по-шёл, по-шёл и «Архипелаг» за «Кругом»! В путь добрый!

Я просил Карлайлов организовать перевод «Архипелага» года за два, в полной тайне, оплачивая перевод из моих гонораров «Круга» и поэтому не нуждаясь ни к какому издателю обращаться и открываться. (По западной практике, аванс и деньги в срок, — такой независимый от издательства перевод вообще был бы невозможен, не будь уже авторских гонораров от напечатанного «Круга». Но деньги же были в безраздельном ведении Карлайлов, они оплачивали и свою «комиссию», и своего адвоката, и свои шаги, и своё бездействие, — но что ж никаких сведений о ходе перевода?)

И вдруг весной 1969 доходит до нас страничка из журнала «Тайм» — и в нём читаем открыто название «Архипелаг ГУЛАГ»!!! — о, ужас! — и будто манускрипт ушёл на Запад без ведома автора, и за ним жадно охотятся западные издательства! Какой кошмар! Откуда эти сведения? Мы-то знаем верно, что *ни один* экземпляр больше никогда никуда от нас не ушёл, — и не могли же наши благородные друзья нас так предать?

Опять — ощущение подтопорной беззащитности. И — раздетости. И — осквернения.

Ева ищет связь, оказию, гоним тревожный запрос: откуда это? Если от вас — то остановите же, не смейте! должна быть глубокая тайна!

Ответ не менее возмущённый: от нас ничего не могло просочиться, это — от вас.

Но мы-то знаем, что не от нас. Но и ГБ — всемогуще! Долгая тревога на сердце. (Много позже, уже на Западе, выяснилось: Карлайлы прямо назвали «Архипелаг» в издательстве и, может быть, похвастали каким-то друзьям, среди них узнала Патриция Блейк, и она-то и написала в «Тайме», чтобы блеснуть своею журналистской осведомлённостью. А был момент — и сами Карлайлы порывались публично объявить, чтобы пресечь воображаемых ими соперников!)

А между тем шли месяц за месяцем и, по сведениям Евы, перевод «Архипелага» всё не начинался. Да как же можно?! — книгу о страданиях наших

миллионов, книгу, которую мы дорабатывали, почти не имея времени надыхание, на еду, не оглядываясь на лес берёзовый подле нас, — и эту книгу не начинать переводить, не торопиться? Ева фыркала смежно мне в ответ: «Ну, дайте же людям полежать на флоридском пляже!» О, если б только на пляже! о, если б только этот год один! Карлайлы отдали Уитни первый том, затем второй. По своему сочувствию к делу и трудолюбию он опять бесплатно взялся, сделал начерно оба тома к июню 1970, принялся и за третий. Карлайлы (по его теперь словам) какое-то время поработали на «шлифовке» первого тома, потом покинули эту работу (да и к лучшему, чем наводить их «глянец»). Как и раньше с «Кругом», их и с «Архипелагом», приходится думать, интересовала не многотрудная работа над текстом и не будущий ход книги сквозь западные умы — а взлётный предстоящий момент продажи «Харперу» мировых прав на «Архипелаг». Но от меня не поступало разрешения на продажу таких прав.

Как-то приезжал в Москву брат Ольги Саша Андреев, сам и отправлявший плёнку «Архипелага» в 1968 через границу. Мы встретились с ним на кухне Надежды Яковлевны Мандельштам, которую ему естественно было посетить (так и Н. Я. включается в наши «невидимки»). И он передал настойчивую просьбу сестры написать ей *письменное* разрешение на копирайт (и притом мировой) «Архипелага! Опять то же самое: чтоб через границу повезли такую бумажку: я сам отдаю «Архипелаг» для западного печатания! Нет, двум так и м мирам нельзя было друг друга понять! Я отказал, конечно. А Карлайлы — теряли интерес к продвижению «Архипелага», раз нет письменной гарантии, из чего им хлопотать?

Между тем все эти годы, после 1968, половина моей твёрдости была — что «Архипелаг» отправлен, что он в надёжных руках друзей, ну и, конечно же, переводится (и, по простору времени, наверно отлично). И — грянет!! и ударит по нашим злодеям, как только я скомандую!

Иногда приезжали старики Андреевы (в свой отпуск — в СССР как советские граждане), и с ними тайно встречались то я, то Аля, дважды, помню, опять на квартире Н. Я. Мандельштам, где «потолки» опасные, — и мы не говорили, а писали многими получасами, мало продвигаясь в обмене сообщениями. И я долго не вник, не способен был понять, что же именно происходит с моими книгами. Добрые старики и сами точно не знали: «переводится», «будет несколько позже» (мой загаданный срок был — Рождество, январь 1971 года). Набирались ещё вопросы-ответы: то — в какие сроки какие вещи пускать в ход из первоначальной плёнки, увезённой Андреевыми; то — как поступать, если меня прикончат? то — не надо ли пока благотворительности какой устроить на Западе, всякие тамошние детские сады? (я сказал — нет: если что от всех оплат и трат останется — всё оберну на нужды русские). Но из деликатности не дошло до лобового вопроса: а как же? как же они справляются с переводом? Сказал я старикам, смягчая, что перевод «Круга» далеко не удовлетворяет меня, — тут Ева на меня зацыкала, что я судить не смею, и старики уверяли, что «по-английски звучит безупречно». Однако отзыв мой они передали дочери, и Карлайлы оскорбились смертельно. Если до того они и собирались «поработать» над «Архипелагом» — то уж впредь охота отпала (оно и к лучшему; мы никогда ни строчки их труда по «Архипелагу» не видели, хотя О. Карлайл ещё много лет уверяла, что «была сделана огромная работа»).

Тем временем подходила пора начинать и другие переводы «Архипелага» на иностранные языки, не только же на английский. Однако единственный текст за рубежом был в руках Карлайлов. Надо было получить от них копию. Летом 1970 Бетта ездила в Женеву к В. Л. Андрееву и самым мягким образом выразила просьбу получить текст для немецкого перевода. В. Л. принял чрезвычайно болезненно, что это поведёт к разгласке, растеканию, — он ведь оставался советским гражданином, тем более всего опасался. Только и дал Бетте почитать фотоотпечатки без выноса. И Бетта отступила, не настаивая

больше. Просить же у Ольги она не бралась, уже тогда находя её невыносимой. Дала знать нам, что — отказ. У нас в Москве создалось впечатление, что это был твёрдый отказ самой Ольги. Мы с Алей приняли такой отказ как чудовищный. Мне, автору, они отказывают в моём тексте? значит, они уже числят за собой те мировые права на «Архипелаг», которые я им не передавал? Так что ж, нет выхода, неизбежно нам вторично предпринять ту же страшную эпопею: заново переснимать «Архипелаг» и заново искать путей отправить на Запад? Топор над теми, кто назван в тексте, — и топор над теми, кто будет готовить и отправлять плёнку? (За три года, что прошли от первой отправки, обстановка вокруг меня резко обострилась, слезка за квартирой была круглосуточная, и за каждым шагом моим, семьи и друзей.) Несколько человек рисковали свободой и жизнью: надо было снова доставать три тома из дальнего хранения (А. А. Угримов) — фотографировать (Валерий Курдюмов) — где-то близко хранить скрутки плёнок — затем передавать их цепочкой до французского посольства, когда Анастасия Дурова найдёт путь отправить их в Париж, а там ещё чтобы курьеры не проминули Никиту Струве.

Так свелась ни к чему вся наша Троицына отправка, вокруг которой столько было тревог, смятения и надежд. Все прежние риски ушли в тупик и в ничто. Не с теми людьми связались. Надо — безошибочно выбирать, кому доверяешь. А это — труднее всего.

Второй пересыл «Архипелага» оказался куда мучительнее первого: подтверждения о благополучном исходе мы в неизвестности и напряжении ждали — 3 месяца! — до мая 1971. Но теперь уже и мы, соответственно, не общались о нём Андреевым—Карлайлам, а начали сосредоточенно, молча переводить на немецкий, затем французский и шведский. Мы хоть получили свободу выбирать переводчиков и вести работы.

А ещё в конце 1969 у меня завёлся на Западе адвокат, доктор Хееб. Узнав о том, Карлайлы встревожились ужаленно: ещё какой-то новый доверенный? с кем-то делить права? Тут ещё и Бетта, чья прямота и чёткость пришлись Ольге как ножом. (Пишет теперь в книге: «Солженицын энергично устанавливал на Западе свою личную бюрократию роскошным византийским образом».) Через Еву раздалось к нам от Ольги острое раздражение и уведомление, что они считают мой шаг рискованным, новому адвокату не доверяют и во всяком случае сотрудничать с ним не хотят. И ещё, и ещё раз передавали, что не хотят ни с кем «делить ответственность». И старики Андреевы в очередной приезд резче обычного выразили неодобрение и недоверие Хеебу, и даже передали нам такой слух, что Хееб... коммунист? (Ну, быть не может! ну вот бы влипли!)

Так между двумя нашими действующими на Западе силами в 1970—71 создались натянутые отношения. Искры и треск разрядов доносились к нам с обеих сторон. И — вдруг? — в начале 1972 Карлайлы неожиданно признали: да, конечно, мы понимаем, адвокат необходим, защищать всю широту интересов. И даже — ласково о Хеебе (только к Бетте не смягчились).

Мы и порадовались, ничего не поняв. Вот, меж добрых людей всё решено отлично.

Адвокат на Западе! Как это ново придумано! Как это дерзко звучит против советских властей! Мы долго радовались и гордились таким приобретением.

Столкновение Востока и Запада, двух разных типов жизни, отлично проглядывает в сцене: как мы этого адвоката брали. (Почему — адвоката, а не литературного агента? — а мы просто не знали о такой ещё специальности.) На квартиру Али на Васильевской улице Бетта привезла стандартный швейцарский типографский бланк на немецком языке с перечнем всех разнообразных доверяемых видов деятельности, их была там юридическая полусотня, трудно представить, какой бы вид не охватывался. Оставалось проставить фамилию адвоката, мою подпись и дату. Только стали мы с Беттой вчитываться в этот густой перечень (всё же мужицкая оглядка тревожно предупреждала меня, что нельзя уж так безмерно всё доверять, слишком много написано, — но и новый

же не составишь, а какие случаи действительно понадобятся моему будущему защитнику, как предугадать?) — вдруг стук в наружную дверь. Аля пошла открыть — водопроводчик, но не обычный жэковский, хорошо известный, а какой-то совсем новый. Говорит: ему надо в ванной краны проверить. Что? почему? не жаловались, не вызывали. А уже дверь входная открыта, как-то и не запретишь. Аля пустила его (а дверь нашей комнаты плотно притворена, и мы затаились) — он прошёл в ванную, покрутил какую-то безделицу, ничего не сделал и ушёл. Очень подозрительно. Так и поняли, что это — ГБ, хотели засечь иностранку в нашей квартире. Мы-то затаились, а пальто гости на вешалке в прихожей висит... Под этим ощущением осады и опасности для Бетты выходить — и текла дальше наша встреча. И уже не считывались мы так подробно в список, и ясно было, что не откладывать же до другого приезда Бетты через полгода или год, и ничего уже тут нельзя исправить, а надо подписать. Мы о водопроводчике думали, а не — какие последствия могут быть от этой генеральной доверенности. И большая забота: ведь эту бумагу Бетте сегодня, пожалуй, нельзя выносить с собой. Значит, надо её оставить в нашей квартире, затем вделать во что-то, в конфетную коробку, в таком виде Бетта повезёт через границу.

Да, так всё же: кто этот адвокат? Швейцарец, доктор Хеб, Бетта лично знает его, очень честный, порядочный человек. Ну, чего ж нам ещё? Честный, порядочный — это самое главное, и нейтральный швейцарец — это тоже неплохо. Расспрашивать некогда, думать некогда, ладно, скорей! Я подписал. Свершилось! — у меня на Западе полномостный доверенный всех моих дел. Какая находка! Какая опора теперь у меня! Ну, поиграйте со мной, попробуйте!

Уговорились так: вся важная связь по-прежнему идёт через Бетту *по левой*, а уж она из Австрии по телефону или прямыми поездками согласовывает с доктором Хебом.

Да скоро явился и случай спасительной защиты. В декабре 1969 начала «Ди Цайт» печатать «Прусские ночи», подкинутые ей всё тем же неутомимым «Штерном» с просьбой *от моего имени*: как можно скорее печатать!! У самой «Цайт» не хватило соображения, что такую вещь печатать нельзя, сильно преждевременно, губительно для меня ещё и с новой стороны, — да поверили «Штерну». Но вот доктор Хеб только подал голос — и печатанье остановили!

В СССР, в большой моей Драке и вдали от западных юридических петель, я многим противникам наносил удары, не считаясь с их звучностью. А на Западе эти махи сразу подпадали под юридическую опасность. Когда в 1972 «Цайт» же процитировала моё острое заявление о «Штерне» — не в силах судиться со мною в СССР, скандальный «Штерн» послал в «Цайт» резкий протест с угрозами — не прямо суда, пока несколько неопределёнными. (Общая их неуверенность — что могу выкинуть я.) В германском суде такое дело было бы для «Штерна» выигранно: я уверен был и утверждал, что лгут, не было их корреспондента у моей тётки в Георгиевске за сведениями обо мне (а как раз и был, оказывается, в компании с Луи), и что с Госбезопасностью «Штерн» связан в Москве (резко опасное утверждение! пойдй докажи! суд — и прямой проигрыш). В «Цайт» пережили, очевидно, тяжёлые минуты: моя резкость легла теперь на них ответственностью. Но главный редактор «Цайт» графиня Марион Дёнхоф не растерялась, ответила с большим достоинством и горячностью, давя на открытую подлость и провокаторство «Штерна» относительно меня: доносительский подстрел из засады, против чего я не могу обороняться. И напоминала, что «Прусские ночи» провокационно толкал к печати всё тот же «Штерн». Заряд подействовал. Хотя «Штерн» имел славу удачливого судебного сутяги — в этот раз он всего лишь оправдался в «Цайт» слабой статьёй своего корреспондента Штайнера, где тот настаивал, что ездил-таки к моей тётке, и довольно ловко плёл для западного читателя, что препятствий иностранцу в Георгиевске нет, потому что, как всем известно, «эта область», Кисловодска—Пятигорска, открыта всем туристам. (Та область — да не та... Курортные города, разумеется, открыты. Но не Георгиевск, а с Запада не разобрать.)

Что ни шаг на Западе, самый простой шаг, вызывает суд — была для меня полная неожиданность, и резко-неприятная: этой атмосферы напряжённых гражданских исков в Союзе не было совсем. Вот, имея адвоката, значит надёжно оградив свои права на Западе, я в 1971 впервые спокойно печатал в Париже «Август»: русское издание у «Имки», а дальнейшие переводы устроит доктор Хееб. (Но я упустил предупредить его о русском «Августе» заблаговременно, ему тяжело пришёлся внезапный мировой штурм издательств: срочно требуют права на издание, конечно с бешено-поспешными переводами.) Кажется — при адвокате ничего не должно случиться худого? Но сразу совершаются три пиратских издания — и на русском! и на немецком! и на английском! И по всем трём возникают суды.

Наше русское издание вышло в июне 1971 (от самиздата мы «Август» до тех пор удержали), иностранные не могли перевестись и появиться раньше 1972. И вдруг осенью 1971 в Германии в издательстве «Ланген-Мюллер» взорвался готовый немецкий перевод! Вот тебе нá! Да как же они могли успеть? невозможно за 3 месяца качественно перевести и издать книгу в 500 страниц!

Как по-старому не было у меня адвоката — мог бы я только протестовать газетно. Но наличие адвоката, напротив, обязывало начинать процесс: если не протестую — так это я сам и напечатал!

Теперь, через несколько лет, когда представлены все объяснения, история публикации «Августа» по-немецки вырисовывается так: ГБ скопировало мой текст тотчас, как я кончил книгу — в октябре 1970, очевидно у кого-то из «первочитателей» — надеюсь, без ведома его. После того как выяснилось (начало декабря), что я не поеду за Нобелевской премией в Стокгольм, решено было построить такую провокацию: организовать печатание книги на Западе, а затем обвинить меня в самовольной публикации «антипатриотического» романа. Публикация «Августа 1914» не принесёт никакого вреда Советскому Союзу — зато, думалось, даст хороший повод пугать меня, травить, вынуждать к отречению, а то и судить.

ГБ, видимо, планировало так. Именно то, что «Август», в отличие от «Круга» и «Корпуса», не ходит в самиздате — как раз и облегчает обвинить меня в передаче на Запад, если книга появится там. Но издательство должно быть солидное, и, значит, надо ему *чисто* передать рукопись: издатель должен верить, что это — по воле автора, однако ни сам автор, ни адвокат не должны о том узнать. Что совершенно не приходило в голову КГБ — что я действительно напечатаю книгу сам, открыто, от собственного имени. Торопились они, торопился и я, два минных подкопа шли скрытно друг другу навстречу.

К Новому (1971) году в Москву приехала из Германии мадам Кальман, вдова композитора. Она встречалась с Ростроповичем и спрашивала его обо мне, даже просила походить за мной, чтобы следующую книгу передали через неё. Ростропович обычно всем отвечал с высшей любезностью, может какая и проскользнула у него неопределённая фраза полуобещания, но в Жуковку на свидание со мной он её, конечно, не повёз, как и не возил ни одного иностранца за все мои годы там, да и мне ничего не передал об этом случае. Тем не менее, воротясь в Германию, мадам Кальман издателю «Ланген-Мюллера» Фляйснеру *рассказала о встрече со мной в Жуковке*: живёт в ужасных условиях, питается картофелем и молоком (по-советски — так ещё не плохо!), смертельно болен, выглядит столетним, ежедневно ждёт ареста и ссылки в Сибирь, совершенно запуган. Очень хочет срочно напечатать «Август», совсем не интересуясь гонораром, но боится передать рукопись сам, её надо получить у адвоката Хееба, и сделать это издательство может только через мадам Кальман, никому другому Хееб не отдаст. (Именно этот фантастический рассказ и позволяет думать, что мадам Кальман сама — не жертва интриги.)

И что же почтенное издательство (почтенное, но прежде, под его крылом, маленький «Иван Денисович» был разорван четырьмя переводчиками для скороспешного перевода)? — уже которое в этом ряду? — вот эта однообразная

прагматичность их действий безо всякого нравственного контроля более всего и поражает меня в истории печатания моих книг на Западе. Хееб — в Цюрихе, рядом, издательство может легко и просто снести с ним напрямую, но напущенная мадам Кальман таинственность заставляет его («а иначе мы не получим рукопись»?) отдаться подозрительным услугам на её условиях. Самозванная посредница с ещё одной мадам якобы отправились 18 января в Цюрих, там якобы предъявили Хеебу косо оторванную часть билета с московского концерта Ростроповича, билет совпал, — и тем якобы получили рукопись «Августа»! — только с условием: глубокой тайны! (Ничего подобного, разумеется, не было, к Хеебу они не являлись.) Издатель Фляйснер радостно и доверчиво взял рукопись. (Он искренно верил, что — от меня? Допускаю. Да хоть не требовал письменной доверенности от меня. Но письма мне, оказывается, писал, — да как же, после всех тайн, открыто по советской почте? — в Рождество, Наро-Фоминский район, — это уже странно. Позже ссылаясь, что «не получил от меня возражений» против печатанья! И — зачем-то «сообщил Международной Книге» советской, — крайняя наивность?)

Так КГБ прекрасно обыграло существование Хееба: не было бы моего адвоката — КГБ искать бы, искать, состраивать правдоподобную передачу в издательство — «от меня».

Теперь понятно, что когда в начале апреля 1971 (уже два месяца как роман переводился у «Ланген-Мюллера») стали советские журналы получать мои предложения напечатать у них «Август» и запрашивали, ясно, КГБ — там только смеялись. Конечно, командовали журналам не отвечать мне, чтобы бумажкой не подтвердить моего алиби — что я хотел печатать роман в СССР. А я, не получая их ответов, тоже смеялся: не отвечаете? вот и ладно, не придётся тормозить парижское издание.

Внезапная публикация «Августа» в «Имке» была для расчётов ГБ опрокидывающей неожиданностью (да почему ж агентура такая слабая? ведь типография Лифаря — была неохраямая, открытая): сам посмел, да ещё свой копирайт объявил! По сути вся их воровская махинация на том и лопнула, и надо было бы им отступить, да уже машина разогнана, не отступится затянутый в дело «Ланген-Мюллер».

А Хееб отдал немецкие права издательству «Люхтерханд» (по совету Бетты, она знакома была с ними). И начался между двумя издательствами суд — да какой долгий! до 1977 года, 6 лет до окончательного решения. Из Москвы суд не казался мне неправильным, а — верно, отстаивайте! Но попав в Европу, я склонялся к примирению: оказался их перевод получше нашего, люхтерхандского. И что же останавливать хорошее издание, уничтожать тираж! Однако вся наша сторона настаивала, что надо досудиться и победить (и тем пустить мои книги под нож!..). Я ещё тогда в судную проблему не вошёл.

Ещё о судах вокруг «Августа».

Москвы достигали книги лишь случайно, и вот с какого-то года стало попадаться лондонское издательство «Флегон-пресс» (потом оказалось: Флегон — это фамилия издатчика). Ничегошеньки я о нём тогда не знал, но вижу: издал мою «Свечу на ветру» с утерей одной машинописной страницы, и даже не оговорился, а слепил как попало, без смысла. Издал «В круге первом» под диким названием «В первом кругу» — и дикое количество опечаток, редко по 10 на страницу, а то по 20—25! И целые куски текста опять потерял (главу «Рождение науки»), и перевераны имена действующих лиц. Этот Флегон издавал меня так небрежно-наплевадельски, как будто хотел нанести мне как можно больше вреда, как будто умышленно изгаживая мою книгу. (Оказывается, я никогда и не видел, он издавал и «Ивана Денисовича», «Матрёну» и «Олень и шалашовку», всё хватал.) Но при «Августе» этот пузырь из лужи попёр и вовсе неожиданно: перифотогографировал уже изданную «Имкой» книжку, несмотря на ясный копирайт, натолкал туда не относящихся к роману фотографий — и всё это нагло издал от себя. «Имка», по западному обычаю, подала на него в суд. И опять потянулось на несколько лет — но не

наказали Флегона: он объявил себя банкротом, и наша же сторона платила все судебные издержки.

А оборотчивый Флегон — первоклассный мастер судиться, вся душа его в сутяжничестве, тем временем он не дремал: стал судорожно переводить «Август» на английский, и уже предлагал продавать «Обзёрверу» по кускам, и «Пингвину» для мягкого издания. И так возник третий суд по «Августу»: на Флегона подало издательство «Бодли Хэд», остановить эти эксперименты. Флегон оправдывал свои действия ложью, что будто бы «Август» уже ходит в самиздате, а потому не принадлежит «никому». (Выглядит как явное постоянное намерение: сорвать копирайты моих книг.) Но как ни юлил, не мог назвать никого, кто б читал «Август» в самиздате, — да он и не ходил там, пока не вышел в «Имке». И ещё настаивал Флегон: что, по советским законам, я не имел права давать доверенность Хеебу, и потому полномочие недействительно. (Всегда бы Флегона поддержал Луи, с ним знакомый и связанный в операциях, но сам был фигурой одиозной, по распространённому мнению кгебист, и они свою связь скрывали. Впрочем, замечено было, что Луи в 1967 «продал» мемуары Аллилуевой именно Флегону. А в 1968 Флегон готовил и опередительное издание «Ракового корпуса» по-русски, очевидно с луёвского экземпляра, — о чём и предупреждали меня тогда «Грани» телеграммой, — да замылся Флегон, узнав, что Мондадори в Италии ещё раньше выполнил эту задачу.) Английский судья Брайтман запретил Флегону английское издание «Августа» (тогда Флегон стал продавать его за пределами Великобритании), но при этом вынес и расширительное важное решение: что хождение в самиздате не может рассматриваться как первое издание книги и, значит, копирайт не принадлежит Советскому Союзу. Это создавало британский прецедент и на будущее защищало право самиздатских авторов быть владельцами своих книг. (Впрочем, английский суд не довёл дело до конца: непобедимый в судах Флегон если и проигрывает, то ничего не платит, объявляя себя банкротом, а через несколько лет это даёт ему право утверждать, что раз суд не назначил ему платить штраф и судебные расходы — значит, он и виноват не был.)

Итак с доктором Хеебом, от первых недель после моей доверенности, я дерзко затеял переписку открытую, через советскую почту, — пустопорожнюю, но респектабельную, пусть цензура читает. (Мои русские письма он пересылал потом Бетте, она переводила ему по телефону, а его ответные ко мне немецкие я легко читал.) Иногда и так я использовал эту переписку: предупреждал (гебистов...), в чём твёрдо не уступлю ни за что, или какие козни тут против меня готовятся. И ГБ — из расчёта? из собственного интереса? — этой переписке почти не мешало.

Попросил я Хееба прислать его фотокарточку — прислал. Ох, какой солидный, пожилой, сколько основательности в его широкой крупной голове на широких плечах. И — с трубкой в поднесённой ко рту руке, задумчиво, — положительный тип! Однажды поехал к нему в Швейцарию с плёнками Стиг Фредриксон — очень хвалил, понравился тот ему: внушительный, серьёзный.

А однажды, вместо письма, приходит (на московский наш адрес, на Тверской) извещение на моё имя о ценной посылке от Хееба. А я-то — в Жуковке, у Ростроповича; пыталась Аля как-нибудь получить без меня — нет, только лично сам, и с паспортом. А мне выезжать в Москву по заказу — зарез: каждый раз что-нибудь секретное на руках, а дом остаётся пустой, надо основательно прятать. По сплошной моей работе выезжаю в Москву не часто, и всегда тамошний день плотно нагружен. Но и откладывать же нельзя: наверняка что-нибудь очень важное. А пояснительного письма о посылке нет. Наконец поехал, добрался до Центрального телеграфа, получил какую-то крупную, но лёгкую коробку. Принёс домой, Аля распечатала: некий шарабан на деревянных колёсах, игрушка для детей — подарок от фрау Хееб. Милое добродушие... Нет, двум мирам друг друга не понять.

Пишу Хеебу, «по левой», летом 1971: «Эти полтора года, как Вы вошли в свои права, я испытываю большое моральное облегчение, даже покой: знаю,

что Вы твёрдо защищаете и оберегаете меня от неприятных случайностей. Благодарю Вас за неоценимую поддержку. Считаю Вашу деятельность безупречной и достойной восхищения». Настойчиво прошу не ограничивать себя в оплате своего труда, «иначе Вы причините мне боль». И беспокоюсь: «чтобы Вы не слишком измучились из-за огромности моих задач». А тут начали в Европе ворчать, подозревать: что за странная личность этот Хееб, у него какие-то коммунистические связи, не обманывает ли он Солженицына, не от КГБ ли Хееб к нему приставлен? (что это? и старики Андреевы говорили...). Я в сентябре 1971 пишу ему и в легальном письме: «Готов публично в самых сильных выражениях заявить, что высочайше ставлю Вашу честность и Ваши отличные деловые качества и не мог бы желать себе адвоката лучше Вас». В одном только не доверяю ему и настойчиво спрашиваю Бетту: хорошо ли он контору свою запирает? Да пусть моих главных рукописей не держит ни в конторе, ни дома, а только в банковских подвалах.

То в одном, то в другом адвокат помогает незаменимо — по вопросам, которые тогда казались жгучими. Припёрло ли меня публично оправдаться (против советской власти), что я западных гонораров не беру, они предназначаются для общественного использования на родине, а трачу только средства из Нобелевской премии, — Хееб заявляет. Защита. Нужно ли осудить возможные на Западе безответственные биографии мои (Файфер) или возможную публикацию моих частных писем (Решетовская), — Хееб делает это, и ведущие мировые газеты охотно предоставляют ему место. Или врут в газетах обо мне Советы, что у меня якобы три автомобиля, два дома, — Хееб солидно опровергает эту чушь. А иногда само существование адвоката начинает удерживать ЦК—ГБ от некоторых шагов: так, Жорес Медведев основательно предполагает, что в 1970 году провокационный их замысел опубликовать «Пир победителей» на Западе остановила боязнь контрдействий адвоката: стало бы во всяком случае ясно, что *не я* опубликовал пьесу.

Ну что ж, мои поощрения открывали доктору Хеебу все возможности действий. Он — и действовал. А важно ведя открытую переписку — никогда ничего не добавлял *по левой* через Бетту, то есть о его реальной деятельности; ни разу не сообщил, не спросил, не посоветовался ни о чём существенном, — так, наверно, или дел таких нет, или и так всё ясно? Его сдержанность как раз и производила самое внушающее, солидное впечатление: значит, уверенно, профессионально ведёт, всё знает.

Правда, Хееб не раз порывался приехать ко мне в Москву! — уж как я его отговаривал, то-то был бы ляп, игра для КГБ, под какими потолками мы бы с ним беседовали? ничего б мы тут не прояснили. (Позже я понял, что влекла его больше — слабость к путешествиям и к представительности.)

Что ж до слухов, что Хееб коммунист, то постепенно узналось: да, до 1956 был коммунист, но после венгерского подавления в виде протеста перешёл в социалисты. Вот те на! Знал бы я это раньше — сильно бы задумался. А всё объяснялось просто: Бетта была человек скорее даже советского опыта, чем западного, потому нам с нею и было так понятно и легко. А ведя в Австрии жизнь университетского преподавателя, сама с адвокатским кругом почти не сталкивалась. А знакомые Бетты были — скорее и больше по коммунистической линии, по её происхождению, оттуда и рекомендация. Но мелочь такую о Хеебе она нам не сказала или важной не сочла. Выбор её оказался не весьма совершенным, да. Однако совсем не потому, что Хееб был бывший коммунист, его коммунизм во всей дальнейшей истории никакой вредной роли не сыграл. Да мы даже утешали себя, что прозревший коммунист — это уже человек с хорошим опытом, на советской мякине не попадётся!

Так как же достался «Август» «Бодли Хэду»? Уместно объяснить тут, хотя узнал я, дознался об этом только осенью 1974, больше полугода проживя в Цюрихе. Оказалось: весной 1970 Хееб предложил «Бодли Хэду» переговоры об их незаконной публикации «Ракового корпуса». И, не состязаясь в достоинстве, сам же и поехал в Лондон. А издательство «Бодли Хэд» загородилось

лордом Беттелом, что «все права» на «Раковый корпус» и на «Олея» — у него. И Хееб повёл переговоры с Беттелом... Как раз к этому времени подошло к Хеебу моё письмо из Советского Союза, что Личко никаких полномочий не имел, это мошенничество. И была же раньше моя газетная публикация, что ни за кем не признаю прав на «Корпус». Хееб попал в большое затруднение. Формально он имел права объявить издание «Бодли Хэда» пиратским — но оно не только уже осуществилось, но и главный тираж схлынул, прочли, и перевод неплохой. А мне — уже два года прошло — никаких кар за «Корпус» не последовало. Да и по мирности характера никак не хотел Хееб затевать скандала. Но сверх того заверил захватчиков, что действия их были вполне честными и он как адвокат готов это юридически подтвердить. Переговоры ещё продлились до осени, а тут мне дали Нобелевскую премию, и вот-вот я должен был сам приехать на Запад (и разобраться?). Но, проявляя завидную авторитетность, Хееб за месяц до ожидаемого моего приезда подписал дополнение к их прежнему договору, где его признавали безусловным моим представителем, а он признавал действия Беттела и «Бодли Хэда» *абсолютно* законными (даже ещё благодарил их устно от моего имени) и утверждал за ними вечные права на два моих произведения — уже начиная запутывать и мои будущие издательские дела. При таких дружеских отношениях передал он «Бодли Хэду» и «Август». (По понятиям западных издательств появление у «Бодли Хэда» теперь ещё и «Августа» — косвенно подтверждало, что и отдача им «Ракового корпуса» была авторизована...)

Тем временем Хееб, уже с мировой знаменитостью, о нём писали в больших газетах, фотографировали, сменил свою скромную конторку на попышней — и в январе 1972 к нему туда нагрянула изыскливая Ольга Карлайл и пробивной адвокат Курто, они уже издали разгадали нашего Хееба. Они приехали *признать* его, и даже тоже готовы переводить ему гонорары автора, если он предварительно утвердит их смету расходов и заработков (почти половину авторских гонораров, и это при бесплатном переводе Уитни) и оставит у них ещё финансовый резерв — на случай разных неустоек, чтобы расплачивался автор. Если же Хееб сметы не подпишет, то они его не признают, и не переводят ему ни доллара. Представленная смета была дутой, смехотворной. При любви семьи Карлайлов к русской литературе — литературный зять Генри Карлайл объявлял себя «агентом», с 15% комиссионных, — за передачу плёнки романа в издательство? Затем Ольга брала за «участие в переводе „Круга“», за «сопереvod и редактирование „Архипелага“», за «редакторское наблюдение». Затем — поездки, даже в Нью-Йорк со своей коннектикутской дачи, какие-то стенографистки, телефон, телеграф, почта, такси, полёты в Европу, отели, ресторанные обеды. Перед таким напором и такой убедительной документальностью мой Хееб нашёл предлагаемую сделку *ободрительной* — и всё подписал. Не знаю, хоть прочёл он при этом их колониальный к автору договор с «Харпером» или даже не читал. Карлайл и Курто уехали в ликовании, и с этого-то момента Карлайлы так ласково переменялись к Хеебу, признавая, что адвокат у нас, конечно, должен быть.

Так же задним числом утвердил он договор «Харпера», которым тот продал мировые права на экранизацию «Круга». Тот поспешный поверхностный фильм оказался крайне неудачным, а на долгие годы вперёд заклинил достойную экранизацию.

Одни сплошные кругом наживы, расчёты, — и вообразить нельзя, что всё это копошеньё — вокруг огненной *там*, в СССР, мятели. Пока мы там бьёмся — а нам отсюда грызут спину.

А Хееб попал как кур в ошип. Он был и оставался маленьким локальным адвокатом, занятым до сих пор одними бытовыми делами, — и вдруг мировые литературные? Не попытался он, бедняга, властно исправить многолетний дурной ход с моими изданиями, но прежде искал, чтоб издатели хоть бы признали его (тем самым потекут и первые средства, на что ему оборачиваться). А при таком направлении лучший путь для него оказался, по сути, путь капиту-

ляций: признавать законными совершённые до него беззакония. (А если не признавать — то опять же судиться?.. И на какие средства? Чтó тут выдумаешь?) И — ни об одном таком шаге он не спросил меня и не посоветовался.

Осенью 1972 Ольга Карлайл заверяет Бетту (у них была прямая встреча, неприязненная), что английский перевод «Архипелага» (за 4 года!) «вчерне готов». (На самом деле Уитни был уже два года как остановлен, а Карлайлы так и не домучили «обработки» 1-го тома.) Бетта встречно сообщает ей, что от меня есть распоряжение начать переводы на другие языки (но при этом не просит у неё русского текста). А за Карлайлами остаётся, как и было, лишь американское издание «Архипелага», однако договор с «Харпером» от моего имени будет заключать Хееб.

Карлайл сразу и с негодованием отказалась от такого распределения ролей: тогда они перестанут сотрудничать с нами! Как? мировой контроль упущен? «Архипелаг» не будет принадлежать им всецело, как раньше «Круг»?!! И какую дальше славу или выгоду сулит издание уитневского перевода у «Харпера», под чужим контролем? Добыча была в руках и уплыла. А тут же и какой удар самолюбию! Выясняется постепенно нам, что Ольга уже нахвастала «Харперу», что передаст им мировые права на «Архипелаг», — и вот?.. В ту осень опять приезжали в Москву старики Андреевы, передавали резкое недовольство дочери, — да ещё ж от нас стояла угроза проверки качества английского перевода «Архипелага» (ожегшись на «Круге»), — а «Харпер», напротив, налакомься на «Круге», требовал себе и по «Архипелагу» льготных, если не подавляющих, финансовых условий. (И всё ж это пишется на бумажках, «под потолками», потом бумажки сжигать, а в окно выглядывать, нет ли *топтунов*, всегда такая сдавленность, и в ней надо принимать решения.) Для сохранения добрых отношений я и тут уступил Карлайлам все англоязычные страны, старики увезли такую уступку, — нет!!! Карлайлы были возмущены каким бы то ни было ограничением их мировых прав.

А если так — зачем им дальше вся эта история, не лучше ли действительно разорвать? (После того, как Хееб утвердил им предыдущие «расходы», у них и за прошлое руки свободны.)

Нигде, как здесь, наглядно обнажается полная холодность О. Карлайл к русской литературной традиции, к которой она будто бы принадлежит и по рождению и по духу, о чём не раз декларировала. В апреле 1973, сидя под чёрными тучами, я *по левой*, с двухмесячным опозданием, получил поразившее меня февральское письмо О. Карлайл, бравирующее дерзостью. Она сообщает как о «необратимо решённом», что они не могут выполнять роль «партнёров»: «при разделении ответственности» они «теряют возможность достичь качества мировой публикации, какое было получено в случае „Круга“» (когда бросили роман на разрыв и глумление над текстом). И ещё, оказывается, «риск оглашения нашей прошлой и настоящей деятельности становится неприемлемо высоким», — для них? нет, собою они жертвуют, но «по отношению к вам и к другим замешанным в это дело друзьям». Да почему же в качестве участников отдельного скрытого перевода, во всех внешних сношениях заслонённые моим адвокатом, они будут обнаружены и разглашены, — а сами бы, ведя мировую операцию и все отношения, не будут? Так и не смогли упрятать, что рвут они лишь оттого, что не получили мирового копирайта «Архипелага». Итак, «с чувством грусти, но и гордости, что они содействовали мировому успеху моего творчества» (вывели меня в люди), они совершают «полный уход» от этого высокоценного ими «Архипелага», они более не могут участвовать в переводе (не осталось вещественных доказательств, чтоб они в нём и участвовали за 5 лет), сам же перевод «в форме первого наброска» и все на него права — за Томасом Уитни, к которому и следует обращаться. «Первый набросок» перевода — через 5 лет...

Эта тяжкая наша весна 1973. И ГБ послало предупреждение (через Синявскую-Розанову, она с ними интенсивно общалась, обговаривая скорый отъезд

своей семьи во Францию), что если я добровольно не уеду из Союза — меня посадят и отправят умирать на Колыму. Нераздираемые нарастающие наши бремена, ощущение надвигаемых ударов ГБ. И — такое письмо! Как оскорбительно, стыдно читать его в нашем подпольи. Значит, вся пятилетняя надежда, что «Архипелаг» спасён, переводится и грянет, — рухнула. Что за доводы на хилых ножках, мелочная обида, — и ещё привязывают нас юридическими петлями к переводу, не сдвинутому за 5 лет!

Если б мы знали, какой верный добрый Уитни и его истинное соотношение с Карлайлами в работе, — так мы б не так горевали, баба с возу — кобыле легче. Но вот нас юридически связывают с неоконченным переводом, ни страницы переведенного не дав, ни даже русского текста, — и ничего уже не обещая. То есть даже запрещают начать английский перевод заново.

Я ответил горячо. Не могу предположить, что, имея 5 лет дело с «Архипелагом», они остались равнодушны к духу его. Он — не литературный товар, а звено русской истории. Однако ваше письмо пренебрегает именно этим духом. Издательства получают от книги небольшой доход, таковы будут мои условия, книги не должны продаваться по безумным западным ценам. И — снова я просил их передумать и остаться на переводе. (Да может старики пристыдят её.) А если нет, я вижу один путь (никто не возьмётся исправлять чужой сырой материал; не вижу, как спасать работу в хаотическом состоянии): оплатить весь перевод, сделанный по сей день, — и предать огню в присутствии доктора Хееба. Перевод по-английски мы начнём заново (все права на перевод — у Томаса Уитни...).

И уже не требовал от них русского текста, того моленного, первого, — а его тоже сжечь!

Горечь в горле стояла ужасная. Ощущение провала в излеченном деле.

Это моё «левое» письмо долетело до Карлайл быстро — и тотчас же слала она мне гневный ответ: они действовали только из любви к России и при таком бескорыстии заподозрены в коммерческих интересах! да будь это прежние времена, она прибегла бы к защите её отца, чтоб он вызвал меня на дуэль за оскорбление чести дочери. («Дуэль» — когда я из-под обстрела не вылезая.) А между тем — она меня «сделала известным на Западе и помогла получить Нобелевскую премию», вот как!.. Теперь она указывала и ещё одну причину разрыва: что я недоволен их переводом «Круга». Но об этом она знала от родителей уже три года назад, а ссылалась, будто впервые узнаёт через Бетту (и опять — чтобы скрыть заядлую причину: утерю надежды на мировой копирайт).

Весьма дурным русским словом хотелось её назвать.

Успел я предупредить Хееба: ни в коем случае не ехать, как он собирался, за океан к Карлайлам, не надо кланяться. Он получил моё письмо вовремя и всё равно упрямо поехал в июне в Нью-Йорк, с женой (страсть путешествовать). Уронил мою позицию — и решительно ничего не продвинул. Нежно и пусто провёл время в гостях у Карлайлов. (Она теперь пишет в книге: он и не спрашивал у неё английского перевода «Архипелага», — тогда и вовсе зачем ездил? А Хееб говорит: они отказались дать, перевод не готов. Так оно потом и оказалось: не готов.) Не сделал и попытки познакомиться с Уитни (или не свели их). И вернулся в Европу с пустыми руками.

А к концу лета — был схвачен «Архипелаг» гебистами, погибла Воронянская, — и я отчаянно дёрнул дальний взрывной шнур «Архипелага». А взорваться было — только тому, что расстарались мы в последнее время: немецкому да шведскому изданию. Главное же, англо-американское, решающее весь ход мирового общественного мнения, — вот, не оказалось готово. Только тут Карлайлы вернули Уитни перевод (который и содержался не у него, оказывается), и он кинулся работать. Только в октябре 1973 приехал Курто из Штатов, привёз Хеебу лишь 1-й том «Архипелага», неготовый перевод Уитни, над которым ещё предстояло поработать вместе с экспертами. А перевод последующих томов Уитни ещё продолжал.

Вот так мы передали плёнку «Архипелага» в «чистые руки», ещё и наследнице русской литературной семьи. Как саранча налетела и поела плод доверчивой дружбы старших поколений, и память замученных.

И вдруг, чего нельзя было ожидать, я оказался на Западе. Энергичная дама, очевидно, забеспокоилась. Она была безупречна за подписью Хееба и пока я сидел в восточной клетке — а что теперь? Она не стала бездейственно ждать, но кинулась навстречу ожидаемой опасности: поехала в Европу искать встречи со мной.

А я первые несколько недель после высылки ведь не сознавал всего отчётливо, да многого пока и не знал. Ещё семья в Москве. Ещё висит судьба архива — удастся ли вывезти его? Да может трёх дней в Цюрихе не прошло, как Хееб повлёк меня в английский консулат, давать показания о пиратстве Флегона. Ещё надо изрядно потолкаться на Западе, чтобы получить отвращение к судам. И я еду как в тумане. Дурную штуку сыграли со мной, втавивши неосмысленно в этот суд, — но и с другой же стороны: если не пресечь Флегона, значит признать, что у меня нет авторских прав на «Архипелаг», даже когда я за границей?

И вот — на второй же день в Цюрихе — телеграмма из Вашингтона: теплейшие поздравления и молиты за прибытие моей семьи; знает, что даже в изгнании я осуществляю свою миссию; посетит родителей в Женеве в марте и надеется увидеть меня, Ольга Карлайл.

Не помню, когда я эту телеграмму увидел в ворохе и дошла ли до моего сознания, но следом письмо из Женевы: я уже у родителей, очень хочу с вами встретиться, могу приехать в Цюрих на несколько часов; и везу вам приглашение на годовой съезд американского Пен-клуба; и очень беспокоимся о Наталье Ивановне (Еве); и — ото всего сердца обнимаю вас, и мой муж и мои родители передают вам самый дружеский привет. И от отца её письмо: очень-очень просит, чтоб я принял дочь.

И я — забыл недавнее жжение? весь разрыв, их вероломное уклонение, тяжку «Архипелага», как они крылья нам подрезали? Да, всё забыл. Уже год прошёл — грозный, сожигающий год, не тем я был занят, я забыл свою обиду, утерял даже в памяти или не сознавал ясно, что они заморозили «Архипелаг» из-за мирового копирайта. Да, казалось мне: взорвись американский «Архипелаг» в январе 1974, в двух миллионах экземпляров, как позже было, — да дрогнули бы большевики меня и выслать. Но сейчас уж что, всё равно ощущение победителя — и что тут считаться? все мы — близкие тайные сотрудники, всё можно по-хорошему, и отчего бы им сейчас не двинуть перевод «Архипелага» быстро, всем вместе? И написал: приезжайте.

Приехала. С остро-нащупывающей улыбкой. А я — уже запросто. Всё прошло как прошло, я не корил её прошлогодним письмом. Я попросил, чтоб она передала мне их редактуру 2-го и 3-го тома, — она извивистым выражением растянула, что — нет. Не дадут. (Так мы никогда и не увидели той их редакции.) Я спросил: достаточно ли оплачены их с мужем труды? (У Хееба ещё не успел узнать, а сам он мне ничего не докладывал.) Она в колебании потянула: «Да-а, даже чуть больше». Ну хорошо, значит, в расчёте. (А она — выясняла, в разведке и был, очевидно, весь смысл её приезда: как я отношусь к её сделке с Хеебом, не начну ли трясти. Уже 5 недель, как я общался с Хеебом, и какой же западный человек может вообразить, что я у него не потребовал финансовых отчётов? А мы с ним — и ещё вперед 5 месяцев не заговорим, не разберёмся.) И — ничего больше в той встрече не было, пустой час за чайным столом, я был как в сером тумане, не домысливая. Но всю эту встречу она потом ядовито изукрасила для своей книги моими якобы пророческими вещаниями, командным голосом, — урок мне, и всем: что никогда не надо лишних встреч с сомнительными людьми, давать им повод лжесвидетельствовать. Как вообще не надо было встречаться с Ольгой Карлайл никогда. Если бы заботы о «Круге» я поручил первому встречному в Москве западному туристу — вероятно, результат был бы не намного хуже.

В последующие месяцы ни к какому допереводу «Архипелага» Карлайлы, разумеется, не присоединились.

А в октябре того года мы с Алей были в Женеве и встретились со стариками Андреевыми — впервые не под советским оком, не надо исписывать молчалисты, можно говорить обо всём под потолками. А — не поговорилось что-то. Печальная старость в полунищете, малая пенсия от ООН, где Вадим Леонидович раньше служил. Положение В. Л. как советского гражданина отрывало его от эмиграции, ему тут не доверяли, одиночество. Какими весильными они казались мне десять лет назад в комнатке Евы, когда зависело от них взять или не взять плёнку, вся моя судьба. Какими беспомощными и покинутыми — теперь. И сегодня говорить им о проделках их дочери, выяснять — только растревлять. Да Вадим-то Леонидович когда-то любовно готовился набирать «Архипелаг» сам по-русски, и шрифты покупал, и составлял словарики блатных выражений. И Андреевы в тот вечер тоже боялись притронуться к больной теме. Так мы просидели, не обмолвясь о главном, как между нами разладилось, и будто дочери у них никогда отроду не было. Щемливо было их жаль. Вослед наступил промозглый швейцарский ноябрь, послали мы им чек, памятуя прошлое и не слишком полагая, чтобы дочь с ними чем-нибудь поделилась из своего нью-йоркского мельтешения.

Вскоре затем, узнав-таки подробности от Хееба, я при встречах с новым руководителем «Харпера» Ноултоном (если б руководство не сменилось, то, после всего прежнего, я работать с этим издательством и не мог бы) выразил ему своё удивление Карлайлами и предложил издательству самому вытрясти из Курто тот «резерв», который он задержал неизвестно по какой причине, а теперь, от простого лежания денег у него, требовал ещё половину их себе за заботу. Ноултон передал Карлайлам мои недовольства, они забеспокоились.

А блистательный биржевой Курто не только не стыдился, но несмущённо предлагал мне свою помощь по расчёту американских налогов за те годы, когда я был в Союзе, и требовал всего лишь гонорар и дорогу в Цюрих, потом только дороге, потом ничего, всё бесплатно. Получалось почему-то, что я должен платить налоги и за то, что Карлайлы тратили, расчёта того я никогда так и не понял, а заплатил, чтоб отвязались. Мне оставалось относительно Карлайлов — только игнорирование.

Но когда в 1975 я ездил по Штатам — Карлайлы не выдержали и игнорирования, уж за прошлые годы как они, наверно, расхвастались нашей близостью — но, вот, и не встречаемся. А новый директор издательства уже знал о моём недовольстве ими, и это, очевидно, распространилось в их кругу. Теперь она писала, что требуют встречи и объяснений. Их письма достигали меня окольной передачей. Ну, только сейчас, в бурно-политическую поездку по Штатам, буду я с ними объясняться, снова и снова перемалывать эту мучительную историю? в ваших руках были все пути, вы распорядились, хватит. Не ответил им. И прошла ещё одна зима, в 1976 я снова уехал в Штаты. И сразу же в те дни Аля в Цюрихе получила письмо от Вадима Леонидовича на моё имя. Три года назад Ольга сверкнула обещанием послать своего бедного отца «на дуэль» за свою честь, теперь она и заставила его написать письмо, видимо тяжело ему давшееся, болезненно написанное, явно через силу. Он писал, что я проявляю несправедливость к его дочери, и в этом я неправ, и ему больно. (Вот и урок: мы тогда в Женеве пожалели, смолчали, а надо всегда всё начистоту выяснять.) Двух дней письмо у нас не пролежало — раздался телефонный звонок: В. Л. скончался, и вдова его просит почему-то немедленно вернуть письмо, чтоб оно как бы не существовало. Через два часа о том же позвонила и Ольга из Нью-Йорка. Аля отослала письмо назад.

Видимо, с 1975, если не раньше, О. К. и задумала, для оправданий и насыщения честолюбия, свою безрассудную книгу — и куда же делись недавние заботы о «замешанных в дело друзьях»? Открывая себя, О. К. и открывала: кто же связал меня с ней? Для ГБ не составляло труда рассчитать общих наших московских друзей: Ева, А. Угримов и Царевна. Накидывала им петлю на шею, хоть лети их головы!

Лети их головы, но мир должен знать, как тонкая, талантливая, благородная Ольга Карлайл отдала вместе с мужем 6 (шесть!) лет жизни Солженицыну, чтобы «сдвинуть гору» (напечатать роман, имея готовую плёнку), «превратилась в компьютер», «годы сплошной работы», до 18 часов в день, и «почти не вознаграждённые», и на каждом шагу «масса риска» (где? в чём?), «мы перестали жить как люди», на телефон клали подушку (?), «сяду в тюрьму, но никогда его не выдам» (какая тюрьма ей грозила на Западе?), да что там! — отдав Солженицыну и всю свою жизнь, ибо она на эти годы «отложила всю свою работу», — теперь она уже, мол, не станет художницей, и «погибла карьера журналистки», и «потеряла родину своих отцов» (сперва за свои статьи о диссидентах, теперь именно благодаря этой книге), — а Солженицын ответил неблагодарностью и более не разговаривает с ней. (Столь ловко написала, все поняли так, что она безумно «рисковала жизнью», самолично вывозя «Архипелаг» из СССР, — и как же все сочувствовали её невозблагодарённым жертвам!)

Все близкие и друзья (и Уитни) отговаривали О. К. В 1977 приезжала на Запад Ева, отговаривала и Ева, напоминая о судьбе своей и других угрожаемых, — О. К. только фыркала: «ты имеешь свободу не возвращаться в Советский Союз!» Уже с осени 1977 потекла в американских газетах бурная реклама книги; повсюду Карлайл, захлёбываясь, трубила о книге, особенно — и верно — рассчитывая на успех среди неприязненной ко мне нью-йоркской образованщины — такими уничтожающими уколами, например, что я несочувственник их антивоенно-вьетнамского движения, или что я недоброжелатель западной прессы. (От этой образованщины она и впитывала заказ, как желательно изображать меня: авторитарным Командором, и именно так выписывала.) Ещё весной 1978 О. К. рвалась опять зачем-то со мной встречаться, даже приехать в Вермонт, ещё какие-то переговоры (или иметь лишнюю встречу для «живого описания»?). Я опять не ответил.

И наконец, вот, книга вышла. На самом верху, где надо бы писать автора, — моя фамилия, крупно, чтобы привлечь. И обещающий заголовок — «Солженицын и Секретный Круг!» По срокам выхода книга Карлайл совпала с англо-американским изданием загубленного ею 3-го тома «Архипелага», так что рецензенты, а многие из них ленивы и неразборчивы, объединяли эти книги на равной основе. (Пять лет проведив назреванию американского издания «Архипелага», О. К. теперь посильно повредила ему ещё при выходе.) И суть рецензий открывалась уже не в узниках «Архипелага», но в том, что чувствовала и как страдала эта тонкая женщина, которая сделала из незаметного русского автора коротких рассказов — мнимо-титаническую фигуру для Запада, потративши вместе с мужем 7 (уже) лет своей жизни, тяжёлой работы, для лучших переводов и устройства его книг, — и взамен испытала такую неблагодарность. Книга Карлайл имела, как говорится, «хорошую прессу» в Штатах, крупные американские издания поддержали и внедряли её версию. Рецензенты всё же призывали простить неуравновешенному, бешеному автору «Архипелага» его паранойю (так прямо и выражались — паранойю, это американская пресса допускает, это не оскорбление), — ведь вот Карлайл простила, и «книга её написана без горечи».

Но с хорошо рассчитанным ядом, накопительным от страницы к странице. Нарастающе представлен я: честолюбивым, властолюбивым, взбалмошным, неоправданно часто и круто меняющим свои решения (в таких десято-зеркальных изломах сюда достигает наша тамошняя изломистая борьба: «мир интриг», «русские шарады»). Настолько одержимым, необузданным, фанатичным, подозрительным, что и вполне на грани паранойи. «Страшный человек», «он воспитан в той же системе ценностей, как и его враги», «ловкий зэк выходит на поверхность», «авторитарная фигура», «для него человеческие связи — ничтожные помехи», — вероятно, не всё это состроила она сама, но уже отпечатывается лик, который будет стандартно тиражировать западная пресса. О. К. присочиняет и вовсе не бывшие в Москве между нами встречи, а уж бывшие наполняет вольными сочинениями, благо не было свидетелей и никто никогда не проверит: дерёт из «Телёнка»,

* Потрудилась как никогда прежде, выпустила и французское издание, там прямо во всю обложку моя фотография, покупайте! (Примеч. 1982.)

уже известного всему миру, и вкладывает мне в уста, будто всё это я ей рассказывал доверчиво уже тогда, раньше всех. А уж цюрихская встреча вовсе сведена к карикатуре, и так как надо ей скрыть, о чём мы говорили на самом деле, — она опять крадёт из «Телёнка» такое, чего я при встрече с ней ещё и не знал (сожжение одежды в Лефортове), или «жена упаковывает архивы» — бессмыслица: их, наоборот, надо было расчленить и тайно разослать, этого О. К. не смекнуть. А уж об истории «Архипелага» кривит, как ей выгодно. То якобы я «велел все дела по „Архипелагу“ держать вне сферы Хееба» — невозможная бессмыслица, у Хееба отначала доверенность *полная*, на все дела. То будто О. К. предлагала передать все дела по «Архипелагу» Хеебу, а мы не брали, — ещё один бред. То будто «отредактированную [Карлайлами] версию не хотели видеть», — напротив, Карлайл упрямо её не давала, и отказала Хеебу в Нью-Йорке.

А когда книга О. К. вышла — она к тому же перекрылась грохотом вокруг Гарвардской речи, для неё очень выгодным, — и Карлайл, как эксперт по России, кинулась тут же публично кусать и ту мою речь, что она произносилась и не для Запада вовсе, а для моих «националистических единомышленников» в России, каких-то «русотов». И перепечатывала из газеты в газету, даже и в «Ле Монд дипломатик», во куда. «Русские массы всегда были антисемитские», писала внучка русского писателя, и почему-то «в случае войны могут признать Солженицына за нового Ленина»*.

Но доктор Хееб! — мне предстояло ещё узнавать и узнавать его.

Весной 1973 я ему писал: «Хочу надеяться, что моё письмо остановило вас от дальнейшего ненужного путешествия (в Нью-Йорк, к Карлайл), которое ослабило бы нашу позицию... Вы, как всегда, принимаете наиболее тактичные правильные решения, не устаю восхищаться Вами...» И выражаю надежду, уже не первое лето, что он всё же оставит себе возможность наступающим летом — отдохнуть. (Он и не предполагал лишаться её.) И перехожу на: «Дорогой Фри!»

Настолько не понимал я тогда ни уровня, ни энергии его деятельности. Хотя Никита Струве в «левой» переписке как-то намекнул мне — но ненастойчиво, как он всегда, — что «Юра» (юрист), как ему кажется, растерялся и не справляется. Затем даже и Бетта замечала, что Хееб вял в поиске новых издательств и переводчиков; что он «хороший адвокат, но не организатор». Однако мы в Москве — продолжали считать Хееба орлом, любуясь его солидной фотографией.

А задачи, связанные со мной, были Хеебу, увы, не по силам, совсем и не в профиле его прежней практики.

Схватило ГБ «Архипелаг» в августе 1973 — в вихре катастрофы пишу (*по левой*) Хеебу: «Я понимаю, что ввожу Вас в круг несвойственных Вам обязанностей, но хочу просить Вас все дела с „Архипелагом“ ближайшие полтора года вести самому, не назначать промежуточного посредника: от этого издания зависят судьбы сотен людей, а может быть и более значительные события, — и невозможно доверить чужим людям, втянутым в издательскую рутину и коммерцию. Держите всё дело в своих руках и не стесняйтесь в расходах по штатам... В наступившее тяжёлое время я очень рассчитываю на Вашу мудрость, твёрдость, достоинство и выдержку». И очень сочувствую: «как я много

* Но вот с 1989 я стал в СССР «легальным», книги мои ещё не печатали, однако уж стало можно называть меня. И — кто же из первых кинулся на русскую сцену махать шлейфом и «рассказывать, рассказывать тайны»? — да конечно же опять Ольга Карлайл, опережая и самые мои книги. Всё та же книжка её (может и подправленная, не проверял) — печаталась теперь в «Вопросах литературы» из номера в номер — и ещё рассыпала она по отдельности интервью и отрывки. Можно было и такое прочесть («Столица», 1991, № 27): «публикации [книги Карлайл в США] сопутствовала судебная тяжба, вылившаяся в круглую сумму», — то есть так понять, что я подавал *на её книгу* в суд и содрал с бедняжки круглую сумму... А это: она подавала в суд на меня за «Телёнка», иск на 2 миллиона долларов, да судья отверг её иск, — вот так заливается доверчивым читателям и застывает надолго ложь. (Примеч. 1993.)

нагружаю на Вас. Понимаю, что когда Вы брались защищать мои интересы — Вы не могли себе представить, чтобы столько функций и задач сгустились бы так во времени и настойчиво бы требовали Вашей энергии. Но исключительность ситуации позволяет мне просить Вас и надеяться, что Вы найдёте силы выдержать»... Предполагаю в нём «душевную заинтересованность в деле». — «Все Ваши распоряжения и решения, о которых мне стало известно, я одобряю. А которых и не знаю — не сомневаюсь, что одобрил бы. Всегда благодарен судьбе и посреднику, помогшему мне заручиться именно Вашей помощью. И Вас не должны сдерживать финансовые соображения. Перед началом штормового периода — крепко обнимаю Вас! Всегда на Вас надеюсь!..»

И в конце декабря 1973 — грянул «Архипелаг» по-русски! И в цюрихскую контору Хееба со всего мира звонили, писали, стучали издательства и корреспонденты — а он как раз на эти рождественские две недели наметил уехать отдыхать в южную итальянскую Швейцарию. Так и поступил. Над моей головой в Союзе уже гремели грозы — он отдыхал и не спешил вернуться открывать «Архипелаг» мировую дорогу.

Потом он заседал в новой своей конторе под звоны телефонов, при ворахах нахлынувших писем ко мне. За огромным письменным столом он особенно подавлял внушительностью: эта крупность, эта трубка во рту, эти медленные величавые движения, — очевидно, необычайно сведущ, необычайно много знает. И — мы объяснялись по-немецки, не без усилий, и он часами передавал мне все эти милые, но пустопорожние поздравления и просьбы о встрече. Только не делал движения ничего сказать мне о моих делах: четыре года промолчал — и теперь продолжал молчать.

Я не знал западных обычаев: в какой мере и с какой минуты можно бы осведомиться об отчёте. Как-то раз спросил — Хееб оказался не готов отвечать. Да потом вопросы мои были самые поверхностные, я и после высылки ещё девять месяцев даже отдалённо не предполагал, что тут без меня делалось. Я первые месяцы ещё мыслями не созрел, что при адвокате, действующем 5 лет, здесь, на Западе, мог быть беспорядок. Настолько я не понимал его неприспособленности к моему делу, что ни разу не спросил: да умеет ли он хоть составить литературный договор? — и он, храня самодостоинство, ни разу мне в том не признался.

Так мирно, и по видимости очень успешно, прошло несколько месяцев; вдруг от цюрихских чехов случайно я узнаю, что существует в Цюрихе некий литературный агент Пауль Фриц, который и заключает от моего имени все договоры. Я — не поверил, мне это клеветой показалось: как же бы доктор Фриц Хееб, тут, рядом, стал бы такое от меня скрывать? Я ещё несколько месяцев стеснялся задать ему даже такой и вопрос. Лишь поздней осенью (а Хееб то и дело уезжал отдыхать в южную Швейцарию) опять возник какой-то срочный вопрос и спросить некого, — и нашли мне этого другого Фрица — да из того же самого агентства Линдер, которое уже пустило прахом мой «Круг» в 1968! Он охотно явился и объяснил: Хееб нанял его в мае (уже когда я тут рядом был — и не сказал ни слова!), но твёрдо запретил ему обращаться непосредственно ко мне. Да почему же? — а никак не от нечестности Хееб это так вёл, а — для нетревожимого самодостоинства. (Откупиться от этого Фрица — весьма больших денег потом ещё стоило, чтоб освободил он мои руки по договорам, которые заключал он.)

Лишь осенью 1974 я придумал приглашать моих главных издателей для знакомства. Стали они приезжать, мы заседали в кабинете Хееба, возвышенно-монументального в своём кресле, а мы с издателями, дотоле мне неведомыми, и под перевод В. С. Банкула, знающего все языки, — полукружком на стульях. Я — изумлялся слышимому, а издатели изумлялись, что я до сих пор ничего этого не знал.

И по продрогу тяжелошёкого, прямоугольного лица доктора Хееба — выказывалось, что и он — впервые осознавал всё совершённое лишь теперь.

Только тут стала открываться мне картина развала, запутанности всех моих издательских дел и полной связанности рук: ещё не начав движений в этом свободном мире — я был всем обязан, связан, перевязан, — и неизвестно как из этого всего выпутываться. Всюду какие-то дыры и дыры, куда утёк ещё не отвердевший бетон.

Да главное — не было у меня ни времени, ни настроения этим заниматься: я — разгадывал Ленина в Цюрихе.

И я всё время сравнивал людей здесь, на Западе, и людей там, у нас, — и испытывал к западному миру печальное недоумение. Так что ж это? Люди на Западе хуже, что ли, чем у нас? Да нет. Но когда с человеческой природы спрошен всего лишь *юридический* уровень — спущена планка от уровня благородства и чести, даже понятия те почти развеялись ныне, — тогда сколько открывается лазеек для хитрости и недобросовести. Что вынуждает из нас закон — того слишком мало для человечности, — *закон выше* должен быть и в нашем сердце. К здешнему воздуху холодного юридизма — я решительно не мог привыкнуть.

По горячности мне тою осенью хотелось выступить и публично: что вся система западного книгоиздательства и книготорговли совсем не способствует расцвету духовной культуры. В прежние века писатели писали для малого кружка высоких ценителей — но те направляли художественный вкус, и создавалась высокая литература. А сегодня издатель смотрит, как угодить успешной массовой торговле — так чаще самому непотребному вкусу; книгоиздатели делают подарки книготорговцам, чтоб их убажить; в свою очередь авторы завясят от милости книгоиздательств; торговля диктует направление литературе. Что в таких условиях великая литература появиться не может, не ждите, она кончилась — несмотря на неограниченные «свободы». Свобода — ещё не независимость, ещё — не духовная высота.

Но я удержался: не все ж издатели таковы.

Столкновение двух непониманий очень резко проявилось в истории с гонорами «Архипелага»: когда я из Союза командовал Хеебу отдавать «Архипелаг» бесплатно или за минимальный гонорар*. Уже того я не понимал, что, по западным понятиям, я этим унижал свою книгу перед читателями: если её дешёво продают — значит, она плохо сбывается, вот и пошла по дешёвке. И уж на что Хееб ничего в издательском деле не понимал, а тут понял, что совсем без гонорара нельзя, даже стыдно. Он разумно возражал мне, что слишком удешевлять нельзя, будет плохая бумага, тесный шрифт. И вместо обычных для автора с известностью 15%, которые все давали, в тот миг дали бы и больше, Хееб стал ставить условием (в заслугу ему запишем) 5%. И — всё. Книги отчасти подешевели, да, но и не слишком заметно. Я приехал — спохватился: ведь все доходы от «Архипелага» я назначил в Русский Общественный Фонд, и в первую очередь для помощи зэкам, а деньги уплывают? Стал я теперь к издателям взывать, вдохновлять: я взял с вас 5% вместо 15, так имейте же совесть, проникнитесь духом этой книги — теперь 5% пожертвуйте сами от себя, в Фонд помощи заключённым. Некоторые и жертвовали (там из-за духа ли книги, или чтоб не утратить моих следующих книг), но почти плакали от трудности: уж лучше б сразу я взял с них 15%, они бы их списали со своих налогов, и всё, — а *жертва* в иностранный Фонд не списывается с налогов, и теперь её надо отдирать от основного капитала издательства. А я ведь этого ничего не понимал, когда затевал!.. Директор швейцарского издательства «Шерц» — тот самый высокорослый, героически защищавший меня на цюрихском вокзале от раздава толпой, — он, по бернскому соседству захвативший от Хееба договор сразу на все три тома «Архипелага» вперёд, теперь ни от чего не зависел, и бессовестно доказывал мне в глаза, что именно из-за мил-

* «Бодался телёнок с дубом», стр. 552.

лионных тиражей он несёт дополнительные неожиданные расходы (де, пришлось арендовать чужие типографии) — и поэтому ничего не может пожертвовать в Фонд.

И ещё первые тома «Архипелага» везде продались сколько-то дешевле, а со второго цены полезли вверх — мол, инфляция, бумага дорожает, — стал и я назначать для Фонда нормальный авторский процент. А уж третий том — Запад мало и читал, устал от *русских ужасов*. Ото всего моего размаху только то и вышло, что Русский Общественный Фонд потерял несколько миллионов долларов. Я, по глупости, думая, что сделаю книгу доступнее широкому читателю на Западе, наказал своих соотечественников в пользу западных издательств, вот и всё.

Ну разве мог я такое вообразить, живя в Советском Союзе? Ну разве можно этот мир сухой представить — нам там, придавленным: жертва — не списывается с налога, и потому невыгодна! Мы, не привыкшие соразмерять жертву с какой-то выгодой, — разве могли этот мир освоить? разве могли принять его в душу?

В СССР, неизносном, мозжащем, все шаги мои были — череда побед. На раздольном свободном Западе все шаги мои (или даже бездействия) оказывались чередой поражений. *Не* ошибок — я здесь не делал? (На родине — несли меня крылья общественной поддержки, были они первое время и за рубежом, но настоятельнее их вдвигалось ко мне лужистое равнодушие дельцов.)

Однако среди тех издательских знакомств осенью 1974 года я не мог сразу не выделить умных душевных издателей французского, католического по своим истокам, издательства «Сёй» (что значит «Порог») — благородного старого Поля Фламан и молодого талантливый Клода Дюрана, которых вскоре привёз в Цюрих Никита Струве. Почтенный Фламан — интеллеktуал с давней усвоенностью и разработанностью культуры, как это бывает особенно у французов, большой знаток издательского дела. Дюран — неутомимый, живо-образительный, даже математичный, остроумный, а к тому же и сам писатель. Ещё в ту первую ознакомительную встречу у меня с ними возникла большая откровенность, они видели мою растерянность, ещё больше её видел (и знал от Али) Никита Струве — и он предложил «Сёю» взять в свои руки ведение моих дел. Фламан и Дюран приехали в Цюрих вторично и согласились взять на своё издательство международную защиту моих авторских прав, всю договорно-распределительную работу с издательствами всего мира. Я предложил Хеебу тут же и передать Дюрану копии всех заключённых (да не им, а агентством Линдера) контрактов. Хееб сперва заявил, что невозможно, это очень длительная работа; потом за четверть часа оскорблённо выложил их все. Только с этого момента, с декабря 1974, мои добрые ангелы Фламан и Дюран постепенно, год от году, разобрали и уладили мои многолетне запутанные издательские дела.

Что Хееб не охватывал моих дел, не успевал почти ни с чем — ладно. Но зачем скрывал, никогда не признался, носил такой солидный вид и передо мной? Очевидно, адвокатское правило: не показывать своей слабости перед клиентом. (А по-русски: насколько сердечней было б, если б он сразу и признался.) Впрочем, в этих ноябрьских беседах с издателями поняв, что ж он натворил, Хееб под Новый, 1975 год с дрожью голоса сделал мне заявление, что он видит: он более мне не нужен, негоден, и подаёт в отставку. И мне стало его жалко: навалили мы на него проблем и дел не по его опыту и кругозору — а непорядочности он никогда нигде не проявил, разве вот с утайкой Линдера. И, жалеючи, я просил его остаться.

И он пробыл моим адвокатом ещё и весь 1975 год. И за эти два швейцарских года Хееб — опять безумышленно, но по самоуверенности и по незнанию собственных швейцарских законов — нанёс мне ещё самый большой вред изо всех предыдущих. Но об этом — когда наступит, впереди.

Глава 3

ЕЩЁ ГОД ПЕРЕКАТИ

Хотя понятно, что вся Земля едина, а всё-таки — другой континент, первый взгляд на него всегда дивен: каким представится? Я увидел первым — Монреаль, и с воздуха он показался мне ужасен, просто нельзя безобразнее выдумать. Встреча — не обещала сердцу. (И в последующие дни, когда я побродил по нему, — впечатление поддержалось. Весь дрожащий от восьмирядного автомобильного движения чудовищный металлический зелёный мост Жака Картье, под который и должен бы я вплыть, если бы пароходом, — и безрадостно задымила бы сразу за ним пивоваренная фабрика с флагами на крыше, и потянулись бы бетонно-промышленные набережные — до того бесчеловечные, что на речном острове остатки старого казарменно-тюремного здания радуют глаз как живые. А глубже в городе — чёрная башня канадского радио, а затем — нелепая тесная группа небоскрёбных коробок среди обширных городских пространств. Монреаль тянулся за «великими городами» Америки, но неспособно.)

Встретил меня условленный сотрудник аэропорта, русский, — хорошо бы мне от самого начала двигаться инкогнито, чтобы впереди меня не неслось, что я ищу участок в Канаде. Мы миновали стороной общий пассажирский выход, толпу, проверку и, кажется, незамеченными ускользнули в дом при храме Петра и Павла, куда я имел рекомендацию от Н. Струве к епископу Американской православной церкви Сильвестру, члену редколлегии «Вестника РСХД». Ему я и открыл цель своей поездки, прося совета и помощи. Там я провёл предпасхальные дни.

Незамеченным? — как бы не так! — дня через три в монреальской газете появилось не только сообщение о моём приезде, но даже и несомненная фотография моя в аэропорту. Да откуда же, будьте вы неладны?! Оказывается: студенты! да, предприимчивые студенты узнали меня издали, сфотографировали телеобъективом, а затем два дня — не ленились! да ведь ради денег! заработать за счёт моего покоя, — ходили по редакциям, убеждая принять материал, а им никто не верил. Страшная досада: перед самым началом тайного поиска меня и обнаруживали. Продали писателя — студенты, ну мирок!

А коли уж всё равно раскрыли и нашёл меня украинский радиокорреспондент — записал я на плёнку пасхальное обращение к православным украинцам*. Украинцев в Канаде — большое расселение. Сдружить украинцев с русскими — чувствую задачу на себе всегда. Украинского — много влилось в меня от деда Щербака, он чисто по-русски и не говорил, да сама речь какая тёплая! и бабка по матери наполовину украинка; и украинские песни известны и вняты мне с детства. И в 1938, когда мы, студенты, на велосипедах дали петлю по всей сельской Украине, — сколько же запечатлелось трогательных мест, стоят сердечным воспоминанием.

Впрочем, не одни студенты меня выдавали в Канаде, потом и более солидные люди, не умея удержать новость или даже намеренно ища связи с прессою. И в первые же дни — в одной, другой, третьей газете уже излагался мой план купить землю и переселиться в Канаду. В окрестностях Монреаля гонялись за мной кинокорреспонденты по дорогам, приходилось хитростями от них уходить. И частная встреча с премьером Трюдо тоже разглашалась в газетах.

В чужом мире действуя, я на каждом шагу ошибался, да ведь и языка не хватало везде, сразу переключиться с немецкого на английский мне было трудно, не тем голова занята. Вся эта встреча с Трюдо была совсем не нужна, но казалось мне, что я должен предупредить правительство о своих намерени-

* «Публицистика», т. 2, стр. 282 — 283.

ях, чтобы не попадать, как со швейцарской полицией, да и получить благоприятие иммиграционных властей. Я его и получил, но можно было обойтись без премьер-министра, только ненужная разгласка. (И сам разговор, и все темы на той встрече произвели на меня впечатление незначительности, и обидно становилось за эту страну, такую богатую, огромную по размаху, — но робкого великана в толчее дерзких и быстрых.)

Сами поиски удалось устроить активно: дня три повозил меня по комиссиям («риэлторам», — иначе тут домов, участков не покупают) отец Александр Шмеман. Кроме того епископ Сильвестр посоветовал мне обратиться к молодому архитектору Алёше Виноградову. Его родители были из Второй (военного времени) эмиграции, сам он испытал лагеря «ди-пи» (перемещённых лиц) ещё младенцем. Оказался он душевно чистый, уравновешенно-спокойный, с добрым нутряным голосом молодой человек, и жена у него — прелестная Лиза Апраксина, аристократической породы, из третьего поколения Первой эмиграции. Вырос Алёша в англо-канадском мире и был там вполне свой, но оставался (благодаря родителям) удивительно русским, как будто сейчас из наших мест. Он охотно согласился мне помочь — и мы много поездили с ним по провинции Онтарио. Каждый раз «покупателем» был мой спутник, а я — просто присутствующий приятель. (Вполне как и в Советском Союзе, когда возил меня по тамбовщине Боря Можая с корреспондентским билетом, всех расспрашивал о сегодняшнем колхозе, а я болтался при нём и высматривал про тамбовское восстание 1920—21 года.) И пересмотрели мы многие десятки предлагаемых мест, и даже на некоторых я как будто уже заставлял себя остановиться, — довольно причудливые скалы вокруг возвышенного озера, уже планировали мы, где что будет построено, иногда и дорогу надо было строить, этого, пожалуй, и не осилить. Искал я место уединённое, в стороне от проезжих путей, это первое, да, но когда-нибудь же и благоустройно? но какие-то же города и школы неподалёку? — мне-то хорошо в пустыне, а как-во детей растить? Аля очень беспокоилась.

И после всех заходов нашей изматывающей поездки — всё более становилось понятно, что я ничего не нашёл, что найти очень трудно. Прежде всего оказалась Канада — совсем нисколько не похожа на Россию: дикий малолюдный материк под дыханием северных заливов, много гранита, так что для дороги то и дело продалбливаются в нём выемки. Леса? Рисовались роскошные толстоствольные, доброденственные — оказались (в Онтарио, где только и намеревался я остановиться) жиденькие, не на что смотреть, Карельский перешеек: многими годами тут хищнически рвали каждый толстый ствол, вытягивали его тракторами из любой чаши, и оставлена лишь невыразительная болезненная толпа стволиков. Если на участке растут хорошие породы, то об этом даже специально указывают в проспекте. (Позже, из поезда, посмотрел я степную часть Канады — но только что ровная необъятная степь, а тоже за Украину не примешь, — но только что ровная необъятная степь, а тоже тогда были бы хоть города порядочные! — но и по городам отстала Канада, и города, кажется, объята умственной ленью, — зато здоровенные, отъевшиеся тупые хиппи, в этом Канада от цивилизованного мира не отстала, греются на клумбах на солнышке, развалились в уличных креслах среди рабочего дня, болтают, курят, дремлют.

Вообще же: не нейтральны для человеческой личности все места на Земле (как и разные сроки в году): одни ему — дружественны, другие враждебны, иные благоденственны, а те губительны. Надо слушаться сердца, оно помогает угадать верное место жизни. (Например, с детства я с опасением думал о Средней Азии — и именно там развился у меня рак. К Енисею, Байкалу — тянуло, а на Урал нет. Никогда бы не вынес я субтропиков и тропиков.) Но Канада оказывалась не просто северной, а какой-то и беспамятно спящей.

Ещё была у меня мечта — расположиться близ русского населения, — и самим нам дышать родней, и чтобы дети росли в русской среде. Но в Онтарио не было таких посёлков. Познакомили меня с кем-то, связанным с духобора-

ми, — но они в Британской Колумбии, слишком далеко. (К ним я так и не попал, да и вывихнуты они уже из русского, да и ухо переклоняют к большевицким зазывалам, ведут переговоры вернуться в ту страну, которая так невыносима была им при царе.) Ещё оставались в задумке старообрядцы в Штатах, но стал я уже отчаиваться в таком соседстве поселиться.

Десятилетиями вытягивался я весь в мечте избавиться от постоянной шумливости и стеснённости то тюремных лет, то городской, от этих надоедних радиорепродукторов, — да как же ото всего этого вырваться подальше? с таким набранным опытом что́ надо писателю? только спокойное уединение. Но в Союзе мне было невозможно найти такое уединение, чтобы там можно было построиться, чём топиться, главное — что́ в рот класть, а ещё главней: чтобы по заглушью не задушило тебя ГБ.

Однако вот и теперь, в 1975, достигнув необъятной воли, и с необходимыми для того деньгами, — не мог найти я себе подходящего приюта. Заманчивые имения видели мы в Канаде только близ самой реки Св. Лаврентия — но они не продавались, они все были заняты устойчивыми первыми поселенцами, наследными семьями «воспов»*, как здесь говорят. (Сама река — изумительно разливна, как лучшие сибирские, с влажным воздухом близ себя, почти как бы морским.) К середине мая я уже, недели за две, устал искать, и без Али не мог принять решения. Срочно вызвал её из Цюриха, вырвал от детей, а сам, отъехавши, ждал в дрянненькой гостинице Пемброка и высиживал дни в зарослях, тоже у реки, в речном воздухе пытался писать.

Алёша привёз Алю прямо с самолёта из Монреаля. Она же прилетела с нарощим в ней сопротивлением: да ни за что из Европы не уезжать! И правда, какой нормальный человек уедет от этой многообразной красавицы, сплочённой древности и культуры? Но позволь, но мы уже решили: не жить нам в Европе, не дадут мне там спокойно работать, везде достанут; и кроме Франции нигде не хочется, а там — язык. Поехали смотреть что-то приблизительно пригляженное — Аля всё решительно забраковала, и особенно — то местечко на каменном холме близ озера: бурелом, бездорожье, на километры вокруг ни души.

Ну, что делать? Ну, попытаем счастья в Аляске? Нельзя отвергнуть, не взглянув.

Из Оттавы мы с Алей поехали трансканадским экспрессом на тихоокеанское побережье. «Экспресс» — это очень громко сказано, тащится он не слишком быстро, вагоны переклонно побалтывает, уже в таком состоянии рельсы, «экспресс» он — за непересадочность, непрерывность от Атлантического до Тихого океана. Железные дороги Канады в большом упадке, углубляемом уже бессмысленным сосуществованием и соревнованием двух угасающих систем с параллельными путями — Канадская Национальная и Канадская Тихоокеанская (в некоторых местах их рельсы — вплотную рядом, и гонят пустые поезда). Идёт по одному экспрессу в сутки, станции безлюдны (вокзалы бывают за городом, чтоб очищать его от рельсовых путей), все давно летают самолётами, ездят автобусами. К железной дороге уже настолько нет почтения и внимания, что большинство переездов — без шлагбаума, и автомобили покойно пересекают линию не покаясь — а тепловозам (электрификации железных дорог на этом континенте почти и не спрашивай) остаётся перед каждым переездом слитно бизонно гудеть. Так и текут долгие гудки вдоль полосы дороги. На многих станциях нет камер хранения, лишь кое-где — ещё не отмерший, но уже никому и не нужный телеграф. Зато из вагона даже к одиночному пассажиру выходит не только кондуктор, но и портье-негр, помочь с чемоданами. У океана кончается рейс экспресс — и сходит иногда всего человек десять. Но чем более отмирают дороги — тем важнее ведут себя на больших станциях валяжные служащие (все — мужчины): не пускают встречающих на перроны, пресе-

* WASP — White Anglo-Saxon Protestant (белый протестант англосаксонского происхождения. — *Ред.*).

кают, проверяют, объявляют, гонят подземными тоннелями без надобности, а там стоит ещё один дежурный бездельник и только показывает, на какой эскалатор сворачивать. В том, как американский континент сперва далеко проложил, потом отбросил железные дороги, была юная жадная цапчивая манера хватать новое яблоко, надкусывать, бросать ради следующего. В поспешном развитии к новому, к новому — покидалось самое хорошее старое. Однако на многое тут смотришь с завистью, как бы это к нам перенести: на одиночные купе, румэты, где при наименьшем объёме человек обеспечен постелью, столиком, горячей, холодной водой, электрическим током, зеркалом, уборной и кондиционированным воздухом. Если есть с собой продукты, можно три дня из румэта не выходить. Или — возвышенные второзтажные салоны с остеклённой крышей, откуда пассажиры охватывают и обе стороны дороги и небо, непрерывная видовая картина (испорченная, конечно, принудительной постоянной «поп»-музыкой). (Но эти стекло-салоны надо и часто мыть снаружи особым многощёточным вертящимся устройством, через которое протискивается поезд на больших станциях.)

Я с детства очень люблю железные дороги, и отмирание их воспринимаю вторую утерей после отмирания лошадей. Больно. (А в XIX веке и поезда кому-то казались недопустимым губленьем природы.)

В Принц-Руперте пересели мы с поезда на аляскинский пароход, он шёл под американским бодрым флагом, и тут мы впервые прошли американский таможенный осмотр. (Он поразил строгостью к рюкзакам странствующих студентов: разворачивали всю их тщательную укладку, перещупывали, искали наркотиков?) Уже даже этот пароход, и потом вроде оторванная и мало-американская Аляска, — куда отличались от расслабленной сонной Канады. Американская атмосфера после канадской — бодрила, и стало у нас всё более поворачиваться: может быть, поселиться в Штатах? Мы не пришли бы к этому так легко, если бы не контраст с Канадой. До сих пор представлялись мне Штаты слишком густо заселённой страной и слишком политически-дёрганой, крикливой. Но начали передаваться нам её раздолье и сила.

А для нас, уже за год истосковавшихся по России, нельзя было начать знакомство со Штатами лучше, чем через Аляску. Кроме самой России — уже такого русского места на Земле не осталось, разве что где сгущённые колонии русских. Ещё Джуно, столица штата, был город американский, но уже и там нас возил, всё показывал, православный священник. А уж Ситха (Ново-Архангельск) встретила нас совсем по-русски, да и русским епископом Григорием Афонским. И это сразу отозвалось в прессе. Пошлый (но мирового распространения) «Ньюсуик» напечатал: «Высланный советский писатель на пороге вступления в православный монастырь, [его] поездка по Канаде и Аляске... — разведывательная экспедиция... найти религиозную общину для себя и рядом дом для семьи... — [да его] возвращение к религии видно и по „Телёнку“, полному пассажижей христианского мистицизма».

У епископа Григория и отец, и дед по матери, и другие в роду были священники. А его юность в Киеве застигла уже советская эпоха, затем в 16 лет он попал в немецкую уличную облаву, загребали в остарбайтеры. (Эшелон на отправке застоялся, прослышавшие матери, среди них и мать Гриши, кинулись на пути, хоть посмотреть на увозимых детей, при удаче — сунуть узелок с бельём.) А будучи «остовцем», Гриша однажды из клочка парижской газеты прочёл, что его родной дядя Афонский, регент православного собора на рю Дарю, даёт концерт хора. Удалось ему связаться, и в конце войны вытянули его в Париж. Позже он кончал в Нью-Йорке Свято-Владимирскую семинарию Американской православной церкви, надо было жениться до принятия сана. Но вопреки его жизненным намерениям это не состоялось, и принял он сан иеромонаха, а затем вскоре и стал епископ. (Позже, гостя у нас в Вермонте, рассказывал свою жизнь, — Аля спросила: «Жалеете, Владыка, что не женились?» Он, с мягкой добродушной своей улыбкой: «Да нет. Жалею только, что остался без детей».)

Полтора́ста лет назад иркутский приходской священник (к концу жизни — Иннокентий Аляскинский) добровольно переехал сюда — просвещать ещё прежде того крещёных, но покинутых вниманием алеутов; переплывал на острова, переводил Евангелие, молитвы и песнопения на местных шесть языков. И вот сегодня священник-алеут, и дьякон-индеец, и все здешние аборигены — на вопрос «кто вы?» отвечают: Russian Orthodox (русский православный). В музее Ситхи — наши старинные иконы, складни, евангелия, посуда щепенная и фарфоровая, старинные медные русские пятаки, рубель и скалка, ступа с пестом, подносы, самовары, щипчики для сахара, серебряные подстаканники. Но что музей, когда есть реальный архиерейский дом 1842 года, и здесь старомодную гостиную, кабинет, каждый предмет мебели — старинную качалку, стулья с плетёными спинками, клавесин, комод, бюро, шкафы — узнаёшь памятью глаз, или движением чувства или по читанному: вот мы и — в старом губернском городе, ещё почти при жизни Лермонтова. А самовар — по всей Аляске, уже и у американцев, самое модное домашнее украшение.

Здесь, на северо-западе американского материка, — поразишься русской удали, настойчивости, землепроходству (о которых в СССР гудят пропагандно и отмахиваешься). Ведь не с фасадной доступной стороны примыкала к нам Аляска, нет, надо было сперва преодолеть по диагонали непроходимую Сибирь. И тем не менее Дежнёв уже обогнул Чукотку морем в 1648, а Беринг достиг Аляски в 1741. Ещё не царствовала Екатерина — уже основали здесь на острове новый Архангельск, а в 1784 на Кодиаке уже открылась первая школа для алеутов (теперь там православная семинария). Строитель, купец, образователь и пионер Александр Баранов стал как бы губернатором русской Аляски, и до сих пор вспоминают индейцы, что он всегда держал слово, как пришедшие потом американцы не держали. (Прадед нынешнего дьякона присутствовал в 1867 в Ситхе при смене русского флага на американский — и передавал, что индейцы плакали: русские обращались с ними добро, а жестокость американцев к индейцам уже была слишком хорошо известна.) Ещё и далеко на юг внедрились русские, в Калифорнию, и остановились, только встретясь с испанской волной от Мексики; американцы пришли сюда уже третьими. А разобрались ста годами позже, по документам: продала Россия Америке не Аляску как таковую, а лишь право пользования её территорией, отчего Америка ещё и теперь выкупает участки у местных жителей. (Эта продажа Аляски — соблазн истории: что было бы с Америкой, если бы танки большевиков сейчас стояли на Аляске? Вся мировая история могла бы пойти иначе.) После 1917 прервалась тут церковная русская власть — на 120 приходов осталось 5 священников, но эскимосы, алеуты и индейцы дохранили православие тридцать лет, пока пришла православная церковь Американская.

Мы жили у епископа Григория, как будто вернулись в Россию, ещё и в радушии по горло. Стояли на службе его в храме. А после службы плотным кольцом жались к нему ребятишки алеутские (как на нашем бы Севере) и тербели: «Биша-Гриша!» («бишоп» — епископ по-английски). Гуляли аллеей Баранова, усыпанной щепой, — огромные белопепельные орлы, а снизу крылья почти чёрные, летали над самыми верхушками деревьев, и проходила от них тень как от самолёта. Даже страшно: вот снизится, схватит когтями Алю в меховом капоре и унесёт.

Было очень холодно, хотя май.

Есть американцы, переезжающие на Аляску, чтобы здесь, в тихой ещё обособленности, нерастревоженности, растить своих детей вне современного разложения.

А — нам? а — мне? Нет, пожалуй — это уже слишком заповедник, глубоко в Девятнадцатый век. (Хотя супермаркет — вполне Двадцатого.)

Индейцы племени тлинкит приняли меня в своё племя, подарили почётную дощечку — «Тот, кого слушают».

Однако я что-то долго уже молчал. И не понимал, как своей канадской поездкой оскорбляю Соединённые Штаты, так звавшие меня уже год, — а я

океан перелетел не к ним, и теперь странно входил через Аляску. Необъятен мир, открыты все пути, а свой — единственный, узкий и погонный. Величественно плывёт всенасыщающее время, а своё — так коротко, так недолго.

У Али были ограниченные сроки, надо возвращаться к детям. Но ещё бы нам вместе побывать у старообрядцев, приглядеться, как там. На Аляске — лишь одно их село, рыбацкое, и к ним трудно-долго добираться, а вот большое их поселение в штате Орегон. Однако с Аляски легче долететь сперва до Сан-Франциско. А тогда — хоть глазком-то глянуть на Гуверовский институт, с его поразительным за границей русским архивным хранением.

Главная башня Гуверовского института стройно высится над разбросанным малоэтажным кампусом Стэнфордского университета, райски усаженным пальмами. Для сокращения времени многие студенты от корпуса к корпусу проносятся на велосипедах. Сверху башенный колокол отбивает часы, печальный, потусторонний звук.

Времени на Гувер у нас было не больше недели. На эти дни заместитель директора Гуверовского института Ричард Старр (полковник морской пехоты в запасе) усиленно звал нас остановиться у него в доме (просторном калифорнийском доме с крытым зимним садом). Но для независимости отпросились мы в университетскую гостиницу. И были в первый же вечер (субботний) жестоко наказаны. Против нашего окна, метрах в тридцати, был какой-то просторный и возвышенный помост. И вдруг часов с девяти вечера густо повалили молодые люди и — о ужас, дико взорвалась музыка, и на помосте закачалась плотная танцевальная толкучка. Динамики ревели просто неправдоподобно: мы в своей комнате должны были кричать друг другу в ухо, чтобы слышать хоть слово, а закрывали окно — невтерпёж, по жестокой жаре и отсутствию кондиционера. Студенты — белые и чёрные — танцевали с девушками, как работали: сосредоточенно, неумоимо, ни на кого не глядя. А те, кто стояли по периметру помоста, все до одного держали в руках огромные бумажные стаканы, банки, бутылки, — и выкидывали их прямо под ноги, на наших глазах росла кайма мусора, и зрелищем таким мы были тоже ошарашены. Грохот не утихал час за часом, это была пытка, — и как же нам заснуть? Но в час ночи, что ли, так же совершенно внезапно всё оборвалось. Тишина наступила, как после артобстрела. И тут пришлось нам ещё раз поразиться: толпа мгновенно покинула помост, на нём осталось десятка полтора студентов, которые так же сосредоточенно, быстро и умело — собрали в большие мешки весь мусор, подмели настил и расставили на нём столики, стулья. Через десять минут перед нашими окнами не было ни души, под фонарями покоился чистый помост, и в тёплом ночном воздухе звенели цикады.

За эти дни в Гувере мы подружились с симпатичнейшей парой «вторых» эмигрантов — Николаем Сергеевичем Пашиным (братом писателя Сергея Максимова), профессором русской литературы и языка Стэнфордского университета, и харьковчанкой Еленой Анатольевной, работавшей как раз в Гуверовском институте и обещавшей мне на будущее всяческое содействие. (И оно очень-очень потом пригодилось!)

Да в штате Гувера оказались и многие русскоговорящие, в том числе и славяне, — главный знаток и собиратель архива поляк Звораковский (сразу ввёл меня в общую схему хранения, жаловался, что дирекция уступчива к советским проникновениям), дружелюбный серб Драшкович.

Для занятий нам отвели зал заседаний с преогромным столом, на который теперь несли и несли по моему выбору картотеки, описи, коробки хранения, подшивки, пачки мемуаров, книги, старые газеты. Познакомились мы и с А. М. Бургиной, в годы революции женой Ираклия Церетели, после его смерти — женой социалиста Б. И. Николаевского, собравшего многоизвестный обширный архив. После смерти Николаевского она стала, при Гувере, хранительницей этого архива. (Мне рассказывала и подробности мартовских дней 1917 в Таврическом; сама она, среди четырёх курсисток, была приставлена ко-

мендантом Перетцом наблюдать за арестованными царскими министрами и обслуживать их чаем.)

Поработали мы в четыре руки. Аля взялась за архив Николаевского. Я метался по картотекам и описям, составляя на будущее план работы, но и впиваясь в одни, другие, третьи мемуары, и в никогда не виданные, не слыханные мною редкие издания.

Даже на Сан-Франциско осталось всего часа два, проехали не вылезая из автомобиля. Город — живописен на холмах. Большой китайский район. И грандиозный вид на бухту с высоты, где взнесённой поюшей дугой перекинут над Золотыми Воротами долгий мост без опор.

В городе посетили героическую Ариадну Делианич, с её горячей памятью Второй мировой войны, даже и послевоенных концлагерей — английских. Крупная женщина с волевым лицом, теперь через силу волочёт «Русскую жизнь» на западном побережье — а газета рассыпается, погибает русский и язык, и уходят читатели в мир иной.

Пашины свозили нас и на океанский пологий берег, южной города. Катят валы — ровные, неохватной, неизломанной длины, и метра по два высотой. И так — долго ничто не меняется. Прекрасный пляж — но хотя это 37° широты, а в мае такая ледяная вода, что на пляже — ни души.

Но пора к старообрядцам. Из Сан-Франциско поездом — на север, до, помнится, Сейлема, там взяли мы автомашину напрокат. Штат Орегон в этом месте почти плоский, но своеобразно усеян множеством, множеством мелких узких перелесков, разделяющих земельное пространство на отдельные поля. В солнечный день, ещё раньше чем нам спрашивать нужный посёлок, мы увидели на одном, на другом поле склонённо работающих совершенно русских баб и девочек, в уже отвычных нашему советскому глазу ярких крестьянских сарафанах. Они пололи клубничные посадки (Орегон поставляет клубнику всей Америке). Не веря своему голосу, мы спросили сразу по-русски — и получили чистейшие ответы. Сердце переполнилось до перелива: ну, вот мы вдруг и в России, да какой! Вот здесь бы и поселиться!

Эти старообрядцы, к которым мы пришли первым, оказались — белокричного толку, а корнями из Сибири, в революцию откочевали в Китай («харбинцы»). После прихода Мао уехали в Бразилию. Там тяжело, до испогону работали на плантациях, и семьи всё равно бедствовали. Выбились в Штаты всем народом, с большой помощью Александры Львовны Толстой.

Попали в дом Кирилл и Федосья Куцевых, с семью-восемью детьми (Иов, Анисья, Домна...), и стариков их Петра Фёдоровича и Искитеи Антиповны, пришёл и брат её, настоятель Абрам Антипович. Все они были добротны телесно как на подбор (Кирилл — едва ль не богатырь), светлы душевным настроением, имена их звучали неподдельностью святца, — уж сколько было радушия и радостного разговора. Но! — за один стол старшие сесты с нами не могли! — тут разделительная черта, безумно проведенная нашими предками 300 лет назад, так и не зарубцевалась. Посадили нас — с детьми, а уж угощали на все лады; после нас сели старшие. А с детьми?! — вот задача-то. Говорили нам об этом много. При всей силе духовного влияния в старообрядческих семьях — неизбежно же ходят они в общую американскую школу, и отовсюду же сквозняки вседозволенности — а как им и дальше вступать в американскую жизнь? Но дома стараются утвердить детей в духовной стойкости; телевизора нет, читают по-русски. Соседка-хромоножка учит читать по-славянски. И в одежке детей — всё русское, своешито. И нам с Алей подарили две вышитых цветных рубахи. Фотографировались вместе.

Приходили и другие соседи по посёлку. Из них выделялась судьбой Женя Куликова. Муж её каждое лето рыбачил у берегов Аляски, ходили и к Камчатским берегам, — и вот исчез бесследно, весь баркас, при обстоятельствах неясных: утонул или прихвачен советскими (были какие-то к тому признаки). И вот уже целых пять лет она, молодая цветущая волевая женщина, с тремя детьми, осталась и не вдова и не мужняя жена: если муж её жив — то грех не-

искупимый выйти замуж, а если не жив, то как убедиться? Писала орегонскому конгрессмену, американцы запрашивали Советы — безрезультатно. Просила, не напишу ли я — советской власти? (Аля *по левой*, через Александра Гинзбурга, пробовала узнать, по эзческим связям: может, сидит где в лагере. Нет, никто не слышал.) Переписывались потом с Женей.

Так — и ночевать у старообрядцев не останешься? Вот и поселяйся тут?.. Но было у нас приглашение в соседний бенедиктинский монастырь Маунт Анжель близ Вудбёрна: один тамошний монах, брат Амброзе, объявил себя ревностным православным, старообрядцем, всё время общался с ними тут, а в монастыре устроил старообрядческую часовню, и ему монастырь не препятствовал (старообрядцы сильно озадачивались: нет ли тут цели захвата душ, но пока соседствовали дружно). Там мы и провели две-три ночи.

Тут и Вознесение выпало. Накануне утром, 11-го, поехали на службу в храм к беспоповцам («некрасовцы», сюда приехали из Турции, и тут их зовут «турчане»), но там нас встретили сурово до горечи: в сам храм не пустили, наибольшая уступка — стоять в притворе.

Вот — и свои...

Тем вечером, на всенощную под Вознесение, поехали опять к белокрыничкимам. Храм набит, мужчины — в чёрных подрясниках, женщины в светлом и ярком, служба долгая и строгая, а все так приветливы. У белокрыничкичек провели и день Вознесения.

Сколько именно у каждого из нас жизненного времени осталось — знает только Бог, и я особенно чувствовал это в июньские дни 1975. Когда-то в лагере, в Экибастузе, мне приснился весьма отчётливый сон: холодный светлый день, большая высота неба, сорвана, косо повисла балконная дверь — и чей-то ясный голос чётко произнёс мне, что я умру 13 июня 1975 года. Я проснулся с отчётливой же памятью и записал дату в блокнотик — запись цела у меня и посегодня. Тогда казалось: 25 лет впереди, ободряющий сон, да для лагеря! Но что это? — вот откатили уже и все 25 лет. 13-е падало на пятницу, после Вознесения, — и нам показалось разумно: тихо пересидеть этот день в монастыре, никуда не двигаясь.

А ещё в Гувере настиг меня с Восточного побережья Штатов телефонный звонок: Гарвардский университет приглашает на 12-е июня получить почётную степень. Уже звали они меня из Цюриха в 74-м, я отказался, не полетел тогда в Америку. Теперь, вот, опять, — и опять не хотел я специально для этого ломать свой маршрут и лететь через материк. Да ещё же и это 13-е нависает. Отказался. (Обиделись и три года потом не приглашали, всё состоялось лишь в 1978.) И ещё же был звонок: о моём странном въезде в Штаты, как бы не с парадного входа, узнал Джордж Мини, чьё приглашение я тоже отклонил в прошлом году, — и теперь он звал меня выступить на всеамериканском профсоюзном съезде в Вашингтоне, и большом их собрании в Нью-Йорке, но это уже — с конца июня, и я успевал уложить в маршрут все дела и поиски.

Да, в этой стране покою не дадут, затеребят, как же здесь жить? Америка настигала, терзала ещё прежде домового устройства, переезда семьи, скорей, скорей, к нам! нет, к нам! Но — когда же и где говорить иначе? И когда же выступать, как не сейчас, после их вьетнамского поражения? Сейчас наиболее непопулярно будет, что я им скажу, — но и наиболее своевременно. Я согласился.

Однако Але неотложно было ехать домой к малышам. Всё же сговорились, что она попробует ещё раз прилететь на мои выступления. И в Портланде (и тут небоскрёбов нагородили) я посадил её на самолёт — а сам стал возвращаться в Канаду, чтобы снова ехать поездом, теперь к Восточному побережью. И ещё последний раз поискать жильё в Канаде?

Иногда у нас возникают бессвязные предвидения будущего, и порой оказываются они исключительно верны. Произвольно у меня бывали иногда такие; впрочем, потом начинаешь и действовать в этом направлении, так что спутывается предвидение с результатом. В связи с намеченной жизнью в Аме-

рике возникло у меня такое видение (но уже и желание, и намерение): возвращаться в Россию не через Европу (не в Москву, которая ослабленно разделила эти страшные годы России, да и я не московский житель) — а через Тихий океан и Владивосток, тоже не с парадного хода, как и в Штаты въехал, — и потом долго, долго ехать по России, всюду заезжая, знакомясь, — это и будет *вернуться в Россию*. (Если не погонят иначе чрезвычайные обстоятельства — именно так и сделаю.)

И поэтому проезд через Ванкувер был для меня значения повышенного. Без труда купив на вокзале билет, загнавши чемодан в ящик с цифровым запором, с приятным чувством обеспеченности долгой комфортабельной железнодорожной поездки, я часа два гулял на высокой видовой площадке между стоящими серебристыми вагонами Канадской Тихоокеанской и морским портом, откуда уходят корабли, — да наверное же и во Владивосток. Без океанского пролива Ванкувер был бы такой же, как все канадские города, — со столпленной группой небоскрёбов в центре, вертящимися афишами, одноэтажной разбросанностью и уличной разноплеменностью. Но всё менял океанский пролив, горы на той стороне пролива, синеватые, в несколько планов и в сизых туманах. Свинцовые тучи погуливали (на них — пребелый самолёт), уходили пароходы. Я бродил как по хребту своей собственной жизни: отъезжая на восток, различить: поплыву ли когда-нибудь на запад, через самый Крайний Запад — и на наш Дальний Восток?

Весь следующий полный день я пролежал в своём румэте, не поднимаясь: глазами только навстречу движению и во весь окоём. И весь день проходила Британская Колумбия. Неправдоподобная красота Скалистых гор. Они то подступали скалами к самому поезду, вынуждая накрывать пути решётками от камнепадов, загонять в тоннели; подступали иногда так тесно, что железная дорога и шоссе не помещались рядом, уходили в свои тоннели на разных уровнях; а то — отступали в неохватную чашу горной долины, под солнцем и со снежными остатками на верхах, а через пять минут, в другой долине, в клубящихся низких облаках. И река светло-мутно-зелёная, то к поезду вплоть, то отходя, то собиралась в кипящий поток с белыми гребнями, то разливалась ручейками по широкой мелко-каменчатой пойме. И вот здесь леса стояли так леса — крепкие, мощные, чистые; и хвойные — не проглянуть, только не было берёз. Да наверно в Британской Колумбии вот и хорошо бы поселиться, очень здорово. (Впрочем, на Байкале, в распадке, ещё лучше. Потому так и разбросаны наши поиски здесь, что мы — не на родине, у себя-то искать быстрой.) Но где-то есть предел, сколько может человек идти против общих правил. И — разрывало моё вечное противоречие: писать или воевать?

Так славно было в румэте лежать, не вылезать до Пемброка в Онтарио, где мы должны были с Алёшей Виноградовым встретиться, чтобы опять искать. Но решил я сойти и в Виннипеге, канадском украинском центре, повидать украинцев. У них есть подобие зарубежного всеукраинского парламента — Свитовой Конгресс Вильных Украинцев, в нём встречаются иногда разные расколотые украинские направления, и при общем сослужении двух разных украинских церквей — католической и как бы православной (самостийная, с неканоническим выбором епископов в 1918). А русские, разных церквей, напротив — и вообще не встречаются, и церкви их враждуют, двухмиллионная (точной цифры никто не знает) эмиграция рассыпана в мелкие саможивущие ячейки, обречённые раствориться в ничто. И останутся России и повлияют на неё — только книги мыслителей Первой эмиграции, споры между двумя войнами, да мутные выплески публицистов Третьей.

Но что ж у украинцев? Как будто сплочённость — много большая, а странно, какая-то бездейственная: ничего они не делают против советской власти, даже и не выступают весомо, а всё устремленье их: жить, жить на Западе, как оно живётся неплохо, и ждать, пока свалится на них с неба освобождение, сразу и от коммунистов и от русских. А уж если применять усилия, борьбу — то они готовы только против москалей. Виделся я с президентом

Конгресса Кушниром, со старшими чинами епархии, ещё собрали человек 20 здешних интеллигентов вечерок поговорить, — и вот такое их настроение я везде уловил — и высказал им открыто: делить наследство много будет желающих, но как его завоевать? Один из присутствующих поддержал меня косвенно, упрекая соотечественников так: а сколько у Петлюры было? только 30 тысяч, а остальные сидели по хатам. (Да, этим самым и ясно, что украинская независимость в 1918 году была надуманной.)

Украинский вопрос — из опаснейших вопросов нашего будущего, он может нанести нам кровавый удар при самом освобождении, и к нему плохо подготовлены умы с обеих сторон. Бремя этого вопроса я постоянно чувствую на себе, во многом по происхождению. Я от души желаю украинцам счастья и хотел бы, чтобы мы совместно с ними и не во вражде правильно решили заклятый вопрос, я хотел бы внести примирение в этот опасный раскол. А ещё: я дружил с западными украинцами в экибастузском Особом лагере, где мы вместе восставали, знаю их непримиримость, и уважаю, как она там преломилась мужественно. В союзе против советской власти — там я не ощущал никакой щели между нами. Думаю, на Украине ещё найдутся многие мои товарищи по лагерю и облегчат будущий разговор. Не легче будет объясняться и с русскими. Как украинцам бесполезно доказывать, что все мы родом и духом из Киева, так и русские представить себе не хотят, что по Днепру народ — иной, и много обид и раздоров посеяно именно большевиками: как всюду и везде, эти убийцы только растревляли и терзали раны, а когда уйдут, оставляют нас в гниющем состоянии. Очень трудно будет свести разговор к благоразумию. Но сколько есть у меня голоса и веса — я положу на это. Во всяком случае, знаю и твёрдо объявлю когда-то: возникни, не дай Бог, русско-украинская война — сам не пойду на неё и сыновей своих не пушу.

С Виноградовым посновали мы ещё по Канаде — нет, не находилось подходящего участка. Отлетела душа, не жить мне в этой стране. И предложил я Алёше поискать: может быть — в Соединённых Штатах? Какой тут штат из соседних? Вермонт?

Тем временем мне уже надо было ехать в Вашингтон выступать, да и готовиться же. Переехали в Штаты близ «Тысячи островов». Всякий раз при пересечении канадско-американской границы одно и то же впечатление: переезда в опрятность, твёрдо ведомый простор. Да, видимо, жить — в Соединённых Штатах. И совсем тут не скученно, как представлялось, — куда! И природа здоровая, и леса не порублены, отличные стоят.

Тут находила уже Троица, и ко всенощной мы с Алёшей успели в Джорданвилльский монастырь, я полагал — не там ли мне и остаться готовиться к выступлениям, я упустил, что Троица здесь — престольный праздник, был большой съезд богомольцев, все помещения забиты. Производит впечатление монастырь: в таком далеке вот укоренился, и стоит русский дух, как ни разъедаемый со всех сторон чужою современностью. Но и далеко же пришлось отступать русской Церкви, уехавшей в 1920 на Балканы, на какие-нибудь короткие годы! Кроме монастыря тут — семинария, типография, и, разумеется, повсюду портреты Николая II. В этом — безнадежно, печально отказывает им чувство развития, чувство будущего. И на портале второго, кладбищенского, храма одна надпись — вся о царской семье (они считают их *первомучениками* революции, как-то совсем упуская тысячи расстрелянных *до*). Зато по другую сторону входа — всеобъединяющая: «В молитвенную память всех Вождей и чинов Белого Русского Воинства, Русского Корпуса, Русской Освободительной Армии и всех, в борьбе с безбожным коммунизмом живот свой положивших, в смуте умученных и убиенных, имена Ты, Господи, веси». А у нас, в Союзе, даже произнести эти наименования нельзя без проклятий. А ведь — всё же соединится, всё признаётся когда-то.

Наехавшими русскими были заняты и все гостиницы за двадцать миль от монастыря — и отвёз меня Алёша на озеро Отсиго, северней Куперстауна, я

только потом сообразил, что это места Фенимора Купера, с детства исчитанные. На своей машине Алёша уехал, а я остался на мели в мотельном домике.

Были у меня разбросанные политические заметки последнего года да коротковолновый радиоприёмник со свежими новостями, но они тоже сильно подстёгивали, чего ни тронь. Америка пыталась смазать и скрыть своё мучительное поражение в Индокитае. Да теряла влияние и на Индию. (Как раз в те дни Индира Ганди объявила диктатуру. А разве, правда, Индии — срóдна западная демократия? ведь навязали ей как обязательный образец — но совсем не по индийскому самобытному устройству.) Уже и в Африку коммунизм просочился, уже и за Анголу принялись с успехом.

Так ясно мне было, что коммунизм — не вечен, что изнутри — он дуплест, он сильно болен, — но снаружи казался безмерно могуч, и вон как наступал! А наступал потому, что робки были сердца благополучных западных людей, робки именно от их благосостояния. Но против коммунистов, как и против úрок: надо проявить неуступную твёрдость — и перед твёрдостью они сами уступят, твёрдость они уважают.

Однако — кто же эту твёрдость проявит? С какими ясными взглядами и с каким неуклончивым сердцем должен прийти следующий американский президент? откуда он возьмётся?

Да. Тишина и одиночество, без них бы я не справился. Большой был труд — повернуть и поволочить душу на этот одноразовый быстротекущий политический бой, сперва очень через силу, а потом уже и в разгоне. Труднее всего преодолевать инерцию, менять направление, а уж состоять в принятом движении значительно меньше требует сил. Так я проработал всю Троицу, четыре дня, — и, в общем, обе речи уже наметились: первая — в основном о Советском Союзе как государстве, вторая — о коммунизме как таковом.

Потом заехал за мною русский эмигрант из сенатских сотрудников, В. А. Федяй, темнолицый полтавчанин, сухо-энергичный, и на автомобиле повёз меня в Вашингтон. То было много часов езды и уже одни политические разговоры с ним, передавал он мне жёлчно-лимонное клочкотание приправительственных кругов, клубненье тамошних интриг, расчётов. Этот клубок оказывался ещё темней и бессердечней, чем я представлял. Страна велась не отзывчивыми человеколюбцами, а прокалёнными политиками. И кого из них, к чему я мог склонить, подвигнуть?

Проехали разнообразно очаровательный «верх» (север) штата Нью-Йорк, потом стандартными дорогами, и к вечеру въехали в Вашингтон. Два первых впечатления были: грандиозный храм мормонов (стоящий особно и допуск не всем) и — в центре столицы одни негры. (Белые отъезжают в дачные пригороды, негры занимают центр, объяснил Федяй, — по мне диковато выглядит.)

Поселил меня Мини в отеле Хилтон, на каком-то высоком этаже, в так называемом «президентском» номере — непомерного размаха, не комнаты, а залы, — и полицейский пост обосновался у моего входа. Так вот как бытуют крупные политики? — направляют массы, по возможности с ними не соприкасаясь. Теперь ещё три дня, в заточении и с кондиционером, мне оставалось продолжать подготовку. Большой труд был — найти умелого синхронного переводчика; все такие, кто в Вашингтоне есть, связаны с советско-американской деятельностью, а значит закрыто им переводить меня. К счастью, нашёлся ООНовский нерегулярный переводчик — талантливый и русско-сердечный Харрис Коултер, так мы с ним сошлись, хоть кати в годичное турне из одних речей. Полное доверие давало возможность накануне готовиться с ним — то есть приблизительно произносить завтрашнюю речь (она не была написана) и так измерять время и помогать ему подбирать перевод трудных мест. Первую речь, однако, он не решался брать на себя один, подыскали сменщицу, какую-то даму, странную: русская, но не советская, переводила очень способно, даже отдаваясь работе в некоем трансе отсутствия, — однако с первого же прихода предупредила меня холодно, что абсолютно не разделяет моих политических взглядов и желает остаться от них в стороне, — заявление, не обычное для

русского эмигранта, но, видимо, слишком ценила советские заказы. После первой речи исчезла.

Перед самым моим выступлением, как и уговаривались, прилетела Аля мне на подкрепу — и сразу вывела меня из затруднения хорошим советом. Речь моя горела во мне — не дословно, но домысленно, — и я считал бы позором читать её, как читают все советские шпартгальщики, да и на Западе многие. Однако специальная задача — нигде не сбиться с порядка мыслей и нигде не упустить удачных выражений — сковывала напряжением, меняла весь тон речи, лишала её непринужденности и, значит, воздействия. Сплошного текста у меня не было, а тезисы были сведены уже к пачке половинок ученической странички. И Аля посоветовала: так и выйди с ними, держи их в руке, без помехи жестам, а понадобится — заглянешь. Простая мысль, простая форма, но каждую надо найти. Так я и сделал, и сразу спал обруч с моей головы, стало dokonечно легко. Найдена была форма — на сто речей вперёд. И, действительно, по разогнанному своему состоянию, я мог тогда ехать произносить хоть и сто речей, да сам себя ограничил.

Присутствовало тысячи две зрителей, и почётные приглашённые (был военный министр Шлессинджер, экс-военный министр Мелвин Лэрд, американский делегат в ООН Патрик Мойнихен). Вначале был общий ужин, как это у американцев полагается, сидели и мы, президиум, профсоюзные вожди — на сцене лицом к публике и тоже сперва лопали (ужасный обычай!). Потом меня смущало: так, от столиков, не все dokonчив десерт, меня и слушали. При вступлении Джорджа Мини очень трогательно было, как пригласили на сцену двух бывших зёков — Сашу Долгана (через Тэнно мы были с ним знакомы в Москве) и Симаса Кудирку — литовца, выданного американцами, но ими же незадолго перед тем и вызволенного. И мы крепко глубоко обнялись и расцеловались перед этими несведущими, небитыми, но и небезнадёжными, открытыми же к отзыву людьми.

Не волновался я — несколько, да и по прежним выступлениям так ожидал. Хотя подобного, как нынче, ещё не бывало у меня: ощущение — холма международного, что говорю и вдаль, и надолго. Освобождённость от напряжения памяти давала последнюю нужную свободу каждому движению и произнесению. Начало я приставил неожиданное: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», ещё не привязав ни к какой фразе, так чтоб это оглушивало, как будто залетел по ошибке советский агитатор, — а потом объяснил, что это советские зёки протягивают руку американским профсоюзам, которые и действительно, может быть одни в мире, в страшный конец 40-х годов не предали их, постоянно напоминали о лагерях рабского труда в СССР, даже издали карту советских лагерей. (Но острота моя до профсоюзных лидеров, кажется, не дошла, так и приняли за чистую монету: пролетарии всех стран, пора соединяться!)

От чего ещё я был в этой речи* свободен — от всякого сомнения в нужности, своевременности, силе удара и направлении его. Я бил — по людоедам, и со всей силой, какая у меня была. Копилось всю жизнь, а ещё страстней про rvalось от гибели Вьетнама. Думаю, что большевики за 58 своих лет не получали такого горячего удара, как эти две моих речи, вашингтонская и нью-йоркская. (Думаю — пожалели, что выслали меня, а не заперли.)

Хотя я приехал в Штаты и на год позже, чем звали меня, чем был наибольший ко мне размах внимания, — но и сейчас не опоздал. Правда, многие были ошеломлены такой моей резкостью, телевидение, хотя и крутило с балкона непрерывно, выступления моего не стало передавать. Рассерженная столничная газета даже назвала мою речь глупостью, но иные комментаторы сразу же сравнили эти речи с Фултонской речью Черчилля (о сталинском «железном занавесе»), и я, без избыточной скромности, с этой оценкой внутренне согла-

* «Публицистика», т. 1, стр. 229 — 255.

шался. Нужно было пройти годам двум-трём, как прошло сейчас, чтобы я, перелистывая эти речи, сам бы удивился своей тогдашней уверенности. По большому внутреннему повороту, *сейчас* я бы таких речей уже не произнёс: уже не ощущаю я Америку таким плотным, верным и сильным союзником нашего освобождения, как ощущал тогда. Нет.

Да если бы я знал! если бы кто-нибудь мне тогда показал позорный закон 86-90 (1959 года) американского Конгресса, где русские не были названы в числе угнетённых коммунизмом наций, а всемирным угнетателем (и Китая, и Тибета, и «Казакии», и «Ивдель-Урала») назван не коммунизм, а Россия, — и на основе того-то закона каждый июль и отмечается «неделя порабощённых наций» (а мы-то, из советской глубинки, как наивно сочувствовали этой неделе! радовались, что нас, порабощённых, не забыли!) — так вот и было лучшее время мне ударить по лицемерию того закона! — Увы, тогда не знал я о нём, и ещё несколько лет ничего о том не знал*.

Только до наших соотечественников в Союзе мало доходил мой заряд: «Голосу Америки» передавать меня давно запрещал Киссинджер, а Би-би-си и даже «Свобода» тоже стали избегать такого «авторитариста», каким размалевали меня после «Письма вождям».

На наш вечер Мини коварно приглашал и Государственный департамент, и лидеров Конгресса, и президента Форда. Но, разумеется, никого тех не было, ни Форда. Детантшик Киссинджер строго его предупредил, опасаясь испортить отношения с СССР. 26 июня 1975, за четыре дня до моего выступления, Госдепартамент послал в Белый дом меморандум, где говорилось: «Советские власти, вероятно, восприняли бы участие Белого дома [в банкете в честь Солженицына] как сознательно поданный отрицательный сигнал или как признак слабости администрации перед антисоветским давлением изнутри... Встреча Президента [с Солженицыным] не только обидела бы Советское правительство, но и вызвала бы споры вокруг мнения Солженицына о Соединённых Штатах и их союзниках... Мы рекомендуем, чтобы Президент не принимал Солженицына**».

До этого момента Президент меня и не приглашал, и сам я никакого желания пойти в Белый дом не высказывал, это и не обсуждалось. Но кто-то из наскокливых журналистов чуть передёрнул ситуацию или сам понял неверно, стал допрашивать пресс-секретаря Белого дома, почему Президент меня не принимает, а тот растерялся и стал выдвигать причины, к тому же не лучшие, почему этого до сих пор не произошло. И так создалась легенда, что мне было отказано в посещении Белого дома, — легенда, неожиданно больно ударившая потом по Форду. (Его обвиняли, что он «оскорбил Солженицына», хотя я ни в чём тут оскорбления не вижу.)

Вашингтона нам увидеть почти и не пришлось — одна прогулка с Ростроповичами близ монумента Линкольна, один концерт его в Кеннеди-центре, часовая пробежка по библиотеке Конгресса, да Аля улучила сбегать в маленький, но изысканный музей импрессионистов. Ещё соблазнились посмотреть Макарову в американском балете, попали на два поспешно и нелепо склеенных отделения — растерянную классику с Макаровой и натуралистически испуглённую эротику американской труппы. Мы даже прошли к Макаровой за сцену, из чувства соотечественного, но возникла только обоюдная неловкость: ни к чему, ничто нас не объединяло.

Ещё — в день американской независимости съездили мы в город Вильямсбург, штат Вирджиния, — декоративно воспроизведённую трёхсотлетнюю их старину и ремёсла. Там был и парад, в костюмах XVIII века, со старыми колесницами и пушечками.

* И ещё сегодня Конгресс Русских Американцев пытается хоть через какого-нибудь одиночного конгрессмена протолкнуть пересмотр закона, и меня просят помочь, и всё не удаётся. (Примеч. 1986.)

** «Вашингтон пост», Р. Эванс, Р. Новак, 2. 9. 1976.

Едва нас доставили в Нью-Йорк, в отель «Американа», на какой-то немыслимый этаж, где воздух был только от нагнётной машины, а вид из неоткрываемых окон совершенно дьявольский — ущелья улиц с тараканами автомобилей внизу (добрая треть их — жёлтые, оказывается, это их такси), вокруг — нечеловеческие небоскрёбы (с 20-метровыми рекламами курения), а на крышах, тех что пониже, непрерывное извержение пара (отработка системы охлаждения), — как разразилась над этим городом могучая гроза, словно в «Мастере и Маргарите», и дважды, подряд. Даже неуголивая Аля перепугалась, а я сказал: «Хорошо! По народному поверью — это добрый знак. Всё-таки и над такой нелюдской затеей — Божья милость!» А страшнее города — не знаю.

В клетке номера, и опять под охраной полиции, я и остался запертый до того часа, когда меня спустят в лифте сразу пред новую публику, на новый банкет — держать следующую речь. Без воздуха и с этим постоянным сатанинским видом из окна, положение — вполне арестантское, не позавидуешь политическим деятелям.

И нью-йоркскую речь* я произнес, 9 июля, с той же страстью и уверенностью, ошутимо доставая копьём до пасти и боков моего природного Дракона, чувствуя, как местами пробивается и вонзается. Добавляя, что ещё коммунистам не досказано. (Профсоюзы издали те речи тиражом 11 миллионов экземпляров, а КГБ именно с того времени и начало стряпать против меня зловонную псевдобιοграфию — чеха Ржезача, с помощью ростовских и иных гебистов.)

На другой день я проводил Алю снова на швейцарский самолёт, в Цюрих, — а сам ещё всё не мог кончить выступать, накидывали на меня новые петли. В воскресенье выступил в самой смотримой политической телевизионной передаче «Встреча с прессой» (но и в эти полчаса умудрились нас, оказывается, прервать рекламой бюстгальтеров). Я ожидал с корреспондентами большого боя и оспорения, но прошло мало интересно**. Все четверо в ряд важно сидели и пузырились в глубокомыслии, когда подходило им задать вопрос. Всё же пытались — сбить меня со сказанного в речах. Ощущение было, что видят во мне — врага. Только старый знакомый Хедрик Смит, смекая мой подсоветский и европейский общественный вес, не пошёл в атаку, а напомнил зрителям, как он встречался со мной в Москве и в Цюрихе. И на другой же день поволокли меня ещё на одно телевизионное интервью — в пользу «Из-под глыб». (Моим именем удалось распространить наш сборник по Соединённым Штатам сверхожиданным тиражом.) А интервьюерка — американская, оказывается, знаменитость Барбара Уолтерс — ещё опоздала на 20 минут. Ни за что бы не ждал, ушёл бы, — так «Из-под глыб» жалко. А она пришла — и закидала меня вопросами об американской политике и Киссинджере. Я тяну на «Из-под глыб», она тянет на политику, и так наговорили полчаса. А передача 15-минутная. Смотрю на другой день — передали одну политику. Схватился и написал этой Барбаре пригрожающее письмо: мне надо сделать важное заключение об американской теле-медиа, и я сделаю его на основе того, будут ли переданы вторые 15 минут, о сборнике. Через неделю смотрю — передаёт.

За минувшие две недели центральная американская пресса успела достаточно заляпать мои выступления. Хотя и встречалось в отзывах, что «Западу всегда полезны напоминания об угрозе коммунизма и его коварстве», и были отзывы трезвые, но в главных лилось: «Солженицын призывает нас к крестовому походу для освобождения его соотечественников (а я — ни словом ни духом не призывал!) ...В атомной войне погибнет и Россия, освобождения которой так горячо добивается Солженицын». Тонуло возражение «Вашингтон стар», что я совсем не зову Запад к крестовому походу, а лишь *прошу перестать помогать угнетателям*, — свободная американская пресса исключительно тугоуха к тому, что ей невыгодно слышать, она предпочитает наслушивать

* «Публицистика», т. 1, стр. 256 — 279.

** «Публицистика», т. 2, стр. 284 — 291.

то, что ей надо. «Обладает тонким пониманием жизни в СССР, но мало понимает Запад и его строй»; однако, к счастью, «мессианские утопические идеи Солженицына не разделяются другими выдающимися инакомыслящими из СССР, которые... верят в эволюцию марксизма в сторону парламентской демократии». А «Голос Америки», в равнении на Киссинджера, составляя обзоры печати для советских слушателей, давал перевес враждебным откликам, выкапывая даже какую-нибудь «Кливленд пресс», утоплял для русских ушей смысл и значение моих выступлений.

Успел я в Нью-Йорке ещё съездить в Колумбийский университет, два денька поработать в русском «бахметьевском» архиве, прочесть там несколько замечательных эмигрантских воспоминаний, жалею, что не дольше. Встречался с руководителями их «Русского центра» (оказались совсем чужие люди). Посетил (в Манхэттене, на границе Гарлема) овдовевшего Романа Гуля, нынешнего редактора «Нового журнала», да ведь участник Ледяного похода! Боже, как горько кончать жизнь в эмиграции и одинокому, в нью-йоркском каменном ущельи!

А между тем уже было у меня телеграфное приглашение от 25 сенаторов — ехать встретиться с ними в гостевой зале Конгресса. (Кто-то из политиков затревожился, что упустили меня.) Нет, эта страна замораживает! И вот я снова ехал в Вашингтон, на этот раз своим любимым способом, поездным. И в вагоне дорабатывал речь для сенаторов, в этот раз короткую, — и решили мы с Коултером, что я её напишу, буду читать с готового, и он тоже переведёт с письменного.

15-го июля нас ждали в Конгрессе. Полиция остановила движение на перекрёстке, и два сенатора, претендующие на меня особо, — республиканец Хелмс (это он выдвигал меня в почётные граждане США) и демократ Джексон (как ярый противник СССР), — ухватили меня на выходе из машины. Джексон выражал радость как будто величайшую в своей жизни, а глаза — пустые, мне даже страшно стало: вот политика! Вели меня через какой-то коридор, где аплодировали с хоров, затем в ротонде перед смешанной публикой — с тридцатью сенаторов, с тридцатью конгрессменами, и просто кто пробрался, — мы с Коултером читали речь малыми кусками, попеременно, и читалось настолько сразу, как бы лилась сплошная английская речь, а два ведущих сенатора теснились с нами на трибуне, оспаривая близость.

Сейчас, в 1978, перечитываю эту речь* — ну право хорошо, взвешенно, и легко далось мне тогда. (Сейчас, мне кажется, я *этого* бы произнести американцам не мог. Это всё было о том, как народам друг друга понять при разности опыта и как этот опыт можно передать словесно, — в такую возможность я верил в нобелевской речи и ещё верил в сенатской, но уже полугодом-годом позже отчаялся.) Очень я призывал всех их подняться до мирового сознания, до мирового уровня, до *великих* людей (всё время и сознавая, что не только нынешние деятели не таковы, но американский избирательный процесс своею натушной шумихой и мощным денежным вмешательством закрывает великим и независимым путь наверх). После речи, по американскому обычаю, шла на рукопожатие длинная вереница представляющихся. (Среди них — итальянский сенатор Лонго, что имело последствия. А когда в конце подошли две дочки Ростроповича, Оля и Лена, и я их обнял, пресса сфотографировала и представила как поцелуи сотрудницам Белого дома.)

После речи мы прошли в кабинет Джексона (упруго ощущая и локоть Хелмса) — и тут зазвонил телефон из Белого дома. С американской быстротой реагируя на мою речь, 10 минут назад произнесённую, штаб Президента приглашал меня к нему немедленно, вот сию минуту! Нет уж, *сейчас*, после газетной трескотни, что мне «было отказано», — спасибо за милость, — я отказался. Тогда к телефону взяли Хелмса и давили его по республиканской линии, а

* «Публицистика», т. 1, стр. 280 — 283.

он от телефона упрасивал меня — но я был непреклонен. Вот истинная история, почему не было приёма в Белом доме, — а вся вина так и повисла на бедном Форде.

Вашингтонская жизнь не давала соскучиться, и в ближайшие часы подала мне ещё одно следствие моих речей и поступков: Лэйн Кёркланд (заместитель Мيني), у которого я в этот раз остановился, позвонил домой жене готовиться к ужину: вечером будем принимать вице-президента Нельсона Рокфеллера. Так всё и случилось. Приехал Мيني, позвали Коултера переводить — и прибыл вице-президент. (Тем временем его личная охрана оцепляла дом.) Надо сказать — вопреки моим пожеланиям в сенатской речи, вице-президент поразил своей незначительностью, бесцветностью, уже по наружности, уже по началу, но всё более выявляемой за те три часа, что он скучно просидел, несколько раз возвращаясь к своему полученному заданию: убедить меня встретиться частным образом с Киссинджером! (Хорош вице-президент на побегушках у государственного секретаря!) Что я зацепил московского Дракона — я не сомневался, но, оказывается, здорово же задел я и Киссинджера, если он, запретив Президенту меня принять, сам спешил теперь устроить со мной какую-то мировую, или как-то усмирить и обволочить. Нет, никакая закулисная частная встреча с ним мне была не нужна. Да и вообще я уже усваивал: с людьми неясными — лучше всего не встречаться, чтобы не дать им возможности потом придать встрече ложное истолкование, это — правило общее. Но с главным вьетнамским капитулянтом мне было бы встретиться ещё и невыносимо. Сколько ни уговаривал Рокфеллер, я: нет, нет, нет (Остальной вечер Кёркланд с женою и Мيني критиковали вице-президента, что их правительство предаёт Израиль, — хотя никак не было на то похоже.)

В те дни не слишком прочно, не слишком глубоко, а какой-то поворот или остановку падения в американском сознании мне, кажется, всё же удалось совершить. В те дни оно прокачнулось через свой вьетнамский надр и стало всё же взбадриваться.

В Вашингтоне получил я письмо от Али, уже из Цюриха, а в нём — и первое в жизни «письмо» Еρμοши, коряво-печатными буквами. Такое вспыхнуло чувство у меня, будто сын заново родился. С этих его строк стал я его ощущать уже личностью.

Не давая больше ни во что меня зацеплять, почитая объём произведенных выступлений законченным, дальше только инфляция, я уже на другой день исчез из Вашингтона. Ещё несколько частных визитов (устроили мне в доме Добужинских встречу с однополчанином моего отца в Первую войну). Но не так просто вырваться из вашингтонской карусели: вдруг, на толстовской ферме под Нью-Йорком, узнаю из газет, что Белый дом заявил прессе: *если только* я захочу — я буду охотно принят Президентом. Догадались, наконец, перевалить на меня! Правила игры требовали немедленного хода. А тут как раз нависала Хельсинкская конференция. И я это связал: Президент Форд уже объяснял, что «символическая» встреча никому не нужна. Совершенно с ним согласен. Вот если б я мог отклонить его от признания в Хельсинки вековечного рабства Восточной Европы, я и сам бы добивался встречи с ним. Но уже впустию: он едет подписать. С толстовской же фермы позвонили в «Нью-Йорк таймс» и передали моё заявление*. (Сейчас нахожу: очень резко. А из Белого дома и в августе писали в письмах-ответах избирателям, что Президент ещё надеется организовать со мной встречу. Кисло ему отдалось...)

Сидел я за обедом у Александры Львовны, и мы удивлялись замысловатости русских путей в этом веке. Вот — я здесь. И ведь это я *ей* ещё из ссылок собирался посылать-доверить свой анонимный пакет первых микрофильмов. И о ней уже написал в «Архипелаге». Теперь надписываю ей «Август» — как возвращаю Толстому то, что без него бы не родилось. И — дочь генерала Сам-

* «Публицистика», т. 2, стр. 292.

сонова — да! — сидела с нами за столом! и уверяла, что я вылепил её отца совершенно как он был. Высокая для меня похвала.

Дела мои на этом континенте исчерпывались. Ещё — впервые! — встреча с Вильямом Одомом, «невидимкой», близ Вест-Пойнта, и мог я теперь крепко пожать руку человеку, вывезшему половину моего архива, половину моей жизни. Ещё летняя русская школа в вермонтском Норвиче.

А что же — мой новый дом, где же он? Ведь я, кажется, уже переехал в Америку, и теперь бы мне нырнуть к себе? увы, вермонтские «риэлторы» ещё ничего путного Алёше не предложили, ни дома подходящего, ни даже голого участка. А у него пока прекращалась возможность со мною ездить. И так работать мне было — негде, пропадало время. Переезд не состоялся, планы сорвались, и надо было (со всеми чемоданами) возвращаться в Европу: ясно стало, что в Цюрихе нам ещё год годовать.

В Монреале Алёша посадил меня на самолёт. Минула укороченная ночь — разодрал я тяжёлые глаза 1 августа, а газеты, предлагаемые пассажирам, сообщали о торжестве Хельсинкской конференции. (Спасибо, Люксингер в «Нойе Цюрхер цайтунг» предвидел, что на историческом разлёте — прав окажется не Киссинджер, а я.) Ещё эти Хельсинки утяжелили мой и без того тяжёлый, нерезильный, неохотный возврат в Европу. Сошёл я на землю не своими ногами, ах, потерянная какая-то, резкое ощущение *не того* места жизни. Тесно! Я — вернулся в Европу, но и как бы не вернулся. Что-то места себе не находил.

Да ведь — сколько времени потеряно! *Три месяца* я не прикасался к своей работе!

И Али дома нет. Она, воротясь из американских поездок, решила ехать со всеми четырьмя сыновьями, со всем малым выводком — в православный детский лагерь РСХД под Греноблем, во Франции. Такие летние лагеря, или скаутские, или «юных витязей», русские эмигранты, по всему их рассеянию, заботливо устраивают в усилиях дать своим детям родную детскую среду при наглядье добрых воспитателей, окуная их в русскую душевность, укрепляя у детей и русский язык, и веру. Вот это же и наша гвоздящая задача: как вырастить детей за границей — и русскими? Для троих младших уже больше года все, кроме домашних, — иностранцы, говорят — не поймёшь. А в лагере — ошеломление: все вокруг — по-русски! (Уж там — худо-бедно, но по-русски...) Трудно досталось Але с маленькими, в лагере все дети старше, но поездка была успешной и вспоминалась долго.

А тут, за три месяца отлучки, набралось почты, почты — и в ней: приглашение от князя Лихтенштейнского посетить его замок, над столицей Вадуц. Этот самый князь Лихтенштейнский, Франц-Иосиф II, теперь уже старик, в 1945 не побоялся принять у себя отступающий из Германии русский отряд в шестьсот человек, с семейным обозом, — и когда все великие державы трусливо сдавали Сталину солдат и беженцев, Князь крохотного пятачка не сдал никого! (Лишь человек сто потом потянулись в советский плен добровольно.)

И мы с В. С. Банкулом уже раз подъезжали к тому замку, ещё непрощёные, весной, по пути в Италию, — выразить князю признательность от русских. Было утро. В замке на горе жизнь ещё, по-видимости, не начиналась, да снаружи что увидишь в каменном туловище с узкими окнами. У ворот замка я написал записку по-немецки: «Ваше Высочество! С удивлением и сочувствием смотрю я на это маленькое государство, нашедшее своё скромное и устойчивое место в нашем суматошном беспорядочном мире. Мы, русские, не забываем, конечно, что оно имело мужество приютить у себя солдат русской армии в 1945, когда весь Запад близоруко и малодушно предавал их на гибель». Мы постучали у ворот, привратник пропустил нас — через ров, через мост, по мощённому въезду меж каменных стен — в одноэтажное каменное здание. Секретарь оказался высокий седовласый старик в чём-то бархатном, ну буквально из Андерсена. Тут подоспел и премьер-министр, тоже стилизованный, и принял от меня записку. — Потом, месяца не прошло, — на торжестве в Аппенцелле были и князь с княгиней, мы познакомились. И, вот, вослед они посла-

ли приглашение — а я уже уехал навсегда в Америку. Но теперь, воротясь, и в неустоявшемся настроении, ещё ни к какой работе не прилажась, — вот и съездить. Поехали опять, с Банкулом.

Сегодня в Европе достаётся видеть зámки, но уже не жилые, а здесь жила обильная семья в трёх поколениях, семейные покои, дети с игрушками — и окна-бойницы, узкие лестницы в камне, в подвале — музей рыцарского оружия, обед сервирован в рыцарском зале, слуги в камзолах, высокий старик князь держится благородно по-монаршьи, а дочь князя, вот тебе нá, — служит в Вашингтоне у какого-то американского сенатора. За столом был и бывший премьер, 1945 года, который вёл тогда переговоры с генералом Хольмстоном-Смысловским и принял его отряд. И сам генерал сейчас, оказывается, тут же, в Вадуце. И после поездки с княгиней на высшую вершину княжества, где у них модерный дом и приглашают меня работать зимой, — едем мы к Смысловскому, а это оказывается Борис Алексеевич, сын моего персонажа из «Августа» и давно мне известный по семейной истории, ибо я в Москве знаком со всей семьёю. И сразу так тепло и всё взаимно понятно.

Благодатные стеснённые камни Европы! — не обезличенные американские придорожные городки. Сколько тут струится! Вот и поселиться бы мне в Лихтенштейне, в горах? Ах, как верно найти свою точку, свою прикрепу?..

Ищу покоя и возврата к работе, так надоело мотаться в политической мельнице. А — где работать? Штерненберг в этот летний месяц был занят. А в нашем доме на мансарде, накалённой в зной, и совсем невозможно, и город вокруг гремит, и в крохотный дворик всё заглядывают прохожие, — где тут работать. От этого — ещё тоскливей.

Да, так писем же, писем сколько меня ждало, писем на всех языках, уже отсеянных, отвеянных Алей и помощью Марии Александровны Банкул (как и муж её, она в совершенстве владела главными европейскими языками, а в Цюрихском университете преподавала русскую литературу).

И — как уходить в исторический роман, когда вот томится, ждёт тебя месяц (а написано три месяца назад, но доставлялось не почтой, а какой-то оказией) объёмное содержательное письмо, а первые слова его: «Я обращаюсь к вам как к соотечественнику, писателю, борцу, человеку и христианину! Мой долг — рассказать и доказать правду, свидетели которой вынуждены пока молчать». Как не оледенишься? как не схватишься? (И разве один такой воззыв? и как за всеми поспеть?)

Это был душераздирающий случай с Любой Маркиш — жертвой и инвалидом приоткрывшейся страшной советской практики: испытания новых отвращающих веществ на неподозревающих людях, например, на студентах-химиках, лаборантах. С ней случилось это 7 лет назад, в Московском университете, с тех пор она эмигрировала, жила в Штатах, но вот и она опоздала мне всё это рассказать, пока я был в Нью-Йорке, мог бы об этом злодеянии сказать публично. (От нашего Фонда мы установили ей стипендию для написания рукописи. Она начала её писать, но почти сразу вездесущие советские агенты стали терроризировать и её, и заступника её Давида Азбеля, учёного-химика, бывшего советского. Пыталась Аля устроить, через Максимова, чтобы Любу включили в сахаровские Слушания в Дании, — поразительно! — не захотели выслушать её сами устроители, сахаровского круга! Тогда Аля добилась, с большими хлопотами, чтобы Любу выслушали в сенатском подкомитете. Но и протоколы этих показаний «в интересах Америки» не были оглашены.) И откуда же набраться энергии, чтобы не устать гласить правду? и сколько сходных случаев, тоже нетерпимых, где набрать времени и усилий?

Только вернулась Аля с детьми — к нам, 25 августа, приехали два высоких полицейских чина в штатском. Один — стройный, седоватый, сухой, красивый, уже и прежде мелькал близ нас на аэродромных снимках, когда я встречал семью из Москвы. Оказывается, был он и в мой первый приезд из Германии, на цюрихском вокзале. Теперь предупредил меня — и как пропитана

провокаторами чешская эмиграция в Цюрихе, и что, по данным и других европейских полиций, я числюсь в *стиске* у интернациональных левых террористов. Спасибо. Да иначе и быть не могло, я знал: что ж Советам — дремать и всё моё сносить?

А сам я, в гремящем городе, пропадаю без устояния работы. Ангел наш хранитель Элизабет Видмер пришла на помощь, разыскала мне приютом — хутор Хольцнахт на базельском нагорьи: большая трёхэтажная дача, дюжина комнат, принадлежащая многочисленной семье, но на эти три месяца все обещали не приезжать, и действительно, три месяца никто меня не потревожил. Тут пейзаж был, в противоположность Штерненбергу, — совершенно замкнутый лесками и холмами травяной склон, как бы большой двор. Чтоб увидеть далеко, надо было подняться на один из холмов, и тогда открывался большой горный обзор, даже на стык швейцарской, французской и немецкой границ. Но из окон, с крыльца и продолговатой веранды во все стороны виделась эта успокоительная близкая замкнутость. Тут уже не было ни проезжих машин, ни прохожих туристов, до домика бауэра метров четыреста, — действительно попал я в одиночество, да горно-осеннее, очень плодотворное. Старинные резные оконца, старинная мебель, из близкого леса таскал себе дровишки, по вечерам накалял кафельную печку, базельское радио (частотная модуляция) полно классической музыки, то вышагивал, вышагивал по 15-шаговой веранде, а спать подымался в нетопленную спальню с открытыми окнами. И постепенно совершилось отключение, успокоение, поворот на свою тему.

Поворот — но не так легко снова войти уверенно в работу. Стал перечитывать свой, уже немалый, «Дневник романа о Семнадцатом». Сколько же теперь находил и оброненных намерений, невыполненного. Исторический роман, да такого охвата событий, — тут нет готовой науки. Теперь — и уже напечатанный «Август Четырнадцатого» стал казаться мне сильно неполным. Главное, чего там нет: как прорезался по России 1905 год, но и как после него Россия стала, до 1914, бурно расцветать, Столыпин. И революционеров я почти обошёл в военном этом Узле, — а нужны они! Сказывался, болел и шов между «Октябрём Шестнадцатого» и пропущенным «Августом Пятнадцатого». И «Октябрь» сам — ох, не кончен, нет, ещё переписывать многое. А семь лет работы — прошло. Так что ж, вообще мне не справиться? Невыполнимая задача? Но ведь только ею я и живу. А я-то думал: сразу начинать третий Узел — «Март Семнадцатого», ещё более неведомая стихия, по темпу революции и всю методику написания надо менять, всю динамику.

Думал, думал над этим, топтался, — решил пока взяться за личные сюжеты — да протянуть эти линии до Шестого—Седьмого—Восьмого Узлов? Так и сделал. Постепенно стал из кризиса выходить — и даже награждён был «лавинными днями», как я их называю (в прошлом, в Жуковке, их много было), они больше всего и вытягивают работу: по неизвестной причине в какой-то день, прямо с утра, вдруг начинают прикатывать мысли, мысли, догадки, да какие обещательные, да как повелительно! — только успевай, пока не ускользнула, записывать, записывать, одну, другую, третью, и так возбуждаешься, за столом не усидеть, начинаешь ходить, ходить, а мысли, картины, сцены всё прикатывают и прикатывают — ох, успеть бы хоть бегло, не дописывая слов, занести на бумагу.

Но именно в те три месяца, что я прожил в Хольцнахте, внешний мир часто дёргал меня и разжигал. Каждый раз, как я шёл к бауэру позвонить Але в Цюрих, — почти всегда узнавалось какое-нибудь беспокойство, требующее решений, мер, шагов.

То — волна газетных клевет. Клеветы какие-то новые, «дружественные». Итальянский сенатор Лонго (с которым рукопожались в сенатском зале перед фотоаппаратом) напечатал большой рассказ о якобы состоявшейся потом со мной 40-минутной беседе с глазу на глаз, где я излагал ему свои взгляды на положение мировое и в Италии. То западногерманская газета «Националь цайтунг» напечатала на целую страницу большое «интервью» со мной, не на-

звав только: даты интервью, места его и фамилии интервьюера. А шли развёрнутые вопросы и ответы, и было это — довольно честное переложение сути моих американских речей. Но почему же, мерзавцы, в форме придуманного интервью? повысить цену своей газете? И такое же «дружественно измышленное» интервью в итальянском журнале «Культура ди Дестра». Разбой! С живым обращаются как с мёртвым! Вот это — свобода прессы! Да этих правых опасайся не меньше, чем левых, кожу дерут. Выхода нет, печатать опровержение. [17]*.

А тем временем не дремлют и левые. Благородный «Монд», очевидно, слишком тяготясь, как они этого Солженицына уже продвигали, печатает сенсационное сообщение, что я — еду в Чили, на двухлетие празднования режима Пиночета. Интересно, на что рассчитывают? Ведь как будто интеллигентский орган, должны бы понимать: если это ложь — легко опровергнуть, будет стыдно? Нисколько. Главное: подкинуть не проверяя сообщение, чтобы из всех левых подворотен зубами потрепали «реакционный шаг Солженицына». Ах, он опровергает? — ну, пожалуйста, напечатаем, мелко-незаметно. А может, кто опровержения не прочтёт — так в памяти и останется. (И — осталось, и много лет меня печатно корили этой сочинённой «поездкой к Пиночету».)

Нет, резкие выступления, подобные моим американским, — они небеспоследственны. Они вызывают целые вихри сочувствия или (больше) ненависти, которые ещё долго клубятся и меня же цепляют, и меня же опять затягивают. О, в политику только встрянь.

То — австрийский союз писателей после моих выступлений желает слышать меня у себя и спорить со мной на симпозиуме (и австрийский канцлер Бруно Крайский тоже сам желает спорить), защищать идеалы социализма. Аля отвечает, что я не могу приехать, что я полностью ушёл в работу, и при этом как-то обмолвливается, что и связь со мной затруднена (имея в виду, что позвонить мне в Хольцнахт нельзя, телефона нет), — в австрийских газетах радостные заголовки: «Солженицын — в тяжёлой депрессии, никого не в состоянии видеть, даже жену», американское же агентство подхватило на весь мир. И Але со всех концов Европы звонят тревожно: «В депрессии?.. Ужас какой!» А на Лубянке-то, небось, как рады! Отзываюсь репликой, Аля шлёт её в дружественную нам «Нойе Цурхер цайтунг». Та от себя добавляет, иронизирует: «Какие странности: писатель — не принимает посетителей, не читает писем и — вершина странностей! — не хочет поехать на конгресс Пен-клуба в Вену! Писатель сконцентрировался на своей писательской работе и для своей работы нуждается в тишине — это могли бы понять даже в кругах Пен-клуба».

Тут — ищут контакта, хотя со мною тайной встречи какие-то официальные китайцы, находящиеся в Швейцарии. Ключули, ясно! — я для них находка, молот против советской верхушки. Но — нет, я вам не слуга, в ваших марксистских спорах разбирайтесь сами. Через посредника ответил, что на встречу не пойду.

А тем временем «Телёнок» скоро выходит на немецком. И, дождавшись достаточно близкого срока, пресловутый «Штерн» делает выпад. Французское издание они уже упустили остановить, сколько-то месяцев прошло невозвратно, да, может, там и не стремились, — но в своей Германии «Штерн» не хочет быть опозоренным! Он ведёт линию, которую легко использует КГБ, — однако при этом хочет числиться германским патриотом. И он уже кусался с «Квик» из-за подобных обвинений, и очень успешно, его судов бояться в Западной Германии. И за мои слова он уже наускакивал на «Ди Цайт». (Кстати: вообще в западных странах очень характерна напористая наглость, с какой обвинённые в связях с ГБ используют западную юридическую систему: она легко позволяет ходить ни в чём не виновным, а письменных доказательств обычно и не бывает, а ещё когда в тылу прочная поддержка: сколько угодно

* Цифра обозначает номер приложения, помещенного в конце главы. Предыдущие 16 приложений к Главе 1 настоящей книги напечатаны в № 9 «Нового мира» за этот год. (Ред.)

денег, не боятся никаких забот и беспокойств.) И вот, когда в издательстве «Люхтерханд» набор «Телёнка» уже готов и начинает печататься тираж, — 2 сентября адвокаты «Штерна» подают в гамбургский суд требование остановить «Телёнка» из-за клеветы. Одновременно ими пишется бумага — издательству «Люхтерханд», издательству «Сёй» в Париж и мне в Цюрих (а я уже в Хольцнахте для *спокойной* там работы): что они дают всем нам срок до 12 часов дня 5 сентября, это самое позднее, когда ждётся ответ. Во избежание штрафа, который будет наложен на нас земельным гамбургским судом, — откажитесь от утверждений: что статья «Штерна» (1971 года, о моей тёте и о семье Щербаков, тогда вызвавшая плотную советскую атаку на моё «соцпроисхождение»* напечатана стараньями КГБ; что главный редактор «Штерна» лжёт, когда утверждает, что его корреспондент посетил тётю Солженицына в Георгиевске (недоступном для иностранцев).

Письмо это (простою почтой, не экспрессом) достигает «Люхтерханда» только 4-го, «Сёя» и Цюриха — позже, меня не застаёт, но ультиматум поставлен железно: не только сдавайтесь, но — не имейте даже времени подумать и снести. Сила и напор! 3 сентября победительный редактор «Штерна» Наннен, опережая письмо, звонит в «Люхтерханд» — и объявляет всё то же. Ещё и ранний сентябрь, время каникулярное, в «Люхтерханде» на месте — не главный редактор, а очень слабонервный сотрудник, он сразу ото всего отказывается: «Люхтерханд» ни на чём не настаивает, но он ничего и менять не может, у него только лицензия от «Сёя», да он молниеносно сейчас будет сноситься с «Сёем». Наннен железно напоминает: он уже побеждал в суде против обвинений в связи с КГБ. На другой день, 4-го, в «Люхтерханд» приходит и сама бумага. Срока остаётся меньше суток. Адвокат «Люхтерханда», впрочем, знает ту гамбургскую адвокатскую контору, имел с ними дело, уверен, что ему сейчас отсрочат. Он шлёт туда экспресс и звонит — как бы не так! Именно тот главный адвокат (Зенфт), подписавший грозную бумагу, тотчас ушёл в отпуск, а без него никто ничего отсрочить не может! И 5-го после полудня гамбургский суд ввиду срочности вопроса постановляет: ответчикам воспретить — утверждать буквально или по смыслу, распространять, или создавать впечатление, или дать ему создаться, и особенно книгою «Бодался телёнок с дубом», что... (статья о моей тёте появилась стараньями КГБ; тётю посещал не корреспондент «Штерна»). А пока — ответчикам немедленно внести залог в 100 тысяч марок для оплаты процесса.

И «Люхтерханд» умоляет «Сёя», адвокат «Люхтерханда» — Хеэба: убедить меня вычеркнуть полностью все оспариваемые места. Но никакое смягчение уже не поможет, даже и смягчённый вариант будет «создавать впечатление или давать ему создаться», что «Штерн» всё-таки связан с КГБ, — а это тоже запрещено, и книгу всё равно не дадут распространять. По немецкому праву всю тяжесть доказательства несёт оскорбитель — а Солженицын не сможет документально доказать, что «Штерн» связан с КГБ.

И правда ведь, не смогу. А у «Штерна» — лучшие возможности остаться необвинённым. И доносится эта вся будоражка в мой уютный Хольцнахт, где я только начал настраиваться к «Красному Колесу».

Может быть, тут первый раз, а потом и ещё замечал: при юридических столкновениях — физическое ощущение усилия в верхней части груди, как бывает мускульное при схватке руками, — а тут чем? Это схватка душами. Не свойственная для душ, низкая для них — и потому унижающая схватка. (И потом ещё — долгое последствие, опустошённость в груди.) Юридическая борьба — профанация души, изъязвление её. Вступив в юридическую эру и постепенно заменив совесть законом, мир снизился в духовном уровне.

О, юридический мир! О, свободное крючкотворство! Вот на этом и вонзается беспрепятственно СССР: ни агентов КГБ, ни взяток КГБ никто никогда

* «Бодался телёнок с дубом», стр. 294 — 296, 644 — 648.

не сможет уличить документально. Суд, утонувший в юридиксе, захлебнувшийся буквенным законом, а нить духа теряющий, так часто даёт преимущество негодьям и обманщикам. Ещё же и процесс может тянуться месяцы и годы, это не им в ущерб. Итак, на Западе нельзя говорить об этих шакалах в тех неоглядных выражениях, как я говаривал о нависшей надо мной коммунистической власти.

До Хольцнахта, к счастью, все эти подробности и многостраничные немецкие адвокатские письма не докатываются (лишь вот сейчас, через три года, впервые в них разбираюсь), Аля заслоняет мою работу, сколько может, — но между Парижем, Цюрихом и Хольцнахтом напряжённо и тревожно трещат телефонные линии. Идиотское положение — а приходится отступать?.. Как глупо, как бездарно — отступать в выраженьях о КГБ, будучи на свободном Западе, когда на Востоке я так твёрдо стоял. Я отвоевал себе там гораздо большую «свободу слова»!.. А теперь хоть лопни, хоть разорвись от негодования — а надо подписывать полномочие адвокату «Сёя» на тяжбу. И бросать свою работу, и листать, листать колючего «Телёнка» (вот что значит слишком рано печатать мемуары!): где эти места треклятые? и как их для немецкого издания спешно изменить, чтобы ничего не изменить? Задержать полностью всю книгу — ещё же глупей.

К счастью, Клод Дюран из «Сёя», ведущий все мои литературные дела, очень хладнокровен и даже дерзок, есть в нём дуэлянтство бывалых французов. Он берётся, всё же, обойтись минимальными изменениями. Он предлагает такой фокус: в самом опасном месте пропустить только название «Штерн», поставить звёздочку сноски, а в сноске: что выражения, относящиеся к некоторому определённом западногерманскому журналу, подверглись сейчас судебному преследованию, и чтобы не задерживать книгу, автор пока пропускает их.

Так мы и сделали (эти места — в главе «Нобелиана», в интервью с американцами), наспех, и, если разобраться, даже не в пользу «Штерна», а против него: сам он загнан в звёздочку, но многие помнят, какой журнал печатал разоблачения о моей георгиевской тёте. Зато мы усилили фразу: «гебисты-почитатели успешно навестили тётю (в Георгиевске, наглухо закрытом для иностранцев!)» — и что ж это значит? посетили — гебисты (а «Штерн» настаивает, что именно *его* корреспондент там был), только добавился намёк, что они выдавали себя за иностранцев, каковыми быть не могли. И рядом — как ГБ выловило «Прусские ночи» из Самиздата — и «*тотчас же* излюбленный „Штерн“ предложил рукопись в „Цайт“», — это место они не догадались оспорить. И в интервью с американцами осталось: что «Штерн» обладает в СССР особыми преимуществами — и сразу же пропуск — легко догадаться, *чьё* название снято. И тут же печатаем, что в Союзе писателей [Верченко] называли «Штерн» «источником, которому есть все основания верить», — и опять зловещий пропуск. Так получилось ещё выразительней, чем если б мы ничего не исключали. Дюран одурачил «Штерн»! И кличка, что «Штерн» — *бульварный*, тоже осталась неоспоренной и присохла.

Редко так легко проходит, Бог помог. О подробностях, как миновало, я потом так и не доспрашивался. Очевидно, твёрдо вёл себя Дюран, а «Штерн» был не очень в себе уверен почему-то. Во всяком случае, для меня самое невыносимое было бы — бросить Хольцнахт и ехать в эту свару. Обошлось, как-то глухо и безболезненно.

А разобраться: как же легко заставить нас отступить!

А там, в СССР, само собою не дремлют и продолжают — какие головы откусывать, над какими зубами клацать. Редактор «Вече» В. Осипов уж как старался быть лояльным по отношению к советскому правительству, с большой буквы его писал, всё силится увидеть в нём опору русских национальных надежд, даже главную силу полемики направил против меня как изменника этим надеждам, — но именно ему, а не левым диссидентам и не еврейскому оппозиционному течению, тоже со своим самиздатским журналом, достаётся сейчас крепкий удар — 8 лет второго срока и особый режим как «рецидивисту». В

момент суда над ним нельзя и мне не отозваться, публикую заявление*. (Из Хольцнахта от бауэра — Але в Цюрих, по телефону.)

А там — Игоря Шафаревича, за сахаровский комитет по правам, за «Изпод глыб», отрешают от лекций в Университете, — это учёного со всемирной известностью! Даю публикацию** и рассылаю письма крупным математикам.

А тем временем в Осло побеждает кандидатура Сахарова, я же когда-то и выдвигал его, я же недавно отстаивал его от Ж. Медведева, — тем более корреспонденты отовсюду дозваниваются в Цюрих: «а что вы думаете по этому поводу именно в данный момент?» Всё прежде по этому же поводу сказанное их уже не интересует, это — западная пресса, и что через 12 часов будет — тоже им не подходит, а вот — именно в данный момент. Аля публикует мой ответ***.

Я рад был за Сахарова, и рад, что он усилится в СССР, узначится его защита преследуемых. Но так же знал, что самые взывающие преследования он по-прежнему будет усматривать в затруднениях эмиграции. И не переставал жалеть, что, платя и платя жизнью для утоления своей чуткой совести, этот великий сын нашего народа никогда не примет к сердцу задачу национально-го возрождения его.

В этом году Сахаров опубликовал брошюру «О стране и мире». Заминался он в общем всё на тех же мыслях, не далеко уходил от своего «Размышления», семь лет назад, только изложение слабей — с неоправданной сменой высот, общностей и частных. Но то был крупный удобный случай ему — высказаться по нашей с ним дискуссии, однако он уклонился: «сегодня я не вижу поводов для продолжения дискуссии» — (думаю, и не легко бы ему найти аргументы) — «позже Солженицын разъяснил и уточнил свою позицию», — так написал, будто я в чём-то отступил, — а отступал-то, значит, он? Открыл дискуссию, с эхом на весь мир, — и устранился продолжать её. Ну, Бог судья. Но и несколькими строчками ниже всё же оспаривал: «нельзя призывать наших людей, нашу молодёжь к жертвам». То есть — к «жить не по лжи», даже к этому. А — кого ж и к чему призывать, если вот вождей к образумлению тоже нельзя? Если внутри страны никого ни к чему не призывать — то только всё и ждать помощи Запада?

И в том же сентябре никто иной как сын Столыпина попросил моей звуочной поддержки какой-то малой группе решительных эмигрантов, которые под именем «Конференции народов, порабощённых коммунизмом» собирались в Страсбурге одновременно и параллельно Европейскому парламенту, чтобы успешнее обратить на себя внимание. И этой группе — тоже как будто отказать нельзя, ведь то и была моя идея: народам Восточной Европы всем помириться и обернуться против коммунизма. И я пишу такое обращение, позвучнее****.

Вот так проходят мои тихие уединённые дни в Хольцнахте, то и дело бежать за 400 метров к телефону — или узнавать, или передавать. Все сообщения — одни раздражающие, кроме единственного: Алёша Виноградов без меня купил большой участок с домом в Вермонте, и не так дорого, — и, значит, наш переезд решён. Купил на себя как на доверенного: неподъёмно было мне через океан лететь-смотреть, как Алёша звал, не в силах я опять отрываться от работы. — Тогда пусть Аля приедет смотреть-решать. — Но Аля вообще ось нашей жизни, её вынуть нельзя ни на час. Так и покупается главное место, на годы вперёд, — заочно! К счастью, Алёша не промахнулся.

В каждый приезд ко мне в Хольцнахт — Аля много рассказывает о сыновьях. После летнего лагеря они быстро выросли к слушанью не-младенческих книг. Пушкинские сказки слушают — не дышат. А вот пошли дождливые дни — застала Ермошу с Игнатом на разложенном диване, восседают среди груды натащенных коробок, игрушек, махмушек. «Это что такое?!» — «Мы

* «Публицистика», т. 2, стр. 306.

** Там же, стр. 310.

*** Там же, стр. 309.

**** Там же, стр. 307 — 308.

едем к папе, папу защищать». — «От кого?» — «От врагов. Вот — ему еда, вот машинка, чтоб он печатал, вот — валенки...» Играют в мой отъезд...

Мысль о детях — успокоительна и как-то поддерживает меня. Ночью, когда не сплю, и отталкиваю мысли бередящие, — думаю о сыновьях, — хорошо!

Я пишу обращение в Страсбург, но уже и раздваиваюсь, и голос мой расщепляется: чья надменность мне особенно горька — Востока или Запада? кто — безнадежней к услышанию упрёка? кого мне особенно хочется прогнать? — эту ли «гангрену, заливающую человечество», но злость на коммунистов хорошо выпалил и за минувшее лето — а кто скажет всё горькое миру юристско-коммерционному? Ни его сыны того не говорят, ни, тем более, приезжие.

В эту осень как-то ещё так особенно горько складывались все радио-известия — а я слушал их каждый день, и «Голос Америки» и Би-би-си, — распяляли меня вмешаться, сказать! Что текло из Америки — скорей свидетельствовало: ничто не сдвинулось, и так же продолжали они сдавать коммунизму мировые позиции и лебезить. После отставки Шлессинджера (оставшегося в моей памяти своим благородным видом и крепким рукопожатием) и нового служебного торжества Киссинджера — я не выдержал и сделал уже совсем политический шаг, которого не следовало, — написал статью в «Нью-Йорк таймс» (1 декабря 1975)*. Это была, от моего темперамента, грубая ошибка, слишком прямой отзыв на американские дела, и тон слишком резкий.

Поспешно казалось мне, что в Америке мои речи несколько не помогли, — и я распаялся к новым, теперь уже в Европе. Особенно мучительно я пережил в эту осень растянувшиеся рыдания общественной Европы над приговором нескольким испанским террористам-убийцам, и как мучительно-трогательно с ними прощались родственники, и лицемерное поведение всех европейских правительств, но особенно, особенно английского, — подхватились грозно защищать права и свободу там, где им менее всего угрозы и где не опасно защищать, — тогда как в сторону СССР они смотрели только от наклонённой спины.

И особенно было жаль — Испанию! С Испанией сроднено было сердце ещё с университетских лет, когда мы рвались попасть на её гражданскую войну — с республиканской стороны, конечно, — и без заучки впитывали все эти Уэски, Теруэли и Гвадалахары роднее собственного русского, по юному безумию забыв пролитое рядом тут, в самом нашем Ростове или Новочеркасске. С годами, уже в тюрьме, пришло другое понимание: что Франко предпринял героическую и великанскую попытку спасти свою страну от государственного распада. С таким пониманием пришло и удивление: что разложение-то вокруг идёт полным ходом, а Франко сумел тактически-твёрдо провести Испанию мимо Мировой войны, не вмешавшись, и вот уже 20, 30, 35 лет продержал её на христианской стороне против всех развальных законов истории! Однако, вот, на 37-м году правления он умирал и вот умер, под развязный свист европейских социалистов, радикалов, либералов.

Испанию быстро растрясало, и все в Европе, кому не лень, травили её. И злее всех — английские лейбористы. И ещё отдельно жалко мне было молодого испанского короля, вот усаженного на возобновлённый неуверенный престол, с неуверенными руками на руле, явно не определившего, сколько ж надо уступать, а сколько держаться.

И выхаживая по долгой веранде Хольцнахта (хорошо выкладывается возбуждение, такую же длинную решил построить себе и в Вермонте), я почувствовал, что так просто уйти в «Красное Колесо» не могу, не удастся. Что как бы ни свистели все «Монды» и левее их — надо поехать в Испанию и открыто поддержать те силы, какие ещё хранили её, — да ведь и рядом с разломанной Португалией. Просто — русский был долг.

* «Публицистика», т. 2, стр. 311 — 314.

А ещё почувствовал — что не могу не поехать в Англию. Уезжая из Европы, уж теперь-то, верно, навсегда (после Америки когда-нибудь — сразу назад в Россию), — я не мог подавить жажду: поехать в Англию и высказать многое — за новое, за старое.

Правда, я уже разочаровался, я перестал верить в возможность живого убеждения и передачи опыта на словах. Ещё нобелевскую лекцию я строил на этом убеждении, и мне казалось, что даже при неназванных собственных именах всё будет воспринято. Теперь я усумнился, что литература может помочь осознать чужой опыт. Видимо, каждой нации (как и каждому человеку) суждено пройти весь путь ошибок и мучений — с начала до конца. Но я уже просто для себя, для разрядки темперамента, не мог отказаться от того, чтобы не выговориться в Англии и в Испании.

На Западе я покинул всякие заботы о тактике, которую так рассчитывал в Союзе, тут пренебрегал, кому что не понравится (не представлял, насколько густо тут скоро сдвинутся противники), — а только бы высказаться вволю!

Лишь в конце ноября вернулся домой. (Игнат больше двух часов неотрывно стоял у окна, чтобы первому оповестить братьев. Я сел за обеденный стол — Игнат пришел, сел рядом и молча смотрел, как я ем.) Зимы в этом году у меня как и не было, уже потерял покой, места нет — и работа серьёзная не пошла. Только очень стало ясно, что умирают уже немногие старики, свидетели революции, и вот последний момент, когда ещё можно воззвать к ним писать воспоминания. И я написал обращение*. А — каков же обратный адрес? Не Цюрих же, уезжаем. Придумали, хотя странно выглядело: просить присылать в эмигрантские газеты, кто на каком континенте, а те нам позже перешлют.

А уже и с радио «Свобода» наслали мне пачки тех заветных передач «Два тридцать ночи», которые я так хитроумно и сложно собирался добывать, через Бетту, в СССР. И вот скрипты тяготеют — доступно на полках моих, — а мне и сесте за них некогда, всё раздёргано, всё куда-то надо гнать.

Конечно, гебистские провокации не отлипали, вот получаем сведение: пушено по пражскому самиздату письмо от какого-то чешского журналиста из Женева якобы своему другу в Стокгольм: будто виделся со мной, и я предупреждал чехов, что Дубчек — честолюбивый карьерист и неспособный политик, надо не доверять ему и изолировать его!

Но где-то есть предел, за которым уже перестаёшь ощущать все эти прилипы, укусы, подлоги. И уже я — набираю метеорной скорости для прощальной спирали по Европе. В тот февраль я задумал поехать выступить ещё и в Италии — такой у меня был разгон. Но — никак не хватило времени, уже коротки были европейские сроки для всех подготовок, разборок, рассвобождений, всё увеличивался неразобранный архив. В Италию — не поехали.

А Франция была по пути, как ни ехать, всё через неё. И Франция шла первой в печатании моих книг. И под Новый год Никита Струве уговорил меня ещё в Цюрихе дать интервью журналу «Пуэн». Дал**.

Желая иметь преимущество наблюдать за страной, а не чтоб она наблюдала за мною через корреспондентов и фотографов, я подготовил поездку в Англию без огласки: через одного лишь Яниса Сапиета, из Би-би-си, уже знакомого мне и по первому дню моей высылки; латышский эмигрант (мать — русская из Новгорода), протестантский пастор, с безупречным русским языком и очень сочувственный также и к русским проблемам (из тех немногих, кто понимает, что коммунизм и русские — разные понятия). Он искал нам с Алей и приют, где жить, и вёл переговоры с известным телекомментатором Майклом Чарлтоном об интервью, и постепенно расширял круг возможных дел и встреч. Что очень хотелось включить — автомобильную поездку по Шотлан-

* «Публицистика», т. 2, стр. 315 — 317.

** Там же, стр. 318 — 329.

дии, какая-то всегда была любовь, уважение к самому этому звучанию — Шотландия. Но — опять не хватало дней, и, значит, уже никогда не хватит.

С пересадкой в Париже помог нам Никита Струве (мы, конечно, всё поездами). Ла-Манш переезжали паромом на воздушной подушке — стремительное современное чудовище, сказочно, когда, гудя, наползает на берег и бока его опадают. Мы всё думали, как бы из поезда от Парижа до Лондона не вылезать, — нет, не получилось ни туда, ни обратно, железнодорожные паромы уже не ходят. Значит — сплошные пересадки и перетаск чемоданов.

Что значит — *свой* Диккенс! С первых же английских лиц на таможене, потом в автобусе, на дуврском вокзальчике, в поезде до Лондона, на Черингкросс, где нас встречал Сапиет: какие характерные, круто вылепленные, до чего ж индивидуальные лица! — но почти всех мы их, кажется, знаем по Диккенсу, самые удивительные из них — лишь только напоминание: да, да, и тебя встречали! И по виду каждого мы угадываем, что он мог бы сейчас пошутить. И как знакомый узнаём потемневший, запущенный дуврский вокзальчик, и кондуктора в поезде, и выходного вокзального, проверяющего билеты, и через стёкла автомобиля быстро называемые Сапиетом места: Трафальгарский сквер, Букингемский дворец (только голову кружит от левого движения). Мы скрываемся в Виндзор. Но и там, в гостинице (окно на Темзу, плавают утки и лебеди, а на том берегу — гребные эллинги Итона), — опять «знакомы» все служащие и эта трогательная престарелая переко Sobоченная мебель в номере, неуклюжий шкаф, комод, а до зеркала никому не дотянуться, всегда везде не слишком тепло, не слишком чисто, в кране нельзя получить смешанной тёплой воды, а не удивительно, если горячая и не идёт, и ещё предстоит потом видеть холодные неотапливаемые усадьбы (впечатление, что в Англии всегда не хватает угля и дров), — как будто нарочно неуютно устроились они в сырой стране, но вот это всё и трогает к ним сочувствием. Как будто оказываются они дома гораздо беззащитней и добродушней, чем выступают перед лицом мира и на сцене истории.

В этом раздвоении я брожу по Виндзору, гуляю вдоль Темзы, готовя ещё новое, добавленное: выступление по радио, кроме телевидения. Везде мы не называясь или очень по доверенности: смотрим ли древнюю Итонскую библиотеку (в колледже каникулы); мемориал принца Альберта с достойной уходящей надписью (из апостола Павла): «I have fought the good fight. I have finished my course», — хотел бы и я сметь сказать так в конце жизни; смотрим ли сам Виндзорский замок, те крылья, куда пускают; или катим в Оксфорд, встречаться с моим заветным переводчиком Гарри Виллетсом, или в Кембридж — с дочерью Гучкова.

Гарри Виллетс (он не выносит писать письма, и мы по письмам почти не были знакомы) произвёл на меня обаятельное впечатление: такой теплодушный и такой даже русский — от многолетних усердных занятий русской темой, и жена из России. Он — редкий переводчик не только по своему таланту, но по беззаветному отношению к переводческому долгу: перестаёт ощущать перевод как вид заработка — а разделяет со-авторскую ответственность, ему невыносимо выпустить перевод не в лучшем виде, он с авторскими мучениями долго доискивается последних слов. От этого — работа его медленна, переводы затягиваются невыносимо, издательства раздражаются. Но — зато какой перевод!

Итак, мы ездим-бродим по Англии — и я в раздвоении, потому что с удивлением открываю: вот эту Англию, которую вижу сейчас, я, оказывается, всегда любил и даже узнаю? И это тянет меня смягчить все мои гневные упрёки, приготовленные жёсткие приговоры, — но я не могу не отвращаться от той жестокой напыщенной Великобритании на исторической сцене. *Той* — я должен высказать всё несмягчённо, как ей, может быть, не говорили, — да ведь то самое нужно и *этой*.

В первое же воскресенье, 22 февраля, мы поехали в чьё-то загородное имение, и там было телевизионное интервью с Чарлтоном, так прокатившееся потом по Англии и даже по Штатам*. Но показывать его должны были лишь в следующее воскресенье, и так мы ещё продолжали неразоблачённо тихо жить в Виндзоре, где я доканчивал готовить радиовыступление, потом так же тихо переехали в Лондон. Здесь в один день я выпалил и радио-беседу (может быть, из лучшего, что мне в публицистике удалось)**, и разоблачительно-убеждающую и бесполезную встречу с руководством восточноевропейского сектора Би-би-си***. (Да разве мыслимо передать им всё подсоветское беспомощное изнурение от журчливых и пустословных успокоений их комментатора А. М. Гольдберга, по любым безнадежным переговорам обнадёживающего, что будет хороший конец, советские представители вытянули чистые носовые платки — доброе предзнаменование! и этот же нескончаемый Гольдберг берётся комментировать книги, кинофильмы, художественные выставки, — и та же паточная оскомина.) Ещё мы пошли в парламент, посидели на хорах (запомнились театральные всплески удивления, возмущения, деланный хохот оппозиции и развязно-сонные вытянутые лейбористы-заднескамеечники с пренебрежением к этому учреждению, а властный спикер уже не на мешке с шерстью, но ещё в парике). Ещё через день — интервью о «Ленине в Цюрихе» для телевидения же (чёткий умный интервьюер Роберт Робинсон, дельные вопросы)****. Наговорился, больше некуда. Два дня нам с Алей оставалось на беготню по Лондону, по галереям, по театрам (невозможно забыть «Генриха V» в Шекспировском с Аланом Ховардом, как и удавиться можно было от занудства в очередном боевике «Смотрите, как всё валится» Д. Осборна в Олд-Вике). И все остальные поездки и встречи были полуанонимные, nepотpeвоженно выполнили мы свою программу, уехали, — и лишь тогда напечатали в газетах, что я — был в Англии, и стали передавать интервью с Чарлтоном. (Через два месяца это интервью имело то последствие, что намеченный визит в Москву генерального директора Би-би-си Каррена был отменён советским Госкомитетом по телевидению: передача интервью с Солженицыным свидетельствует, что Би-би-си продолжает тактику времён холодной войны.)

В Касьянов день, 29 февраля, мы отплывали от сумрачного холмистого Дувра — было ощущение хорошо сделанного дела. И отзывы из Англии потом — подтвердили. Интервью передавались повторно, печатался текст радиовыступления повторным же тиражом — впервые в истории журнала Би-би-си («Listener»). Исключительно доброжелательно Англия приняла все мои дерзости, и даже не разгневалась, что я иронически приподнял Уганду, по истекающим последствиям, важнее Великобритании. Приняла, прислушалась — но будет ли во всём этом толк? Однако: неисправимый порок мира, отпавшего от всякого даже представления об иерархии мыслей: ничей голос, ничья сила не могут ни запомниться, ни подействовать. Всё перемелькивает и перемелькивает в новое разнообразие. Калейдоскоп.

Хорошей упругостью я был тогда заряжен. Немало выступив в Англии, я на другой же день в Париже начинал опять как свежий. И про себя-то зная свой скорый отъезд в Америку и прощанье — принимал и принимал, какие заявки ни были, — японское ли телевидение****, «Интернэшнл геральд трибюн» совместно с «Нью-Йорк таймс», или «Франс суар»*****.

Мне в то время казалось, что я довольно разнообразно говорю, каждый раз как будто что-то новое. Недавно, уже после Гарвардской речи, пришлось послушать те плёнки — и я изумился: ведь *одно и то же!* решительно одно и

* «Публицистика», т. 2, стр. 330 — 345.

** «Публицистика», т. 1, стр. 284 — 297.

*** «Публицистика», т. 2, стр. 354 — 365.

**** Там же, стр. 346 — 353.

***** Там же, стр. 367 — 382.

***** Там же, стр. 408 — 416.

то же я повторяю на все лады, на все лады все эти годы, во всех странах, всем корреспондентам. Говори-говори! полная свобода! Сказанное месяц назад — уже забыто. Ах, политическая публицистика сама вгоняет в эту карусель. (Впрочем, Наполеон говорил: «После пушек самое сильное средство — повторение».)

Конечно, и в Париже было устроено выступление по телевидению. И задумано очень хорошо: зрители смотрят фильм «Иван Денисович», а потом я отвечаю на телефонные звонки со всей Франции. Необычно, ответственно, я очень готовился и волновался. Но организаторы сумели всё сильно смешать: рядом посадили поверхностного и равнодушного комментатора (я думал — буду смотреть в объектив и никто не будет вмешиваться); он задавал от себя размазанные, вялые, неинтересные вопросы, когда телефоны разрывались самими острыми. Сбил всё настроение, а потом стеснились телефонные вопросы — а времени не хватило*. Остался я недоволен этим выступлением. Впрочем, отклики печати почти сплошь были весьма благоприятны, «Монд» сдерживала ярость ко мне, а советское посольство вручило формальный протест французскому правительству. Среди этой публицистической скачки один денёк отвлёк душу в литературном интервью с Н. Струве**.

Итак, прощай, Париж. А теперь в испанскую поездку надо опять — оторваться незаметно (приехал за мною неизменный, верный, находчивый В. С. Банкул), теперь ехать дальше как можно долее анонимно, нигде не открывая следов. Ещё долгий кусок по Франции, а тут меня только что много показывали, трудно не узнать.

Сколько уж, кажется, я Францию видел, а — всё новое, всё новое глазу, и пластами нагромодились века, короли, полководцы. Замки, замки — Амбуазский, Шверни, Шамборский. Анжуйские графы, предшественники Плантагенетов. Здесь комната Генриха II, там сундук Генриха IV, здесь родился и умер Карл VIII. И неужели все эти замки (иные — даже во Французскую революцию не конфискованные, отстояли себя, собравши верных) ещё будут инвентаризовать коммунисты, которых многие французы не первый раз ожидают ко власти?

А совсем особое чувство — вступить не в поражающие эти замки, но в скромный частный дом великого человека: дом Леонардо да Винчи в Амбуазе, всего-то двух его последних лет жизни, когда пригласил старика на покой Франциск I. Ходить по коротким этим аллеям, застыть на мшистом мостике через ручей, и тщетно пытаться перенять его мысли, настроения, опасения — что при жизни равняло со всеми его, ни с кем несравненного. С поколениями, с веками сколько ж вырастает сочувственников этим всегда одиноким людям, как мы готовы их защищать, поддержать через слой времён, — но нет им нашего заслона в их горькие годы, а современники предпочитают ненависть, преследования, клевету.

Сколько угодно можно слышать о гениальности изобретений Леонардо, но вполне поразиться можно только — пройдя все восстановленные его модели. Почти автомобиль. Почти танк (от ручной тяги). Крыло для человека. Геликоптер. Самолёт без мотора. Парашют. Камнеёт. Самонакатные пушки. Почти зенитная пушка. Счётчик пути. Подшипники. Зажимной ключ. Пресс для печати. Водяная турбина. Гигрометр. Ветрометр. Воздушное охлаждение для дома в жару! И всё это — с XV на XVI век!

А в других комнатах — Джиоконда, автопортрет со струящейся бородой, очаровательные бабёшки, мальчишки. И из его сочинений: «В юности целомудрие — в старости разум». «Не предвидеть — уже стонать».

От Биаррица до Сан-Себастьяна попали мы в полосу шторма: тряслись вывески, падали телевизионные антенны, срывало и несло дорожные указатели, рвало провода, по набережным ветер гнал струи воды, наш автомобиль

* «Публицистика», т. 2, стр. 383 — 407.

** Там же, стр. 417 — 448.

толкало порывами, ключья пены неслись сюда как крупные насекомые, под маяком взрывались белые протуберанцы брызг. Всё это, да с чёрным небом, подходило к тому настроению, как я въезжал в Испанию: так и мнилось, что она вступала в свои последние сроки. И в Сан-Себастьяне из-за наводнения были толпы, запреты движения, полиция — так и казалось, что опять очередной конфликт в Басконии, что-нибудь вытворили баски-террористы? В Испанию я въезжал слишком неравнодушно: «любимая война» нашей юности сроднила нас до ответственности, хотя и переполусованной за столько лет с тех пор. Я ехал не посмотреть, но помочь, сколько могу, как своей бы родине.

А навстречу неслись наблюдения, какие, может, и по книгам можно составить, но для меня новы. Общее впечатление: бедность, какой в Европе не ожидаешь, ещё эта — красноватая неплодородная кастильская земля. Местами что-то кавказское: на бесплодной горе — черепичные крыши, как сакли. Вьючные ослы. Даже в Бургосе — грязные пустыри, и на них играют черномазые ребятишки. Этот католический центр в самые грозные дни войны был прибежищем Франко. Сегодня, в субботу, в церквах — немногие, почти только пожилые. А развязные девушки курят в кафетериях, парни горланят песни на улицах, — не знали они той гражданской войны и что им память её! С большого книжного прилавка на улице бойко торгуют, идут — детективы. — Такие редкие сёла на неплодородии, а хуторов и вовсе почти нет. Но въезжаешь в Вальядолид — семиэтажные здания, ущелья улиц. В воскресенье утром по улице идёт группа ново-молодых людей в бело-чёрных шарфах, с дерзкими трубными звуками и плакатом — неизвестно кому что доказывают. А в храме — не без ребятишек, и молятся на каменном полу, и тянутся положить сбор. В притворе — много нищих, как бывало и у нас (одна из многих черт, странно сближающих Испанию с Россией, значит и то, что — подают). А на стене собора снаружи: «Хозе Антонио Примо де Ривера — жив!», копятя политические потенциалы. — Благоговейно окунаешься в дом Сервантеса. Ещё одна мне близость, и какая: через плен, рабство. — И почти сразу — Саламанка, неповторимого тёпло-золотого камня, да ещё в солнечный день. (В противность англичанам в воскресенье все испанцы — на улице, тоже русская черта. И — семячки!) У церкви Вера Крус: «Павшим за Бога и за Испанию!» На стене старого собора — снова (да места всё франкистские): «Хозе Антонио Примо де Ривера!» — и десять миртовых венков. «Король, мир и демократия — наследство Франко». — Неподражаемая средневековая Авила, сколько же можно втиснуть внутри городской стены! — И опять до перевала почти пустыня. На голом пейзаже особенно мучительно выпячивают рекламы, вот эта, по всей Испании — реклама автомобильных покрышек, но такой отчаянный взлёт руки и рот разверстый — как будто сама Испания кричит, уже ни на что не надеясь, — и никто в мире не слышит её. За перевалом — цветущий нежно-лиловый миндаль, кипарисы, густоветвенные круглые оливы, виноградники, и снуют на осликах с бутылками в корзинах, со вьюками (точно как Санчо Панса), и слышится хриплая крикливая речь.

Толедский Алькасар, поэма и легенда той войны! полковник Москардо и пожертвованный им сын, образ из «Илиады». (Красные позвонили полковнику в крепость: «убьём твоего сына». — «Передайте ему трубку. Да здравствует Испания, сынок!») Семьдесят дней обороны, меньше литра воды на человека в день, двухсотграммовый хлебец — и защитникам, и роженицам в тёмных подвалах, атаки, атаки, осада, артиллерийские обстрелы на уничтожение, сшиблены башни, порушены стены, подкопы, подрывы, сровнены стены с землёю, обливание осаждённых огнём, подготовка потопа на них, — все эти республиканские методы выстояны героями (и добережено полтысячи женщин и детей). «Сделали из Алькасара символ свободы отечества». — Даже в нашу республиканскую юность вошёл этот замок как предмет восхищения. А сейчас ходишь по его коридорам (всё отстроено вновь), по сырым тёмным подвалам, мимо алтарика Девы Марии, — Господи! да ведь и у нас Владимирское училище билось с большевиками, новочеркасские юнкера освобождали

Ростов, — а всё прошло впустую. Всё-таки сами мы, сами делаем свою историю, не на кого валить.

Испанию — любят европейские туристы, но она — совсем даже и не стараётся показывать себя туристам, как Италия. Рядом со знаменитыми памятниками — развалины, битые кирпичи, нищета. Все строительные работы — ручную, без кранов. Обшарпанность поселковых стен. Пахота на медленных мулах, и в большеколёсой арбе — мул. Меньше всех в Европе Испания захвачена потребительским обществом. У самой автомобильной дороги на земле расселась компания крестьян — и степенно ест, ну Россия! Совсем не похожи внешне, а как неожиданны сходства характеров: храбрость, открытость, неорганизованность, гостеприимство, крайность в вере и безверии. По какому-то же странному пристрастию писали наши писатели об Испании, многие так тут и не побывав и не узнав, что Гвадалквивир, который «шумит, бежит», — всего лишь (теперь) застойная речушка, она и в самой Кордове пованивает, и много выброшенной дохлой рыбы.

Андалузия — ещё одна страна. Пальмы в пышном разбросе. Миртовый кустарник. Городские крохотные внутренние дворики с апельсиновыми деревьями, цветами и птичками в клетках, перчирикивающими над головами прохожих, когда всю ширину улицы можно достичь расставленными локтями. Грязь и живость народной Севильи за рекою. Старую Малагу рушат, чтобы строить небоскрёбные коробки для туристов. Все аллеи и набережные изгажены автомобильными стадами. Вдоль дорог — агавы и кактусы, запылённые как бурьян; или светлые иво-лиственные эвкалипты; расставлены амфоры с винными рекламами. От города к городу — старые мечети, замки и дворцы, более всего поражающие в Кордове и Гранаде, — высота и тонкость тогдашнего исламского мира, вряд ли где живущая сегодня. Мелодия стен и эротика обстановки. Золотистые росписи на потолках, невесомые резные арки. Лес порфирных, яшмовых, мраморных колонн в кордовской мечети, когда-то мирно разделённой с христианами. Редко где, как в этих арабских древностях, ощутишь, как все мы преходящи и обречены.

Восемь дней скользили мы по Испании совсем неведомой, никому не интересные, да здесь и имя моё слышали мало. (Удивительно: узнавали иногда — солдаты.) Убийственно небрежные и даже анекдотические переводы на много лет закрыли мне влияние в испанском мире. Но на конец нашей поездки уже было сговорено выступление по испанскому телевидению, и все дни, что я смотрел Испанию, я ехал к нему. Всё увиденное только ещё усилило во мне острое сочувствие к этой стране. Все дни во мне складывалось: что же, самое краткое, я должен им сказать. Из истории, конечно: что это значит — быть захваченными фанатической идеологией, как мы, советские, и пусть поймут они, какой страшный жребий их миновал в 1939. Бессердечная земная вера социализма прежде всего пренебрегает своею собственной страной. И сколько ни пролилось испанской крови в гражданскую войну — отдали бы они ещё двадцатеро, если бы победили красные. И то, что стояло у них эти 37 лет, — это не диктатура. Я, знающий, оттуда, — могу рассказать им, что такое диктатура, что такое коммунизм и гонение на религию, — я полезнейший для них свидетель. И — прямо о терроре, который сотрясает их сегодня, но эти террористы — не герои и даже не люди. (И — как русское образованное общество заплатило за своё восхищение террором.) И сегодня — новый мираж навеяли на Испанию: как бы поскорей, завтра, установить «полноценную демократию». Ах, как надо бы испанскому образованному обществу быть и подалеевиднее, и продумать: сумеют ли они послезавтра эту незрелую демократию отстоять против своих террористов и советских танков.

19 марта в мадридскую гостиницу вместе с переводчиком Габриэлем Амиамой (бывшим испанским ребёнком, «спасённым» в СССР и хорошо отведавшим коммунизма) к нам приехал преуспевающий, весёлый, лёгкий как гореро, небольшого роста, худощавый, очень уверенный в себе Хозе Иниго, один из здешних теле-радио-боссов. Никакая проблема с организацией передачи,

одновременным переводом (которого у них никогда и не делали) не казалась ему трудной — и он смело назначал мне приезд в студию за 15 минут до начала передачи. Я даже не успел разобраться, что ж это будет за передача, но в общем я буду говорить в микрофон, прямо всей Испании, что хочу, — 20 минут? Хорошо. Полчаса? Хорошо. Можно и больше. Настолько не было проблем, что оставалось попросить его о какой-нибудь забаве: например, нельзя ли поехать на бой быков? (Ну как же в Испании побывать — и не повидать?) Везде мы не попадали, слишком ещё рано, весна. Но тут оказалось, что как раз сегодня — открытие сезона, правда, тореро — молодые, второстепенный бой. Охотно! Ртутный Иниго умчался. Снова примчался, повёз. Всюду и везде его узнавали и приветствовали, полицейские отдавали честь — да, кажется, любимец Испании.

Бой быков — не очаровал, не убедил, нет, это скорее *забой* быков, как это мы, остальные, и представляем издали. Рискует бандерильеро, с маленькими пиками, это производит впечатление. Но ужасны массивные тупые пикадоры, которые искалывают быка большими пиками, сами почти в безопасности, мясники. А для быка, вольно выросшего на поле, — всё неожиданно, в первый раз, всё враждебно, обилие кричащих людей, все, что появляется, — или колют или дразнят, а сами прячутся за загородки. Сперва бык избегает арену, а к тореро, к последнему врагу, — уже пена на губах, убыло сил, убыло крови, иной ещё отчаянно борется, другой хотел бы лишь, чтоб отпустили. Не-испанец скорее всего становится на сторону быка. Хотя, нет слов: тореро и рискует, и храбр, и ловкий воин.

Когда тореро убьёт быка красиво — ему отсекают бычье ухо или хвост, а он может подарить даме сердца или почётному гостю. Мне шепнули, что тореро Гарбанфито сейчас намерен дарить мне ухо (знали, что я здесь). Я смутился и не дожидаясь сбежал.

На следующее утро повезли нас через мадридский Университетский городок (так памятный с 1937, а сейчас тут уже никаких следов окопов не найти) — к Эскориалу, в Долину Мёртвых: где под единым торжественным храмом похоронены многие жертвы гражданской войны, без различия, с какой стороны воевали, — и над ними равно служатся регулярные мессы. (Сегодня служилась ещё особая: пять месяцев от смерти генерала Франко. Огромный храм был полон.)

Вот это равенство сторон, равенство павших перед Богом — поразило меня: что значит, что в войне победила сторона христианская! А у нас как победила сатанинская — так другую топчут и оплёвывают все 60 лет, кто у нас заикнётся о равенстве хотя бы мёртвых?! Я это тоже взял в своё телевыступление.

Оно произошло поздно вечером, уже к полуночи. Приехали мы раньше, чем назначил Иниго, а выступление отодвинули ещё минут на сорок, но это ничему не помогло: оказывается, никто не был готов ни к какому одновременному переводу, стали наспех тянуть линию от выступающего в закуток к переводчику, проходящие цепляли за этот провод ногами, он рвался, в некоторые минуты переводчик Амиама совсем переставал меня слышать, и тогда он напрягал память, вспоминал, как мы с ним толковали в гостинице, и говорил что-то приблизительное, а может быть и другое совсем. И всё это — тоже была Испания! Ожидалось от Иниго несколько вопросов, но он только представил меня, задал один-два, смолк, отодвинулся, — не дождался я от него никакого развития к главному, а при полупотушенных огнях (в огромном холле со зрителями) остался наедине с объективами, с самой Испанией, — и минут сорок говорил от души*. А передача оказалась — поздневечерняя субботняя, самая легкомысленно-развлекательная, какую можно придумать, выступление моё туда никак не шло, но зато её и смотрел весь простой народ. (А образованные, и все либералы и социалисты пропустили; потом, рассказывали мне, друг другу звонили, включали и чертыхались. Разозлились безмерно: кого

* «Публицистика», т. 2, стр. 449 — 459.

поучать? Нас, социалистов? Нас, испанцев?) Шёл я от микрофонов — концерт продолжался, и на пути стояла готовая к следующему выступлению легкомысленно одетая артисточка, которая тут меня и поцеловала в благодарность, и оказалось, что она — русская.

Уж как разгонишься — силы немеряные. Было начало первого ночи — я тут же, в одной из комнат, охрипшим голосом дал пресс-конференцию, набралось корреспондентов, уже слышали они меня, оттого был наскок. Поговорили. (Тут и о Набокове*.)

В воскресенье утром довольно рано мы с Банкулом уезжали (в гостинице было отмечено его имя, не моё), выбрали по уговору отца и сына Ламсдорфов и поехали на Сарагосу, а дальше к Барселоне. Сын, Владимир, был мой лучший в Испании переводчик; отец, Григорий, — участник испанской гражданской войны (из парижской русской эмиграции едва сюда пробившийся: к франкистам трудно было попасть, не то что к республиканцам), воевал как раз по этим местам, в Арагоне, и обещал мне всю дорогу рассказывать и показывать. Проехали мы Гвадалахару, то ущелье, где знаменито бежали итальянцы, — в разгаре его поглощающего рассказа вдруг полицейская машина стала нас обгонять и указывала свернуть на обочину. Что такое? мы как будто ни в чём не провинились.

Остановились. Из полицейской машины выскочил сержант, но подошёл не с шофёрской стороны, как к нарушителям, а с правой. И спросил, тут ли едет Солженицын. Однако сразу же и узнал меня по вчерашнему, я сидел на заднем сидении, он выровнялся и с честью доложил, что Его Величество король Хуан-Карлос просит меня немедленно к нему во дворец.

Ламсдорф перевёл — и мы молчали. Звучная была минута. Так разогнались ехать! На полном ходу, из огня гражданской войны, вызывал меня на сорок лет позже король — благодарить? Или что-то ещё спросить, мнения, совета? (Вероятно, ещё ночью обзвонили гостиницы, но нигде не обнаружен. Застава же схватила по швейцарскому номеру.) Звучная была минута — и казалась длинной. Ни полицейский сержант, ни наши русские испанцы не сомневались, что мы поворачиваем. Но я ощутил мучительный перебив разгона — не только в нашем рассчитанном движении, где почти не было отложных часов, но излома и самого замысла: король — не был в замысле, я высказал вчера всё, что хотел, меня видел и слышал народ, и кипело гневом лево-образованное общество. А ехать представляться королю? Да, почётно, — но после моего вчерашнего выступления такая встреча только повредит начинающему королю в глазах его образованщины. И что ж я могу ему посоветовать, кроме сказанного этой ночью? — тормозить и тормозить развал Испании. Так и сам же догадается. Да и левым будет легче всё смазать: я уже буду не независимый свидетель Восточного мира, но креатура короля, ими оспариваемого.

И я понял, что должен делать. Открыл блокнот и стал писать по-русски, медленно и диктуя вслух, а молодой Ламсдорф в другом блокноте писал сразу по-испански, повторяя тоже вслух, — а сержант стоял навытяжку и недоуменно слушал.

...Я высоко ценю приглашение Вашего Величества... Я и принял решение приехать в Вашу страну осенью прошлого года, когда Испанию травили. Я надеюсь, что моё вчерашнее выступление поможет стойким людям Испании против натиска безответственных сил. ...Однако встреча с Вашим Величеством сейчас ослабила бы общественный эффект от вчерашнего... Я желаю Вам мужества против натиска левых сил Испании и Европы, чтоб он не нарушил плавного хода Ваших реформ. Храни Бог Испанию!..

Сержант неодобрительно берёт написанную бумагу, он всё равно не понимает, кто и как может отказать от приглашения короля. Он просит нас ждать и идёт передавать эту бумагу по рации. Мои спутники тоже удивлены. Да и я не совсем уверен, что правильно решил. При встрече можно бы ещё и королю

* «Публицистика», т. 2, стр. 460 — 468.

прямо передать из нашего русского опыта и наши предупреждения, отчётливой. Но — какая кривогласка пойдёт, как зарычат левые, как всё исказят.

Сидим в молчании.

Минут через пятнадцать сержант возвращается торжественно:

— Его Величество желает вам счастливого пути! Никто вас больше беспокоить не будет.

Поехали. Целый день через Арагон, ещё суше и бесплодней, чем Кастилия, — и сколько же и как бились за эту голую землю. По пути обедали в сельской таверне, все простые, кто сидели за воскресными столами, узнали меня, приветствовали и соглашались, и подавальщица Роза-Лаура, совершенная мадонна, тоже. Вечером мы уже в Каталонии. Утром в Барселоне только осматриваем бриг Колумба (мне — как раз, перед отъездом в Америку) — и покидаем Испанию под брань и гнев социалистических и либеральных газет.

Снова Франция. Перпиньян. Виноделы бастуют — и замазали чёрной краской все дорожные указатели — отличное проявление свободы! Впрочем, на одном указателе («кирпиче», а поле чистое) начерчено: *Parti Communiste = Goulag*. Это — уже в Арле. О, сколько римской старины. А вот и Авиньон, папский дворец времён их пленения, девять папских портретов — да что-то холодны, жестоки. А вокруг дворца кипят туристы и попрошайничают хиппи. В Оранже — сохранившийся римский театр, полусохранный таинственная сцена, 36 крутых каменных зрительских рядов и 20-метровой высоты стена. Да, эту Францию никогда не пересмотришь...

В Цюрихе — последнее оформление американских документов на переезд всей семьи (наших всех поразило, что надо пальцы отпечатывать). Мне ехать вперёд — наконец смотреть купленный участок и дать Алёше Виноградову добро на стройку, а самому — в Гувер заниматься. А семья поедет, когда будет где жить.

А ведь в Цюрихе — уже два года мы, не шутка. Как уже отяготились, обросли хозяйством, бытом, архивом переписки, библиотекой, — и теперь что оставлять, что паковать, всю домашнюю жизнь перенести, — и всё опять на Алю.

Мои последние сборы — и 2 апреля снова скрытный отлёт. Надеюсь, в этот раз прошлогодняя осечка и моё возвращение не повторятся, с Алей прощаюсь на несколько месяцев, с Европой — очень надолго. Такая неисчерпаемая, такая укоренённая, такая многоликая, такая любимая — и столь впавшая в слабость!

В Нью-Йорке меня встречает Алёша и сразу везёт в Вермонт, на новокупленное место. Мы оба волнуемся — так ли выбрано? Случай недопустимый: место долгой, а может быть и доконечной своей жизни выбрать не самому, купить за глаза. Но в наших долгих совместных поисках предыдущего года Алёша понял, чего я ищу, и выбрал действительно отлично: в пустынном месте, вполне закрытое от дороги, со здоровым вольным лесом, с двумя проточными прудами, дом есть, только летний и мал, перестраивать и утеплять, есть и подсобных два малых домика, только слишком гористо, недостаёт полян и плоскости. Ну что ж, чего-то же русского должно не хватать. Мы насчитываем на участке пять горных ручьёв — вот и название будет Пять Ручьёв. (По-английски тоже было: Twinbrook — ручьи-близнецы.) Алёша, хотя и начинающий архитектор, но думает о священничестве, поступил в Свято-Владимирскую семинарию. Это перегружает его занятия, обязательства. Да стройка и без того затянется надолго.

А я — что ж? Мне самый теперь раз ехать в Гувер и засаживаться там в библиотеку.

Всё по-прежнему недружелюбен к самолётам, всё цепляясь за иллюзию сердечно-привычного железнодорожного сообщения, я таки удумываю ехать поездом — тут и дни, так необходимые для душевной перестройки, тут и окно в незнакомую страну. Увы, хуже, чем в Канаде: прямого трансконтинентального поезда нет, но есть два состыкованных: Бостон — Чикаго и Чикаго — Сан-Франциско, между ними два часа для пересадки. Хорошо. Нет, гораздо

хуже: прошло то время, когда мы кляли опоздания русских поездов и восхищались западной точностью. Уже на станцию, где я сажусь, поезд, едва выехав из Бостона, опаздывает на полчаса. Румэт — такой же, но грязней, чем в Канаде, и ещё с маленькой поправкой: воздушное охлаждение не работает. В наших старых поездах его сроду не было, так и чёрт с ним, можно же окна открыть. Но здесь, в замкнутом румэте без вентиляции, — душная мышеловка. Мутные стёкла, тащимся промышленными районами близ Эри, Кливленда, и я вижу, что опоздание уже более двух часов и только увеличивается. И всё путешествие становится изматыванием нервов: что же теперь делать? Теперь попадаю — в Чикаго — висеть сутки? На вокзале не удивлены, не огорчены — ну, что ж? (У них — каждый день опаздывает, а расписания не меняют.) Приходится неуклюже капитулировать: с вокзала час ехать на аэродром, там худым языком объясняться о рейсах и ещё не попасть на самый плохой — зигзагообразный и с посадками по пути.

В Пало Альто я остаиваюсь у Елены Анатольевны Пашиной. Муж её, Николай Сергеич, вот недавно горячо бравшийся мне помогать, редкий образованный представитель Второй эмиграции, нашей самой закадычной, и с живым советским опытом и русской по сердцу, — умер только что, в феврале; так и обрываются наши жизни на чужбине, хотя каждый теплит надежду, что вернётся. Е. А., сохранно-русская душой, в завет умершему мужу чудесно и тихо мне помогает: возит из своей гуверской библиотеки домой всё, что нужно, — и книги, и целые газетные подшивки. И это даёт мне возможность первые три недели из восьми вообще не открываться, что я приехал: а то руководство Гувера тоже сразу потянет на банкеты, на речи, на встречи.

Начинается упитительный двухмесячный лёт по материалам Февральской революции. Разверзаются мои глаза, как и что это было такое.

Да в Союзе — разве допустили бы меня вот так во всю ширь и глубь окунуться в Февраль?..

Э-э-э, да и слава Богу, что мне всё не удавалось начать «Март Семнадцатого». Промалхнулся бы.

Осень 1978

ПРИЛОЖЕНИЕ

[17]

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

30 сентября 1975

За последние месяцы некоторые безответственные органы печати на Западе сфабриковали относительно меня грубые фальшивки.

Газета «Национал цайтунг» (ФРГ), журнал «Культура ди Дестра» (Италия) напечатали никогда не взятые у меня, неизвестно где, когда и кем полученные «интервью». Журнал «Дженте» пространно излагает беседу, которую я никогда не вёл. Газета «Монд» дала фальшивое сенсационное сообщение обо мне. — Все эти злостные подделки являются выдумкой от начала и до конца.

Но совпадение их во времени и направлении заставляет предположить за ними общую направляющую руку.

Я предупреждаю читателей мировой прессы против новых возможных злоупотреблений моим именем.

А. Солженицын.

(Публикация глав будет продолжена.)

ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

*

БОЛЕЗНЬ

Банальная истина: в жизни постоянно чередуются черное с белым, светлая полоса — с темной. Забегая вперед, скажу, что, когда обрушившаяся на меня страшная болезнь почек была уже в разгаре и я валялась в больнице, почти неходячая, а потом вдруг стала выкарабкиваться, — постоянно лезла с экраном реклама шоколада «Stripes». «Полосы»: «светлая полоса в твоей жизни». И хотя не терплю рекламу, эта как раз «цепляла» меня за слабо и робко возвращающуюся жизнь.

Кстати, вот сейчас я более или менее пишу правой рукой, на которой у меня фистула (как бы отверстие для соединения с аппаратом «искусственная почка», я потом все это еще объясню). А раньше я этой рукой едва могла вывести несколько строк. Вот какой прогресс!

А вообще, почему я все-таки решила писать эти заметки про свою болезнь, будучи по профессии узким специалистом по кино? На этот вопрос отвечаю так.

Когда-то, тоже лежа в больнице (в отличие от своих матери и отца, но особенно матери, выросшей в деревне и обладавшей редким даром здоровья, я лежала за свою жизнь в самых разных больницах десятки раз, хотя ненавижу лечиться в принципе), я прочла в «Иностранной литературе» прекрасную повесть венгра Иштвана Эркеня «Выставка роз». Речь там шла об умирании, как о таком же естественном состоянии организма, как и рождение, к которому любой, каждый человек должен быть готов. Модный телерепортер снимает свои интервью в квартирах и комнатах слабеющих от разных недугов больных. И, преодолевая всевозможные бюрократические препятствия, все-таки готовит передачу или фильм под названием «Выставка роз». И некая безвестная цветочница из Будапешта умирает как раз в тот момент, когда на телеэкране бушует царство весенней выставки роз на предприятии, где она работала.

Так вот, мои автобиографические заметки, быть может, бесполезны, тем более что болезни почек очень распространены. Хотя, как правило, умирают в конце концов не от почек, а от других каких-нибудь хворей, развивающихся на почечном фоне.

Очевидно, чередование белого и черного в жизни, как и чередование холодного и горячего душа, отрезвляет организм и держит его как бы в тонусе.

Когда болезнь (а она у меня врожденная, но до тридцати лет я ее никак не ощущала и понятия о ней не имела, впрочем, не очень ощущала и потом многие годы), — когда болезнь обрушилась на меня всей своей невероятной тяжестью, я много, отчаянно думала: за что же мне такие несчастья? Так вот, скажу: есть за что, если, конечно, исходить из предположения о том, что справедливость и несправедливость на грешной земле как-то и кем-то распределяются. Правда, к счастью или к несчастью, я неверующая, хотя и являюсь внучкой сельского священника, но мать — будучи лишенной — воспитала меня в жгучем атеизме. Есть за что, если судьба (Бог!) всем отпускает поровну. Уж очень была яркая, как ослепительная вспышка, жизнь: любимая работа, любимый человек рядом, профессия, подарившая встречи с незаурядными

людьми — и у нас в стране, и за границей. Это не значит, что все катилось гладко — какое там! — но было главное: любимое дело. И я — в пику современности — до сих пор не могу понять: как можно за любимое дело еще и ждать, требовать какой-то немислимой оплаты.

Вот за все за это и получила — полной мерой — нынешнее пребывание на обочине жизни, прикованная к аппарату «искусственная почка», к которому вроде бы и привыкла, но ведь так только кажется. Никуда не поедешь — а как жить журналисту без колес? Без мотания по стране? По миру?

Когда вышла моя вторая или третья книжка про кино, я ухнула все деньги (тогда это была стоимость мебельного гарнитура) в поездку теперь до ужаса банальную, но тогда ослепительно загадочную: Таиланд — Малайзия — Сингапур, от Союза кинематографистов, куда только что вступила. Зачем, думалось мне, все эти стекляшки-деревяшки? Их ли я буду вспоминать перед смертью? Я тогда не знала, как мучительно встают перед глазами бангкокские ступы, почти горячая океанская волна в Кота-Бару, где мы были вообще первыми русскими, советскими, или глянцево-золотой, весь из стекла Сингапур... лучше бы я всего этого не видела тогда, легче было бы жить теперь!

Именно тогда, когда туда собиралась, я и узнала о своем плохом почечном анализе. Откуда? Я всегда считала себя стопроцентно здоровой, да и родители мой почти не болели. Кроме аппендицита, никогда ничего серьезного.

— Это не мое! — решительно сказала я, отодвинув от себя тревожную бумажку. — Вы перепутали!

— Хорошо, тогда мы при вас возьмем анализ.

И взяли. Результат был все тот же — эритроциты в моче.

Вот так все началось. Но меня происшедшее абсолютно не взволновало. Я хотела справку для зарубежной поездки! А на болезнь вовсе не обратила внимания.

— Вы не знаете, что значит получить право выезда в такие страны, — это же прежде всего политическая проверка! — с некоторой даже угрозой в голосе говорила я (дело было в поликлинике издательства «Правда»).

— Мы все понимаем.

И врач пошла к заведующей отделением.

Вернулась с твердым предложением (какое счастье или несчастье, что это был не мой участковый врач, а случайно заменявший его на время отпуска) прийти к ним в поликлинику на прием к специально приглашенному урологу.

Вот так впервые прозвучало неведомое мне ранее слово «поликистоз», с которым и живу по сию пору. «И, по-видимому, врожденный», — сказал врач из Боткинской, видно, удивительный специалист своего дела, если путем простого ощупывания и просмотра анализов определил то, на что потом другим — для подтверждения того же диагноза — понадобилось чуть не полгода.

Тем не менее каким-то чудом справку мне выдали — под твердое мое обещание, что, вернувшись, я начну обследование, но...

Но нужна была еще одна справка — для прививок. Прививали в тот раз холеру и оспу. Но только после предъявления соответствующего документа о том, что прививки организму не противопоказаны. Если бы вы знали, как тогда — и это в Москве — делались эти прививки! Я попала на пункт следом за экипажем корабля дальнего плавания, и всем кололи одним шприцем сразу два укола. К моменту вытребования новой справки в поликлинику уже вернулась строжайшая участковая, которая стала насмерть.

— Я могу вам дать только справку о том, что прививки противопоказаны по состоянию здоровья, — сказала как припечатала.

— Скажите, — бросилась я в отчаянную атаку, — вы много мне бюллетеней давали, часто я к вам обращалась? Если я такая «тяжелая больная», никогда почти не обременявшая вас выпиской бюллетеней, то почему на три недели не могу просто поехать в другую страну?

— А прививки?

Естественно, справку я достала. Фиктивную.

А теперь лежу на больничной койке, и от моей правой руки отходят про- вода, красный и синий. Зовутся магистрали. Я лежу подключенная к аппарату «искусственная почка». «Но ведь это пройдет?» Нет, это теперь на всю жизнь.

Жизнь — это когда нет боли

Эту истину я отчетливо поняла в последние месяцы перед больницей.

Боль бродила во мне. По мне. Она ломала мне ноги во сне судорогой — и я мучительно, со стонами, поднималась в темноте, стоная, вставала с кровати и опускала голые ноги на голый холодный пол: говорят, так проходит судорога. На даче в окне, на улице, горел неумолимый фонарь. Все спало вокруг — муж, собака, небо, дома, соседи, сама земля спала. Только я снова и снова тужко ворочалась на своем ложе пыток.

По утрам вставала. Еле-еле, мучительно спускалась со своего второго этажа. Никакого завтрака я уже не готовила, мысль о еде вызывала отвращение — и в переносном и прямом смысле слова: постоянно тошнило. Лениво поковыряв вилкой в пшенной каше, я отодвигала ее в сторону. Начинаясь ненавистный день: было нестерпимо жарко, Москва и Подмосковье плавилась в весеннем тридцатиградусье. И я сидела на стуле подле кухонного сарайчика, неподвижная, как кукла, — не было сил ни на что, ни на жизнь, ни на смерть. Только б лечь, вытянуть ноги.

До новой боли.

Жизнь — это когда нет боли. Редкое блаженство: ты не ощущаешь себя, своего тела, можно вытянуть ноги. «Вот только немножко вытянуть ноги», — говорила Анна Каренина, мучаясь грешными родами.

Только немножко вытянуть ноги. Снизу слышалось когтистое тук-тук, ко мне поднималась собака — понятливое, вернее, беспонятливое ласковое существо. И тяжело плюхалась возле.

...Мы приехали на дачу ранним вечером накануне. А днем я добралась наконец до заветного нефроцентра, куда три раза уже записывалась на прием, но разные хвори все не пускали туда добраться.

Что такое у нас заболеть? Не просто почувствовать боль, закричать, согнуться в три погибели, нет, все это дело десятое, — ты вот собери все анализы, вернее, сначала найди то место, где тебе выдадут направления на эти анализы. Скажете, в поликлинике? Ну что ж, сходим в поликлинику. К тому моменту в ведомственном учреждении, где я состояла и которое некогда считалось хорошим, все пришло в ветхость и запустение — главное, пришли в ветхость и запустение сами пациенты, в основном научные работники и члены различных творческих союзов, эта некогда элита общества, ныне бледные тени на обочине, никому не нужные. Впрочем, далеко не все из них это в полной мере осознавали и чего-то еще требовали, качали права, но даже регистраторши не обращали на них внимания. К тому времени в нашей поликлинике появился нефролог — редчайшая профессия, в которой, как правило, работают или энтузиасты своего дела, или блатари, детки и сыночки именитых медиков: профессия-то перспективна.

Разных врачей я видела в жизни. Один профессор-уролог недвусмысленно намекнул, что я, мол, неоперабельна и вроде как надо готовиться, ну, сами знаете к чему. При этом даже не счел нужным пригласить пациентку в кабинет и говорил со мной в коридоре стоя. Чего там? Современная медицина велит говорить правду и только правду.

С тех пор прошли годы. Я еще, тьфу-тьфу, жива. А когда добралась до гемодиализа — о котором он даже не заикнулся, — выяснилось, что и вполне операбельна.

Ну да Бог с ним!

И вот я пришла к нефрологу в собственную поликлинику. Она консультировала не то раз в неделю, не то раз в месяц, и вид у нее был явно консульта-

тивный, то есть абсолютно отстраненный, по-моему, она даже смотрела в окно и только боковым зрением — на меня. Я понимала, мучительно-отчетливо, что напоминаю, по-видимому, назойливую муху со своими эпилепсиями и анамнезами. «Ну а зачем вы ко мне-то, собственно, пришли?» — вдруг спросила она и как в землю вбила. Я слегка опешила: «Меня к вам направили, вы же видите, какое у меня заболевание». — «Диализных мест у нас нет».

...Так я попала в Боткинскую больницу, где работал мой двоюродный племянник, впрочем, с одной стороны седьмая вода на киселе, с другой — седьмая спица в колесе в этой больнице. Но это именно он, молодой парень, грузин на одну треть, сбежавший из Тбилиси, где чувствовал себя совершенно чужим и которому муж мой как-то помог с жильем, именно он первым произнес слово «гемодиализ», оказавшееся для меня спасением.

Месяц, кажется, я ходила сюда, в Боткинскую, ездила как на работу: как на грех, повторяю, была жаркая, невысказанно жаркая весна. Болеть всегда плохо, но болеть, когда вокруг весна и ветки одеваются в розовое и зеленое, — в такое время болеть просто невыносимо.

Ташу в больницу проклятые анализы. Привычно выстаиваю очередь — с утра не пивши, не евши, в голове от жажды, голода, жары безумные вальсы, жизнь замкнулась на белых мятых листочках, которые так боишься перепутать или, не дай Бог, потерять, и на разных баночках-скляночках. Задышаешься, сердце болит, печень ноет. Возвращаюсь домой еле живая, вваливаюсь в квартиру, черный собачонок буквально втискивается между двух дверей — надо же вести гулять, а сил нет, ну совершенно нет сил.

А в Боткинской, после месяца хождений, меня отфутболивают в Московский нефроцентр (согласно месту жительства, самое любопытное, что потом и отсюда много раз пытались отфутболить, и тоже под предлогом «места жительства», но тут я уже вцепилась в свое драгоценное диализное место как тигр).

И вот наконец на четвертый раз я добираюсь до этого самого нефроцентра — в поисках его упираюсь прямиком в морг: говорят, это хорошая примета. Так я обретаю, по сути, свою «малую родину» — больницу, где мне предстоит делать диализ теперь до скончания дней. Или рядышком, в Институте трансплантологии, лечь на операцию. Когда я пишу эти строки, все с операцией зависло в воздухе, я ничего еще не решила.

...Из нефроцентра возвращаюсь домой. И тут на входе в дом меня буквально пронзает дикая невыносимая боль где-то между ребер. Оттого, что я не знаю, что это и почему, ужас охватывает еще больший — ну а ребра-то при чем? И так ведь все уже болит и стонет, по утрам тошнит, в голове — кружение, сердце заходится — вся стала желтая, как Пиковая дама, и еле-еле передвигаю ноги. В этот момент думаю: ну и чего я добилась своим постоянным жесточайшим тренингом, этими вечными диетами без мяса, вообще без белка, этой утомительной ходьбой ранними промозглыми утрами по шпалам, где-то за ВДНХ, или даже и по старой Риге, по взморью возле бушующей ледяной пены — на мрачно горящий в ночи огонь? И даже по заграничным брусчаткам? Вставала затемно, на улицу и — вперед. Всегда свирепо следила за своим весом, общим тонусом — и вот итог. Итог жизни с неумеренными амбициями. Жизнь — это когда нет боли.

Главный нефролог

Ее фамилию я увидела на двери самого большого кабинета, когда поступила в Первую нефрологию. Там было написано: «Заведующая отделением, доктор медицинских наук... Принимает по пятницам с 14 до 16 часов». Потом я услышала ее фамилию, произносимую как заклинание. «А К. сегодня придет?» — спросила одна больная в нашей палате. «А это как карта ляжет», — таинственно ответила медсестра.

«Как карта ляжет» — слова мне запомнились. Спрашивала совсем молодая (а уже почки!) оторва, отчаянная матерщинница, остальные слова «великого и могучего» употреблялись ею просто для связки.

Вообще с Первой нефрологией мне не повезло — в смысле общения с подельниками, говоря по-тюремному (а что же еще такое наша больница?). Сначала попадаю в палату на троих — не так уж плохо по нынешним временам. Но тут же огромный холодильник, куда круглые сутки заглядывает все отделение, — спрашивается, почему он стоит в палате? Да потому, что в коридоре идет какой-то бесконечный ремонт, в столовку, вернее, в закуток для приема пищи мы ходим по специально положенным доскам, балансируя со своими алюминиевыми площадками, в основном чтобы, понюхав и вяло поковыряв ложкой, выкинуть все в помойное ведро, услужливо и предусмотрительно для нас у столовой поставленное. И вот здесь-то, как раз у столовки, у меня и происходит первая серьезная стычка — случайно что-то выплеснулось из миски. Но, видимо, «тучи уже сгустились», потому что в тот же момент ярко-рыжая визгливая особа — как будто только и ждала этого момента — орет на меня. «А вы, — вдруг так же неистово отвечаю и я, — разводите здесь тараканов!»

Действительно, рядом с огромным холодильником в нашей крошечной и жутко душной палате стоит самодельный шкаф с мисками, площадками, кастрюлями и сковородками. Воняет больничной едой. И ползают, совершенно не стесняясь, огромные тараканы. Тараканы вообще сущее бедствие этой больницы — но, может быть, и всех других тоже? Уже потом, в другом корпусе, на гемодиализе, их однажды целый день морили; нас даже, ходячих, распустили по домам. Но как выморишь, если все время что-то готовят и едят прямо в палате.

В новой палате моей соседкой оказалась профессиональная медсестра, работающая по переливанию крови. Хорошая, добрая женщина с железным кодексом правил: муж должен быть «при ноге», мебель следует покупать дорогую (между прочим, вся ее семья жила в одной комнате), вести себя надо, как даме следует. Именно у нее я взяла и впервые прочла журнал «Космополитен». Муж приносил ей выставочной красоты фрукты, мне, по правде говоря, таких не приносили. Потом я поняла — больница для нее была как бы высший свет, другого у нее и не было, по-видимому. Здесь можно и людей посмотреть, и себя показать. Врач у нее был молодой, симпатичный, но крайне некомпетентный. Появлялась заведующая и отменяла все его назначения. Тем не менее моя соседка постоянно дарила ему конфеты и бутылки. «Надо давать!» — это было крепчайшее ее убеждение.

Именно она привела меня, по сути, к столкновению с Главным нефрологом.

Дело в том, что не успела я поступить в эту самую обыкновенную горбольницу, как меня тут же из нее начали выпихивать. Видите ли, Первая градская мне гораздо ближе к дому и по району я к ней принадлежу (до этого в Боткинской больнице меня уверяли, что по месту жительства я точно принадлежу именно к Московскому городскому нефроцентру, куда я и попала, а он расположен как раз на территории 62-й больницы). Я уже успела узнать, что здесь как бы базовое отделение гемодиализа в Москве. А напротив, в Первой градской, — как раз не очень хорошо. К тому же больница старая, плохая, забитая людьми, как клопами. Ее давно надо капитально отремонтировать. А тут еще моя соседка — надо, мол, «дать», тогда оставят в покое.

Могу с полной искренностью сказать: так ничего никому и не дала. Наверное, сработал инстинкт советского человека, его привычные представления о бесплатной медицине. И нигде никогда на себе не испытала: вот, мол, не «дала» — и получила плохое лечение, — напротив. Теперь точно знаю: от этого мало чего зависит.

А впрочем, нет! В знаменитом Институте трансплантологии, что рядом с нашей больницей и где нам тоже делают легкие операции (фистулу, например, соединяющую вену с артерией, для подключения к аппарату «искусственная

почка»), — так вот, здесь я почти вообще не слышала русской речи, разные лица разных национальностей расположились как у себя дома. С многочисленными прихлебателями, друзьями, родней, которые их, вполне ходячих, обслуживают. А впрочем, нам ли их понять? Дело в том, что — во всяком случае на момент написания этих строк — россиянам операцию по пересадке делали бесплатно. Но именно поэтому они и стояли в очереди по нескольку лет. Все же остальные, в том числе и из ближнего зарубежья, идут по хоздоговору... Ну а уж какие там суммы сверх него — точно не угадаешь.

Так вот. Насчет Первой градской. На первый раз мы с мужем отбились.

Но на второй — не успели меня перевести в отделение гемодиализа, заходит ко мне заведующий отделением и снова начинает: «Мы вас переводим в Первую градскую. По месту жительства». Сил к сопротивлению не было. Потом решила: схожу-ка в свою Первую нефрологию — к Валентине Геджемовне, моему лечащему врачу, попытаюсь у нее узнать, в чем же дело.

Иду в другой корпус. Вид у меня, конечно, жуткий — ну какой может быть вид у женщины, находящейся на диализе? Старенький спортивный костюмчик, на голове какое-то воронье гнездо из неубранных волос, в общем, сами понимаете.

Валентина Геджемовна говорит: «А вы зайдите к Надежде Александровне», — а это и есть сама великая и могучая К., Главный нефролог.

Вот так я и оказалась в святилище.

У нее было много всякого народу. Я объяснила свою ситуацию — робко, жалко, почему-то с врачами я всегда такая, где-то в истории болезни даже прочла: «некоммуникабельна». И куда только девается журналистская энергия, напор, даже хамство, необходимые в этой профессии? Ведь со столькими великими запросто общалась, в Кремле на приемах бывала, в сановные кабинеты дверь ногой открывала! Нет, все это куда-то исчезает, когда передо мной даже самый обыкновенный участковый терапевт.

Надежда Александровна, женщина в высшей степени деловая и энергичная, такого западного типа, начинает мне вежливо, но безапелляционно объяснять, что поступила некая Федоренко, почти что при смерти, и ей надо освободить диализное место.

— Вы нас поймите правильно. Что нам делать? К тому же вы действительно не по своему месту жительства лечитесь.

— Значит, вы хотите сказать, что я занимаю чужое место? Да меня полгода уговаривали лечь на этот самый диализ! Так, оказывается, я еще вполне здоровая? Тогда выпишите меня — немедленно, сию же минуту! Пусть мне принесут сюда все мои документы и вещи!

— Сядьте, прошу вас! Успокойтесь! — К. не на шутку забеспокоилась.

Я уже не могла остановиться, я не знала, куда я пойду и что буду делать, но... Так в молодые годы устраивала истерики и скандалы в аэропортах и начальственных кабинетах.

— Сядьте! — уже в который раз повторила К.

И я наконец дрожа села, отрешенно глядя в окно, — мне было абсолютно все равно, что со мной сделают в следующую минуту. Я уже столько перенесла за эти два месяца больничной жизни: дикие содовые капельницы, по три часа нестерпимого озноба. Потом мне сделали на плече катетер, и я почему-то пешком побрела в свой корпус (а положено было меня везти) и промучилась всю ночь (а положено было дать обезболивающее). Мне два раза делали в Институте трансплантации очень нелегкую и опасную почти трехчасовую операцию по установке фистулы (первая не получилась). Я дрожала перед первым диализом, потому что не знала, что это такое (а соседка-медсестра, совершенно не ведавшая этой процедуры, напугала меня до смерти). Я столько уже перенесла, что мне ничего не было страшно.

И вдруг Киселева сказала показавшуюся мне в высшей степени бессмысленной фразу:

— Успокойтесь. Я же не знала, что имею дело с интеллигентным человеком.

И стала рассказывать. Чего она только не говорила! Она поведала мне о том, что такое трансплантация, диализ, сколько слухов и спекуляций идет вокруг одних этих наименований и направлений в медицине.

— А знаете, сколько стоит аппарат «искусственная почка»? А достать его, привезти из-за границы, выбить под это фонды? Ведь у нас в медицине, как в одежде, есть своя мода — вот сейчас пошла мода на томографы. Все, чуть не каждая больница или даже отделение, хотят иметь свой томограф. Я не отрицаю, это очень важно, но аппараты «искусственная почка», все оборудование к ним — а оно исключительно импортное — надо постоянно обновлять. Вы знаете, сколько на всю Москву диализных мест? А сколько больных?

Меня поразила эта дистанция между ценой одного аппарата и количеством диализных мест на такой огромный город, как Москва (оно ничтожно и исчисляется сотнями). И так как я теперь уже ветеран гемодиализа, наблюдаю его годы, вижу, что пациенты здесь очень редко меняются — они или уходят на операцию, если решаются, или... да, умирают. Иногда прямо на глазах, во время диализа. Тут отчетливо понимаешь, что человеческая жизнь не стоит копейки. Вот вчера еще ехала с «товарищем по несчастью» в «перевозке» на диализ, и он даже раздражал тебя своей грубостью, а сегодня узнаешь, что его уже и в живых-то нет.

Я вспомнила это, слушая Главного нефролога. Все время я по-прежнему сию молча и отстраненно гляжу в окно, вроде бы меня здесь и нет вовсе. Потом говорю:

— Да вы знаете, эти проблемы почти всюду одинаковые. Вот у нас в журналистике...

— Так вы работаете в журналистике?

— Да, но я пишу фильма на очень специфическую тему — о кино. И вот, кстати, цена одного фильма растет в такой геометрической прогрессии, что их стало сниматься чуть не в десять раз меньше. А газета? А вы знаете, что такое сегодня издавать газету и сколько это стоит?

Так круг нашего случайного диалога замкнулся — что и сколько стоит в нашей сегодняшней распрекрасной жизни. Результатом явилось пришествие к Главному нефрологу моего приятеля из «Литгазеты», прекрасного журналиста, который по моей просьбе сделал материал о проблемах гемодиализа. Но, к сожалению, я не могу сказать, что этот материал выразил всю боль и отчаяние людей, приговоренных к этой страшной и вечной процедуре. Потому что, как я уже говорила, с нее уходят либо на операцию, либо в небытие. Иногда после диализа нас развозит по домам не «скорая помощь», а рафик, который подбирает пациентов по разным больницам, так что мы уже скоро все будем знать друг друга в лицо. Мне всегда горько и смешно бывает, когда знакомые желают мне поскорее выздороветь. Конечно, я никому ничего и не объясняю — долго, скучно, да и надоело. У меня ведь своя — отдельная — жизнь.

А с Надеждой Александровной я встречалась еще не раз, она часто заходила к нам в корпус. Однажды я снова пришла к ней в кабинет, по трудному делу — посоветоваться насчет операции. Возникла вдруг возможность сделать ее быстро — по некоему звонку.

— Ох, не торопитесь! — тяжело выдохнула Киселева. — Вы знаете, я могу, конечно, поставить вас в какой-то более экстренный список, но не торопитесь! Вот поторопились однажды...

И на глазах — слезы.

— Я знаю, знаю... — торопливо забормотала я.

Да, я уже знала, слышала: недавно в Америке в автомобильной катастрофе погибла вся семья ее сына. И когда, узнав случайно, сказала кому-то об этом на диализе, оказалось, там все уже это знали. Больные так пристально следят за своими лекарями, как, может быть, те не следят за ними. Ведь больных много, неисчислимо много, лекарей — мало, очень мало...

Евгений Григорьевич

Евгений Григорьевич — это наш врач на гемодиализе. То есть тот, кто непосредственно следит и осуществляет так называемый программный гемодиализ. Невысокого роста человек с бородкой, эдакий крепенький русский мужичок, чувствующий себя здесь, в пяти залах, где лежат в первой смене двадцать человек (и столько же во второй), полным хозяином. Два зала, правда, формально подчиняются другому врачу, Елене Николаевне. Она не только наблюдает за диализом — а здесь случается всякое, — вплоть, повторяю, до смертельных случаев, но еще иногда делает считающиеся несложными операции — фистулу и катетер. У нас в зале лежит некая Вера Семеновна, юрист с большим стажем, сейчас, естественно, на инвалидности. Так вот, меня порой жутко раздражает, как вокруг нее носятся, квохтают, да и она, женщина властная, капризная, тоже не сахар. Когда четыре часа лежишь как мышка, стараясь лишней раз сестру не побеспокоить, то эта властная требовательность и бесконечные охи и вздохи (хотя, конечно, она тяжелая больная, я это понимаю рассудком) выводят из себя.

Но потом я узнала, что Вера Семеновна — ветеран нашего, нашей больницы, гемодиализа. Во всяком случае, ей первой Евгений Григорьевич сам сделал фистулу (мне, например, ее дважды делали в Институте трансплантации, и сделали неудачно: рука до сих пор вся вздутая и очень болит во время диализа). Так что к ней все проявляют почтительность как к ветерану диализа, а Евгений Григорьевич питает к ней просто слабость, подходит к первой, подходит к каждому больному и вести довольно-таки долгие беседы — поговорить, порассуждать, поразмышлять — это у него чисто русское.

Сначала-то мы с ним были на ножах. Я только что поступила к нему под начало — до этого была у Елены Николаевны, женщины мягкой, деликатной, интеллигентной. Помню, когда я, обмирая от ужаса, первый раз вошла в диализный зал и легла на ложе пыток (как я тогда думала), она спросила: «Что вы так дрожите? Чего, собственно, ожидаете? Какой-то боли?» А боли тогда еще совсем не было — потому что не было иглока, а был катетер, через который подключение к аппарату происходит вообще автоматически. И я рассказала ей, что соседка по палате буквально запугала меня этим самым диализом, уверив, что это примерно как переливание крови.

Елена Николаевна рассмеялась: «Ох уж эти больные! Они всегда такого друг другу наговорят!»

Дальше у меня с ней происходило все в высшей степени аккуратно. Правда, в какой-то момент, во время диализа, начались приступы озноба, вплоть до того, что стучали зубы, меня всю трясло, но ко мне уже бежала со шприцами медсестра Таня, отличный профессионал, и все быстро проходило. В отделении нефрологии, где я до того лежала, мне делали долгие и тяжелейшие содовые капельницы, от которых тоже трясло и после я еле двигалась, думалось — ну и ну, вот так лечение, да тут бычье здоровье нужно! Оказывается, надо было просто ввести анальгин с димедролом, что мне и делали сейчас, на гемодиализе, но там тогда почему-то никому подобное в голову не приходило — вот такие есть разные врачи в одной и той же больнице.

Выяснилось, что озноб был от неправильно поставленного катетера. Однажды в третью смену, уже чуть не в девять вечера, пришел заведующий отделением — и это был такой страшный диализ, что я запомнила его на всю жизнь: кололи прямо в вену, а не через аппарат, иголки не попадали, меня рвало, стало плохо с сердцем. Потом пришла опытная медсестра и все-таки провела мне диализ через испорченный катетер. Но после этого меня перевели в другую смену и к другому врачу.

Так я попала к Евгению Григорьевичу. Сначала у меня с ним все складывалось очень плохо. То есть никак не складывалось. Хотя я с врачами всегда тише воды, ниже травы, лежу как мышка, а он разоряется: «У вас избыток жидкости в организме, вам надо откачивать, откачивать и еще раз откачивать!»

Посмотрите, какие мешки под глазами!» Я не выдержала, очень уж болела рука под иглками: «Вас бы на наше место!» Но ведь и то: хозяйство у Евгения Григорьевича огромное. Медикаменты, разовое медоборудование (иглы, магистраль, шприцы, концентраты, диализаторы — все это исключительно импортное). А еще таинственные залы с цистернами, наполненными какими-то загадочными составами, — ведь аппараты надо постоянно промывать. Впрочем, больные, которые уже давно ходят на диализ, научились все делать сами: заряжать, навешивать магистраль, включать. Но по инструкции все это строго запрещено: если аппарат портится (что происходит довольно часто), то тут может быть и вина пациента. С другой стороны, все стремятся ускорить процесс, и если больные сами будут подключать аппараты, то это, конечно, упростит дело, но...

Но есть некий Мурат, инженер, этакий вальяжный восточный мужчина, чья обязанность — следить за аппаратурой. И он в случае поломки всегда найдет козла отпущения: эту смену, предыдущую (в другие три дня недели), тех же больных, ту или иную медсестру, кого угодно. Только не себя. В крайнем случае он скажет, что аппараты старые. И это тоже будет правильно. Но где же взять другие? И эти-то стоят огромных денег. А на новые нужна валюта, и валюта немалая. Мы все, диализники, буквально трясемся за свое хрупкое будущее — я уж не говорю о дамокловом мече самой болезни, который всегда занесен над нами. Но еще все эти медикаменты, аппаратура и т. д. Ведь мы пользуемся всем этим бесплатно. Долго ли еще это будет продолжаться? Где-то я уже писала, что один сеанс диализа в Ленинграде мне обошелся почти в полмиллиона рублей. А в Германии для иностранцев (без вида на жительство) это стоит около 250 долларов. Во всяком случае, такова реальная цена одного сеанса диализа. Но, естественно, на Западе все законные граждане и все жители Европейского Сообщества пользуются диализом бесплатно, за счет федеральных программ.

Так вот, ближе к делу. То есть к Евгению Григорьевичу. Когда вдруг портится аппарат, а Мурата днем с огнем не сыщешь, Евгений Григорьевич чинит его подручными средствами — отмычкой и плоскогубцами, ведь больной не должен пропускать ни одного дня диализа. Когда случается ЧП с больным — а такого сколько угодно! — он, естественно, здесь же. На моих глазах бывали жуткие случаи, требующие жесткого и немедленного вмешательства. Например, один больной, которому он только что сделал катетер и его ввели на каталке в зал для диализа, начал буквально буйствовать. То ли это было действие наркоза, то ли неумение правильно себя вести на процедуре, но он буйствовал, пытался даже встать — это с рукой-то, подключенной к аппарату! Пока вдруг Евгений Григорьевич стремительно не подошел к больному и не ударил что есть силы по плечу: «Не двигаться!»

Была очень тяжелая больная, молодая девушка, которую на диализ мать привозила на каталке. Совершенно полубезумная особа, требующая постоянно какого-то особого надзора за дочерью и грозящая какими-то санкциями. У нас на дверях висит строгое предупреждение: «Родственникам вход строго воспрещен!» И тем не менее или в силу особо тяжелого состояния больного, или по причине хамского напора подобные вторжения все же происходят.

В этих случаях Евгений Григорьевич неумолим. Я сама видела, как он почти выгалкивал (а что делать?) ту самую сумасшедшую мать. Ведь другие-то двадцать человек лежат в это время на сложнейшей процедуре. Он буквально захлопнул перед ней дверь и пригрозил вызвать ОМОН (а ОМОН у нас сидит у входа в каждый корпус).

Друг

Он приезжал ко мне каждый вторник. Все почти мои четыре месяца в больнице.

Приехал первый раз — с какими-то жалкими пакетиками красной смородины (другие приезжали с тугими связками бананов, с ананасами, с сочными

грушами). Но как же я была рада этим живым, свежим, с куста, простым русским ягодам. А еще — крыжовнику и войлочной вишне (кажется, я и посоветовала ему посадить ее на даче). Он вынимал эти пакетики из штопаной-перештопаной хозяйственной сумки — ох, как она была мне хорошо знакома! — ягоды были лежалые, чересчур теплые в этот жаркий августовский день.

Но как же я была ему рада! Ему и этим тихим, вкрадчивым дарам отцветающей где-то там, без меня, земли.

Мы находили укромную полуопрокинутую скамейку возле морга, там больные боялись гулять, обходили стороной, словно сглаза боялись. Ну разве что пьяницы забредали, бутылки и кострища оставляя после себя. Иной раз кто-нибудь и возникал, но, увидев примостившуюся на скамейке пожилую парочку, корректно ретировался прочь. Иногда, напротив, мы, увидев кого-то, так же сворачивали по тропинке — ох уж эти невеселые больничные свиданки! Да и можно ли было так их назвать, если речь шла о нас, например, — у него уже внуки, у меня неизлечимая болезнь...

Да что вообще говорить обо мне? Я теперь была отрезанный ломоть, отрезанный от жизни. И всегда-то отнюдь не блистающая внешними данными, но по крайней мере в достаточной степени модно и прилично одетая, тщательно следящая за собой женщина, здесь, в больнице, безнадежно опустилась.

В больнице у нас не было зеркал, почти как в психушке. Почему, не знаю. Но, в сущности, это оказывалось великим благом для потухших, стареющих женщин — обычно мы смотрелись в окна припаркованных во дворе машин: там теперь стояли «мерседесы», «вольво», «пежо».

По вторникам я подкрашивала губы, наверное, это выглядело нелепо после бессонных ночей в душной палате, где на крайней койке у двери безобразно, некрасиво умирала от диабета совсем молодая женщина. Какие хосписы! Мы не могли добиться, чтобы такую тяжелую больную переправили хотя бы в бокс! К ней приходил и как назло сидел чуть не до ночи — просто нельзя было даже переодеться — пожилой, невысокого роста мужчина, мы думали, отец. Оказалось, муж. У этой больной был не только диабет, она была еще глухая — ей все писали на бумажке, впрочем, родные понимали ее по движениям губ. И вот ее бешено, безнадежно любил некрасивый, одышливый мужик.

К ней приходила еще и мать — женщина, как говорится, со следами былой красоты, но безумно уставшая, несчастная. Отсюда мы заключили, что и дочь, по-видимому, была когда-то недурна собой.

Женщина в больнице — это особенно ужасно. Конечно, и мужчина тоже, но женщина, которая, распадаясь в болезни, должна еще удерживать подле себя мужчину, — это невероятно тяжело. Впрочем, у всех все по-разному.

Женско-мужские отношения здесь вообще складываются своеобразно. Я видела разное. В нашей палате к одной тяжелобольной (у нее через четыре года после трансплантации отторглась почка) муж приезжал к ночи и спал на стуле возле кровати. Ее, ее стоны, было слышно, его, даже дыхание, — нет. Мы привыкли к почти незримому присутствию человека другого пола в нашей палате. Да полно, был ли вообще пол? Кажется, ничто не стирает его так, как болезнь.

Существовала у нас еще одна пара — правда, не в стационаре, а среди амбулаторных больных. Но раньше жена, кажется, лежала у нас в палате. И потому каково же было мое изумление — а я только что поступила из другого корпуса, — когда однажды к нам в палату на шестерых ввалились в пальто, с сумками двое и вольно расположились на временно пустующей кровати.

Они начали шумно разоблачаться, переодеваться, закусывать, вынимая из бесконечных сумок бесконечные пакеты с едой и огромные термосы (теперь, когда я уже два года амбулаторно езжу на диализ, мне еще более это дико, мы обычно даже не приближаемся к стационару).

Потом она удалилась на диализ. А он как ни в чем не бывало привольно расположился на стуле посреди палаты, рассуждая громко и амбициозно про

что-то в высшей степени банальное. Вот так началась моя с ним борьба. Да, с ним, конечно, не с ней же? Я узнала, что от него вот уже чуть ли не годы стонет все отделение — от его нахрапистости, грубого хамства, нестерпимой вульгарности. И как я потом узнала, и от лицемерия, бесконечного ханжества. Свою жену он всегда привозил и увозил в коляске — якобы уж такая большая — и громко рассказывал об ее успехах на кулинарной ниве — ах, мол, какие были вчера у Елены Павловны пироги, как она умеет принять гостей. «А она и дома передвигается на каталке?» — так и подмывало спросить. С некоторых пор я вообще перестала с ним здороваться. Но пара эта неотступно занимала мое воображение — что их так намертво связывает? Зачем он ездит в больницу постоянным сопровождающим, занимая, между прочим, драгоценное место в машине перевозки? И по телефону — кажется, весь наш диализ проходил под звуки его голоса, хотя вообще-то родственникам строго-настрого запрещено и входить, и тем более звонить отсюда, — угрюмо-настойчиво требовал два места: для своей шестидесятидвухлетней жены, у которой всегда давление было двести двадцать, и для себя, сопровождающего. С одной стороны, какое хамство — занимать лишнее место в машине, но с другой — зачем все-таки ему это надо? Три раза в неделю мотаться в больницу — а он еще далеко не стар, явно моложе ее, мог бы еще и работать.

Потом я узнала правду, все-таки чутье меня не обмануло: здесь, конечно, была никакая не любовь, даже не сочувствие к больному человеку и не стремление помочь, быть рядом, а просто-напросто голый грубый расчет. Она, кажется, недавно взяла его в мужья и приватизировала на его имя квартиру. Потом он все бегал к знаменитой женщине, царице в этом почечном мире, Главному нефрологу, насчет операции справлялся. Нефролог, по-видимому, терпеть его не могла (как, впрочем, и все остальные вокруг в нашем отделении), зная всю подноготную, — в больнице ведь ничего не скроешь. Последний раз она просто выгнала его из своего кабинета, куда он без спроса и по своему обыкновению нахально вкатил знаменитую каталку с женой. «Операция не показана», — сказала она как отрезала.

Вот так сложно и по-разному складывались у нас в отделении женско-мужские дела. Женщин с трудом можно было бы назвать женщинами. Мужчин, обвешанных авоськами, в тапочках и халатах, спящих на стульях, выносящих в туалет грязную посуду, вряд ли отнесешь к мужскому подвиду.

А мой приятель — мы с ним вместе работали в одной редакции, — мой приятель продолжал ездить в больницу как часы — по вторникам, вечером.

Затворница Альтоны

...Тогда же, когда я начала очень плохо себя чувствовать (особенно после фестиваля «Золотой Дюк» в Одессе — видно, этот климат мне совсем не подходил), вдруг возникло в нашем доме существо по имени Долли.

А было так. К моему дню рождения муж решил сделать мне подарок. Подарок оказался необычный, переговоры велись загодя — я ничего о них не знала. И вот буквально накануне мне вдруг говорят: завтра самолетом из Симферополя пришлют... собачку. Ничего себе собачка — щенок ротвейлера.

Сейчас даже трудно поверить, какой я устроила скандал.

— С ума сошли! — кричала я мужу. — Только собаки мне не хватало! Я — кошатница!

Всю жизнь у нас в семье, в родительском еще доме, да и потом, всегда были кошки — верней, коты. Кошатники были все: моя мать, мой брат, вся моя родня по матери, еще в коммуналке на Брестской улице, в центре Москвы. Один кот прожил у нас целых девять лет — при этом свободно гулявший, не кастрированный, этого издевательства над животными мы в семье решительно не признавали.

Любовь моя к кошкам кончилась трагическим образом. Последнее крошечное существо (принесли к нам в дом черную кошечку, не кота, — я уже

тогда предчувствовала нечто смутное, тревожное — не наша масть, не тот пол), перевезенная по весне на дальнюю квартиру в микрорайоне Свиблово, соблюла закон своей звериной свободолюбивой природы — не прижилась, не приняла нового места жительства. К тому же была весна, она гуляла на балконе, яркая, верткая, похожая на мангуста. И — сорвалась с девятого этажа.

Помучившись чуть не с год, я твердо решила: с животными — всё. Больше никогда и ни за что.

И вот на тебе — летит из Крыма собака самолетом. Беру телефонную трубку, оттуда милый женский голос: «Это Валентина Сергеевна?» — «Да». — «Мы сегодня вылетаем. Вернее, не мы, наша девочка». Я не удержалась: «Какой ужас! Ах, извините, пожалуйста! Но я совсем не готова к этому. Я как-то и не знаю, что с ней делать...» — «А мы тут вам все очень подробно написали. Вы не волнуйтесь, ради Бога! Вы ее обязательно полюбите...» И связь прервалась.

Так «это» появилось у нас в доме.

Сейчас понимаю, насколько мой муж заглядывал вперед — даже, пожалуй, в отличие от меня, он уже знал, до какой степени мои дела со здоровьем катастрофичны: страшное слово «гемодиализ» приблизилось ко мне вплотную. Надо было создавать какие-то зацепки к жизни. Потом в больнице, когда я прошла уже через тысячу испытаний, и мне стало чуть лучше, и жизнь вдруг начала ко мне возвращаться, я стала выходить, гулять, на солнышке вынимала безумно смешное фото (единственное, которое всегда носила с собой) — на нем моя Долли в трехмесячном возрасте, как раз когда ее к нам прислали. Упрямое, задиристое, но безумно жизнерадостное существо. Как нам написали ее симферопольские хозяева: «Девочка ласковая, но умеет за себя постоять». Я смотрела на эту снятую «Полароидом» картинку, и словно что-то внутри меня распухало, отступала боль — есть кто-то, меня ждущий, нетерпеливо царапающий дверь в комнату, верящий, что я обязательно сюда, к нему, к ней, вернусь. Я считала дни, потом часы — в субботу и воскресенье больница пуста, домой уходили, уползали все, кто только может ходить и ползать, хоть как-то передвигаться. И даже без спроса, без разрешения, и даже под прямым и строгим запретом. Тогда, когда у меня в плечо было встроено некое сложное сооружение с какими-то трубками под названием «катетер». С таким-то уж точно нельзя уходить из больницы, тем более — ездить в транспорте.

Но я сбегала. И по дороге — в магазин, за крупой, за фаршем, за мясом для собаки. Я знала, что у нее, конечно, все есть. Но не могла ж явиться домой с пустыми руками — без гостинца.

В ожидании операции

Не знаю, удавалось ли кому-нибудь — впрочем, кому-нибудь, наверно, и удавалось — пережить чувства, которые одолевают человека перед тем, как лечь на операционный стол. Причем с чем-то тяжелым и, быть может, летальным.

А сейчас скажу: дни мои и месяцы (целых три!) в ожидании операции, которая пока, на данный момент, не совершилась, стали, как ни странно, самыми прекрасными днями в мои последние годы.

Когда я в первый раз отправилась к знаменитому хирургу, специалисту по поликистозу, это было в жарком московском июле. Я шла луговыми травами, огибающими страшное здание Онкоцентра, и радовалась только одному: что я скрепилась и никому, ни одной живой душе, не сказала про этот визит, пошла абсолютно одна, как всегда, независимая и самостоятельная женщина. Что будет, то и будет — я должна это принять одна и одна вынести всю тяжесть предстоящего мне решения, каким бы оно ни было.

Решение вынеслось сразу, за три минуты. «А можно отложить до осени?» — «Можно», — равнодушно и спокойно ответил хирург. Счастливая после этих ничего, в сущности, не значащих слов, почти летящая от счастья, я помчалась в редакцию: впереди были два, а то и три месяца свободы! Мне кажется, я еще никогда с таким энтузиазмом не рвалась в родную редакцию.

Здесь я сразу заявила, что беру две недели в счет прошлого года (к несчастью администрации, у меня всегда полно неиспользованных отпусков!) и уезжаю на дачу.

Признаться, я вообще никогда не отдыхала на даче, потому что никогда ее особенно не любила. Я родилась и выросла на старой подмосковной, до войны еще построенной даче — восемнадцать соток участок с настоящей березовой рощей, на берегу Канала имени Москвы. Когда, после ссоры и имущественного раздела с родней, мы с мужем приехали в это так называемое садово-огородное товарищество, а иначе говоря, курятник, я сразу придумала ему прозвище «Сабра-Шатила» (тогда как раз шла ливано-израильская война, и названия этих двух поселений были у всех на слуху). Действительно курятник: стоишь на своем пяточке, изображая дачевладелицу, и пять участков на тебя смотрят — разве это дача?

С тех пор прошли годы. Мы как-то обвыклись, муж со своим братом, бывшим геодезистом, построили на этом крошечном участке огромную по тем временам трехэтажную домину с роскошным цокольным этажом, на которую ходил смотреть весь поселок.

Но с тех пор прошли еще годы — и «новые русские» начали воздвигать кирпичные хоромы все на тех же убогих сотках; в общем, все равно дачу я не любила. К тому же на ней надо было постоянно поливать, и это было единственное, что я здесь делала.

Прошлым летом кончилось и это — поливная страда, отъезд на дачу в четверг вечером (в пятницу в то время уже мало кто ходил на работу в редакцию), приползание на электричке из Москвы к девяти вечера, ведра и бочки на ночь глядя, еще до ужина, — и хорошо еще, если есть электричество и вода, а если нет? Но и эти мелкие радости кончились для меня, когда нахлынула болезнь. И я уже еле ноги таскала. Меня привозили сюда на машине и сгружали на верхний этаж, почти как мешок с картошкой. Шевелиться, читать, говорить — все было мукой. Самая вкусная еда — крошка со свекольными листьями, помидорный салат — ничто не вызывало симпатии, одно только отвращение. И представляю, какое отвращение вызывала я сама у всех присутствующих, как бы мало их ни было и как бы ни были они мне близки.

Но вот пришло другое лето — и я ожила. На этот момент, во всяком случае. Я работала, писала, даже ездила в командировки. Ездила, конечно, и на диализ, и довольно часто, но как-то уже притерпелась.

Мы с мужем, прихватив собаку, приехали на дачу. С продуктами, книгами, рукописями. Он был, правда, в некоем неудовольствии оттого, что ему придется провести эти драгоценные десять дней, выкроенные для литературы, не одному — мы в семье привыкли отдыхать поодиночке. У него тоже были рукописи, компьютер и обширные планы насчет очередной книжки, которую срочно нужно было сдать в издательство. Но, немножко побузив, он как-то быстро смягчился; между нами примирительно и требуя постоянных, совместных забот мельтешила наша собака, и все как-то уgomонилось.

Сейчас я думаю, что это были, наверно, лучшие две недели в моей жизни за последнее время. А быть может, и на много лет вперед.

Вдруг настало очень жаркое лето. Выше тридцати — в Москве вообще ад. Но и здесь, в нашей Сабре-Шатиле, тоже не намного легче, хоть и разрослась несколько зелень, а на сливы и яблони уже и залезть без лестницы нельзя, но, в общем, сильно открытое пространство.

Хуже всего было собаке. Хоть она и гладкошерстная, зато почти совсем черная, не считая нескольких подпалин, солнце она прямо-таки притягивает. Поэтому с утра, с самого раннего, я тащу ее на речку, где она носится с лаем по берегу, пугая ранних и недобрых рыболовов, но зайти в воду так и не решается.

Наконец плюхается в самом неподходящем месте, где тина, крутой, обрывистый берег и очень сильное течение.

Я кричу ей, она в отчаянии лает, карабкается, но оползает: грязь и тина цепко держат ее. А отплыть в мою сторону, где я крепко стою на песчаном дне, не решается. Наконец я плыву к ней сквозь грязь и болото и буквально за шерсть что есть силы вытаскиваю на берег эту сорокакилограммовую здоровенную псину. И мы вместе с ней обсыхаем на уже яростном, нестерпимом солнце. При мысли о долгом пути под совершенно открытым небом, по пыльной проселочной дороге становится не по себе.

Возвращаемся на дачу. И я сразу — а Долли за мной — забираюсь наверх, в абсолютно затемненную комнату.

Лежим в темноте. Но обе мы счастливы. Мне кажется, такого полного счастья я не испытывала уже давно, и вдруг...

Да, вдруг как игла, как жало — эта мысль, она рождается, вернее, выползает откуда-то из подкорки, где затаилась на эти такие короткие счастливые мгновения: операция! Сколько еще осталось? Уже день-два прошли, значит, на день-два-три уже ближе. Мне рассказывали, да я уже и сама видела, как это будет: будет очень тяжело, очень страшно.

Слегка задремываю, на полу мощно храпит Долли.

Потом встает и, мелко стуча лапами (я иногда зову ее Тюка, впрочем, у нее много различных прозвищ, еще почему-то Бузик, уж не знаю, откуда взялось), переваливаясь своим толстым задиком со ступеньки на ступеньку, сползает вниз, аппетит ей не изменяет никогда. Она бегаёт не столько за нами, сколько за едой.

Со второй половины дня мы с собакой плотно скрываемся в затененном доме и пытаемся спать. Вечером приезжает муж с горой продуктов, и снова хорошо — тем более жара наконец спадает. Эксперимент совместного отдыха, как ни странно, удастся — наверно, примиряет собака и еще — отсутствие посторонних глаз. Я всегда замечала, что мы яростно ругаемся на людях, а наедине живем почти что нормально. Поэтому все вокруг, наблюдая наши громкие ссоры и давно предрекая нам скорый развод, сейчас уже отчаялись увидеть его и смирились с этим странным браком.

Два раза в неделю я езжу в Москву на диализ, накануне вечером муж отвозит меня на станцию в Обнинск, и дальше я трясусь на электричке, два часа. Приезжаю в Москву уже к ночи, сваливаюсь за мертво и встаю в шесть утра, встречать перевозку. На дачу возвращаюсь на другое утро — муж ждет меня опять-таки на станции. С собакой.

Но дни бегут, как спринтеры на дистанции, — каждый из них хорош в отдельности, но все вместе они неразличимы и стремительно приближают меня к страшной дате. Правда, впереди еще двенадцать дней отдыха в Доме ветеранов кино, что в Матвеевском. Это как раз посередине между моей квартирой и моей больницей, и так как Дом ветеранов в черте города, перевозка должна за мной приезжать, но все же я немного волнуюсь.

Матвеевское встречает меня мягким комфортом, знакомыми лицами, удивительной полузабытой интеллигентностью: все со всеми постоянно здороваются — как в деревне.

Единственное, что омрачает существование Дома ветеранов (впрочем, кажется и так доживающего последние дни), — очень уж много желающих арендовать или даже купить это роскошное, построенное еще в советские годы здание, а с другой стороны — очень мало средств у некогда могущественного киносозюза, чтобы поддерживать тут комфорт.

Дни стоят прекрасные, еще прекраснее — ночи. Эти предосенние лунные, неземные ночи почему-то всегда меня пугают своей краткой, хрупкой красотой и тревожными предчувствиями: не может быть на земле долго все так покойно и нетленно. Я это всегда знала — еще в молодости, приезжая именно в эти дни на дачу, когда там пусто, одиноко и тихо и уже не орут на улицах мальчишки. Помню эту завороченность близостью тления, прекрасной близостью.

Наверно, вот это трагически-прекрасно в ранней осени — ожидание конца.

Эмма

Я расскажу о ней, потому что она была последним человеком, отдавшим меня — на какое-то время, во всяком случае, — от страшного слова «операция». Отделила — своей смертью.

Мы даже с ней не дружили. Надо сказать, что вообще дружба женщин на диализе — понятие весьма относительное. Все они, вернее, все мы — издерганные, старые или кажущиеся старыми даже в сорок лет, почти или совсем одинокие (кто же выдержит жизнь рядом с диализником?), почти всегда истеричные и потому часто меняющие свои симпатии и антипатии. Только более или менее сблизившись с одной, вроде бы душу ей раскроешь, как тут же узнаешь, что она уже кому-то что-то насплетничала, — и даже ведь не осудишь! Что взять с безнадежно больного человека?

Эмму, в общем, в больнице не любили. Она была резкой, скрытной, молчаливой — типично одинокая женщина и, как видно, привыкшая к своему одиночеству, которое — так я и знала! — скрашивал любимый кот. Вообще любила животных. И в больнице рано утром выносила по собственной воле ведра с пищеотходами, подкармливала бездомных кошек, которых во множестве расплодилось вокруг больницы.

Кроме того, она была довольно-таки решительна, если не сказать сварлива, в прежнее время сказали б — сутяжна. Однажды мы написали жалобу на наше руководство, которое амбулаторных диализников, то есть нас, содержало в ужасной грязи и небрежении. А ведь нам надо где-то переодеваться, хоть что-то наскоро поесть перед четырехчасовой процедурой. Чаша терпения переполнилась, когда у нас перед носом захлопнулись двери столовой и буфетчица заявила, что отныне нам запретили сюда заходить — под предлогом, что мы можем занести инфекцию (как будто мы не лежали со стационарниками на тех же самых кроватях). Тогда мы и написали то самое письмо главврачу — как журналист, я его сочинила и отпечатала на машинке. Но в последний момент, уже уехавши после диализа из больницы, вдруг передумала в этом участвовать (все-таки склока!), позвонила медсестре и попросила ее не давать бумаге ход.

На другой день я узнала, что решительная Эмма к вечеру сама отнесла это письмо главврачу, и последствия были самые крутые: нашего зав. отделением и старшую медсестру лишили премии. Зато нам открыли ворота столовой, прибавились в раздевалке, принесли из стационара и поставили для нас еще две кушетки и прочее. Реакция, впрочем, была разной: кто-то радовался санкциям, кто-то нас осуждал. Я и до сих пор думаю, что дело лучше бы решить миром.

Кстати, кроме кота у Эммы, оказывается, еще был друг по имени Саша. Забегая вперед, скажу, что, когда я заглянула к ней в палату после операции, она рассказала мне, что этот ее друг десять дней спал около нее на каталке. И я, помнится, заметила одной своей подруге: «А кто будет спать около меня десять дней на каталке?» На что та, естественно, ответила: «Я». Но я-то знала, что на ней еще старуха мать, почти неподвижная, и еще какая-то там очень больная родственница.

Правда, потом я узнала от наших жестоких и правдивых баб, что этому другу она отписала (приватизировала на его имя) квартиру.

У нее была та же болезнь, что и у меня, — поликистоз почек. Это, как правило, болезнь врожденная, генетическая — множественные кистозные образования, обычно на обеих почках. Они сильно увеличены в размерах и, как, например, написано в моей истории болезни, не помещаются в экран — имеются в виду ультразвуковое обследование. Поэтому для трансплантации почки, которая представляет собой обычную разовую операцию, поликистозные почки подвергаются не одной, а двум или даже трем операциям: сначала надо удалить один или даже оба непомерно разросшихся органа. У Эммы, например, удалили трехкилограммовую почку. Но Эмма хотела жить, Господи, как она хотела жить!

Могут сказать: хотела жить, как и все, что же тут особенного? Нет, как раз очень многие почечные больные, измученные многолетними неизлечимыми хворями, жить или не хотят вообще (но и решимости на то, чтобы покончить с жизнью, у них, конечно, тоже нет), или живут по инерции, вяло, еле-еле, от процедуры к процедуре.

Однажды Эмма сказала мне: «А я уже ездила к хирургу». — «Как, прямо так, к самому?» — «Да, а что такого?»

Я представляла себе, что хирург — это высшее, божественное создание и к нему тебя должны подвести или поднести, со всякими онерами, анамнезами и эпикризами, после множества предварительных звонков и согласований. И вдруг...

Вот так Эмма! Поехала к нему раз, поехала два.

На второй раз она собралась фундаментально — уже как бы в больницу: запасла для кота еды, договорилась с другом Сашей, собрала вещи. И теперь ее уже оставили в мрачном святилище на Каширке. Доносились какие-то слухи: вроде бы сделали операцию, вроде бы тяжело, но вроде бы жива.

А через какое-то время к этому же самому хирургу поехала и я сама, по тому же вопросу — Эмма меня убедила.

— Будем удалять почку! — решительно заявил хирург, посмотрев и пошупав, аудиенция длилась минуты три, не больше. Когда, одернув юбку, я захотела робко спросить, а что будет, если не оперироваться, он уже говорил по телефону, и отрывать его было неприлично.

— А как у вас здесь Савин-Лазарева (вот такая странная была у Эммы фамилия)? — спросила я, вклинившись в минуту без телефона.

— А вы можете зайти к ней. Она в третьей палате.

На ватных ногах я пошла. Толкнула дверь. И увидела... Да что же я увидела?

Половину, тень от того, что было Эммой — энергичной, молодежавой, деятельной: на высокой постели лежало тощее существо с ножками-палочками, высывающимися из-под простыни, рядом стоял костыль, и сплетенная из простыни веревка привязана к спинке кровати, за которую она держалась, пытаясь подняться мне навстречу.

— Валюша! — тихо-радостно воскликнула она, и это было самое необыкновенное: мы всегда звали друг друга только по имени-отчеству. — Валюша! — повторила она и стала рассказывать, какая это тяжелая, очень тяжелая операция.

Со страшным трудом она проводила меня по лестнице со второго этажа. И мы еще какое-то время постояли с ней у входа на улицу, благо день был прекрасный. Мы стояли и болтали о том о сем, как две подружки, хотя подружками никогда не были.

...Когда ее снова перевели в нашу больницу, в стационар, Эмма опять замкнулась, и ее вполне можно было понять: она ведь всю сражалась со своей болезнью, с тяжелыми последствиями операции. А я за ней наблюдала. Мне даже неловко говорить об этом: я как бы ставила на ней «следственный эксперимент».

Однажды, когда, как обычно, мы, амбулаторные больные, приехали на процедуру, нам зачем-то понадобилась вилка, а вилки у нас не было.

— Попросим у Эммы, — предложила я. И пошла к ее палате.

Открыла дверь — и на меня пахло таким застарелым больничным смрадом — в этой палате, плюс ко всему прочему, лежала еще полупарализованная женщина, за которой ухаживали по очереди две родственницы. За тот год, что я их наблюдала, они внешне почти сравнялись со своей больной — одной из них она была мать, другой — тетка.

Я схватила вилку на столике у Эммы и выскочила из палаты как ошпаренная. Казалось бы, чему тут удивляться? Я сама лежала в этом отделении больше трех месяцев, все здесь знала, всякого насмотрелась. Но в этот момент

вдруг отчетливо почувствовала, что нет, не операции, а вот этого лежания здесь, в этом аду и смраде, больше уже не вынесу. Ведь правду говорят, что у нас делают потрясающие операции, но потом люди гибнут, потому что нет должного ухода, больничная обстановка не дает поправляться.

Нет, не выдержу, подумала я, возвращая Эмме злосчастную вилку.

Между тем Эмма не поправлялась. Она как будто и стала набирать аппетит и вес, но внешне выглядела все такой же худой — одним словом, не жилец, жестоко и трагично думалось мне. К тому же этот торчащий из-под халата ужасный катетер — дело в том, что во время операции фистула у нее оставилась. Это было еще одно осложнение. Потом ей пришлось вживлять искусственный аппарат «гордекс». Тоже деньги, и немалые, а главное, еще мучительные испытания. И вот наконец после еще трех жестоких месяцев мы с ней снова на одной «перевозке» едем с диализа: наконец ее отпустили домой.

— Три месяца не видела кота, — говорит она грустно-мечтательно. — Даже не верится!

Я ее понимаю как никто. Увидеть родных, кота, собаку — это ведь и есть возвращение к жизни.

Но через два дня, во вторник, ее около дома на Веерной почти что на руках втаскивают в перевозку.

— Что случилось?

— Температура повысилась.

Оказалось, у нее началось воспаление легких — самое тяжелое, какое только может быть, осложнение после операции. Больше я ее не видела.

Когда недели через две я спросила у ее врача, где же Эмма и как она себя чувствует, та отвечала мне долгим, со значением, взглядом.

— А вы разве не слышали? Тогда же, в субботу, после диализа... Сердце...

Я закрыла лицо руками — для меня эта смерть была больше чем смерть.

Тамара

Я узнала об этом, когда приехала однажды на диализ — своим ходом, без перевозки. С тяжелой сумкой и, по правде сказать, еле живая после ленинградской «Красной стрелы». Где в наглухо запертом на ночь самыми современными блокираторами (от рэкетиров) купе было чуть не сорок градусов жары: натопили, дров не пожалели, а вентиляция, конечно, не работает. А что же делается в других, не таких «комфортабельных», поездах? Естественно, мы всю ночь не спали.

Приползли в Москву еле живые.

А впрочем, история этой поездки особая и о ней стоит сказать отдельно.

Когда меня на всю жизнь подключили к аппарату «искусственная почка», самая тяжкая мысль была та, что всякие поездки, командировки и прочее — все это для меня теперь отрезано напрочь. Правда, эта мысль возникла уже тогда, когда диализ худо-бедно начал делать свое дело. Что же, думала я, два раза на диализ в неделю (тогда я ездила с такой именно периодичностью), а остальное время сидеть сиднем, как остальные больные, перебирая анализы да давление, от процедуры к процедуре? Признаться, не столько думала тогда о работе, сколько о привычной для меня возможности мотаться на фестивали. То, что и составляло, по сути, всю мою жизнь, что было мне по-настоящему интересно. Могут сказать — позвольте, какие фестивали, когда речь идет действительно о жизни и смерти? Но надо знать журналиста: всегда, сколько себя помню, я боролась за эти поездки, и отнюдь не только заграничные. В газете у меня был очень строгий и усидчивый начальник, который в душе терпеть не мог отпускать сотрудников, тем более своего зама, в командировки.

А потом и командировки как таковые сами по себе кончились — для многих газет, в том числе и нашей, наступили тяжелые времена, полное безденежье, когда денег хватало только на одну зарплату, какие уж тут командировки.

И все-таки я ездила, иногда даже покупая билеты за свой счет, пребывание же и гостиницу мне обычно оплачивала дирекция фестиваля.

И вот последний фестиваль в Сочи. Улетаю, хотя уже очень плохо себя чувствую, хотя уже надо экстренно ложиться в больницу и решать вопрос о диализе. Отчетливо понимаю, чем рискую. Но так же отчетливо понимаю, что это, наверное, мой последний фестиваль. Прилетаем. Я снова вижу это море, эти неземные красоты. А за неделю до этого я успела еще посмотреть и в Ярославль на актерский фестиваль «Созвездие». Там было совсем неприглядно и жутко холодно, хотя и в начале мая. Одним словом, никаких райских куш. Так что в Сочи я летела не за красотами. Просто напоследок не могла надышаться призрачным воздухом свободы, от которого не умела отвыкнуть.

Последняя поездка. Последний перелет. Быть может, последний раз вижу море. Ночами не сплю: в гостинице до утра грохочет джаз. Утром встаю еле живая, вся опухшая, с мешками под глазами. Болезнь несетя на меня, как «убегающий поезд» в фильме Кончаловского.

Фестивали — лишь короткая передышка. Впереди маячил тупик: теперь уже ничто не могло отделить меня от ненавистной станции «диализ». И хотя слышала о нем все последние годы жизни, но намеренно так ничего и не читала и не хотела знать: вечная страусиная позиция. А впрочем, может быть, и не такая уж и неверная: зачем пытаться узнать свое будущее? Жизнь сама тебе его укажет, никуда не денешься.

Так вот.

Уже месяцев семь спустя, когда вроде бы я втянулась в круговерть диализа и даже привыкла к нему, возник (вернее, он возник давно) вопрос о фестивале в Гатчине. Рассказываю обо всем этом потому, что есть разные точки зрения, кстати и у нас, и на Западе, по поводу возможности передвижения диализников. «Там» они свободно путешествуют даже не по городам, а по странам. В комфортабельных отелях высшей категории стоят, так мне говорили, аппараты «искусственная почка», но у нас! У нас больной, отбывающий в командировку даже на несколько дней, вызывает у всех прямо-таки изумление. Да и условий для такого свободного перемещения здесь просто нет. И потому у нас большинство людей, находящихся на диализе, абсолютно погружены в болезнь, они и домой-то не решаются сами добраться и в глубине души давно поставили крест на нормальном человеческом существовании. Мне же думается, что многие из них просто не хотят делать усилий. Не хотят двигаться, ходить, чем-то заниматься, тем более работать. «Как, вы еще работаете?» — привычно восклицают они.

А чего мне это стоило? И стоит? Дело в том, что по правилам нам, диализникам, положена первая группа инвалидности. Я в свое время поспешила выписаться из больницы, чтобы не попасть на инвалидность, то есть чтобы было меньше четырех месяцев. Я еще не знала, что теперь законом обречена на эту именно категорию граждан (в которую, впрочем, очень многие как раз отчаянно стремятся). Группа инвалидности как будто дает много различных льгот, но еще больше ограничений: например, первая группа автоматически исключает работу на государственном, во всяком случае, предприятии.

Не буду пересказывать, как на ВТЭКе я буквально вымолила себе вторую группу, «пока что», и с правом работы — мол, она у меня творческая и почти что на дому.

Но вернемся, однако, к Гатчине, к фестивалю. И к проблеме работать или не работать, будучи на диализе.

В свое время именно я и придумала этот фестиваль. Год, если не больше, бегала, согласовывала, вела переговоры с разными городами и регионами — где б его, фестиваль, поселить.

После всех мытарств и поисков, после прекрасных русских городов, которые были каждый хорош и удивителен по-своему, фестиваль обрел себя в Гатчине. Где-то на тусовке мы познакомились с невероятно энергичной директ-

рисой местного, единственного оставшегося на весь город, кинотеатра. И вместе с ней — и еще много с кем — мы эту гору свернули.

И вот теперь Гатчина — второй уже раз. Переговоры идут давно, любой фестиваль готовится чуть не за полгода. И давно уже я сказала, что, мол, какие для меня теперь фестивали? В моем-то положении? Но мне упорно звонили, вовлекая во всякие фестивальные хлопоты. И я уже чувствовала, что вслед за собакой Долли Гатчина становится для меня вторым канатом, привязывающим меня к жизни.

И вот уже и эта, вторая, Гатчина позади. А впереди — снова диализ за диализом. Ужасна сама эта мысль о возвращении на круги своя.

Едучи с вокзала, забегаю в редакцию, бросаю там материалы на машинку. И буквально еле живая тащусь в свое единственное прибежище — в больницу: попробуй пропустить хоть одну процедуру! А здесь пропущена целая неделя. Правда, в Ленинграде я все-таки сделала один диализ. По очень сложной предварительной договоренности.

И вот я снова в нашем скорбном обиталище. Тащусь по аллее к нашему шестому корпусу. Вдруг встречаю товарища по несчастью Володю. Удивляюсь: чего это он так рано? Он, неуклюжий, большой, говорят, сильно пьющий, — типичный житель Подмосковья.

— На диализ?

— Угу.

Он как-то неловко переминается. И вдруг говорит очень просто:

— А Тамара умерла.

Я закрываю лицо руками. Смерть всегда неожиданна. Даже когда ее ожидаешь.

Тамара...

Помню, когда вошла в палату № 1 на шесть человек, замерла в некотором оцепенении: и вот здесь я буду лежать? В палате на шесть человек?

Когда-то, двадцать лет назад, я начала свою почечную одиссею с палаты на тринадцать человек. И меня устроили на каталке, прямо посреди огромной комнаты, похожей на зал ожидания в каком-нибудь маленьком аэропорту. Когда передвинули к стенке и я получила обычную койку, это уже было счастье.

Потом волею судьбы я оказалась в ЦКБ Четвертого управления — по тогдашнему месту работы. Здесь сначала лежала на застекленной террасе (отделение было переполнено), но в конце концов оказалась в шикарной трехместной палате. С огромной ванной. Еще годика через два передвинулась на ступеньку выше — уже к двухместным pokojам. Впрочем, муж считает, что чем хуже бытовые условия, тем лучше лечат. И, возможно, он прав.

Так вот, рядом со мной здесь, в отделении гемодиализа, лежала женщина, ее звали Тамара Алексеевна, но уже вскоре я стала звать ее просто Тамарой — наши кровати были рядом. И мы с ней «проспали», а вернее, почти прободрствовали много, много ночей кряду.

В ту первую ночь в большой и невероятно душной палате Тамара все время слегка постанывала. И я со страхом думала: неужели так всегда и будет? Много-много лет уже и дома-то спишь еле-еле, со снотворными, потому они давно не помогают. А что же будет здесь? Тем более я уже знала, что почечники проводят в больницах не дни, а годы, — значит, и мне вся эта история со стопами надолго. Но я еще не знала, что такое настоящие стоны. Это мне только предстояло узнать.

Но тогда Тамара простонала всю ночь. А я так и не заснула ни на минуту.

Что такое истинный стон, я поняла, когда из побывки домой вернулась еще одна соседка по палате — Ирина. Вроде бы одного со мной возраста. И вдруг выясняется — лет на двадцать моложе меня. А выглядит старухой. Оказывается, она года четыре назад сделала операцию, но вот теперь почка отторглась и оставила ее без всякого иммунитета.

Одним словом, тоже очень тяжелая больная. Наблюдая их обеих почти три месяца, Тамару и Ирину, я невольно делала интересные для себя выводы — и

об этой болезни, и о долготерпении вообще. Как-то так получилось, что мы сразу сошлись с Тамарой. Хотя ничто, казалось бы, нас не связывало, такие мы во всем были разные. Тамара была из Подмосковья, из Воскресенска. И поэтому единственная из нас не ездила домой по субботам и воскресеньям — куда, да и как она поедет? Ведь ни машины, ничего такого у нее, конечно, не было. И вот представьте себе: лето, жара, а в больнице уже два месяца нет воды. Она мается, ей невероятно тяжело — мыться-то можно только холодной водой. Да и каково ей мыться? Она ведь и ходит-то еле-еле. Дело в том, что плюс ко всем болезням ей еще с полгода назад, до моего здесь появления, фактически «отняли ногу». То есть медсестра сделала ей укол и попала в нерв. За это, конечно, где-нибудь в цивилизованном мире ее бы по суду обложили какой-нибудь данью в пользу пострадавшей — но только не у нас. Правда, в свое дежурство эта самая медсестра теперь приходила к нам в палату и по полчаса массировала Тамаре ногу.

Однажды Тамара попросила меня написать ей доверенность на инвалидную пенсию. Дело в том, что ее муж Володя — сильно пьющий и потому доверенность — на сестру.

Володя регулярно являлся к нам в больницу, и притом — трезвый. Сидел по полдня: и в самом деле, если человек приехал аж из самого Воскресенска, то это уже надолго. Но каково терпеть по полдня в женской палате мужика? Невольно прислушивалась к их разговорам. Суровая жизнь. Он и в подарок-то ей приносил что-то до такой степени нищее, что прямо слезы капали. Кусочек колбаски, «пельмешки» (так она их называла), кваску — любила сама себе делать окрошку. Чувствовалось, что она и жалела его вроде бы, но и немного стеснялась. Иногда они часами просто молчали. Иногда он помогал ей мыться — вот так и шла жизнь, вся на чужих глазах.

А по ночам Тамара вела иногда непримиримую войну с Ириной — с ее театральным поведением, бесконечным стремлением обратить на себя внимание. Есть такие больные, которые всех вокруг готовы ухайдокать, прежде всего — своих несчастных мужей (как правило, у них мужья подкаблучники). Мстят всему миру, а им — в первую очередь.

Не такова была Тамара. Она никогда ни от кого ничего не требовала, все брала на себя. Вот такой я ее запомнила.

Смерть профессора

Мы, в общем, не были знакомы, хотя, естественно, видались друг с другом и здоровались, как и все на диализе. Меня этот человек (как его зовут, я узнала только в день его гибели) сначала заинтересовал чисто внешне — он был высокий, большой, как говорят, представительный, но при этом с огромным животом, будто у беременной женщины. Это, увы, признак нашей болезни — поликистоза, то есть множественного кистозного поражения почек, которые почему-то при этом расположены не сзади, а спереди — такой уж парадокс болезни.

Потом я кое-что о нем узнала, не специально, а случайно, когда говорила со своим врачом насчет собственной операции. Он рассказал, что вот, мол, Алексей Орестович (так я узнала его имя) поступил на диализ с целью именно оперироваться. Но потом резко передумал. И теперь решил остаться на диализе. Я представила, как бы у него изымали такую огромную почку (а может быть, и две пришлось бы удалять?). Вспомнила Эмму — у нее почка тянула на три кило. Здесь же речь, думаю, была о куда большей.

Он сам себе установил режим: диализ не три, как большинству, а два раза в неделю, правда по пять часов (это очень много!). Конечно, двухразовый диализ предполагает хорошее состояние больного, хорошие же анализы, но пациент был очень упрямый. Он сам все себе устанавливал и назначал, жестко сам за себя боролся, чуть не каждый день бегал по несколько километров!

Таким был Алексей Орестович. С ним никто особенно не дружил, никто не панибратствовал, не лялякал до или после диализа — в ожидании машины о чем здесь только не пересудачишь с товарищами по несчастью, от политики до кулинарных рецептов. Профессор (Алексей Орестович был профессор) обычно приезжал позже остальных на своей машине, здоровался, входил в раздевалку и шел на диализ. После я его обычно не видела, ведь его диализ продолжался, я уже говорила, пять долгих часов.

А потом началась эта история с новой аппаратурой, когда мы с ним, собственно, и познакомились. Это было нечто. Вдруг разнесся слух, что к нам поступила из Германии новая аппаратура фирмы «Фрэзениус». Двадцать аппаратов(!), абсолютно бесплатно, со всем, что к ним полагается, даже с лабораторией и с обязательством обучить персонал. С гарантийным сроком обслуживания на год. Как в сказке! Наши врачи и зав. отделением, обычно весьма мрачный и закрытый, только об этом и говорили.

Все это был дар от некоего христианского благотворительного фонда, базирующегося в Америке, но имеющего свои отделения и в других странах. В частности, и в России, в Москве. Один из работников этого фонда у нас и лечился и, по-видимому, был как-то причастен ко всей этой истории. Но я его не знала, он был в другой смене, только дважды говорила с ним по телефону. Одновременно поползли слухи — впрочем, врачи говорили об этом открыто, — что муниципальное начальство не в курсе всей этой акции. И потому якобы уже приехавший с аппаратурой контейнер у ворот больницы, по звонку сверху, завернули: теперь ведь у всех больничных ворот стоит ОМОН.

Знали, что я работаю в газете (хотя я всегда повторяла, что по очень узкому профилю — по кино). Но все рассказывали мне эту историю с явной надеждой, что я что-нибудь да напишу или помогу в другом смысле.

Все это происходило под Новый год. Поэтому, с одной стороны, было как-то *осененно* и верилось в лучшее. А с другой — всем, в особенности газетчикам, было не до бед страждущих и сирых. Тем не менее я позвонила в «Труд», и меня связали с некой журналисткой, занимавшейся вопросами медицины. И та, сославшись на новогоднюю суету, попросила меня помочь ей и самой записать кое-какие интервью на диктофон.

Не тут-то было! Несколько дней вместе с тапочками и тренировочными штанами я таскала с собой в сумке на диализ и этот самый диктофон. И я поняла, что серьезно и открыто, под запись, никто из моих врачей говорить не будет: они вроде и не отказывались, но как-то мялись, переносили со дня на день, продолжали бесконечно рассуждать на эту тему, но как бы в воздух, когда я все равно лежала прикованная к аппарату и ничего записывать не могла.

И тут вдруг — уж не помню, как мы разговорились, но мы все, больные, тогда только об этом и говорили — профессор предложил мне, зная, вероятно, что я журналист, на бумаге лаконично изложить ему суть дела. А он уж ее подпишет у всех желающих больных (нашлись и такие, что подписать побоялись), размножит и разошлет по высоким инстанциям, где у него есть знакомства.

Вот так мы, собственно, и познакомились. Я сказала, что все-таки напишу какую-нибудь статью или заметку в «Труд». На что он язвительно и твердо заметил, что все эти газеты как были идеологически ангажированы и насквозь в этом смысле продажны, так и остались. И никто, мол, на них внимания не обратит, и незачем потому все это делать. И сколько бы я потом на эту тему ни заговаривала, он всегда эту свою мысль повторял, отвергая помощь «продажных» газетчиков. Я, правда, с ним не соглашалась, убежденная, что газетное слово и сегодня играет роль и будирует общество. Он же верил в успех своей «линии поведения».

Тщетно. Нас собрали однажды после диализа, и Главный нефролог в присутствии тех самых гайнственных людей, которые и собирались поставить нам новую технику, долго втолковывала нам, что произошло недоразумение, которое всех нас ввело в заблуждение: никаких законных бумаг на эту аппаратуру

она в глаза не видела. И что, мол, если бы ей их представили, то разве она, всегда борющаяся за каждый новый аппарат, стала бы сопротивляться? Она говорила путано, сумбурно, непонятно и очень волнуясь. Те, напротив, отвечали ей очень спокойно. Народ — то есть мы. — безмолвствовал.

Завершая эту историю, скажу, что так до сих пор и не поняла, в чем тут были секрет и тайна.

И вот вдруг профессор умер. Ненадолго, как всегда в таких случаях, наше отделение взбудоражилось. Еще бы — смерть, да такого необычного человека!

Перед тем рано утром мы видели, как привезли его на каталке, и он едва дышал — кажется, очень высокое давление. Сестры, врачи принялись хлопотать — в первую очередь надо снизить показатели давления, но все это очень коварно: давление может сразу так же резко упасть, и до критических показателей, все мы это очень хорошо знаем. Здесь, кажется, именно так и произошло. И — внезапная остановка сердца.

Петров и КГБ

Расскажу про один курьезный случай.

Дело было на диализе, который в этот раз уже подходил к концу. Мы двое, я и бывшая прокурорша Вера Семеновна, уже отключились, а двое наших мужчин, Петров и Эдик, еще лежали.

И тут Вера Семеновна, обычно слушавшая на диализе маленький приемник — у нас каждый здесь ведет себя по-своему и у каждого свой дом на постели: у кого книжки-газеты, у кого еда, у кого напитки-фрукты — зрелище, доложу вам, забавное, если бы не шла речь о тяжелом в каждом случае больном, находящемся в пограничной, между жизнью и смертью, ситуации, — так вот, Вера Семеновна сообщила нам, что только что услышала по радио — попали в авткатастрофу где-то в Денвере наши знаменитые хоккеисты. То есть бывшие *наши*, теперь *ихние*.

Уехавшие, отбившие из России *туда* спортсмены отнюдь не по каким-то политическим причинам, а просто на заработки, никогда не вызывали у меня уважения. Сделанные и выпестованные страной, где они родились и выучились всему, что могут делать, где с ними носились как с писаной торбой, они покинули страну, когда она ослабела.

В общем, разговор зашел об уехавших, оставшихся и т. п.

— Они вкалывали! — вдруг выкрикнул молчавший до того Петров. — И всего, что заработали, своими руками добились!

— А мы не вкалывали? Не вкалываем до сих пор? — накалилась и я.

— Ну вы-то!.. Зачем вам-то за границу уезжать, вы и так благодаря КГБ весь мир объездили!

Оказывается, он весьма прислушивался к моим рассказам и делал свои выводы.

...Сколько я потом ни кипятилась, едучи в электричке на дачу и придумывая Петрову египетские казни, отчетливо понимала свое бессилие. На его оскорбление как я могла ответить?

Впрочем, я давно замечала, что он меня недолюбливает.

Вы представляете себе, что такое совместное пребывание на гемодиализе? Это люди, в данном случае четверо людей, вынужденно находящиеся в теснейшем общении. Люди, которые, естественно, время от времени меняются (кто-то уходит на операцию, кто-то умирает, что, кстати, случалось гораздо чаще), но в основном этот так называемый контингент держится месяцами, а то и годами: ХПН, то есть хроническая почечная недостаточность, болезнь исчезающая, нелечащаяся, а только ухудшающаяся. Потому все эти благие пожелания типа «выздоровливайте!» так нас раздражают своей полной неосведомленностью в самой сути нашей болезни.

Вынужденное, совместное существование — очень нелегкое дело. Аура этих сложных отношений невероятно затейлива и капризна.

Когда человека подключают к аппарату на три — пять часов и он вынужден лежать неподвижно (это в лучшем случае, в худшем — всякие ЧП типа резкого падения или повышения давления, иногда дикой боли в подключенной руке, иногда нестерпимого зуда, жара или озноба), если он не читает и не слушает радио, то неизбежно заговаривает о чем-то. А неизбежный разговор приводит порой к конфликтам. А конфликты сегодня почти все на почве политики.

С Александром Михайловичем, то бишь с Петровым, у меня были сначала даже скорее теплые, дружеские отношения. Мы часто болтали с ним о том о сем, а так как познакомились как раз во время президентских выборов, то, естественно, больше всего говорили о выборах. Петров оказался страстным поклонником генерала Лебеда, он о нем только и говорил целыми диализами.

Я, конечно, вспомнила при этом, как познакомилась с Лебедем в Тирасполе, во время кинофестиваля, — он принимал всех нас в штабе своей 14-й армии. Он всех тогда буквально покори́л своим совершенно особым поведением, манерой говорить, отвечать на самые «провокационные» вопросы (а таких, кстати, было немало). Одним словом, я вернулась из Тирасполя совершенно им завороженная.

Но потом выборы кончились, начались наши обычные больничные будни, и я стала внимательнее присматриваться к своему соседу. И с удивлением обнаружила, что он — как будто ненавидящий коммунистов — по сути-то и есть самый обыкновенный коммунист, в примитивном, правда, бытовом смысле слова — в смысле, что все равны. Это у него была просто-таки какая-то идея фикс.

Потому-то он меня люто и невзлюбил, что я была для него из какого-то другого, непонятного ему мира.

Однажды у меня с ним произошел такой инцидент. Я на пять дней уехала на кинофестиваль в Сочи, а когда вернулась, напечатала большую статью об этом в своей газете.

Не буду долго рассказывать, как мне в Сочи было плохо, хотя там тогда было куда прохладнее, чем в Москве. Но избыточная влажность, а еще — накапливание воды в организме (ела с утра до ночи черешню и клубнику) довели до того, что ноги уже не ходили вовсе. А на «Кинотавре» надо обладать поистине бычьим здоровьем: вставать рано, ложиться за полночь, смотреть по пять-шесть фильмов в день и в разных точках, сидеть на пресс-конференциях и разных там симпозиумах. И даже если не загорать, не купаться и не ужинать, ХПН дает о себе знать. Так что эта статья о «Кинотавре» стоила мне много-много здоровья.

И вдруг Петров мне вежливенько так во время диализа сообщает — мол, что же это такое, Валентина Сергеевна, не видел я вашей статьи в вашей газете, так были вы на «Кинотавре» или нет?

Больше всего меня удивило, что Петров читает нашу газету. Впрочем, мог, конечно, и специально поискать в киосках — чего не сделаешь ради коллеги по несчастью? Тогда я ему эту газету просто принесла — и все дела, сунула в руки, чтоб заткнулся.

Мне даже нравилась его неистовая влюбленность в генерала Лебеда: в ней было что-то искреннее, наивное. Я ему рассказывала об уже упоминавшихся здесь моих встречах с Лебедем, вспоминала разные подробности, он их с интересом, казалось, выслушивал. Потом я однажды очень сочувствовала ему, когда он собрался к себе далеко на дачу где-то под Вышним Волочком. Дело в том, что нам, диализникам, по сути, и дачи тоже заказаны, особенно в дальнем расположении, то есть поехать вроде бы и можно, но рискуя опять-таки здоровьем: мало что там может случиться, помощи-то за городом не дождешься. И вот тем не менее Петров однажды поехал. Вернулся очень счастливый и привез нашей медсестре Ире роскошный букет пионов, которые так сладко пахли весь диализ...

И вдруг обвинил меня в сотрудничестве с госбезопасностью.

Жизнь в двух измерениях

С утра еду в Белый дом на заседание правительства по вопросам кино.

Всю ночь не сплю, боясь проспать, прошу подругу позвонить мне и разбудить в семь утра. Это очень рано, мне надо быть только без двадцати десять, но я еще там не была, здание гигантское, масса проходных и подъездов, боюсь заблудиться.

На спецконтроле, который как в аэропортах, бдительные охранники изучают мою хозяйственную сумку — понимаю, что с такими сюда никто не ходит. «Это что?» — «Это термос. — Термос у меня металлический, новой конструкции, действительно по виду довольно необычный и угрожающий. — Я после вашего заседания, извините, еду в больницу».

Что объяснишь этим людям про нашу, про мою в частности, жизнь?

Вот и говорю, что живу в двух измерениях. День в реальной жизни, со всеми ее хлопотами, прежде всего служебными, рабочими, газетными (не говорю о личных, семейных — это ведь у всех, но и они у меня немалые и очень для меня нелегки). День — в медицине: на кровати, в больнице, которая давно стала для меня вторым, а может быть, и первым домом. Я приезжаю сюда и сразу погружаюсь в тоже по-своему суетный мир диализников, где речь только о болезнях: кто сколько набрал (жидкости), столько же надо откачать; у кого какое давление; кто как вчера спал; кто какие лекарства принимает; у кого улучшилось, у кого ухудшилось. Потом опрокидываешься на кровать часа на четыре, и этот момент кажется сладостным: Господи, теперь можно вытянуть ноги, все забыть и погрузиться в полудрему.

Вспоминаю, как недавно ездила на кинофестиваль в Выборг: очень люблю этот город и решила поехать сюда хотя бы дня на четыре. Но — уже бессонная ночь в поезде, и выходишь на платформу в темных очках, потому что буквально вся опухла от тревожно-лихорадочного, но не больше чем двухчасового сна: в соседнем купе до пяти утра веселилась компания знакомых журналистов. В прежнее время и ты бы там непременно веселилась тоже. А здесь всю ночь ворочаешься на огромной жесткой подушке, проклиная все на свете и с ужасом ощущая, что ночь уже проходит, а ты так ни на минуту и не заснула. В каком виде приедешь в Выборг?

В ужасном. На платформе к тебе подходит такой хорошо знакомый и прекрасно выглядящий в свои семьдесят пять кинорежиссер Станислав Иосифович Ростоцкий (он с некоторых пор живет на каком-то крошечном островке под Выборгом), а ты стыдливо прячешь от него лицо. Когда-то, в начале перестройки, когда Ростоцкого повыгнали со всех его постов в кино наши «младореформаторы», я поехала к нему на съемки картины «Из жизни Федора Кузькина» и написала целую полосу о нем, чем ему тогда помогла: о забытом вдруг вспомнили все. С тех пор мы дружим.

Но сейчас я испытываю почти унижение. Зачем я приехала? Что я здесь буду делать? Лежать на кровати в номере? Делать картофельные маски на лицо, чтобы хоть немного убрать отеки? Безнадежно. Прежде всего очень плохо себя чувствую. И дело даже не во внешнем виде — хожу с трудом, задыхаюсь, по ночам не сплю: душно, жарко. Соседка, журналистка из ТАССа, всячески помогает, заботится, но что она может сделать? На третий день не выдерживаю и подаю заявку на обратный билет, благо здесь это не проблема.

Загружаюсь в поезд Хельсинки — Москва. И снова попадаю в веселую компанию. Теперь со мной в одном купе едет какая-то эстрадная дива, ее провожают с шампанским и цветами. Она куда-то исчезает и часа в два ночи, извиняясь, вынимает из-под меня какие-то вещички: во время посадки в суете мы их как-то перепутали. Происходит смена позиций весьма обременительная. Наверное, я уж вовсе не усну.

И точно: не заснула ни на минуту. Буквально еле живая, падаю из вагона в руки встречающего меня мужа, и мы мчимся напрямик в больницу. На ди-

ализ. Падаю на кровать — вытягиваю ноги, блаженство, умоляю: эуфиллин! Блаженство на минуту — всё отпускает.

Проваливаюсь в привычную полудрему. Очнулась. И слышу: диализ не получился. Жидкости почти совсем не откачали. Придется еще часа два полежать...

Да, я живу в двух измерениях. Журналистика и диализ. Работа и болезнь. Конечно, очень многое в моей жизни изменилось. Вернее, вся моя жизнь сломалась, просто я стараюсь об этом не думать.

Даже мое вечное «соперничество» с мужем теперь приобрело совсем иные формы, совершенно неожиданные.

Раньше оно всегда было по творчеству, как ни странно это звучит сегодня: муж — известный писатель, а я кто такая? Кинокритик с заурядной фамилией.

Мы начинали вместе в «Московском комсомольце», который, впрочем, тогда был совсем другим — питомником идей и талантов. Сколько нынешних знаменитостей из него вышло! Мы там все со всеми соревновались, в том числе и я со своим будущим мужем. Хотя тогда я, пожалуй, была впереди. Например, уже напечаталась в очень популярном в ту пору журнале «Юность», в том самом номере, где была и первая повесть Аксенова.

Писала я в свое время и рассказы. И даже кое-что из них было напечатано. Но только кое-что. В принципе, просто никогда не могла писать «в стол». А писательство без этого невозможно. А вот муж мог, много лет он писал именно в стол, прежде чем были опубликованы первые опыты его прозы.

Вот в чем он меня и победил — в долготерпении. Но теперь, когда приближается старость, другие заботы и другие «соревнования» одолевают нас. Теперь мы соревнуемся не в творческих, а в иных — не знаю, как сказать, — в физиологических, что ли, «победах», а именно — кто из нас серьезнее, сильнее болен. Дело в том, что никогда до сих пор не болевший муж вдруг занемог, и серьезно: легкие. Началось все с обыкновенной простуды, а кончилось — не знаю точно, как называется, не то эмфизема, не то еще что, одним словом, хроническое.

Ну, меня этим не удивишь. А он бросился в болезнь как в пропасть — все эти доктора, консилиумы, прогнозы и диагнозы, один другой опровергающие. И вот теперь у нас с мужем образовалось новое соревнование — уже не по творчеству, а... по болезни.

Про себя же чувствую, что все больше и больше опускаюсь. Вторая моя, больничная, жизнь все больше тащит меня на дно и, сколько ни сопротивляюсь, утаскивает все ниже и ниже. Всегда очень много, непомерно много занималась своей внешностью, гардеробом и прочими аксессуарами имиджа. Объясняя это тем, что приходилось постоянно быть на виду, так сказать, в высшем свете — там, где режиссеры, артисты, писатели, творческая богема. А теперь и просто поход в Дом кино (некогда нашу альма-матер) стал для меня пыткой. Да и само кино как род занятий потеряло былой престиж.

Сегодня, когда я через день езжу на диализ, естественно, черт-те в чем (хотя некоторые наши дамы, как раз не работающие, очень следят за собой, они даже говорят, а куда нам, мол, еще одеваться), — так вот, в сегодняшней своей ситуации я могу даже и на работу пойти в нечищенных сапогах, в мятой юбке. А уж волосы-то! Да это, по моим нынешним временам, просто пытка, сплошное мучение. Раньше у меня всегда был собственный и конечно же модный парикмахер. Теперь стригусь прямо в больнице, а уж укладываюсь сама. О, где вы, где вы, времена — да не какой-то там шикарной, но просто нормальной жизни! Отчетливо ощущаю, что медленно, но верно качусь — то ли в старость, то ли в болезнь.

* * *

Да, оказывается, можно существовать в палате на четверых, на шестерых, из которых двое при смерти, одна не разрешает в тридцать градусов жары открывать окно, повсюду бегают тараканы, потому что все ходячие и не ходячие едят в палате, над одной из кроватей висит в разгаре лета на распялке зимнее

пальто, около каждой больной сидит постоянно по двое-трое посетителей, чаще всего мужчин, — и так до позднего вечера.

...Это было на даче — на той еще, самой первой, родительской, что на Канале имени Москвы.

В то время мы разъехались, а потом и разошлись с мужем (с которым через пять лет опять сошлись). Но эти пять лет оказались самыми тяжелыми в моей жизни: еще бы, в тридцать лет — и вдруг остаться одной! Даже мать в той же однокомнатной квартире сразу стала чужим, почти враждебным человеком.

Мы разошлись. И я уже училась быть одна — то, что поначалу представлялось мне немыслимым, невозможным.

И вот вдруг на даче ночью раздается тихий стук в окно, в мою комнату. Раскрываю ставни — стоит муж, немного, а впрочем, скорее много выпивший (вообще-то не пьет и потому быстро пьянеет): «Я приехал на велосипеде». На велосипеде? Из Москвы? В такую темень? Но велосипед действительно стоял под окном.

Мы проговорили всю ночь — шепотом, чтобы не услышали родственники. Он ушел тоже через окно, не хотел, чтобы кто-нибудь знал о его появлении. И даже, наверное, не собирался возвращаться в семейное лоно.

А я пошла бродить по поселку — уже светало. И почему-то пахло свежим огурцом — я потом поняла, это был огуречный лосьон на лице, тогда еще все эти средства делались на натуральном сырье. Пахло огурцом — я была счастлива...

Москва — село Доброе.
1996 — 1997.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛ. НОВИКОВ

*

БЕДНЫЙ ЭРОС

Неподъемная тема современной словесности

В этом нашем постмодернистском необайронизме, думал он далее, мы, быть может, что-то обретаем по части самовыражения, но никогда ничего по части любви.

Василий Аксенов, «Новый сладостный стиль».

1

Любовь и тайная свобода в нашей литературе всегда шли рука об руку. Заветной целью писателя было раскрытие для читателя двух тайн: а) человек может быть свободен в обществе; б) человек может быть свободен в любви. На эти два фронта велась борьба в самые трудные для свободного слова времена. Оглянемся хотя бы лет на пятнадцать — двадцать назад, и мы увидим, как сквозь цензурный железобетон с равной степенью упорства пробивались намеки на террор и репрессии в прошлом, на социальную несправедливость в настоящем, на обреченность «системы» в будущем, а также на наличие сексуально-интимных отношений между людьми во все времена. Эротика отнюдь не поощрялась, но к ней дерзко прибегали даже ортодоксы социалистического реализма.

Возьмем для примера хоть «Новый мир» 1980 года, а в нем — роман Владимира Попова «Тихая заводь», посвященный доблестному труду уральских сталеваров. Основной пафос, конечно, производственный: «„Теперь плавки будем пускать только так”, — безапелляционно заявил Балатьев». Читатель при этом не мог не прыснуть в кулак, поскольку пародийный лозунг «Наша сила — в наших плавках» был известен едва ли не каждому школьнику. Но чтобы сообщить тексту хотя бы минимальную читабельность, романист не мог обойтись без любовных добавок. И в тихой заводии водились страсти:

«Запершись в крохотном домике, они долго стояли, испуганно целуясь, испытывая блаженство от сознания, что в эти их владения никто не вторгнется, что они изолированы от всего мира. Когда Николай стал порывисто расстегивать пуговицы на платье, Светлана отстранила его:

— Я сама».

Не будем оценивать образно-стилистическое качество процитированных фрагментов, но нельзя не заметить, что подробности интимных отношений вызывают куда большее доверие, чем повышенные обязательства сталеваров. Как там на самом деле было с плавками — неизвестно, зато нет, в общем-то, оснований сомневаться в подлинности порывистого Николая — так же, как и в том факте, что где-то какая-то Светлана произносила столь приятные для мужского слуха слова. Иначе говоря, шаг в сторону «интима» был каким-никаким шагом в сторону жизненной реальности. «Оживляж» — таким термином

определил подобные тенденции тогдашней прозы Сергей Чупринин, и, несмотря на ироническую едкость французского суффикса, в слове этом сохранилась и здоровая корневая семантическая основа: оживить изображаемые характеры и отношения стремится всякий писатель, без эротических же красок любая художественная палитра будет выглядеть обедненной.

Конец 80-х — начало 90-х годов ознаменовались в нашей художественной культуре мощным эротическим бумом. Фильм Василия Пичула «Маленькая Вера» буквально перевернул традиционные представления: запечатленная кинематографистами-новаторами сексуальная позиция даже получила в популярных медицинских изданиях название «маленькая Вера» (что, правда, несколько обидно для Джейн Фонды и давно известного фильма «Загнанных лошадей пристреливают...», не говоря уже о subtilной героине четвертой новеллы первого дня «Декамерона»). На театральных подмостках в течение семидесяти советских лет обнаженную женскую натуру удалось явить лишь однажды — в таганском спектакле «Мастер и Маргарита», и то лишь со спины да еще и ценной последовавшей травли в «Правде». За минувшие же десять лет элементы и женского и мужского стриптиза стали будничной рутинной постановочной практики, и мы уже не удивимся мизансцене, где Хлестаков в костюме Адама будет обхаживать Марью Антоновну в костюме Евы (что при нынешних бюджетных трудностях не вызвало бы нареканий и со стороны Министерства культуры).

В литературе приход сексуальной революции был не столь нагляден, но первое предвестье его ощущалось уже в знаковой публикации «Новым миром» битовского «Пушкинского дома» в конце 1987 года: «К этому времени он не знал (и это буквально) таких слов, как: измена и предательство, репрессия и культ, еврей и жид, МВД и ГПУ, пенис и клитор, унижение и боль, князь и жлоб». Каждому видно, какая из словесных пар лексикона Левы Одоевцева была тогда самой непривычной для журнального шрифта. Скоро грянет буря!

И вот Зимний уже взят Аксеновым, Лимоновым, Юзом Алешковским, вышедшими на многотиражный простор и снесшими на пути все былые табу. Литературный молодежак, забыв о босоногом детстве и первой учительнице, начинает самыми непристойными красками живописать немислимые эксцессы и оргии, не вызывая тем самым, однако, ни читательского, ни издательского интереса. 90-е годы не дали нам русского «Тропика Рака» и «Любовника леди Чаттерлей». Эротический бум обернулся зарубежно-переводным, эмигрантским и ретроспективным. Самыми смелыми революционерами в итоге оказались литературоведы и лингвисты. Вдохновленные легендарной фразой Ахматовой о профессиональном праве филолога произносить любые слова, они начали заполнять лакуны, заменять полнозначными лексемами ханжескую «азбуку Морзе», все эти отточия и тире подцензурных (как дореволюционных, так и советских) изданий. Серия «Русская потаенная литература» издательства «Ладомир», унаследовавшая свое название от огаревской антологии 1861 года, — так называемая «красная серия», угостившая читателей отборной, сочной да к тому же еще овечьей преданием клубничкой, породившая ряд аналитических статей о фольклорной и литературной эротике, — только она, наверное, и останется заметным наследием нашей запоздалой сексуальной революции. В практике же современной словесности самых последних лет нельзя не констатировать наличие отчетливых «контрреволюционных» тенденций.

2

Начнем со стихов. Их сегодня не сочиняет и не публикует — в периодике или сборниках — только ленивый, но не читает их и самый трудолюбивый. Нет контакта — это факт настолько же непреложный, насколько неприятный. Поэзия явно нуждается в помощи чуть ли не медицинской. Кого лечить — поэта или читателя? Что за аномалия возникла в отношениях этих двух вечных партнеров?

Причин множество, и одна из них — чрезмерное бесстрашие стихотворцев, которые как будто забыли, что муза лирики Эрато — родственница Эроты, что любовное томленье — незаменимый энергетический источник творчества. На поэтических страницах журналов днем с огнем не сыщешь не то чтобы пикантных подробностей или чувственно-телесных красок — нет даже никаких лексико-грамматических признаков лирического «объекта», адресата. Сегодняшняя версия «чудного мгновенья» — «Передо мной явился я», а до «мятежного наслажденья» дело просто не доходит. Причем этот нарциссизм лишен вызова и психологической напряженности: все пишут только о себе, ну и я туда же.

Написав это, я решил перепроверить свое утверждение и принялся листать журналы текущего года. Вот встретился все-таки заветный глагол: «Писать о тебе — все равно что шепнуть „я люблю“...» Ан нет, это он о Венеции. Автору двадцать восемь лет, родился в Ленинграде, живет в Волгограде, плывя в гондоле, сочиняет баркаролы и фигурные стихи с анжамбеманами и с прицелом на «Нобеля». Считая поэтическую езду в хорошо знакомое (и, в частности, рабское следование Бродскому) делом заведомо непродуктивным, не могу все-таки не заметить, что подражатели Бродского, имя которым легион, совершенно упустили из виду присущее их кумиру эротическое остроумие. У них не встретишь вызывающе парадоксального сравнения вроде: «Красавице платье задрал, / видишь то, что искал, а не новые дивные дивы. / И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, / но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут — / тут конец перспективы». Или гривуазной метафоры типа «ключ, подходящий к множеству дверей, / ошеломленный первым поворотом». Или иронического сожаления о том, что «в награду мне за такие речи / своих ног никто не кладет на плечи». В «постбродской» поэзии, что называется, «интим исключен», как и интимный контакт с читателем.

На таком общем уныло-целомудренном фоне резким контрастом смотрятся отдельные опыты «специализированной» эротической поэзии, согнанной на обочину, в маргинальное пространство. «Традиционалистская» обочина представлена остатками группы «куртуазных маньеристов» в лице Вадима Степанцова. Трудно теперь поверить, что десять лет назад подобное считалось стихами, да еще и эротическими, да еще и смелыми! Теперь натужные и косноязычные стилизации Степанцова («Сумерки империи», «Владимир», «Улан») нашли свое место в российском «Плейбое» — самом сером из всех цветных журналов, которые мне доводилось держать в руках:

Июнь был тоже наслажденьем,
июль был сказкой без забот,
был август дивным сновиденьем...
Сентябрь принес неожиданный плод.

Плоды на ветках зазелели,
налился силищей арбуз,
и у моей мадемуазели
под грудьку навернулся груз.

Иронически-пародийная ужимка нисколько не извиняет технической примитивности стихов. Что же до эротики... По-моему, охочих до нее новых русских плейбоев просто нагло обманывают, перемежая фотографии голых девиц страницами такой вот пыльной и затхлой книжности.

Совсем иначе работает Вера Павлова, некогда «открытая» Борисом Кузьминским в «Независимой газете», а затем выпустившая эпатазирующий сборник «Небесное животное» (составитель — опять же Б. Кузьминский)¹. Система

¹ Рецензию Владимира Абашева на книжку Веры Павловой читатель найдет в № 7 «Нового мира» за 1998 год. Журнал также откликнулся на романы В. Аксенова «Новый сладостный стиль» (Андрей Василевский. Аксенов есть Аксенов есть Аксенов. — «Новый мир», 1998, № 1) и Валерия Попова «Разбойница» (Ольга Кузнецова. Тридцатая любовь Алены. — «Новый мир», 1996, № 11), о которых речь в настоящей статье пойдет ниже. (Примеч. ред.)

прямого шокового воздействия, применяемого Павловой, немислима для нынешнего журнального бонтона, отпугивает она и критику, поскольку критический разбор требует цитат, а найти хотя бы четверостишие в рамках приличий здесь невозможно. Но мы и не такое читали, как-нибудь выдержим. Слабонервных просим на несколько минут удалиться, а мы пока, помня о своем филологическом праве произносить любые слова, рассмотрим следующую программную миниатюру Веры Павловой:

О чем бы я ни писала, пишу о е.е.
И только когда я пишу о самой е.е,
то кажется, что пишу совсем не о е.е.
Вот почему я пишу только о е.е.

Содержание декларации меня нисколько не смущает: всякий, кто знает слово «либидо», может согласиться с утверждением, сформулированным в первой строке. «Я» в этой афористической конструкции потенциально обозначает поэта, художника вообще. Настоящие же художники, изображая телесную сторону любви, вкладывают в это и некоторое философское, метафизическое содержание (развитие мысли во второй и третьей строках). Следовательно, художник имеет право полностью отдаться эротической стихии (смысл четвертой строки). Все в целом, конечно, гипербола, но без заострения, преувеличения поэзия не обходится. Не падаю я в обморок и от четырехкратного употребления экстремальной лексемы: не советовать же автору употребить что-нибудь поцензурнее, например «о сексе».

Настораживает меня другое, а именно — избыточная логичность, отсутствие внутреннего парадоксального сдвига, адекватного чувственной стихии. Слишком уж выверена позиция. А выдерживает ли ее поэтесса? Всегда ли она пишет о... скажем так: телесной стороне любви? И всегда ли пишет отважно и открыто?

И — было мало. Список мужиков —
бессонница — прочтя до середины,
я очутилась в сумрачном лесу.
Мне страшно. Я иду к себе с повинной.
Себя, как наказание, несусь.

Ну вот и струсила, за расхожие цитаты спряталась, в пятистопную моралистику ушла. Это уже не любовь, а игра в культуру, центонное литературоведение, «головизна». Читая шокирующие пассажи Павловой (в том числе об оральном сексе и т. д.), я невольно припомнил стихотворение Даниила Хармса, найденное в архиве и впервые опубликованное Н. А. Богомоловым:

Ты шьешь. Но это ерунда.
Мне нравится твоя ..нда...²

Далее следует совершенно безумное воспевание, скажем так, куннилингу-са, настолько раскованное и логически и ритмически, что по прошествии первоначального шока сразу становится ясно: эти стихи имеют и второй план, они об отношении человека к мирозданию — недаром исследователь соотносит их с написанной Хармсом примерно в то же время «Молитвой перед сном», с поэтическим «восхвалением имени Бога»³. Понимаю, что сравнивать современных стихотворцев с мастерами авангарда несколько немилосердно, но поэзия демонстративного вызова не имеет права уступать предшественникам

² Богомолов Н. «Мы — два грозой зажженные ствола». Анти-мир русской культуры Язык. Фольклор. Литература. М., 1996, стр. 322.

³ Там же, стр. 323.

хотя бы в открытости и в силе эмоционального порыва. Это, впрочем, относится не только к эротике.

3

С художественной прозой ситуация иная. Попытки выехать на пикантно-сексуальном материале обнаружили свою несостоятельность потому, что на рынок хлынул поток утилитарно-эротической литературы, только из этого материала состоящей, а следовательно, несравненно более привлекательной для потребителя. Это многочисленные медицинские и научно-популярные издания, демонстрирующие прочную «связь с жизнью» и содержащие под рубриками типа «клинический пример» такие невыдуманные и вместе с тем парадоксальные новеллы, какие и не снились нашим (пост)модернистам. Это и массовая развлекательная продукция: активно читаемые населением газеты типа «СПИД-Инфо», сборники анекдотов, отрывные календари, которые десять лет назад учили народ ориентироваться на пример Владимира Ильича с Надеждой Константиновной, а ныне с той же дидактически-безапелляционной интонацией внушают, что если вы, скажем, пришли на вечеринку группового секса, то неэтично ограничиваться созерцанием — надлежит, как на субботнике, сразу включиться в общее дело: таков теперь, оказывается, моральный кодекс.

Наконец, существует еще и собственно литературная порнография, то есть повествовательные тексты с вымышленными событиями и персонажами, где доминантой сюжета является половой акт, а остальные фабульные элементы (любовно-семейные отношения, служебные и дружеские контакты персонажей, неожиданные встречи в поезде, на курорте и т. п.) выполняют роль гарнира. Критику современной словесности приходится в исследовательских целях обращаться и к этой разновидности «паралитературы». Лично мне впервые довелось столкнуться с такой проблемой четыре года назад при рецензировании нашумевшей (теперь точнее будет сказать — отшумевшей) «Эротической одиссеи...» Андрея Матвеева. Некоторые мои коллеги сравнивали Матвеева с Апулеем и Петронием, мне же показалось, что сходство надо искать в другом месте, и интуиция привела меня к киоску с легкомысленными газетками и журнальчиками. Робко приоткрыв один из них, я тут же обнаружил стилистику, на сто процентов тождественную матвеевской, что и не замедлил продемонстрировать читателям своей рецензии.

Готовясь к написанию нынешней статьи, я также пролистал ряд подобных изданий, а заодно поговорил с киоскерами о закономерностях покупательского спроса. Типичный читатель — мужчина лет сорока, предпочитающий отечественных авторов и российские реалии (женщины больше жалуют любовные романы без «крутизны», в зарубежных декорациях). Доминирующий жанр «крутой эротики» не роман, а новелла: краткость соответствует естественной продолжительности описываемого события. Названия опусов традиционны, нередко «интертекстуальны»: «Затмение», «Разочарование», «Авария» (без намека на Дюрренматта), «Ночной поезд», «Сосед», «Подарок»... Имена авторов (или псевдонимы?) также незатейливы: Павел Крохин, Вадим Петров, Ирина Веселова, Тамара Яковлева...

Авторы не сразу ошеломляют читателя, а заходят издалека, в нейтральном, добропорядочном тоне. «У меня хороший муж и трое детей», «Иногда до смешного легко можно оказаться в необычной ситуации...» — таковы типичные зачины, порой напоминающие дебютную технику Владимира Сорокина. Но только поначалу, поскольку в дальнейшем никаких гротесков и фантазматических. Здесь господствует реализм — конечно, не «в высшем смысле», а в том плоско-миметическом понимании, которое свойственно сегодня писателям «наш-современниковской» ориентации или альманаха «Реалист», учрежденного не так давно Юрием Поляковым — пионером позднесоветской литературной эротики, стилистически близкой к описываемой продукции. Ненорматив-

ная лексика сведена к минимуму, авторы пользуются либо анатомическими и физиологическими терминами, либо метафорическими штампами типа «жест моей страсти», «загадочное ущелье», «вечный танец жизни». Развитие сюжета движется к одной цели — получению партнерами взаимного удовольствия. Права полов уравниваются и в структуре сборничков: в одних рассказах повествование ведется от лица мужчины, в других — от лица женщины.

Чем это все отличается от той литературы, которую мы считаем художественной? Только тем, что сексуальные сцены самоцельны и однозначны, что за ними не стоит никакого второго плана, который читателю подобной продукции и не нужен, поскольку разрушил бы иллюзию достоверности. Литературная порнография типологически близка детективу, где убийство не является сюжетно-онтологической метафорой и чисто арифметическая разгадка криминальной тайны не имеет побочного философского смысла. Оба эти вида массовой литературы рассчитаны на «целевого» читателя, которому они доставляют развлечение. Читателю же, которому совершенно все равно, «кто убийца», и которому неинтересен, говоря ахматовскими словами, «чужой блуд», эти виды литературной продукции просто не нужны.

Но здесь, конечно, должна существовать свобода выбора. Поэтому запрет на литературную порнографию под видом борьбы за общественную нравственность был бы так же нелеп, как запрещение детектива за то, что этот жанр пропагандирует убийство. К тому же разграничение утилитарной порнографии и высокохудожественной эротики — вопрос сугубо эстетический, все оценочные суждения тут опираются на субъективную интуицию, и однозначных критериев в данном вопросе быть не может (мне уже доводилось спорить в прессе по этому поводу с Юрием Рюриковым). Возьмем, к примеру, творчество Эдуарда Лимонова, где раскованная откровенность то таит психологическую глубину (автобиографическая трилогия), то оборачивается дешевой порнографией («Палач»). Но это не более чем мое индивидуальное мнение, которое может быть оспорено любым читателем. Попытки юридического регулирования в этой области заведомо бесплодны, а если за дело примется наша охлократическая бездумная Госдума, то под «порнографию» неизбежно попадет что-нибудь живое и талантливое.

Серьезному читателю, повторю, российский печатный порнорынок просто неинтересен, а вот серьезным писателям, не чуждающимся изображения «интима», может быть, и любопытно было бы прогуляться по этим торговым рядам. Для того, чтобы понять: выражения вроде «миг наивысшего наслаждения», «неописуемое блаженство», «замирая от нежности» пора без всякой жалости уступить масскульту, как и глагол «трахать», который скоро устареет и станет лишь затруднять контакт с будущими читателями. Иным нашим литературным авторитетам полезно было бы, заглянув в дешевые книжицы и обнаружив там черты опасного сходства с книгами собственными, слегка покраснеть и устыдиться — не «безнравственности» своей, а тривиальности и неизобретательности.

4

Любовная сюжетика в русской литературе уже более полутора веков строится под властным влиянием мифологемы, впервые явленной в «Евгении Онегине»: вопрос о чувствах героя и героини друг к другу неминуемо приобретает философское, символическое измерение и перерастает в вопрос о принципиальной возможности гармонии в этом мире. Под этим знаком прошли все встречи и невстречи персонажей Тургенева, Достоевского, Льва Толстого, это фирменная эмблема России в мировом литературном пространстве. «И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается», — к такой «глобалке» вырулил в финале автор «Дамы с собачкой» (1899). Курортная интрижка превратилась в эпилог целого столетия и в пролог века последующего, когда самое сложное действительно нача-

лось и до сих пор не кончилось. Такова главная наша легенда, а ведь если хотя бы на минуту отделаться от ее магической силы, то все это окажется не более чем художественной условностью, красивой сюжетной метафорой! Во внетекстовой реальности отношения двух отдельно взятых людей, женщины и мужчины, ничего подобного не означают!

Однако построенная классиками сюжетно-смысловая магистраль прошла через весь двадцатый век, ее не разрушили ни модернисты, ни матерые реалисты, пытавшиеся, как Бунин, свернуть со столбовой дороги в темные аллеи и сменить метафизику эроса чувственной, пластичной и ароматной «физикой» страсти и тела. Не сумела опозлить русский любовный миф эксплуатировавшая его тоталитарная литература, выстоял он и перед едкостью постмодернистской иронии. «Он + Она» в нашей сюжетной семантике (будь то Юрий Живаго + Лара, Гумберт + Лолита или Чонкин + Нюрка) по-прежнему равняется поискам смысла жизни.

В литературе 70 — 80-х годов самой дерзкой попыткой пересмотреть полтора-вековую художественную условность и противопоставить ей чувственно-гедонистическую модель мироздания явилось, на мой взгляд, творчество Валерия Попова. Его эротизм был настолько всеобъемлющим, непосредственным и неподдельно-парадоксальным, что чуткая советская цензура, как говорится, «не понимала юмора» и не знала, где пустить в ход красный карандаш, так что книги выходили. Весьма близкий автору герой повестей и рассказов Попова был органически способен поддерживать метафизический разговор с девушкой-интеллектуалкой:

« — Как вы думаете, чем мы отличаемся от животных?

Обхватил голову руками, стал думать...

— Тем, что на нас имеется одежда?

И — не попал! Промaxedся! Оказывается, тем, что мы умеем мыслить. Больше мы не встречались».

Идеалом человеческого общения здесь стал диалог без одежд и, конечно, без абстрактных умствований:

« — Что-то я плохо себя чувствую, — сказал он.

— Да?.. А меня? — сказала она, придвигаясь».

«Физика тела» сочетала у Попова метонимическую достоверность с налетом таинственности: «Она обняла меня, и я вздрогнул, почувствовав низом живота колючую треугольную щекотку». Интимная близость представляла самым загадочным явлением природы, причем возбужденно-эротическое ощущение пронизывало и пейзажи, и городские картины, и детские воспоминания. Эротично было и отношение Попова к языку — властное, без притом ласковое, без нажима и насилия: слова, как и люди, легко находят друг друга, все преграды и барьеры иллюзорны. Эрос в юмористической утопии Попова не желал иметь ничего общего с Танатосом, отношение к Жизни, как и к Женщине, может быть только светлым и радостным: «Самое глупое, что можно сделать, — это не полюбить единственную свою жизнь!»

Валерий Попов сознательно шел против мейнстрима отечественной словесности. Как-то еще в застойные годы он до смерти напугал интервьюера «Литературной газеты», спокойно, без всякого эпатажа заявив, что самые плохие писатели — Достоевский и Лев Толстой, заморочившие людей моральными проблемами и лишившие их вкуса к жизни. Объективный смысл этой гиперболы состоял в защите собственного, «неклассического» взгляда на бытие и человеческую природу. Но в пору, когда нормой хорошего литературно-общественного поведения считался критически-обличительный настрой, гедонистический оптимизм писателя поддержки не находил. Считая, что в лице Валерия Георгиевича Попова «новый Гоголь явился», я довольно тщетно пытался уверить в этом своих коллег и редакции толстых журналов (совсем другого Попова тогда там печатали — Владимира Федоровича, о котором говорилось в самом начале статьи).

В 90-е годы Валерий Попов проходит, применяя к нему его же формулу, «курсы понижения квалификации»: то и дело повторяется, теряет темп и темперамент. И как часто бывает в таких случаях, он неожиданно начинает удовлетворять ранее не жаловавших его критиков и редакторов толстых журналов. Не уступавший ни советской, ни антисоветской, ни эстетской конъюнктуре, Попов вдруг сдается на милость конъюнктуре рыночной и выпускает роман «Разбойница» — литературную вариацию на тему «Записок дрянной девчонки» с грязноватыми постельными подробностями и обилием примитивно-натуралистичной матерщины. Такой поворот оказался для меня неожиданным. Что делать? Ехать в Зальцбрунн и писать оттуда письмо своему Гоголю, гневно осуждая его за отступничество от самого себя? Но вроде бы большого урона репутации писателя «Разбойница» не нанесла, а меня теперь другое занимает: сможет ли Попов продолжить свой уникальный эротико-гедонистический, жизнеутверждающий (без кавычек) опыт? Или намеченные им в саду российской словесности *светлые аллеи* станут прокладывать уже прозаики новых поколений?

5

В течение примерно трех лет три известных писателя представили нам три программных романа: Александр Кабаков явил свету «Последнего героя», Василий Аксенов разработал «Новый сладостный стиль», Владимир Маканин увел читателей в «Андеграунд», где обитает «Герой нашего времени». Оснований для сопоставления тут множество. Начнем с того, что перед нами три заявки на последний русский роман XX века, на художественный эпилог столетия (Владимир Сорокин своим универсально-пародийным «Романом», как видим, отнюдь не похоронил классический жанр, а лишь отметил промежуточный финиш перед его новой канонизацией). Далее: в центре всех трех произведений личность творческая — писатель, поэт или вроде того. Как ни старались романисты прошлого века вслед за автором «Евгения Онегина» освободить русского героя от творческих амбиций и вывести его за пределы «цеха задорного», «поправка Булгакова — Пастернака» к этому литературному закону оказала неотразимое воздействие: главным романским героем двадцатого столетия в итоге стал Мастер, при котором имеется одна или несколько Маргарит.

Все три романиста избегают элементарного автобиографизма, четко обозначая разность между Шорниковым, Корбахом, Петровичем — с одной стороны, и Кабаковым, Аксеновым, Маканиным — с другой. Вместе с тем судьбы всех трех героев являются преломленными, мифологизированными отражениями судеб авторов в плане не столько житейском, сколько духовно-психологическом. В высшей степени симптоматично, что три признанных, «успешных» писателя действуют здесь путем перевоплощения в неудачников-маргиналов и даже частичного отождествления себя с ними. Андеграундным является существование всех трех героев: бездомный Петрович словно принимает эстафету от выставленного «приватизаторами» из квартиры (если не из жизни вообще) Шорникова; скитания выехавшего в Америку Корбаха — это не благополучная эмиграция, а своего рода «эмигранд».

Хождения по мукам приводят героев к разным результатам. Вконец потерявшийся в этой жизни Шорников звонит А. А. Кабакову чуть ли не с того света, но в эпилоге уцелевает — в высшем смысле, перенесенный по воле Бога и автора в райски-идиллический пролог. Петрович вместе с братом-художником и автором завершают свой полифонический дискурс на ноте героического пессимизма: «...русский гений, забит, унижен, затолкан, в говне, а вот ведь не толкайте, дойду, я сам!» «Гений в говне» — объективное состояние русской интеллигенции и культуры, «я сам» — ее субъективное стремление выстоять, а возвышающий курсив, как уже отметила пронизательная критика, — авторский. Александр Корбах у Аксенова подзаряжается оптимизмом от

Данте Алигьери и Гвидо Гвиницелли, а финальное утешение обретает в Земле Обетованной, отождествляясь со своим виртуальным предком, откопанным археологами. Чье творческое ощущение «фэн-де-сьекля» окажется более адекватным исторической реальности, чей духовный прогноз сбудется — судить не нам и не сегодня. Потому мы не будем расставлять трех писателей по ступеням спортивного пьедестала, а посмотрим на три романа только в аспекте интересующей нас темы. Тем более что и упомянутых авторов она безусловно интересует.

6

У Кабакова сексуальные мотивы исчерпывающе отрефлектированы, в «Последнем герое» явлена своего рода «эротическая идеология». Поскольку и автор и герой — работники литературы и искусства, то оба они рассуждают на эту тему совершенно профессионально. «Знаешь, ты в последнее время вообще сильно упростился, одно траханье на уме. Климакс, старичок, ничего не поделаешь», — выговаривает герой автору, и тот смиренно выслушивает критику, не поступаясь, однако, своими творческими убеждениями: «Да с какой же стати недописывать самое главное, самое интересное и просто изобразительно привлекательное!»

Кабаков находит мотивировку для того, чтобы очистить эротические мотивы от натурализма и более того — стянуть их в идейно-смысловой узел: в центральной, антиутопической части романа герой и героиня совершают опасный рейс в будущее — сытое, благополучное, но утратившее представление о настоящей любви. Цель их миссии — осуществить перед всеми любовное слияние и тем самым повернуть ход истории. Центральная любовная сцена, таким образом, из плана реалистического переводится в план символический. Написанная короткими абзацами, она находится на границе прозы и свободного стиха. Не буду прибегать к цитированию отдельных фраз, замечу лишь, что писатель не только персонажей, но и себя поставил здесь в ситуацию испытания. Он взялся написать эту картину подробно и ясно, а не «наплывом и затемнением», да еще и не прибегая к «медицинским терминам и народным словам». Удалось ли? Да, с одной стороны. Со стороны героя: «Наконец я все понял». Что поняла «она», остается тайной — известно только, что «она закричала». Что ж, это все-таки кое-что значит.

Говоря о «Новом сладостном стиле», нельзя не иметь в виду, что это роман Аксенова, то есть автора «Поисков жанра», «Острова Крыма» и «Ожога», и что все признаки аксеновского мира и стиля здесь на месте: вальяжная основательность тона в сочетании с наивной способностью к удивлению, умение держать тему и притом совершать композиционные скачки, пластичность описаний, добродушное подшучивание над собой и над другими, неистребимый лирический утопизм и вера в чудо. Даже если мы все это уже видели прежде — почему бы не повторить?

Новое же здесь — это прежде всего любовь Александра Корбаха и Норы, немолодых уже людей, находящихся, теряющих и вновь обретающих друг друга. Смелые сцены даны под знаком легкой игровой иронии, не заглушающей, однако, чрезмерной элементарности в выборе лексических средств: «Охваченный мгновенным неудержимым желанием, он ворвался в комнату, схватил Нору за плечи, запечатал ей рот своими губами и склонил ее тело поперек широкой постели. Она оказалась без трусиков, так что его пенис не встретил никаких препятствий для быстреего и максимального проникновения». «Запечатал рот губами» — недурно сказано, но дальше стиль явно съезжает на «Бульвар крутой эротики». Ох уж эти медицинские термины! Они порой шибают в нос еще больше, чем матерщина. Все-таки название вещей своими именами — это только первичный уровень письма, речь же художественная, как ни крути, есть система переименований.

Можно ли интенсивность любовной страсти выразить количественно-цифровым способом? Катулл, помнится, похвалялся своей удачей: «...Меня поджидай и приготовься / Девять кряду со мной сомкнуть объятий». Корбах у Аксенова после цитированной выше сцены «думал с тупым удовлетворением, как сильно он побил собственный рекорд». А до того «после каждой эякуляции... а их было уже тридцать (sic! — В. Н.) — его фаллос немедленно возвращался в боевое положение». Да... Не сексолог я и степень достоверности данного эксперимента оценивать ни в коем случае не берусь: бывают, в конце концов, и арбузы в семьсот рублей, и курьеров, в принципе, можно разослать тридцать пять тысяч. Речь о другом: столь яркие количественные показатели едва ли понадобились бы автору, будь отношения Корбаха и Норы прописаны психологически тщательно, будь здесь побогаче спектр эмоционально-парадоксальных оттенков.

У Владимира Маканина эротическая тема возникает в последнем его романе как будто исподволь, но постепенно обретает большую властную силу. Фельдшерица Татьяна Савельевна; поэтесса, политическая активистка и алкоголичка Вероника; швея Зинаида; «калека со второго этажа», хромоножка с приветом от Достоевского и с говорящей фамилией Тася Сестряева; безымянная «поблядушка лет двадцати»; Леся Дмитриевна Воинова — бывшая партийная доцентша, лютовавшая в брежневские времена, а ныне ставшая никем; «шустрая бабенка» Галина Анатольевна; медсестра Маруся; женщина по фамилии Каштанова — лет тридцати, «с огромной грудью, свисавшей под свитером, кажется, до паха»... Не пропустил ли я кого, составляя донжуанский список маканинского героя?

Все перечисленные героини не просто вступают со всеядным Петровичем в сексуальный контакт — они тащат на себе композиционный ритм очень длинного и трудного для чтения романа, компенсируя избыток квазиинтеллектуальных богемных бесед и ужасов карательной психиатрии. Полное доверие вызывают и самоотверженная забота героя о Веронике, и его идущая вразрез с «идеологией» внезапная любовь к старой и больной «коммуняке» Лесе Дмитриевне.

На фоне таких добротных реалистических сцен, на мой взгляд, проигрывают события, данные в символическом регистре, — прежде всего два убийства, совершаемые героем. Роман не диссертация, и весьма любопытное размышление автора о разнице понимания самого феномена убийства в эпоху Пушкина и в эпоху Достоевского не отменяет необходимости внутренней мотивированности убийств как сюжетных событий. Убил просто так, как убивают в нашем веке каждый день, без раскольниковских рефлексий? Но зачем же тогда брать для этой функции героя, ничем, кроме рефлексии, не занимающегося? Почему жертвами оказываются именно криминальный кавказец и литературный стукач — типажи очень социально конкретные, отнюдь не символические? Жаль, что Петрович не удосужился с женщинами обсудить свои душегубские эксперименты. Ведь чуть было не исповедался он несчастной флейтистке Нате, но так и не успела она почему-то сыграть идейно-композиционную роль Сони Мармеладовой. И никому из вышеприведенного списка героинь автор тоже не доверил сомкнуть эротику с идеологией и сообщить цельность всему сюжету.

Семантика убийства действительно исторически меняется, и сюжетные метафоры Достоевского, как и вообще его центральную проблематику, в современный нарратив не перенести. У Достоевского, впрочем, были периферийные мотивы, намечавшие новую бездну смыслов, новые аспекты исследования человеческой природы. Вот, скажем, Свидригайлов отвечает Раскольникову, убежденному, что у Дуни ничего общего с этим человеком быть не может: «Вы правы, она меня не любит; но никогда не ручайтесь в делах, бывших между мужем и женой или любовником и любовницей. Тут есть всегда один уголок, который всегда всему свету остается неизвестен и который известен только им двум». Думаю, что русская проза XX века — при всех ее идейно-эс-

тетических достоинствах — так и не удосужилась заглянуть в этот «уголок», что о «делах, бывших между», о соотношении мужского и женского сознания предстоит писать уже авторам века двадцать первого. Но сама недостаточность литературы нашего по-модернистски эгоцентрического и нарциссического литературного века особенно ощущается на его исходе.

Три романа, о которых идет речь, отдают щедрую дань своей литературной эпохе. В описании любовных отношений авторы, пожалуй, меньше всего дистанцируются от героев: Кабаков и Шорников ровесники, Аксенов и Маканин сделали персонажей на несколько лет моложе себя, в целом же все три автора не склонны считать мужские триумфы героев делом для себя совсем неведомым и посторонним. Некоторая наивность видится в самой системе сюжетной оценки любовной близости. С точки зрения сексологической стабильности эрекции и совместности оргазма, наверное, факторы наиважнейшие. Но не маловато ли этого в более сложной образно-эмоциональной системе координат? Не принимают ли авторы минимум за максимум? Не преобладают ли тут количественные критерии: у Маканина — число женщин Петровича, у Кабакова — число зрителей, созерцающих «образцовое» соитие героя и героини, у Аксенова... цифра уже приводилась. По-видимому, преодолеть эту однозначность, этот «фаллоцентрический» монологизм можно только введением второй, женской, точки зрения.

7

В «Новом сладостном стиле» такая попытка, впрочем, есть. Богатая и «продвинутая» американка Нора размышляет о сложностях взаимоотношений с бедным и несвободным от «совковости» Александром: «Я уверена, что он попал в ловушку мужских стереотипов, типичную для русских. Как они все, он подсознательно отгонял малейшую идею о моем возможном превосходстве. Они там говорят „он ее .ал“, а выражение „она его .ала“ кажется им неестественным. Женщина всегда проецируется в подчиненной, если не порабощенной и униженной позиции под всемогущим жеребцом». Что ж, начало диалогу положено, хотя язычок, прямо скажем, не женственный и не сладостный — сильно смахивает на суконный перевод текста из какого-нибудь зарубежного феминистического журнала. Что же касается экстремальной лексики, то странное дело: писатель, живущий сразу в двух столицах, не заметил, что сегодня мат в авторской речи и внутренних монологах смотрится очень провинциально и совершенно не стильно. В эротических произведениях новых литературных денди, таких, как, например, Дмитрий Липскеров, сквернословие оказывается просто ненужным.

Роман Липскерова «Пространство Готлиба», впрочем, примечателен другим — целеустремленным поиском «двойного зрения». Два инвалида, лишённые свободы передвижения, — Анна Веллер и Евгений Молокан — ведут друг с другом сентиментальную переписку, изобилующую вставными любовно-авантюжными новеллами из жизни разных времен и народов. Тема романа, говоря попросту, — «любовь, что движет солнце и светила». Созданная здесь эротическая атмосфера, выработанное Липскеровым интонационное многоголосие кажутся мне вполне пригодными для перенесения на злободневно-современный материал. Пока же полет авторской фантазии настолько прихотлив и безрассуден, что для возвращения на землю писателю придется в финале объявить письма Евгения мистификацией некоего демиурга — Готлиба. Художественное уравнение составлено правильно, но решать его еще предстоит. И вообще нашей эротической словесности долго придется преодолевать разрыв между «физикой» и метафизикой любовных отношений, постигать то, что связывает «верх» и «низ», — область «психе» (не хочется прибегать к утилитарному слову «психология»). Здесь наметился очевидный вакуум.

8

Пространство любви, ее время в нынешней словесности раскинулось необыкновенно широко. От незапамятного прошлого до апокалиптического будущего, от Москвы до Парижа — Нью-Йорка — Иерусалима, от высоких дум о судьбах человечества до подвальных бездн душевного «андеграунда». Дальше раздвигать хронотоп просто некуда, от вселенского размаха придется переходить к конкретной и точной литературной тактике.

О какой бы теме мы ни говорили сегодня, с неизбежностью выходим к проблеме адресата. Нет сейчас ни одного писателя, который не ощущал бы недостатка читательского внимания. Столько трудов, поисков, находок, сомнений — и все мимо цели. Отсюда — нередкие претензии писателей к критике, отчасти справедливые, но по большому счету наивные, ибо самое усердное внимание профессиональных чтецов не заменит живой и бескорыстной любви «неведомого друга». Так будет и дальше, пока в центре внимания литературы находится Писатель — с его мыслями, чувствами, амбициями, фантазиями, пусть порой и эротическими. А выход до удивления прост: попробовать писать о Читателе. И Читательнице. И о том, что происходит между ними.



ЮРИЙ КАГРАМАНОВ



ЧТО БРЕДИТСЯ И ЧТО СБУДЕТСЯ

Поддался искушению «заглянуть в будущее» — и как! — раскрыв книги, китчевые обложки которых не обещали никаких открытий, заслуживающих этого имени. Действительно, открытий не последовало; и все же кое-что из них я узнал, а именно — что у нас сегодня думают о будущем. По-своему тоже интересно.

В романе В. Михайлова¹ место и время действия — Россия 2045 года. Далековато хватил автор: не достало у него воображения заполнить полстолетия. В политическом отношении весь этот период «отдан на растерзание» едва ли не всем направлениям и тенденциям, ныне имеющим быть. Мы узнаём, что на смену «чиновничье-паханской» власти пришла жесткая диктатура каких-то генералов; после них (или перед ними, это не совсем ясно) пришли коммунисты; потом было «популистское подобие нацизма»; потом некая «интеллократия»; потом, уже на момент, когда начинается роман, что-то совсем неопределенное (и опять сильно напоминающее наше время), но — «многообещающее». Пестренькая, веселенькая картинка.

Но, видимо, сама тематика продиктовала обращение к относительно более отдаленному будущему. Одна из двух основных тем романа — восстановление монархии, для которого нынешняя Россия явно не «дозрела» и вряд ли «дозреет» в ближайшие годы. Другая тема — наступление ислама — тоже только-только намечена сегодня, и нужно дать ей приличествующее время, чтобы посмотреть, что может из этого выйти.

Две темы связаны у Михайлова в один узел. Претендент на престол великий князь Александр выступает во главе партии так называемых азороссов, а эти последние — наследники евразийцев, только круче развернувшиеся в сторону Востока (о чем свидетельствует и исчезновение европейского в их самоназвании) и ратующие ни много ни мало за исламизацию России. Сам претендент, которого зовут также Искандером, наделен кое-какими восточными корнями. Ради этого придумана история о том, как в далеком 1918 году группа офицеров сумела спасти царевича Алексея вместе с Анастасией и вывезти их через Гурьев на Энзели, в Персию, где царевич рос и воспитывался при шахском дворе, а потом затерялся где-то на Востоке. После «перестройки» его потомство возвращается в Россию инкогнито, и лишь когда пришло время, Александр-Искандер выходит на публику и заявляет о своих правах на российский престол.

Заметки историка и культуролога Юрия Каграманова о двух образцах массовой литературы в стиле «фэнтези» являются еще одной вылазкой нашего журнала в «зону масскульта» (см. обзор под этим названием в № 11 «Нового мира» за 1997 год). Но если в прошлогоднем материале внимание критиков (Андрея Василевского, Евгения Пономарева, Ирины Слюсаревой) было сосредоточено на повествовательных приемах, типах персонажей и социальной адресации масслита, то в настоящей статье центральное место уделено влиятельным идеологемам, бытующим в этой «зоне». (Примеч. отдела критики.)

¹ Владимир Михайлов. Вариант «И». Фантастический роман. М., Издательство АСТ — ЛТД, 1997, 512 стр.

Что-то, однако, не чувствуется, чтобы действительно пришло время — в том 2045-м, каким он проступает в романе. Некоторые преимущества монархического правления понятны и сегодня: о них пишут в газетах и говорят по телевидению. Но восстанавливать монархию, по крайней мере в переживаемую нами эпоху, — дело очень непростое в психологическом смысле. Как-то я листал книжку о жизни английского двора, и мне стало ясно, сколь важна в подобных вещах непрерывность. Если и наступает перерыв, то он должен быть ограничен во времени. Скажем, лет через двадцать после Февральской революции в России восстановить монархию было бы несложно, если бы существовали к тому политические условия (во Франции 1814 года, спустя двадцать два года после свержения короля, несмотря на громадную насыщенность их разнообразными событиями, «игра» по старым правилам возобновилась с относительной легкостью). Может быть, даже и через сорок. Но через восемьдесят лет или более того восстанавливать монархию, собственно, уже нельзя, ее можно лишь создавать заново.

А для этого в обществе должно быть прежде всего достаточно сильное чувство иерархии. Его нет сегодня, и его нет в романном 2045-м. Один из сторонников претендента сетует на то, что в любой головенке может завестись лукавая мысль: почему он, а не я? Дабы пригасить ее, монархисты отказываются от идеи выборного царя и предлагают на трон одного из Романовых. Но имя законного наследника царствовавшей династии — это для лукавой мысли не такой порог, через который она не могла бы перепрыгнуть. Должно прийти нынешнее эгалитарное опьянение, должна быть восстановлена иерархия ценностей (в идеале каким-то образом сочетанная с принципом равенства), соответствующая объективной структуре бытия, чтобы возникла реальная основа для монархического способа правления (я не берусь судить о том, нужна ли монархия: думаю, что этот вопрос следует оставить на усмотрение следующих поколений).

Наверное, И. Ильин прав: тема монархии требует художественного мышления. А не того сугубо «делового», какой демонстрируют монархисты в «Варианте „И”» и вместе с ними сам автор романа. Если бы не авантурный сюжет, можно было бы читать его как очередной сценарий «восстановления монархии», частично, пожалуй, годящийся для публикации в разделе сценариев «Независимой газеты». Авантурный сюжет, который сам рождается из сценария, одновременно «держит» его, притом в двояком смысле: во-первых, он делает его занимательным, но, во-вторых, он усиливает тот конспирологический элемент, который заложен в самом сценарии и который объективно столь ошутимо присутствует в сегодняшнем политическом мышлении. Важнейшие политические акции готовятся за кулисами (я сейчас говорю о романе) посвященными людьми путем сговора с другими посвященными людьми, с участием разведывательных служб и, значит, с использованием различных шпионских штучек и т. д. и т. п.

Такой же «деловой» подход демонстрируется в вопросе об исламе. Сценарий сухо перечисляет некоторые преимущества этой религии с точки зрения обладающих властью. Главным из них оказываются... большие деньги. Россия остро нуждается в инвестициях, а нефтяные короли мусульманского мира, заинтересованные в продвижении ислама, уже вложили немалые средства в различные отрасли ее экономики и обещают дать еще больше, если русские будут активнее переходить на сторону Магомета. Впрочем, этот процесс и так уже зашел достаточно далеко: повсюду мечети соперничают с православными церквями, и даже — о tempora! — на храме Христа Спасителя в Москве (купленным кем-то за крупную сумму) с недавних пор красуется полумесяц, и теперь к нему пристраивают минареты.

Вскользь, правда, сказано о другом: ислам «силен верой». Как говорит один из персонажей: «Они — мусульмане — верят, понимаете? А это мне представляется самым главным».

В романной действительности, однако, главным оказывается закулисная возня, где в расчет берутся только интересы, понятые самым приземленным образом, а вопросы веры получают чисто инструментальное значение. Как нам объясняют, «фундаментальная идея не обязательно должна быть верной, ей достаточно быть привлекательной и правдоподобной, чтобы на какой-то срок, больший или меньший, овладеть умами». История ведь движется «по параболе», а это значит — «из ничего пришли и в никуда идем». Так что не об истине следует хлопотать, но лишь об идее, которая «работает». Православие уже «не работает», не владеет умами в должной мере; да, впрочем, оно и в прежние времена оставалось в России довольно поверхностным. Так считает герой романа — туз разведывательной службы и по совместительству журналист, циник-всезнайка (чьи усилия в решающей мере способствуют воцарению Александра-Искандера под именем Александра IV). Ерго, надо поменять религию: «Париж стоит мессы». И на нового царя возлагают в этом отношении большие надежды; русские, напоминая нам, и христианами-то в свое время стали «по приказу».

Ну, положим, сейчас все-таки не X век и народ — не прежняя «чистая доска».

Видя, как на горизонте вытягивается некая бука, автор решил, что будет интересным ходом вообразить, как в один прекрасный день эта бука усиживает нас со всеми потрохами. В то же время о реальном содержании исламского вызова здесь сказано очень мало. Конечно, он не в том, что за ним стоят большие деньги (кстати говоря, есть основания усомниться, что полвека спустя Аравийский полуостров сохранит свое нынешнее финансовое могущество). Реальное содержание вызова — религиозно-культурное (мне уже приходилось писать об этом в «Новом мире»). Оно именно в интенсивности веры, которая придает исламскому миру твердость, неизвестную современной Европой и смущающую ее. Впору подвергнуть державинский стих «Уже от северного света / Лице бледнеет Магомета» смысловой инверсии: сегодня бледнеет как раз европейская сторона. И в этом — позитивный аспект исламского вызова; ибо такой вызов нуждается в достойном ответе. Вместе с тем есть в исламском мире для современного европейца и некий соблазн — я бы назвал его соблазном неосмотрительного упрощения. Европейская культура буквально задыхается от собственной сложности и давно уже ищет, как бы от нее «освободиться»; но ищет — на своих путях. По удачному выражению философа Л. Карасева, современная (европейская) культура «жаждет простоты, но простоты особой, учитывающей *опыт* (курсив мой. — Ю. К.), разоблаченной и уличенной в зазнайстве сложности». И когда на место искомого подставляется чья-то чужая простота, то это действительно хуже воровства. А насколько силен такого рода соблазн, можно судить по некоторым изданиям типа газеты «Завтра» и журнала «Элементы», на страницах которых порою ощущается плохо скрытая досада, что Россия некогда поставила себя под знак креста, а не под знак полумесяца.

И участвовавшие случаи обращения русских в ислам, по-видимому, симптоматичны (об этом даже снят фильм). Наверное, дальше их будет больше. И все же: несмотря на пережитые «великие потрясения», представляется весьма маловероятным, чтобы Россия могла изменить христианству и своей европейской природе. Другое дело, как будет сосуществовать в рамках единого государства христианская часть населения с демографически все более весомой мусульманской его частью — при нарастающем давлении исламского мира извне. Вот этот вопрос обещает стать одним из труднейших для России.

И тут как раз уместно вернуться к теме монархии. В «Варианте „И“» немало сказано о преимуществах монархии, но нигде не упоминается, что в прежней России именно этот институт связывал воедино христианский и мусульманский миры в рамках общего Русского царства, причем связывал довольно прочно. В глазах мусульман великий Ак Падишах (Белый царь) выступал преемником ханов Золотой Орды, что закреплялось и кровным родством

русских царей с Чингисидами. В этом конкретном аспекте русская монархия была действительно евразийской. И если у нее есть какое-то будущее, то в этом случае она, наверное, еще может послужить дополнительным фактором, связывающим российских христиан и мусульман. Правда, в стране теперь нет аристократии, которая служила опорой трону и в православной и в мусульманской части; но возможна, в принципе, и бессловная форма монархии, которая будет выполнять свою интегративную функцию несколько иначе.

Хотя, конечно, одними политическими средствами этот вопрос решить нельзя. Многие тут значат собственно религиозные моменты. Думается, что шансов на сотрудничество и даже соработничество христианства и мусульманства в России будет тем больше, чем глубже и «чище» будет религиозность с обеих сторон. Политизируя религию и конспирологизируя политику, «Вариант „И”» остается в тесных пределах рационально-утилитарного мышления, имеющего солидную опору в современной жизни, но для «заглядывания в будущее» слишком уж приземленного. В романе ничего нет не только о Духе, но даже о душе. Все его персонажи как будто сделаны из папье-маше или из чего там сегодня делаются куклы. Возможно, для авантюрного сюжета большего и не надо, но на роли проводников в будущее, даже не столь отдаленное, они подходят очень мало.

А вот роман Марины и Сергея Дяченко² — как раз о душе, о самых мутных ее глубинах.

Нигде авторы не указывают, в какой из грядущих веков мы попадаем, ни даже в какую страну (известно только, что ею правит герцог: видимо, без монархии все-таки не обойдемся). Но и так ясно по всему, что и здесь мы никуда от себя не уезжаем. Только опускаемся (чтобы не сказать — проваливаемся) в «сумрачное лоно» сознания, до уровня психологических состояний, от течения времен зависящих в наименьшей степени.

Некое царство-государство поглощено борьбой с ведьмами, которая идет давно и становится все более затруднительной. В стране действует инквизиция во главе, естественно, с Великим инквизитором, которая держит под наблюдением всех потенциальных ведьм, то есть особ женского пола с ведьмовским «нутром», еще не инициированных и потому до времени неопасных; таковых особенно много почему-то среди девушек и женщин, причастных «изысканным искусствам». Инициированных и, следовательно, действующих ведьм, как и в средние века, сжигают; этим занимаются не только инквизиторы, но и рядовые граждане, подвергающие самосуду тех, кого они принимают за ведьм. Последние, однако, не только не сдаются, но и проявляют все большую агрессивность; и даже, случается, сами сжигают на кострах инквизиторов. Прорицатели предсказывают, что надвигается «век ведьм».

Чем опасны ведьмы? Ну, прежде всего своими традиционными *малефициями* (злодеяниями): насылают болезни на людей, похищают молоко у коров, отравляют колодцы, вызывают бурю, град и прочие стихийные явления, вредоносные для человека. Но главная опасность, так надо понимать, не в самих этих действиях, а в том, что является их причиной, — в инакомыслии или, скорее, инакочувствии, отличающем ведьминское племя от остального человечества и вместе с тем не совсем ему, остальному человечеству, чуждом.

Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что это честная книга — в том смысле, что она не от чужих мыслей отталкивается или не только от них, во всяком случае, но передает некое стихийно сложившееся мироощущение. В художественном отношении она вполне вторична, но это дела не меняет: заимствования не мешают быть искренним.

«Ивга очнулась посреди большой и темной дороги, вероятно шоссе; ей не нужен свет, ее волосы огненным шаром окружают ее голову, она абсолютно

² Марина и Сергей Дяченко. *Ведьмин век*. Роман. СПб., «Азбука — Терра», 1997, 400 стр.

свободна, одна посреди мира, вбирающая мир в себя, замещающая мир собой. Ночь, неожиданно теплая, шелестящая сотнями крыльев, полет, падение, полет...» Это шабаш. Мир жестких связующих нитей распался, все пришло в движение, все засосал черный вихрь, некая гигантская круговерть из неба и звезд, земли, воды и огня. На какое-то мгновение в глубине ее вспыхивает «сказочно прекрасный свет». Это праздник, но праздник всеобщего разрушения; здесь есть радость, но нет любви, нет личного чувства, которое делает человека зависимым («а ведьмы этого не терпят»). Здесь следуют одной-единственной заповеди: «слушаться естества». А естество в данном случае зовет раствориться в стихиях мира сего, иначе говоря, перестать существовать духовно — с чувством ложного освобождения и восторга по поводу своей и всего окружающего гибели.

Это древний, как само человечество, оргиазм, возбужденный под рациональной корою цивилизации и на разные лады дающий о себе знать в мире культуры. «Зажигателями порывов» в этом смысле явились декаденты конца прошлого и начала нынешнего века, певшие о безумных танцах «под игом ущербной луны». Напомню хотя бы о героях Пшибышевского, одолеваемых жаждой разрушения: им хочется все погубить, устроить мировой пожар, вырывать дома из земли и бросать их в общий костер. Средоточие зла (но также и космического опьянения) у Пшибышевского — женщина. Сатана нападает на нее потому, что она слабее, и делает ее своим орудием; отсюда и ведьмы — явление, почти не имеющее аналогов в противоположном поле³. Роман М. и С. Дяченко относительно «светлее»: в нем нет этой угрюмости, которая ощущается (или ощущалась) в католицизме, когда дело касается вопросов пола, и «радость» разрушения в нем «радостнее». Нет в романе и догматической напряженности, если можно так сказать; да и как ощутить присутствие сатаны, когда не чувствуешь самого Бога? Вместе с тем роман отразил феномен женской агрессивности, характерный именно для нашего времени. В чем его причина? Наверное, в том, что женщина все-таки — «хранительница очага» по своему естественному призванию; и когда очаг разрушается и огонь задувает с разных сторон, в ней иногда пробуждается древняя дева(жена)-мстительница с извивающимися змеями вместо волос и дыханием, все отравляющим окрест себя. Не случайно где-то на просвещенном Западе дело дошло до возрождения культов Астарты и лунной Гекаты, древних демониц, или богинь, олицетворяющих темную одержимость, ведущую к половой разнузданности и к смерти (стихийным продолжением подобных культов были средневековые шабаши).

«Нас снова потянет, понесет... по кругу» — на этой ноте заканчивается роман.

Итак, взяв наудачу две книжки с некоторыми претензиями прогностического характера, нарвался в одном случае на параболу и в другом — на круг. Парабола «похитрее» будет, а все равно — хрен редьки не слаще. В обоих случаях остаемся в зоне сегодняшнего мирочувствия и ждем, что завтрашний или послезавтрашний день «принесет» нечто уже знакомое, некую модификацию того, что мы уже имеем сегодня или имели в прошлом. Что ж, даем потомкам дополнительный повод позабавиться: то-то весело будет им узнать, как представляли и х время в конце XX века. Ну, положим, угадать кое-что можно — даже в литературе такого уровня. Кое-что из того, что бредится сегодня, вполне вероятно, сбудется завтра. Но это лишь отдельные детали ландшафта, не более.

Но вот на чем я себя ловлю. Имея иное представление о том, как должен быть выражен графически ход истории (линия ломкая или витиеватая, но ведущая только вперед, к однажды заданному «пункту Б»), я вместе с этим тоже

³ Не отрицая, что слабый пол в известной мере заслужил данное ему определение, вспомним, однако, о таком отнюдь не случайном эпизоде из священной истории: в час, когда даже апостолы отреклись от Иисуса, только слабые женщины оставались ему верны.

жду, что завтрашний день что-то «принесет». Уж очень укоренено в современном сознании представление об историческом процессе как о потоке событий, в высокой степени своенравном и от усилий людей мало зависящем. Бог весть откуда оно идет (пожалуй, от романтизма, от гегельянства, от позитивизма определенного толка и еще от чего-то). В соответствии с таким представлением людям остается воспринимать жизнь «в страдательном залоге», как сказано где-то у Булгакова. А ведь это принципиально ошибочное представление. История делается людьми, а значит, будущее надо не столько угадывать, сколько творить его по своему усмотрению. Ну, конечно, есть много областей или бытийных планов, где предвидеть последствия человеческих усилий очень трудно или вообще невозможно. Примером может служить техника: сколько бы мы ни пытались вообразить технический мир будущего, он все равно будет другим. Но все это области, которые не являются самыми главными в жизни. Главное — состояние коллективной души. Сравнительно с ним все остальное второстепенно. А коллективную душу завтрашнего или послезавтрашнего дня мы — «я, ты, он, она» — можем лепить уже сегодня. Беда в том, что мы обычно этого не знаем. Или не верим в это.

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ



НАИВНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ И ОБРАЗОВАННЫЙ АВТОР

В. Линецкий, «О пошлости в литературе, или Главный парадокс постмодернизма»¹:

«Строго говоря, все это следовало бы писать по-английски. Или уж если по-русски, то латинскими буквами. Ведь пошлость, о которой у нас пойдет речь, это, конечно, *poshlost*: термин набоковский».

Сноска (о ней ниже). Но сноска не спасает. Мне все равно непонятно, почему все это следует писать по-английски? Потому что В. Набоков свои рассуждения о пошлости писал по-английски и даже слово «пошлость» набрал латиницей? Так ведь он для американцев писал. Они по большей части по-русски не понимают. И кириллица для них непривычна. Все равно как для нас греческий алфавит. «Набоковский» термин *poshlost* не более набоковский, чем *pergatsch* — термин ильфо-петровский. Просто грубые слова, записанные латиницей, приобретают некое очарование. Так, легкий иностранный акцент порой украшает устную речь (см. фильм «Цирк»: «*Petrovitsch, bud sdorov!*» О!).

«О попытках В. Набокова растолковать англоязычному читателю своеобразие русского понятия („пошлость”. — *Н. Е.*) и убедить этого читателя в желательности заимствования что-то слышал всякий рядовой литературовед».

Значит, я — не рядовой литературовед. Я — хуже. Я ничего не слышал о попытках В. Набокова убедить англичан и американцев в «желательности заимствования» слова *poshlost* (или *poshlust*). Я знаю, что в третьей главе своего очерка «Гоголь» («Наш господин Чичиков») В. Набоков рассуждает о пошлости. Чуть позднее в короткой заметке «Филистеры и филистерство» В. Набоков повторил эти рассуждения. (В. Набоков вообще повторяющийся писатель. Подчеркнуто повторяющийся, но и это его не портит.) Однако ни о какой «желательности заимствования» в этих текстах и речи нет. Ладно. Вчитал. Не вычитал, а вчитал. Случается. Не будем придираться. Послушаем В. Линецкого:

«Понятным делом, никакой проблемы тут как бы не возникает».

Неправда. Возникает проблема вводных слов. «Понятное дело» — это по-русски, а «понятным делом» лучше, конечно, записывать латинскими буквами: «*ponjatnym delom*».

«А меж тем проблема не только существует, но она далеко не маргинальна. Набоковская озабоченность „пошлостью” не только удобная отправная точка для того, чтобы радикально пересмотреть утвердившееся представление о поэтике Набокова, но и, шире, экономичный способ не менее радикально перетряхнуть общепринятое понятие о модернизме, на-

¹ «Волга», 1997, № 11-12.

чиная с безоговорочного причисления Набокова к самым характерным для *оного вида* авторам и кончая феноменом отечественного постмодерна, в частности, в его отношении к соцреализму».

Чернышевский когда-то выдумал «проницательного читателя», мне кажется, что пришла пора за руку привести в наш текст читателя наивного. Самому как-то неловко спросить у образованного автора: а что такое «утвердившееся представление о поэтике Набокова»? У кого оно «утвердилось»? Ну, неловко такое спрашивать. Получается, что ты не знаешь «утвердившегося представления» о поэтике Набокова. Что тогда с тобой разговаривать? О чем тогда с тобой разговаривать? Наивному же читателю не стыдно тихонечко этак намекнуть, что, прежде чем что-либо пересматривать, надобно этак-так хоть сообщить, что ты собираешься «пересматривать». В. Линецкий не задерживается. У него еще одна задача: «радикально перетряхнуть... понятие о модернизме». Понятия — перетряхивают? Да. Наивный читатель не ошибся. Понятия перетряхивают. И чистят. С песочком. Вокабуляр родного агитпропа еще не раз встретится наивному читателю на страницах эссе В. Линецкого. Пока что В. Линецкий набрасывает общие контуры «общепринятого понятия о модернизме», намечает границы «начиная с безоговорочного причисления Набокова к самым характерным *для оного вида авторам* (что-то естественнонаучное в выделенном мной обороте, что-то такое идиллически-зоологическое. Пастбища, а на них — разные виды авторов. Виды и подвиды, надо полагать. — *Н. Е.*) и кончая феноменом отечественного постмодернизма, в его отношении к соцреализму». Наивный читатель изумлен: «Набоков» — «отечественный постмодерн» — «соцреализм» — это «куча-мала», это «ирландское рагу». Тем не менее он заинтригован. Как-никак Набоков (по крайней мере так считает В. Линецкий)

«коснулся болевого нерва современной культуры, предложив ракурс, грозящий катастрофой для основных концепций постмодерна. Ведь прошлость — в набоковском ее понимании — напрямую выводит к таким принципиальным для постмодерна „китам“, как „возвышенное“, „интертекст“, „смерть автора“, „симулякр“ и „структура зримости“».

Наивный читатель уже не обращает внимания на новые «зоологизмы» В. Линецкого («принципиальные киты»), наивному читателю интересно: а что такое набоковское понимание «пошлости», по мнению В. Линецкого? Не узнав этого, каким же образом узришь «прямые пути», выводящие к «симулякру» и «интертексту»?

Наивному читателю следует напомнить, что именно писал Набоков о «пошлости». Ну, скажем, в своей книге о Гоголе:

«Комикс „Супермен“ — несомненная пошлость, но это пошлость в такой безобидной, неприхотливой форме, что о ней не стоит и говорить, — старая волшебная сказка, если уж на то пошло, содержала не меньше банальной сентиментальности и наивной вульгарности, чем эти современные побасенки об „истребителях великанов“ <...>. Пошлость — это не только откровенная макулатура, но и мнимо значительная, мнимо красивая, мнимо глубокомысленная, мнимо увлекательная литература...»

Главное для Набокова в «пошлости» оказывается ее «мнимость», «недействительность».

Мир, окружающий Цинцинната Ц. в «Приглашении на казнь», нестерпимо пошл и — именно потому — *недействителен*. Мним. Грубо намалеванная театральная декорация, за которой — ничего. *Nihil*. «Абсолютно-черная пустота», как сказал Николай Иванович Бухарин по схожему поводу. Ну что же, на мой взгляд, «пошлость — как мнимость» («наукообразие» вместо науки, «изящность» вместо изящества, «красивость» вместо красоты) имеет самое прямое отношение по крайней мере к одному из терминов, приведенному В. Линецким. Симулякр. Ну да. Подобие. Образ. Симуляция действительности. (Забав-

но, что по-латыни одно из значений слова «simulacrum» — «призрак, привидение».)

Но мы совсем забыли наивного читателя. Между тем он как баран в новые ворота уперся в первую главку текста В. Линецкого под скромным названием «Пошлость и „смерть автора“».

«Первое, что поражает незашоренный взгляд, это, разумеется, парадоксальная неуместность подобного понятия („пошлость”. — *Н. Е.*) в вокабуляре завязтого постмодерниста».

Наивный читатель заинтригован. Наивный читатель ждет разъяснений, почему «завязтый постмодернист» не может оперировать таким понятием, как «пошлость». Потому ли, что оно оценочно, а постмодернист (завязтый) вышвыривает за борт парохода современности всякую оценочность — эстетическую, этическую, по...? Нет, нет. Потому ли, что постмодернист тщательно подчеркивает свою распахнутость, открытость всем проявлениям жизни и культуры, а в этом случае как же не поработать с пошлостью, с китчем, с низкими жанрами? Нет и нет. Слушайте!

«Говоря традиционно, определение пошлость есть суждение вкуса, а рассуждая логически, суждение по определению предполагает автора, субъекта».

Наивный читатель озадачен. Для начала он не понимает, для чего нужны деепричастные обороты «говоря традиционно» и «рассуждая логически». Автор, вероятно, подразумевает, что есть иное, нетрадиционное, определение пошлости. Или что можно рассуждать не логически. Но это все — придирки, придирки... «Определение „пошлость” есть суждение вкуса, а суждение предполагает субъекта, автора...» Позвольте, но любое суждение предполагает автора... Определение «глупость», «ум», «снобизм», «образованность», «непосредственность», «талант», «бездарность» — суждение, а суждения предполагают автора, субъекта... Стало быть, все эти определения «парадоксально неуместны» в «вокабуляре завязтого постмодерниста»? Но для чего тогда выделять «пошлость» и «вкус»?

Следующее предложение, наверное, разъяснит недоумение, развеет туман:

«С другой стороны, на вкус и цвет товарищей нет: о вкусах не спорят».

Что с другой стороны — понятно, а что — с этой стороны? С этой стороны — «суждение предполагает автора». Значит, сколько авторов, столько и суждений? Наивный читатель пугается. Наивный читатель не видит «другой стороны». Сторона одна и та же. Наивному читателю хочется тоже щегольнуть эрудицией. Ему кажется, что «на вкус и цвет товарищей нет» — травестированная сниженная форма наукообразного высказывания: «Всякое определение есть суждение, а всякое суждение предполагает автора». Множественность авторов предполагает множественность суждений. Наивный читатель чешет в потылице. Наверное, образованный автор хотел сказать, что суждение вкуса, в отличие от суждения разума, абсолютно бездоказательно? субъективно, а не только субъектно? Неизвестно...

Наивный читатель следует далее за мыслью автора. Занятие, что и говорить, увлекательное.

«Иными словами, махрово-логоцентричное суждение вкуса...» Нет. Пред таким моментом не в силах я молчать. Чем-то родным повеяло, такой вокабуляр послышался — не вокабуляр, а вокализ просто. «Махрово-реакционная клика со своих махрово-идеалистических позиций...» — да? Меня всегда волновало: а почему махровая? Ну, не бахромчатая, не полотняная, не домотканая, а именно махровая? Наивный читатель обижен. Ему не нравятся мои придирки. Ну, подумаешь — «махрово-». Наивному читателю другое непонятно: почему суждение вкуса — логоцентрично? Логос — это ведь разум... Какое отношение

к разуму имеет вкус? Суждение вкуса разумом не проверяется. Вроде бы... Наивный читатель внимательно, не спеша прочитывает предложение:

«...махрово-логоцентричное суждение вкуса есть неустранимый фундамент плюрализма (во всех его преломлениях), триумф которого, по крайней мере теоретический, празднует постмодернизм».

Наивный читатель ошарашен. В конце концов, Бог с ним, с «преломляющимся плюрализмом», и «неустранимый фундамент» тоже не так страшен (наверное, «устраимый» фундамент — это уже не фундамент, а колеса), но вот чтобы основой плюрализма служило суждение вкуса... Это — смело, мягко говоря.

Однако рассуждение автора не закончено. Последний мастерский удар:

«Остается напомнить, что плюрализм, как диалогическая субъективность в теории литературы, известен под бартовским псевдонимом „смерти автора“, — и первый из цепочки парадоксов налицо».

Наивный читатель отирает пот со лба. Ему напомнили, что в теории литературы известен псевдоним Ролана Барта — «Смерть автора». Впрочем, возможно, что это псевдоним Бартова. Аркадия. Не важно. Важно то, что наивный читатель не видит «цепочки парадоксов», а видит удивительное рассуждение, в котором вывод не подтверждается посылками.

Дано: понятие «пошлость» неуместно в вокабуляре постмодерниста.

Требуется доказать: почему.

Доказательства:

Определение «пошлость» — суждение вкуса.

Суждение вкуса — фундамент плюрализма.

Теоретическую победу плюрализма празднует постмодернизм.

Следовательно, «пошлость» неуместна в вокабуляре постмодерниста.

...От такого силлогизма и Хармс бы не отказался.

Так почему же «пошлость» — неуместна — в вокабуляре — постмодерниста — если — постмодернизм — празднует — победу — плюрализма — чьей — основой — является — суждение вкуса — а пошлость — как раз — и есть — суждение вкуса?

Наивный читатель догадывается, что если бы вышеприведенный отрывок был бы кардинально изменен, на самом деле ровно ничего бы не изменилось. Пожалуйста: «Первое, что поражает незашоренный взгляд, это, разумеется, *триюженная уместность* подобного понятия в вокабуляре завзятого постмодерниста. Определение „пошлость“ есть суждение вкуса, а суждение предполагает автора, субъекта... На вкус и цвет товарищей нет, говоря традиционно. Иными словами, махрово-антилогоцентричное суждение вкуса есть *легко устранимая подпорка* плюрализма, победу которого празднует постмодернизм».

Наивный читатель обрадован. Новые ворота распахиваются настезь. Темный поначалу текст становится чист, ясен и прозрачен. Как горный воздух. Как поцелуй ребенка. Как вода в лесном ручье. Перед наивным читателем — «главный парадокс постмодернизма». Мнимость о мнимости. Не статья, но постмодернистское стихотворение в прозе, выстроенное по всем правилам абсурдистской поэтики. Текст слеплен из словесных блоков, внутри которых слова взаимозаменяемы. Смысл от этого не меняется, потому что смысла — нету. Есть имитация смысла. Этакое «згараамба», прикинувшееся научной статьёй — со ссылками, цитатами и сносками. Вот, например, такой «дыр-бул-щыл» в виде сноски № 1:

«Впрочем, сам В. Набоков пишет слово иначе: *poshlust*. Поэтому тут трудно удержаться от соблазна воспользоваться криптографическим анализом, предложенным Н. Абрахамом и М. Торок и с энтузиазмом поддержанным Деррида (см.: Derrida, J. Fors. in: N. Abraham, M. Torok. *Criptonymie*. P., 1976). Действительно, в такой транскрипции для мультилингвистического читателя, каковым в теоретическом идеале является чи-

татель эпохи постмодерна, слышится присутствие двух слов: *posh* — омонимично французскому слову „карман”, *lust* — в английском и немецком означает „удовольствие”. Тем самым набоковская *poshlust* есть „удовольствие от кармана”, т. е. чисто капиталистическое удовольствие от бесцельного накопительства. Семиотика кармана (особенно пустого) есть семиотика насыщенного цитатами, аллюзиями постмодернистского текста».

Нужды нет, что сам Карл Маркс вряд ли согласился бы с тем, что «бесцельное накопительство» — «чисто капиталистическое удовольствие». Нужды нет, что сам В. Набоков (наверное) ничего не «криптографировал», а просто хотел подчеркнуть редукцию второго, безударного, гласного в слове «пошлость», произносимого как краткое «а».

Все это не важно. Процитированное вдохновенное бормотание ни в коей мере нельзя считать суждением или рассуждением. Это — песня. (Разумеется, если устранить некоторые, гм-гм, языковые погрешности — «для мультилингвистического читателя... слышится» — это, *ronjatnym delom*, «велик могучим русский языка»...) Здесь нет доказательных силлогизмов, здесь — заклинательные алогизмы.

Но далее:

«...слышится присутствие двух слов: *posh* — омонимично французскому слову „карман”, *Lust* — в немецком означает „удовольствие”, „желание”, „похоть”, „физиологическая страсть”. Со времен Фрейда широко известна вагинальная символика кармана. Известно также, что один из способов мастурбации связан с карманом. Пустым. Дырявым. (См. неопубликованные комментарии М. Н. Золотоносова к „Антисексусу” А. Платонова и часть четвертую главы седьмой поэмы „Лука Мудишев”:

Находясь вблизи с Лукою —
Нет сил терпеть природных мук! —
Полезла вдовушка рукою
в карман его суконных брюк...

(„Три века поэзии русского Эроса”. СПб., 1992, стр. 75.)

Тем самым набоковская *poshlust* есть „похоть — в карман”, „карманная похоть”, т. е. чисто феодальное удовольствие от бесцельного и бесплодного „расточительства”, так сказать, „страсть онаниста”. (Ср.: „Онани... когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал; и Он умертвил его” (Бытие. 38: 9 — 10). Библейский концепт набоковской *poshlust* и заставляет вспомнить бризантное богоборчество или богоборческую бризантность бесцельного расточительства и отсылает к знаменитому афоризму Мих. Бакунина: „Страсть к разрушению (то есть к расточительству! — *Н. Е.*) есть творческая страсть”. М. Бакунин сформулировал это положение по-немецки: „Die zerstörende Lust ist die schaffende Lust”. Буквальный перевод: „Разрушающая похоть есть похоть творящая”. В. Набоков кардинально меняет ракурс демонического революционного богоборчества. Превращает грозную анархическую *Lust* в жалкую онанистическую *post-lust*...»

Наивный читатель останавливает разбег пера: подобные тексты можно гнать километрами. Подобные создания Жиль Делёз называл «ризомы». Они пухнут, расплзаются, как грибочки, как раковые опухоли, как тесто у забывчивой хозяйки.

Отдает ли автор себе отчет в том, что изрекает? Или его несет вдохновение, и он искренно убежден в интеллектуальной и эстетической значимости такого, к примеру, текста:

«Парадокс „Лолиты” в том и состоит, что использование интертекстуальности ведет к ее радикальной дискредитации. (Кто кого дискредити-

рует: „Лолита” интертекстуальность или интертекстуальность „Лолиты”? — Н. Е.) Так что в результате выясняется, что, сводя разговор к цитатности и аллюзийности этого сочинения, мы характеризуем поэтику Гумберта, т. е. практикуем „тематическое литературоведение”. Тогда как поэтика В. Набокова не имеет ничего общего с поиском „палимпсестов”, ставя действительно радикальное требование читать „Лолиту” вне отсылок к таким ставшим китчем сюжетам, как, скажем, „Манон Леско”.

Да отчего же? Я читал какую-то немецкую статью, в которой очень убедительно доказывались интертекстуальные связи между «Лолиточкой» Гумберта Гумберта и исторической Лолитой — шотландско-ирландской танцовщицей, родившейся в Лимерике, умершей в Нью-Йорке (а в промежутке успевшей вскружить голову баварскому королю Людовику I). Помнится, очень неглупое французское исследование о романе В. Набокова и повести Ал. Дружинина «Лола Монте» (повесть о неравном браке: молоденькую девушку выдают замуж за старца. Старичок иногда называет девушку Лолитой, Лолой Монте). Ни у немца, ни у француза я не обнаружил «дискредитации интертекстуальности». Скажем, так: глупое использование интертекстуальности ведет к ее радикальной дискредитации. Но это ведь не более чем банальность. Ну и что? Зато какая «матрица» вылеплена. На века! Для любых произведений любого искусства. Наивный читатель медленно и верно становится образованным автором. Глядите, как он писать умеет: «Парадокс „Евгения Онегина” в том и состоит, что использование интертекстуальности ведет к ее (и его) дискредитации. Так что в результате выясняется, что, сводя разговор к цитатности и аллюзийности этого сочинения, мы характеризуем поэтику „Евгения Онегина”, то есть практикуем „тематическое литературоведение”. Тогда как поэтика Пушкина не имеет ничего общего с поиском „палимпсестов”, ставя действительно радикальное требование читать „Евгения Онегина” вне отсылок к таким ставшим китчем произведениям, как, скажем, „Дон-Жуан”».

Господи, как наивный читатель благодарен образованному автору! Тайны сложных текстов высвечены ярко — до боли в глазах. Как прекрасно, когда человек выстраивает предложение не для того, чтобы его поняли, а чтобы его не поняли. Еще прекраснее, когда и сам человек не понимает, что он такое... написал:

«Эта цитата, подтверждающая возникновение эффекта возвышенного на пересечении дара и пошлости китча, позволяет поставить точку в статье, посвященной доказательству того факта, который на сегодняшний день очевиден *едва ли не для одного только Битова* (курсив мой. — Н. Е.)».

Я совершенно уверен: создатель этого синтаксического «пейзажа после битвы» не понимает, что он хотел сказать. Если бы понимал, то написал бы так: «факт очевиден *одному только Битову*» или «факт очевиден *не одному только Битову*». Но «*едва ли не для одного только*» — это прямо-таки страшный сон В. Набокова: по русской речи проехал танк. В результате может получиться и такой вот монстр:

«...ценой возвращения „свежести”, „силы восприимчивости” взгляду автора становится слепота его персонажа».

Исправить положение можно: «слепота персонажа становится ценой возвращения взгляду автора „свежести”, „силы восприятия”». Но исправлять положение не нужно. Ни к чему. Тем самым пропадет необходимая для научной статьи туманность и многозначительность. А если пропадет туманность, то наступит такая ясность, как, например, в этом пассаже:

«Трудности с реформированием социализма связаны с тем, что занятые этим делом экономисты воспитаны на марксизме, а потому могут изменить только свое отношение к социалистической экономике, но не свое понимание оной. Вчера отмена частной собственности считалась прогрессом, сегодня она объявляется регрессом к наиболее примитивным

формам экономических отношений. Последний подход еще более ошибочен, чем первый. Прогресс/регресс — понятия вообще относительные, им не место в объективном анализе. Экономика социализма прогрессивна в той мере, в какой сложившиеся в СССР экономические отношения не имеют аналогов в истории».

Эгм... Можно ли изменить отношение к чему-либо, не изменив понимание этого самого «чего-либо»? И как им абсолютным понятиям найдется место в объективном экономическом анализе, если термины «прогресс» и «регресс» так уж относительны? И почему у советской системы нет аналогов? Игорь Шафаревич целую книжку написал, исследуя аналоги советской системы. Называется «Социализм как фактор мировой истории». И что означает: система «прогрессивна в той мере, в какой... не имеет аналогов в истории»? Не хочет ли образованный автор сказать, что общественное устройство, при котором приходится закусывать собственными детьми (если бы такое существовало), было бы прогрессивно в той мере, в какой не имело бы аналогов в истории?

Да нет... Образованный автор ничего такого сказать не хочет. Он просто — хочет сказать... Говорение — всё. Конечная цель говорения — ничто. Послушайте, как внушительно:

«Процесс чтения переводится из пространственных во временные координаты».

Только не надо пытаться представить себе, что такое «пространственные координаты» чтения. Это — фикция. Симулякр. Зато как красиво, а?

«...вся беда в том, что, соблазнившись бахтинской лазейкой, мы откроем путь цепной реакции, так что в итоге перевал постмодернизма обернется для его теоретиков Сен-Готардом. Единственный способ выйти из парадоксального тупика отнюдь не метафорически назван нами бахтинским, а упоминание трагически знаменитого Сен-Готардовского перевала если и является метафорой, то как нельзя более уместной в контексте нашей темы. Действительно, Сен-Готард — яркий пример тех „горных вершин“, к которым апеллировал такой теоретик „возвышенного“, как Кант <...> „Обезвредить“ возвышенное означает диалогизировать оно <...> Парадокс состоит в том, что результатом такой операции станет превращение возвышенного в пошлость <...> И вновь: по первому впечатлению может показаться, что парадоксальность превращения возвышенного в пошлость не грозит серьезными неприятностями для теоретиков постмодерна. Действительно, как принято считать, вся постмодернистская эстетика построена на заигрывании с пошлостью, или, выражаясь элегантнее, с китчем. Так, например, наш доморощенный знаток постмодернизма, этот Иван Сусанин в интертекстуальном лабиринте цитат и аллюзий, твердо усвоил, что „Имя розы“ У. Эко построено на обыгрывании детективных клише, перечислить которые означает исчерпывающе охарактеризовать поэтику автора. К несчастью, у любого лабиринта есть центр — местопребывание Минотавра, существа отнюдь не вегетарианского».

Каково? Нет уж, позвольте наивному читателю напоследок «симулякрнуть» и «поинтертекстуализировать», чтобы явить, так сказать, *urbi et orbi* «структуру зримого» вкуче со «смертью автора»: «Барочный концепт статьи В. Линецкого отсылает реципиента оной к куда более ранним образованиям русского литературного фона, в частности — совершенно очевидна связь вышеозначенной статьи со стилем „плетения словес“». Дискурс текста празднует победу над дискурсом автора. Всякому, конечно, вспоминается махрово-романтическая концепция Станиславского: режиссер должен умереть в актере. Здесь — автор умирает в тексте. Текст движется сам по закону сцепления и отталкивания больших словесных масс. Это движение — лавинообразно, си-

мультиантно, перманентно и суверенно. Незашоренный взгляд замечает сразу парадоксальную неуместность понятия „глупость” в вокабуляре В. Линецкого. Глупость — оценочная категория, между тем как принципиальная безоценочность является основой научности, победу которой празднует В. Линецкий. На самом деле это — победа Пирра. Для победителя уже заготовлен острый обломок черепицы с крыши грубой эстетической действительности, чтобы свести на нет все кажущиеся такими прочными достижения монистичного постпостмодернизма, или постпостмодернистского монизма. Воспользовавшись кантианскими воротами, В. Линецкий открыл путь цепной реакции, так что в итоге мост над зияющей вершиной постмодернизма оказался даже не Чертовым мостом, но несчастной доской-ловушкой из притчи Кафки „Испытание”, и доблестный переход через Фуко-Деррида-Делёзо-Лиотаровские Альпы обернулся трагической ретирадой, отчаянным бегством, заставляющим вспомнить даже не опалу великого полководца, умирающего в тесной квартире на Крюковом канале, но славу мужа племянницы этого полководца — графа Дмитрия Ивановича Хвостова. Обманный способ выйти из трюизменного тупика назван нами кантианским, конечно, метафорически, а упоминание трагически знаменитого Чертова моста более чем неуместно в контексте нашей темы, что парадоксальным образом только и вынуждает нас к такому, и только такому, оксюморонно-пародийному, симулякро-интертекстуальному способу ведения диалога».

Такие вот — пироги. Блин.



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

НЕВЫНОСИМАЯ ХРУПКОСТЬ БЫТИЯ

Анатолий Бахтырев. Белая утка. Рассказы. — «Континент», № 95, 1998.

Мир стоит на том, что живущие в нем люди — разнообразны. Талантливые и бездарные, трудолюбивые и ленивые, ползающие и парящие, они составляют удивительную мозаику бытия, и нужды нет, что одни прогремят в веках, а другие будут тотчас забыты, едва Главный Художник выбросит раскрошившуюся крупинку, чтобы заменить ее новой в своем прекрасном и непостижимом узоре. Иногда, впрочем, летящий в бездну осколок вспыхивает неожиданным светом, и мы с изумлением глядим на яркий неопознанный нами объект...

Со дня смерти Анатолия Бахтырева прошло тридцать лет. Со дня рождения — семьдесят. Журнал «Континент» отметил это событие первой на родине публикацией пяти его рассказов. Единственная публикация до этого, тоже посмертная, была осуществлена в Иерусалиме радением Павла Гольдштейна тиражом в 200 экземпляров в 1973 году — книга «Эпоха позднего реабилитанса», куда вошли рассказы, отрывки из дневников и писем (название и предисловие принадлежат издателю).

Между тем имеются неопровержимые свидетельства, что Анатолий Бахтырев был личностью необыкновенной. В нем жил какой-то удивительный дух, и этот дух сплотил вокруг себя целую группу (в этой компании Бахтырев носил имя Кузьмы) милейших русских мальчиков, разводивших в его комнате на Кировской умнейшие и честнейшие разговоры на всевозможные возвышенные и лукавые темы (и время было самое подходящее: сорок шестой, сорок седьмой...). В компанию, как водится, затесался Иуда, и в сорок восьмом мальчиков посадили (только не надо ни в коем случае путать *этих* мальчиков с диссидентами, диссиденты были *потом*) — Иуду, кстати, тоже. Всех скопом реабилитировали в пятьдесят четвертом.

Ближайший друг Кузьмы, хорошо известный теперь прозаик Евгений Федоров, сделал его героем своих наслаивающихся друг на друга романов и повестей. Григорий Померанц, тоже входящий в дружеский круг, посвятил ему изрядную часть воспоминаний (см., например, журнал «Поиски», Париж, 1984, № 7-8 — «Крыло второе. В сторону Кузьмы»). Те, кому посчастливилось общаться с Анатолием Бахтыревым, сходятся в одном: у него был удивительный дар собеседника, который, с одной стороны, продуцировал речевые шедевры, придающие разговорам блеск и остроту давно забытых эпох, а с другой — провоцировал участников беседы на неожиданные повороты собственных мыслей, на маленькие открытия внутри себя, на спор, наконец, где истина, конечно, не рождается, но, вполне возможно, зачинается.

Написал Бахтырев мало. Причин тому несколько. Самая очевидная — прожил совсем недолго. Вторая, служившая основанием и для первой, — все больше и больше пил («*этот стимулятор покоя становится мне все важней*» — дневник). Причина третья, самая главная и самая сложная, лежащая в основе всего, — особый тип личности, безусловно творческой, безусловно талантливой, но словно бы не наделенной необходимым противовесом для этого таланта, который, собственно, и дает возможность полноценной реализации. Рвущемуся в небеса лебедю необходимы шука самосохранения и рак рутинного труда. «*Пишу мало, пишу случайно, пишу не то, но все время ощущаю как великую поэзию*» — дневник.

Рассказы Бахтырева прежде всего поэтичны — хотя написаны о самых «низких», бытовых, если угодно, вещах. Четыре из пяти опубликованных в «Континенте» рассказов — про лагерь. Вот уж где, если верить Шаламову, поэтичности не место. И однако. Скажу абсурдную, с точки зрения здравого смысла, вещь: проза Бахтырева чистой воды поэзия. Что, кстати, объясняет феноменальную краткость

формы. Не то что слова, звука не выкинешь. Образная, эмоциональная насыщенность такова, что приходится обходиться абзацем в одну строку, в одно предложение. Фраза рубленая, лаконичная. Предложение тяготеет к простому. Ясность без излишеств, как у античной статуи. Между фразами — паузы. Момент тишины. Внутреннего сосредоточения перед следующим словом, которое должно быть выпущено точно в цель, без всякой предварительной пристрелки. *«Как в стереокино: чуть влево сдвинулся — смазал, вправо — тоже смазал. Сиди, как будто тебя за уши держат. Сиди, это стоит того»* (рассказ «Агараки» из «Эпохи позднего реабилитанса») — сказано про угол зрения, под которым открывается вид (в данном случае — зимородок на ветке над водой), но сказанное здесь выражает и саму суть творческого метода.

Эти лакуны между абзацами и фразами полны внутреннего смысла. Автор не знает пощады к себе, шагая босой ступней с одного острого уступа на другой, автор не знает пощады и к читателю: «Написать — это не значит облегчить, но ясность видения дает сравнительное спокойствие» (из письма к другу Ивану Краснову). Читателю предстоит собственной волей, собственным опытом, собственным напряжением заполнить оставленные для него пропуски, и это знак уважения и высшего доверия.

Бахтырева интересуют только критические точки, «экзистенциальные» состояния, где, словно на переломе горных пород, выходит на поверхность жила ценной руды. В нем — ничего от естествоиспытателя, который лишь после того, как нанижет на булавку сто первую бабочку, может почувствовать удовлетворение от доказанной закономерности. Бахтырев — первооткрыватель единственного в своем роде, ему интересно и дорого лишь то, что не может встроиться в ряд, в закономерность, застыть и превратиться в надгробную плиту над переходящим чудом жизни. И потому движение в его прозе — не симуляция его художественным приемом, но сама форма существования текста, почти как просмотр слайдов — картинка, темнота, шелчок, картинка, темнота...

Лагерь Бахтырева — совсем не тот лагерь, образ которого уже сложился благодаря Солженицыну или Шаламову. Удивительно, но лагерь для него не ад, не бездушная машина уничтожения, не средоточие страданий и унижений, а одна из форм жизни, которую он, что еще более поразительно, приемлет, готов включить в свой опыт (при том, что весь срок был на общих работах, да еще и без посылок — посылать было некому, осиротел в восемнадцать лет, а единственная живая родственница, тетка, жила в далекой деревне и ничего не знала). *«Я не могу назвать это время несчастливym. Чувство солидарности и широкой дружбы и жизни* (последнее слово в опубликованном тексте отсутствует, но в рукописи так. — М. Р.) *среди людей, которые тебе симпатичны, бескомпромиссности и равенства — что ж тогда счастье»* («Белая утка» — «Континент»). Эта фраза — лучшее доказательство, что свобода внутри человека и не зависит ни от каких внешних обстоятельств.

«А ваш Кузьма — славный парень, острый, живой ум... Отзывчивый, быстр разумом, „Белая утка” — совершенно шедевральной штука, вкус и энергия, точное, мускулистое слово, без изъяна, фактически это поэма, лучшее, что есть в современной русской литературе, и этот, как его, „На семь метров против ветра”, чудесный рассказ, с интересным подтекстом, волнующие, прочувственные, тонкие метафоры, сложный, с выдумкой, Бога нет, но есть деревья, чудная мистика, ей-ей новый (или воскресший) Сковорода (мир меня ловил, но не поймал!)... абсолютная свобода плюс высокая техника человеческого общения без всякой навязчивой, нудной дидактики... одно его присутствие настраивает вас на философский лад, открытость миру и собеседнику, понятно теперь, почему именно он в вашем шалмане был коноводом, фельдмаршалом, задавал тон, и вы роились и хороводились вокруг него, как пчелы; все же идеи его тухлые, завиральные, хаос, хмарь, волхования, дичь в башке и что-то неудобовыразительное...» — так аттестует Бахтырева Евгений Федоров устами одного из своих персонажей («Кухня» — «Континент», № 95).

Любопытно, но в дневнике Бахтырева имеется запись: «Прохоров (готовившая публикацию и все материалы для израильской книги жена Бахтырева Гедда Шор

из соображений конспирации все имена и фамилии сознательно изменила, в рукописи же стоит, конечно, „Федоров”. — М. Р.), не зная текста, очень смешно определил идею „Уточка”: ее е..., а она чистая остается». Бахтыревская же «Уточка» такова. Зачин: «Как мне ее описать? Видел я это чудо один раз», — далее ретардация: обычные, без надрыва, лагерные будни, и — первый намек на тему — женщина с тонкой талией, что всегда встречалась бригаде в одном и том же месте по пути на работу («Юбка! Да, это часть человеческого чувствований. И вечное скопление всего отвратительного, смешного и великолепного»), апофеоз: белая уточка, на которую наваливается селезень, а сверху еще два гусака, и из-под этой кучи малы выскальзывает наконец «удивительно маленькая, удивительно белая уточка. Только сейчас у нее ровно наполовину — ватерлиния. Нижняя часть совершенно черная от грязи, от лужи, верх — ослепительно белый. И до чертиков красивая! Белая уточка».

Всяко тут возможно понимать, и по-федоровски, и по-блоковски, и так — «скопление всего отвратительного и великолепного», смысл, однако же, представляется шире. Вот еще записи из дневника: «*Дикие, бездонные моральные падения, потрясающие, очищающие мозговые взлеты*», — и: «*Неужели мне уготован наклон плоскостей?..*» Возможно, Бахтырев отмерил себе такую короткую жизнь, потому что платил не в рассрочку, в месяц по копейке, а целыми кусками души, выжимая из материи скупые капли красоты. Эстетический закон нельзя сформулировать — его можно только выводить заново каждый раз. Есть особо чувствительные натуры, которые вынуждены платить саморазрушением за каждый пробег по взлетной полосе. Отягчающая их плоть словно мстит им за ежеминутную готовность пренебречь ею до полного отторжения и, вступая в свои права, тянет в противоположную бездну.

Рассказ «Падло» («Континент»). Просто — случай, ничего особенного. Ну, заперто много людей, параша полна, а тут — приперло. Вертухай же, «падло», на крики и мольбы ноль внимания, грозит изолятором, в сортир вывести не желает. Ладно, веди хоть в изолятор. Изолятор же заперт, и дежурного на месте нет. Ведет обратно. Герой самовольно ныряет в сортир и — навстречу входящему следом вертухаю с улыбкой: уже все. И получает удар поддых. И лежа — сапогом под ребро. «*Злоба душит — овечкой встаю*». И мирно идет обратно к себе на нары (ребро сломано). «*А ведь я скушать был его готов, не выплевывая косточек*».

Если это не принципиальная модель взаимоотношений с жизнью вообще, то что это? Она тебя сапогом под ребро, а ты «овечкой встаешь». Но чем-то же должен заполняться зорь между «злоба душит» и «овечкой»? Что-то там происходит в душе, большое и темное, выраженное на письме одним только «Падло» на весь абзац. То, что способно к полету, — неустойчиво и хрупко, слишком невесомо, быть может, чтобы противостоять парадоксу.

И при этом — ни малейшей жалости к себе. Легкая ирония (не всегда, но к месту). Хотя все, что написано, высказано безоговорочно от первого лица до полного отождествления между автором и лирическим «я» — и высказано заведомо субъективно, с заявленной позицией сугубо личного видения, в этой личностной позиции просвечивает идея удивительного единства и причастности.

Рассказ «Случай из жизни» (в «Континенте», к сожалению, с утраченной концовкой, которой нет также и в книге, но в рукописи имеется). Случайно перевернул кастрюлю. Ошпарился — «*от пояса и ниже, почитай до колен*». Ошпарившемуся семнадцать лет. «*Зулусские танцы по комнате*». Кожа, натурально, слезла. Потом выросла заново, однако «*без изъяна. Необходимого*!». Проблема, с одной стороны, смешная, с другой — нешуточная. Врач посмотрела и пообещала: до свадьбы, мол, заживет.

Писал бы этот рассказ кто-нибудь другой, вышел бы дурацкий пошлый анекдот. У Бахтырева — совсем о другом. «Хочу донести до вас необыкновенность, не боль, а необыкновенность, и это не в силу какого-то героизма, а в силу своего рационалистического устройства. Ужасно смешно, когда мир — фортель выкинет. Тут не боль, а удивление. Чудо — туда, чудо — сюда. Чудо!» И тут не поза, не игра. Тут действительная способность и готовность к восприятию явлений жизни, именно что любых, без заранее выдуманных теорий и подходов, то есть к непо-

средственному ощущению бытия. (И это при том, что потом форма ощущений будет заполнена философией, эстетизирована, осмыслена и осмысленна, и иронически переосмыслена, и с этой точки зрения заново снижена, а потом вновь поднята на высоту — и все это на каких-нибудь трех страничках!)

Лишь люди, лишенные от природы защитной внешней оболочки, способны так ощущать. Каково же тогда их внутреннее напряжение — с такой-то чувствительностью!

Сказать, что Бахтырев обогнал свое время, было бы непростительной пошлостью. Этот человек существовал в определенном смысле вне времени и потому, может быть, с таким трудом вписывался в него, точнее, трагически не вписывался, становясь, по мере «взросления» и взрослой же детерминированности своего окружения, все более одиноким.

Не приняв в свое время венца из рук восхищенных обожателей — «Ты отказался быть Христом» («Другу Прохорову», в оригинале «Федорову» — «Эпоха позднего реабилитанса»), посчитав собственный культ невыносимой пошлостью, он в конечном счете оказался почти изгоем, потому что продолжал задавать вопросы, когда другие уже спешили определиться с ответами. Одни друзья склонялись к диссидентству, другие — к православию. «Почему Кузьму не захватило начавшееся демократическое движение, не дало ему — пусть на время — какое-то дело? Старый его приятель Витя... стал теперь одним из „отцов русской демократии”». Впрочем, именно созерцание Вити в тесном дружеском кругу могло оттолкнуть от всего, что он делал. Так уж получилось, что православное возрождение повернулось к Кузьме Карелиным, а диссидентство — Красиным» (Григорий Померанц, «В сторону Кузьмы»). Феликс Карелин — бывший стукач, некогда посадивший говорливую компанию.

Конечно, Бахтырев не был так прост, чтобы принимать или не принимать что бы то ни было в зависимости от персоналий. Но он был человеком, не способным перенести бремя догмы, и потому всякое однозначное определение себя самого было для него невозможным. Человек, написавший «„Бога нет” но есть деревья — и представить себе это невозможно» («Бога нет!» — «Эпоха позднего реабилитанса»), очевидно, способен к мистическому переживанию. Но всякое переживание для него — сугубо индивидуально, и потому он обречен всегда оставаться вне общего пути, а значит, врата для него еще более узки.

31 марта 1968 года Анатолий Бахтырев был найден в своей комнате мертвым. Долго подозревали самоубийство, потом определили — инфаркт. Жена, с которой они расстались за пять лет до этого, продолжала платить за его квартиру, потому что сам он делать это был уже не в состоянии, вносила деньги сразу за несколько месяцев вперед. В последней квитанции стоит число, до которого жилплощадь была оплачена, — 31 марта...

Мария РЕМИЗОВА.

*

ЗДЕСЬ И ТАМ

Олеся Николаева. *Amor fati*. Стихотворения. 1989 — 1996. СПб., «ИНАПРЕСС», 1997, 184 стр.

Олеся Николаева слегка слукавила: в изящный томик вошли стихи и более ранние, нежели обозначено на титуле; к новому присовокуплены не только вещи из предыдущего сборника «Здесь» (1990), но и с десяток стихотворений из книжки «На корабле зимы» (1986). В общем, представлено то, где автор чувствует, что уже нашел с в о е. В том числе вот такая совсем давняя миниатюра — безыскусственная, быть может, и неискусная, но меня, сколько ни читаю, притягивающая:

Мальчик, усни... Это комната детская.
Это не ты — искушенный и опытный:
рядом облезлая кукла немецкая —
слушатель и утешитель безропотный.

Не для того ль ты, дурной, заблудившийся,
рыскал и плакал ночами ненастными,
чтобы проснуться от жизни приснившейся
в утренней комнате с окнами ясными?..

В сборнике 1986 года крамольный смысл был вынужденно прикрыт обратным этому смыслу названием — «В детской». «Жизнь есть сон» — такое позволялось Кальдерону (барокко! контрреформация!), но не нашей современнице, дерзнувшей уверовать, что житейским лабиринтом, где мы блуждаем, пока не попадем в челюсти минотавра-смерти, еще не все кончается, что есть я с н а я, как детство, надежда... Эти два четверостишия пока формально похожи на гладкие, грамотные, вполне кондиционные стихи, которые поэтесса сочиняла до того, как совершился интимный духовный поворот (таковые можно прочесть и в первом ее сборничке, и во втором, восемьдесят шестого года). Еще не найдена «расшлепанная, на широкую ногу, безалаберная, взбаламученная строфа» (немножко от Огдена Нэша, немножко от «Царя Максимилиана»), принесшая с собой особую не п р и к р е п л е н н о с т ь к условиям земного бытованья; еще не открыты колдовские штучки с акцентным и свободным стихом, с прозаическими ритмоидами. Но — разом исчезла банальность «женского» стихописания. Бог весть отчего. Не от уподобления же неназванного рая утренней детской комнате, что (после Набокова) тоже весьма не ново? Просто задето глубинное, тайное чувство, которое каждый прячет (или не прячет) от себя. Уверенно, умно задето.

С этого момента Олеся Николаева, видимо, встала на опасную стезю — прислушаемся к более чем компетентному мнению виднейшего философа-томиста Жака Маритена: «Религиозное обращение не всегда имеет благотворное воздействие на произведение художника, особенно второстепенного... На протяжении лет внутренний опыт, откуда рождается вдохновение художника такого рода, был опытом, который питался греховным жаром и который открывал ему соответствующие аспекты вещей. Произведение извлекало из этого пользу. Теперь сердце художника очистилось, но новый опыт остается еще слабым и даже инфантильным. Художник потерял вдохновение былых дней. Вместе с тем разум его занял теперь великие, только что открывшиеся и более драгоценные идеи. Но вот вопрос: не будут ли они, эти идеи, эксплуатировать его искусство как некие заместители опыта и творческой интуиции...? Здесь есть серьезный риск для произведения... Религия предлагает художнику двойной соблазн упрощенчества. С одной стороны, — поскольку религиозные чувства — это чувства прекрасные и благородные, — возможно искушение удовлетвориться *выражением этих эмоций*... С другой стороны, общность веры ставит художника в непосредственное общение с его компаньонами по вероисповеданию, и он может быть теперь искушаем соблазном заменить этим общением, которое дается ему задаром... уникальное выражение поэтической интуиции, обеспечиваемое одним только искусством».

Жаль, но в своем трактате «Ответственность художника» Маритен не приводит обратных примеров — а р т и с т и ч е с к о г о спасения через «обращение»: того именно, без чего Достоевский был бы обречен приумножать талантливую невнятицу «Двойника», а Честертон остался бы незначительным журнальным снобом. Быть может, предостережения философа касаются преимущественно «второстепенных», как он пишет, дарований (хотя стольким они сегодня бьют не в бровь, а в глаз!), между тем как замечательные во многих отношениях стихи О. Н. грех отнести, при нынешнем-то оскудении, как раз к этой категории?

Не знаю. Как бы то ни было, открывшаяся дорога оказалась спасительной для нашего автора даже с точки зрения поэтической технологии. Когда-то (в статье «Назад — к Орфею!») я упрекала Николаеву за интонационные цитаты из современных поэтов. И сейчас, читая ее последнюю книгу — фактически избранное, — кого только не вспоминала: и Блока, и Кузмина, и Мандельштама, и Цветаеву, и Слуцкого, и Бродского, и Чухонцева, и Кушнера; то темой напомним о себе, то словечком, то изгибом синтаксиса. Для примеров места не хватает, прошу поверить на слово. (При том, что Олеся Николаева сегодня один из немногих нецигатурных и нецентонных поэтов.) Но — остается впечатление, как ни странно, полной

самостоятельности. Новое духовное задание растворяет в себе чужие вкрапления, вернее, золотит их излучениями другой культуры, подчиняет иной эстетике.

Это эстетика средневекового «реализма», где всякое жизненное обстоятельство места и времени высвечено, по закону обратной перспективы, лучом «оттуда», где всякое фактическое «здесь» обеспечено значимым «там», где все тутошные узлы развязываются в загробной утробе вечности. (Как в поэтической новелле о соседке Марье Сергеевне, бедной старухе со стальными зубами, которая, отойдя к небесному Жениху, улыбается с той стороны сверкающей белозубой улыбкой; но никакой сентиментальности, все остранено памятью и воображением ребенка.) Повторяю, это не символизм с его скудным, фиксированным, оспоренным акмеистами словарем и условными рядами «соответствий»; это именно здоровый «реализм», как его понимало искусство христианского средневековья, когда аллегоричность и притчеобразность не были помехой самой фактурной вещественности. Внутри такого задания Олеся Николаева может позволить себе быть сколь угодно конкретной и прозаичной, сколь угодно предметной и обмирщенной — не меньше любого защитника акмеистических знамен. Она может даже сделать свои небесные развязки поводом для земного траги-юмора:

Много нас. И всяк из нас — один
 смотрит в дыры мировых пробоин,
 где стоит пресветлый паладин,
 с саблей наголо пречистый воин.

 Там, наверно, каждому дадут,
 что попросит:
 табаку — курящим,
 девкам — мужа,
 путникам — приют,
 странным — разговор
 и сон — скорбящим.

Но этот пример — частность. Важней, что таков же ее взгляд на зоны исторического времени — те, сохраняя соответственный колорит, все равно опрокидываются в вечность притчи. В ее книге есть ориентированные внутри исторического потока разделы: «Ангел времени», «Прощание с империей», и она не единожды поминает «смену ангельского караула», «когда прежний — покуда справа, а новый — слева» (ошую, видимо, совершается — с приходом новых, «послеимперских» соблазнов — смена дежурных бесов, одесную же — несменяемый ангел-хранитель, посол вечных оснований жизни). Но движение истории в прошлом и настоящем интересует ее куда меньше, чем можно бы предположить исходя из свободного владения реалиями и отличного чувства временной ауры. Вот один из «хитов»¹ книжки — «Судьба иностранца в России», вещь, кажется, способная служить пособием по изучению «русского менталитета»:

.....
 В России судьба иностранца трагична, комична — она
 роскошна, когда не трагична, комична, когда не страшна.
 В ней видно Россию далеко, и стынут средь утренней мглы
 ампиры, рококо и барокко — ее роковые углы.

Но быть иностранцем в России почетно, когда не грешно,
 надежно, когда не опасно, печально, когда не смешно.
 Он принят по высшему чину, как ангел, сошедший с небес,
 и он же — взашей и в спину крестом изгоняем, как бес.
 И то здесь страстями Голгофы окончат над ним самосуд,
 то в лучших российских покаях присягу ему принесут.

Все так. Но все — не про это. А про то, что и коренной уроженец России, коль ты «небесного поприща странник», — «ты тоже избранник, изгнанник, чернец, ино-

¹ Думаю, это нынешнее словцо стоит ввести в оборот для характеристики заметных стихотворений века, поражающих современников. И только будущее выявит, относится ли тот или иной «хит» к высшим достижениям, к «шедеврам» (так, у Блока «Девушка пела в церковном хоре...» — шедевр, а «Незнакомка» — несравненный «хит»).

странец ее!» («Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» — Евр. 13: 14). Стихотворение не дидактично, звонкие, летящие амфибрахии задают ему неназойливый тон игры; но его видимая тема переламявается в конце с такой решительностью, уступая место теме подспудной, притчевой, что финал бросает обратный «воспитательный» ответ на исторический эскиз. И если сперва ворчливо соглашаешься, что, мол, «теперь / из третьего мира арабы то в окна влезают, то в дверь», — дочитав до конца, устыдишься: коли новозаветные начала хоть что-то для тебя значат, обязан чувствовать себя в положении и настырных этих «арабов» тоже.

Короче, историческое здесь — подставка к незбылемому там.

(Похожая диспозиция — в другом безусловном «хите» сборника, «Испанских письмах», пусть не все стихи цикла в равной мере хороши. Приступив, изумляешься: что за опрометчивость — после Бродского-то! после его послания «римскому другу»! Но потом понимаешь, что Испания Олеси Николаевой — это вовсе не аллюзионный Рим Бродского, тем более Булата Окуджавы, прозрачный псевдоним нашего отчества. При всех параллелях: «иезуитом здесь быть противно, шутом — грешно, аристократом — сомнительно, чернью — гнусно» — и озорных смещениях: «Ох, как сурова зима в Испании...» — переименование своего местожительства и ландшафта служит внутреннему отдалению от проходящего перед глазами, обеспечивает душевную дистанцию, некий неподвижный плацдарм, откуда понятней здешняя текучка; недаром обращение к адресату оваяно дыханьем почти загробной разлуки. Это, в сущности, интимно-философическая лирика, использующая, кстати, ту самую «разношенную» строфу, примеры коей я до сих пор не приводила.)

...Правы все-таки и наши формалисты. Для художника, чтобы он одержал победу, все должно стать м а т е р и а л о м (что, добавлю, не отменяет, а даже предполагает человечески-искреннее отношение к этому материалу как жизненной отметине). Истины веры, пережитые как артистический «материал», потянули за собой риторическую поэтику, господствовавшую в нашей культурной ойкумене с древнейших времен едва ли не по XVIII век. Все приемы, описанные, к примеру, С. С. Аверинцевым в его книге «Риторика и истоки европейской литературной традиции», вы без труда обнаружите в «Amor fati» как естественный арсенал современного поэта: все эти анафоры (одно из лучших стихотворений так и называется «Семь начал»), перечислительные нанизывания и плетения словес, причастные и отглагольные предрифмы, свойственные славянщизне наших акафистов, барочные олицетворения, как в старинной пре души с телом, и прочее в том же роде. И чем, как не риторическим маневром, являются фирменные Олесины коды — когда ораторский период стройно заканчивается трех- или четырехчастным разрешением: «Ибо — что ни душа, то раскол, Аввакум и Никон / дышат жаром друг другу в лицо, а начнет смеркаться, / так во тьме многоярусной, в воздухе этом двуликом / ни поладить, ни спеться двоим, ни порвать, ни расстаться»; или: «Потому — безразлично, кто ныне у власти и что за итог / местных стычек и переговоров жандармов, — без раздумья / настоящий испанец тебе ответит: *Испанией правит Бог, / провинцией — ветер с Атлантики, приливами — полнолуния* (курсив мой. — И. Р.)».

Поэтика, форма, как водится, неприметно перетекает в суть, в этику самопознания: «...Раз в неделю, стоя за спинкой стула, / я учу в институте студентов писать стихи, / чтоб рифмовка не ковыляла, чтоб концовка кольцо замкнула. / И чтоб голос взлетал на пуэнт, и чтобы часть / не вылезала из целого, словно вписанная анонимом. / И чтоб земная, не преображенная словом страсть / оставалась где-нибудь на полях пробой пера с нажимом. / И чтоб, увидев свое отражение — демона в глубине / зеркальца золотого, — не бить поклонов. / Но похоронить вчерне и спалить в огне. / Иль пугалом на шесте поставить пугать драконов».

«Библеизмы» нашего автора легкокасательны, на кончике тонкой кисти. Скажет она в прозаической своей поэме «Апология человека»: «Глаза его устроены весьма хитроумно и освещаются изнутри», — или: «...усаживает всех за стол и потчует. И все тут же едят и пьют», — и сразу вспоминаются ветхозаветные «книги премудрости» (само деление на стихи-колонны в этой поэме примерно такое же, как в них). Ну а кому не вспомнятся — тоже не беда, это не навязано, этим — озвучено. Стилизация от нее далека: ведь стилизация — сама по себе цель соответ-

ствующего художественного изделия, а у Олеси Николаевой цели связаны с сио-минутным и с вечным, но не с образцами минувшего. У нее почти и нет стихов на библейско-евангельские сюжеты, зато немало стихотворений, вправленных в библейско-евангельский контекст. Одно из них — «Стихи о богатом юноше» — риску процитировать целиком, поскольку оно сразу многое объяснит.

Я — богатый юноша, и мне жалко
расставаться с сабелькой из Эфеса,
и с камзолом бархатным с алой лентой,
и с пером на шляпе, и с крепким перстнем...

С этой гордой складкой у губ, с повадкой
молодого рыцаря и с посадкой
верховой, с пружинистой походкой,
с подбородком, выплывшим легкой лодкой.

С тетивою мышцы, с биеньем лимфы,
с голосами арфы, с виденьем нимфы,
с зеркалами рифмы и с Божьим даром —
с этим блеском, маревом, плеском, жаром!

Я боюсь земли, где плодятся черви,
я боюсь луны на кривом ушере,
я боюсь пиров, где привольно мухам,
и Царя незримого нищих духом!

И отдам я сабельку с португеей,
и камзол, и перстень, и пруд с аллеей,
и рожок охотничий, и дорогу
неизвестному молодому Богу!

Юный взор отдам ему, сердце, голос,
каждый вьющийся своевольем волос...
Даже сердце — с его ядовитым медом,
жизнь

и твердь со звездами над черным входом.

«Твердь со звездами» — та самая, которую Блоку вручала его демоница-Муза, главный же мотив взят из Евангелия от Матфея (19: 16—22; прошу заглянуть). Но именно мотив, а не сюжет, причем мотив, перенесенный из ближневосточной в условную обстановку. Дело, однако, не в этом. Мало кому удается так внятно решить столь трудную для христианина, а для христианского поэта в особенности, антиномию между благодарственной хвалой жизни «с этим блеском, маревом, плеском, жаром» и неизбежностью жертвенной аскезы — пройти по лезвию ножа между безвольным упоением и постным унынием. От четырех первых строф к двум последним нет никакого логического моста, переход а-логичен, но этим и убедителен, являя собою то, что называют «прыжком веры»².

В одной из ежеутренних молитв говорится: «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящего жития ночь прейти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа...» Но для поэта, для художника, не впавшего в богопротивную клевету на бытие, «ночь этой жизни» непременно сверкает праздничными красками ослепительного дня. Таков парадокс веры и творчества. Словесные заставки Олеси Николаевой напоминают нарядные буквицы средневековых манускриптов и одновременно игрушечную и пылкую патетику Честертона; тут «перья дрожат на... серебряном шлеме, меч позвякивает на бедре», тут и «черный плащ с золотым шитьем», тут «пунцовая лента иль розан», и «слава рассыпающему первую зелень на черных ветках» (в «Гимне Свету»), и розовый персик, и благоуханная груша (в столь же, на свой лад, превосходном «Весеннем дне»). Летучий миг

² Премию имени Владимира Соловьева, которую, как я поняла, дают в Ватикане за художественно достойную апологетику христианства, надо было бы присудить, по моему разумению, не сомнительной вещунье Ольге Седаковой, а автору «Amor fati». Но — нет правды на земле.

так же драгоценен, так же внедрен в вечность, как эпоха с ее массивной поступью, — и «дуручка-жизнь», наводящая марафет «перед зеркалом» (название стихотворения), так же благословенна в своем простодушном искусстве, как ваятель, работающий с нетленным мрамором. И как радостно, как безгрешно следить за тем, как некая юная Лейла «черной тушью глаза рисует, / голубой и розовой раскраской их оттеняет, / пурпурные блики накладывает на скулы / и расцветку вишневою к губам примеряет...». Известное аскетическое средство от любовной присухи, рекомендуемое «старым монахом»: вообразить телесную оболочку возлюбленного истлевшей до черепа и костей — бессильно помочь, ибо сиюминутный жизненный пафос любви нерасточим:

Возлюбленный, ко мне обращающий улыбающееся лицо,
 обознавшийся, нахмурившийся: радость моя! страдание!
 под высокими небесами черное ветхое пальцецо,
 мелкий, неверный шаг, руки в такт колыхание.

.....
 Весь — на краю гибели, на краю бессмертия — весь, —
 пребывающий, уносящийся,
 остающийся, удаляющийся...
 Вот он, тут он, сию же минуту, здесь —
 улыбнувшийся, улыбающийся!

(«Встреча», 1986.)

И все-таки — н о ч ь. Вспомним латинское название книжки. Любовь к року, к участи, к судьбине — *amor fati* — переводится, переосмысливается в одноименном стихотворении как «любовь к скорбям», ибо скорби поджидают человека на путях его исторических и личных, и мировую трагедию, некогда стартовавшую вместе с «земли безумным зудом», не обойти, не объехать. «Лишь трагичную маску мира сорви — под ней / тот же скорбный овал с трагедийным разрезом глаз». Разделяемый Николаевой этос требует мужества, требует приятия исчисленной судьбы: — Ей, гряди!

...Впечатление, быть может, невольно вызванное всем вышесказанным, — что поэзия Олеси Николаевой по преимуществу барочная, аллегоричная, декоративно-иносказательная, — такое впечатление ложно. В той же мере это поэзия сущностного человеческого «я», поэзия персоналий — собственного эго и «я» других. И тут «амор фати» (в родном варианте: «на роду написано») приобретает невыразимо грустный оборот, с равным состраданием к удачникам и неудачникам — смертным в их тщете, уходящим туда нагими, «на правах погорельца». «Миша, наверно, скоро станет священником, / Володя — главным редактором, а Глеб — разведет-ся, / Леночка эмигрирует к своим соплеменникам, / Галя родит четвертого, а Колька совсем сопьется. / Миша скоро наденет эпитрахиль золотканую, / Володя — костюм с бабочкой, Глеб — штаны стариковской кройки, / Леночка — что-нибудь импортное, долгожданное, / Галя — сорочку казенную, а Колька — куртку с помойки. / И жизнь — эта кастелянша, костюмерша известная, / по-хозяйски начнет приглядываться: кто в чем? по росту ли? по плечу ли? / Где протерлось, где залоснилось, прохудилось, треснуло?.. / И по одежке проводит каждого, и сложит ее на стуле...» («Скоро»).

Ее прозо-поэма «Апология человека» — Человека вообще, как у Леонида Андреева, но с другой, разумеется, интенцией — разворачивает все ту же судьбу обратным ходом: от смерти («Человек умирает, и на третий день его облик изменяет ему, на девятый — начинает глеть его тело, на сороковой — сердце. ...В дом без хозяина набиваются воры, разбойники, бродяги, бомжи...») — к пиру во славу живущего. Но все равно невозможно забыть речей на поминках: « — Он любил сырные корки. Бывало, принесу сыр. А он корки-то не дает обрезать и выбросить, говорит: дай мне, я съем». Вот что от нас остается!.. — деталь подлинно чеховская.

(«Чеховской» в самом существенном смысле назвала бы я и написанную схожим прозо-стихом новеллу «Собака». Первая трогательная, смешная, ненарочно обманутая любовь. Ни сожалений, ни упреков — все быльем поросло, подернулось кисеей юмора. В финале, лет десять спустя, случайно встречаются, рады друг другу; вспоминая смешной «собачий» эпизод, дружно, неестественно дружно хохочут,

«а потом, словно застигнутые врасплох, замолчали оба, и пошли каждый своей дорогой...». Строк, вписанных в жизнь предательством, не стереть, но об этом — молчком, в знаменитом «подтексте».)

В книге все так или иначе работает на авторский образ человекознатца, умудренного духовным разумением. Даже двуслойная жизнь, которую, как уясняется из множества мелочей, ведет героиня: светские пересуды, ресторанный столик в ЦДЛ, итальянская шляпка черной соломки — и деревенский огород, хозяйственные хлопоты, гостеванье захожих монашков, женское терпеливое ожидание, а рядом — сужденное каждому сердечное одиночество, — раздвоенность, достойная пера Жданова (не Ивана — Андрея), не разрушает этот образ, а, напротив, снимает с него подозрительный налет учительства. Как и те лирические стихи, в которых героиня непритворно отчаивается, утопает в унынии, погружается во мрак, не в силах прибегнуть к тем утешениям, что, «казалось бы», всегда к услугам ее верующей души («Пустота», «Можно», «Потому что», «Боюсь, я уже ничего не смогу тебе объяснить»).

Постижение неизменного «внутреннего человека», вечного человека (everlasting man, как сказано у того же Честертона) предполагает особый взгляд и на сегодняшние человеческие казусы. Конечно, поэта прежде всего волнуют евангельские категории «нищих духом» — и, с другой стороны, «грешников», которые, в отличие от праведников, «нуждаются во врачах». ...Мы все еще помним телевизионную сцену: на Съезде народных депутатов СССР покалеченный офицер-афганец под одобрение зала оскорбляет и сгоняет с трибуны А. Д. Сахарова; с кем были наши сердца? Но Олеся Николаева не пишет «гражданских» стихов. В балладе «Командор» (пожалуй, еще один «хит») говорит она другое:

Афганец, оставайся прав!
Там, на одной из переправ —
между ветрами, —
ты был распят, ты был сожжен
и собран с четырех сторон,
и вот — ты с нами.

.....
Почто играли вам поход,
почто стреляли вам в живот
из всех обрезов,
и вы сползали по скале
и просыпались на столе
для двух протезов?..

.....
Вам подносил уже Восток
и горный лед, и кипяток
и выше мира
вас ставил гордой чередой,
и Ксерксовой горел звездой
и солнцем Кира!

Так что ж:

...дай по трибуне кулаком,
что прав твой Кесарь!

Нет, она не «за» афганца, но, влезая в его исполосованную шкуру, понимает, что большую гордыню легионера уврачевать может не правозащитник, даже великий, но только Распятый Царь иного, чем у кесаря, царства. (И то же — в стихотворении «Рэкетир», образующем вместе с первым диптих об извлекаемых из ада.)

Финалом и верхом такого душепознания становится «Августин», названный в книге «романом в стихах» — опять-таки свободных и нерифмованных. Раз уж нам вбили в голову, что роман должен быть «полифоническим», то согласимся: здесь три голоса — рассказчицы, ее наставника и молодого героя, — действительно, роман. Хотя, по-моему, мастерская новелла. Сюжета сообщать не буду, он — с секретом, не стоит портить удовольствия тем, кто еще не читал эту, впрочем не новую, вещь. Скажу только, что Августин тут — не прославленный учитель Церкви, а юнец, влюбившийся в монашеское житье и наломавший много дров. И нектаром

поэзии насыщен голос именно этого жалкого и наивного фигуранта. Чтобы слышать «весть» Олеси Николаевой, оценить краски ее дарования, определить источник вдохновения, достаточно прочесть одного лишь «Августина». Но я советую прочесть книжку целиком, не смущаясь слабыми местами (которые, конечно, есть) и зажигаясь от ее огня — искры Божьей.

Ирина РОДНЯНСКАЯ.

*

ЗЛОДЕЯНИЯ ДЖОНА АПДАЙКА

Джон Апдайк. Иствикские ведьмы. Роман. Перевод с английского Н. Вирязова. М. «Вагриус», 1998, 351 стр.

Ванглоязычном литературном мире Джон Апдайк стойко ассоциируется с мейн-стримом «серьезной» американской литературы и считается если не классиком, как Фолкнер или Хемингуэй, то по крайней мере наивернейшим претендентом на этот почетный титул. Для многих американских критиков Апдайк — это не только автор, олицетворяющий собой «чисто американский реализм», но и «единственная фигура, сочетающая мудрость, интеллект и утонченность... со способностью хотя бы изредка прорываться в список бестселлеров... наиболее достойный среди писателей США кандидат на очередную Нобелевскую премию по литературе»¹.

Нобелевскую премию Апдайк, будем надеяться, рано или поздно получит — как уже получил все мыслимые и немыслимые литературные награды США (включая Пулитцеровскую премию и Премию национального общества литературных критиков), пожалованные ему за роман «Кролик разбогател» (1981). Однако ни громкое литературное имя, ни колокольные статьи авторитетных критиков — ничто и никто не в состоянии поколебать непреложную истину: нельзя без ущерба для эстетического качества своих произведений до бесконечности эксплуатировать некогда плодородную, а теперь уже порядком истощенную почву социально-бытового романа, не внося туда ничего существенно нового — как в плане формально-композиционном, так и идейно-философском, — не пытаясь расширить собственный художественный и духовный горизонт, по-своему переосмыслить сложившиеся литературные формы, найти нетривиальный подход к жизненному материалу.

Именно на эти размышления наводит одиннадцатый по счету роман Джона Апдайка «Иствикские ведьмы» (1984) — его перевод сравнительно недавно вышел в издательстве «Вагриус». (Выпустив «не первой свежести» апдайковский роман, издательство, видимо, рассчитывало, что на книжном рынке он повторит успех, которого в конце 80-х на видеорынке добилась его вольная экранизация с участием Джека Николсона, Шер, Мишель Пфайффер и Сьюзен Сарандон.)

Справедливости ради отметим: в «Иствикских ведьмах» писатель, по всей видимости, честно пытался выбраться из накатанной до мертвенного лоска колеи пейзажно-постельно-кухонного реализма, сдобрив пресное бытописание американской провинции специями инфернальной фантастики и вкусом сатиры. К сожалению, выйти за пределы давно облюбованной литературной делянки и кардинально обновить свой художественный арсенал, дав тем самым импульс к развитию далеко не изжившей себя традиции, у Апдайка не получилось.

Правда, на первый взгляд «Иствикские ведьмы» существенно отличаются от предыдущих апдайковских романов — хотя бы тем, что в качестве центральных персонажей здесь выступают представительницы прекрасной половины человечества — три «зрелые, разведенные, лишённые иллюзий женщины», глазами которых показано унылое, хотя и внешне благополучное существование провинциального городка Иствик в эпоху сексуальной революции, вьетнамской войны и рок-н-роллевого бума. Пытаясь воплотить женскую точку зрения на мир, автор с дотошной обстоятельностью исследует сознание (порой неотличимое от подсознания)

¹ Рэмpton Д. «Другое мое Я»: неожиданный наследник Уитмена. — «Иностранная литература», 1996, № 10, стр. 258, 260.

своих героинь, почти полностью растворяясь в нем, «изнутри» показывая его связь с природной стихией и иррациональным началом жизни. При этом в центре авторского внимания оказывается и феминистская идеология, которую исповедуют его протагонистки, твердо убежденные в том, что «мужики — абсолютное дерьмо», а брак — один из главных инструментов подавления женской свободы и индивидуальности.

Расставшись со своими ничтожными мужьями, они самостоятельно зарабатывают себе на хлеб: пышнотелая блондинка Александра лепит из глины незамысловатые статуэтки, сбывая их неприхотливым туристам в качестве сувениров; сексапильная Сьюки (Сьюзанн) репортерствует, собирая слухи и сплетни для местной газеты; темпераментная брюнетка Джейн играет в иствикском оркестре и дает уроки музыки — хотя «зрелище грязных детских рученок, калечащих на ее чистейших клавишах из слоновой кости какую-нибудь бесценную простенькую мелодию Моцарта или Мендельсона», каждый раз вызывает у нее «желание схватить метроном и колотить массивным его основанием по этим пухлым пальцам так, как давят в ступке бобы».

Не слишком утруждая себя воспитанием детей (благо есть школа и телевизор), апдайковские ведьмы ведут довольно разгульный образ жизни, соблазняя женатых мужчин (разумеется, только из чувства снисходительного сострадания и благотворительного побуждения «исцелить, поставить припарки покорной плоти на рану мужского желания»), и частенько наведываются к поселившемуся на окраине Иствика подозрительному типу Даррилу Ван Хорну, который устраивает в своем пахнущем серой особняке шумные оргии с кошунственным пародированием евхаристии, хороводами, танцами и бурными сексуальными забавами на черных матрасах. Как можно легко догадаться, иствикские ведьмы связались с дьяволом (персонаж — немислимый ранее в фотографически жизнеподобных романах Апдайка).

И все же несмотря на inferнальность главных героев и инъекции антифеминистской сатиры (мстительные и раздражительные ведьмы, способные из чувства ревности навлечь на соперницу рак или забавы ради умертвить белку, на поверку оказываются ничуть не лучше бездушных «шовинистов»-мужчин), «Иствикские ведьмы» практически не выделяются на фоне предыдущих апдайковских романов, чья фактура «с раздражающей легкостью улетучивается из головы, прежде чем успеваешь ее ухватить, и сливается с серыми будничными банальностями, которые составляют столь монотонный фон нашего повседневногo бытия, что сознание инстинктивно отвергает их, как не стоящие запоминания»².

Как и прежде у Апдайка, повествование «Иствикских ведьм» страдает сюжетной анемией и самодовлеющей описательностью (лишь слегка окрашенной скучноватыми рассуждениями о жестокости природы); фантастика же парализована здесь назойливым авторским вниманием к «микроскопическим доподлинностям» (апдайковское выражение) быта и нравов ничем не примечательных американских обывателей — не обремененных особым интеллектуальным багажом, не раздражаемых неразрешимыми нравственными коллизиями, неспособных избыть скуку своего сытого существования ни черной магией, ни любовными интрижками.

В одном из интервью Апдайк признавался, что как писатель он «привык искать и находить интересное в самом банальном»³. Похоже, в «Иствикских ведьмах» он чересчур увлекся поисками. В результате фантастика у него вышла бескрылой, лишенной метафизической глубины.

Колдовские проделки иствикских ведьм, как правило, настолько тривиальны, по-бабски мелочны и неостроумны (то одна наколдует, чтобы у посаждавшей ей старухи рассыпалось жемчужное ожерелье и развязались ремешки на туфлях; то другая в сердцах пожелает, чтоб ее новый шеф сломал себе ногу, — и во время гололеда он доставляет ей эту радость; то все вместе делают так, чтобы у ненавистной им городской активистки изо рта лезла всякая дрянь — соломинки, перышки, насекомые), а сам Ван Хорн, с его утомительными разговорами о поп-арте и получении вечного источника энергии, до такой степени бесцветен и скучен, что автор

² Олдридж Дж. После потерянного поколения. М., 1981, стр. 154.

³ «Галактика Апдайка». — «Огонек», 1988, № 29, стр. 17.

при первом удобном случае оставляет своих протагонистов и удаляется в густые заросли пейзажных описаний, поглощающих и без того зачаточную фабулу.

Зато в этих зарослях Апдайк чувствует себя превосходно и резвится вволю, демонстрируя читателю редкую в современной литературе приметливость по отношению к явлениям внешнего мира. От его внимания не ускользает ни одна мелочь. Если уж он берется описывать, скажем, иствикский пляж, будьте уверены — сделает это с исчерпывающей полнотой: зорко приметит и поблекшие цветные наклейки на беспорядочно разбросанных банках из-под пива и упаковках от тампонов, и белый пушок на гладких девичьих ногах «карамельного цвета», и «остатки кострищ из принесенных водой обломков древесины, и осколки термоса для охлаждения вина, и презервативы, похожие на маленьких сушеных медуз»; пронизательно различит на песке «рядом с треугольным узором лапок чаек более тонкие следы куликов и пунктирные каракули крабов»; с точностью заправского ботаника перечислит названия увиденных растений: вот мышиный горошек, чуть дальше — мохнатая гудзония и виргинский вьюнок, а во-о-он там, смотрите внимательно, — *Ammophila breviligulata* («Аммофила короткостеблая», — сообщает в примечании добросовестный переводчик). В результате читатель оказывается буквально погребен под лавиной подробностей (порой совершенно излишних и невыразительных), а действие размазывается, словно холодная манная каша по тарелке.

Спору нет, бесчисленные описания подаются Апдайком в роскошной стилистической упаковке. Правда, время от времени чувство меры ему изменяет, и тогда необузданное буйство пышных метафор и сравнений начинает напоминать безумную фантазию кондитера, вознамерившегося соорудить торт из одних жирных кремowych розочек.

Изредка свою посильную лепту вносит и переводчик. Но в подавляющем большинстве случаев он неповинен в том, что вытворяет его подопечный: «На кривых тротуарах, местами очищенных от снега, виднелись узоры, отпечатанные ботинками, они были похожи на грязные следы на белом печенье» («The not-quite-straight sidewalks of Dock Street, shovelled in patches, manifested patterns of compressed bootprints, like dirty white cookies with treads»⁴; «Смешные струи спермы как крики детеныша животного в когтях ястреба» («These comic jets of semen, like the cries of a baby animal in the claws of a hawk»⁵).

Впрочем, обилие тяжеловесных, плохо перевариваемых метафор и неудачных сравнений, приторно-подробные описания — это еще не самые страшные злодеяния Джона Апдайка. Куда неприятнее половодье нескончаемых пустопорожных диалогов, составляющих, как в заправском бульварном романе, где-то около половины текста. Согласен, некоторые из них выполняют определенную функцию: с их помощью нам сообщается об основных событиях романа. О прибытии в Иствик Ван Хорна и о преобразованиях в купленном им особняке, о гибели священника унитарной церкви Эда Парсли (бросившего семью ради молоденькой любовницы, связанного с левыми экстремистами и подорванного на собственной бомбе), о смерти Дженнифер — избранницы решившего вдруг остепениться дьявола (ее-то и сглазили ревнивые ведьмы), наконец, о бегстве Ван Хорна из города (несмотря на разглагольствования о современном искусстве и грандиозные планы найти источник вечной энергии, он оказался всего-навсего мелким жуликом, скрывающимся от кредиторов) — об этих и других происшествиях мы узнаем из кухонного трепа и телефонных разговоров трех подруг, так что пересуды и словоохотливое перемывание косточек ближним являются, по сути, главным механизмом раскручивания фабулы.

Подобный композиционный прием с приятной легкостью позволяет переделать роман в киносценарий (как мы помним, по роману Апдайка был снят легковесный «ужастик» с участием целой россыпи голливудских звезд), только вот вряд ли он идет на пользу романному повествованию: привкус сплетни и заливающей телефонной болтовни обесцвечивает и опошляет даже самые трагические и ужасные события. К тому же многие диалоги и вовсе не несут в себе никакой полезной нагрузки и оставляют впечатление, что они вставлены в текст едва ли не для того,

⁴ Updike J. *The Witches of Eastwick*. Harmondsworth, 1985, p. 206.

⁵ *Ibid.*, p. 142.

чтобы заполнить пробелы между цветистыми авторскими описаниями. Вот типичный образчик подобного композиционного балласта — выдержка из разговора иствикских ведьм и Дженнифер во время вечеринки у гостеприимного Ван Хорна:

« — Что-нибудь чувствуешь?

— Нет.

— Хорошо.

— Стесняешься?

— Нет.

— Хорошо, — произнесла третья [ведьма].

— Ну разве она не мила?

— Да, мила.

— Просто подумай: „Плыву”.

— Я чувствую, что лечу.

— Мы тоже.

— Всегда.

— Мы здесь с тобой.

— Потрясающе.

— Мне нравится быть женщиной, — сказала Сьюки.

— Ну и будь, — сухо ответствовала Джейн Сمارт.

— Но я и в самом деле *так* чувствую, — настаивала Сьюки.

— Девочка моя, — говорила Александра.

— Ох, — слетело с губ Дженнифер.

— Нежней. Мягче.

— Райское блаженство...»

И такое вот «райское блаженство» — на протяжении всего романа, десятками страниц!

Не хочу сказать, что в этом произведении все так беспросветно плохо. Имеются в романе и удачные эпизоды, и даже по-настоящему смешные сцены (в частности, описание парной игры в теннис, по ходу которой ведьмы — в духе диснеевских Тома и Джерри — устраивают друг другу мелкие пакости, превращая теннисный мячик то в жабу, то в сырое яйцо, то в кусок цемента), есть в нем и превосходные пейзажные медитации, и запоминающиеся характеры второстепенных персонажей (особо отметим одного из любовников Сьюки — духовно выпотрошенного скептика и неудачника Клайда Гэбриела, в припадке ярости убившего постылую жену, а затем хладнокровно покончившего с собой) — есть многое, что позволяет назвать Апдайку первоклассным профессионалом, и все же нет главного — нет ощущения того, что автор стремится к глубокому, творчески-самобытному постижению мира, к тому, чтобы достучаться до читателя, поделиться с ним выстраданным и наболевшим, заставив «мыслить и страдать».

Как это ни печально, роман Апдайка производит впечатление вымученности и ненужности. Убрав Ван Хорна из Иствика и словно не зная, что делать дальше, автор комкает повествование и трафаретно завершает его свадьбами всех трех героинь. Для полного счастья не хватает только финального поцелуя, как в типовом голливудском фильме былых времен, да резюме в духе гоголевского Хомы Брута — им-то мы и завершим скорбный перечень злодеяний иствикских ведьм и их создателя: «Много на свете всякой дряни водится! А страхи такие случаются — ну...»

Николай МЕЛЬНИКОВ.

*

ПУГОВКИ ДЛЯ СЮРТУКОВ

В. П. Руднев. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М., «Аграф», 1997, 381 стр.

Разумеется, это не словарь. Как бы свободно ни обращаться с терминами, со- знавая, что их семантический объем непрерывно увеличивается, есть границы, дальше которых расширение невозможно, если мы хотим, чтобы вещи обозна-

чались внятыми именами. Словарь (энциклопедия, справочник, путеводитель) предполагает системность и хотя бы относительную полноту. В книге В. П. Руднева выдержано только первое из этих двух условий. Система последовательна и логична, полноты нет даже минимальной.

Составитель и сам это признает, на первой же странице сообщая, что «мы включили... те слова и словосочетания, которые были понятны и интересны нам самим». Похвальная откровенность, но сразу вслед ей начинаются довольно неуклюжие подражания Льюису Кэрроллу, предугадавшему и описавшему модные интеллектуальные веяния лет за сто до того, как их стали по-ученому именовать постмодернистским дискурсом. В Зазеркалье выбившаяся из сил Алиса обнаруживает, что она не продвинулась ни на шаг, поскольку тут особые законы: «приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте». В согласии с такой же логикой у В. П. Руднева заявлено, что «ничто не имеет значения», однако в то же время «все имеет смысл», да и вообще важно не «что говорят, а как и зачем говорят». То есть важен угол зрения, а вовсе не выбор рассматриваемых предметов.

Пусть так, но тогда зачем называть издание словарем, вводя в заблуждение широкую публику, которой, согласно аннотации, оно адресовано? Вообразите словарь московской топонимики, куда, по причине авторских прогрессивных воззрений, не попадут, допустим, Ленинский проспект и Краснопролетарская улица. Вспоминается учитель географии, сошедший с ума из-за того, что на карте не было Берингова пролива. Читатель книги, который всерьез намерен пользоваться ею как словарем, окажется примерно в том же положении.

Попробовал бы он догадаться, отчего кино представлено в ней всего четырьмя фильмами, выбранными, кажется, по правилу лебедя, рака и щуки — иначе не объяснить соседство Кокто с Сокуровым, а Тарковского с Поллаком. А как вышло, что в числе «ключевых понятий» значится кич, но не фигурирует, например, абстрактное искусство? Что к этим понятиям принадлежит детектив, а фантастика (и вообще фантазия) не принадлежит, что есть карнавализация, но нет хронотопа, что нашлось место для «нового романа», а для «магического реализма» не нашлось. Что суждениям о культуре XX века не обойтись без В. Сорокина с «Нормой» / «Романом» (да вдобавок дается общая характеристика «концептуализма»), но ее можно описывать без Хемингуэя с «Фиестой» (и вообще без «потерянного поколения»).

В общем, сплошные недоумения, но задавать вопросы без толку, потому что перед нами не словарь. И уж никак не «словарь культуры». Оговорки начинаются уже в предуведомлении, где автор уточняет, что им дается изложение «гуманитарных идей XX века», затронувших интересующие его области: философию, психоанализ, лингвистику, семиотику, поэтику, стихосложение и литературу. Статья «Культура» в этом «Словаре культуры» показательно отсутствует, есть только «Массовая культура» (а где элитаристская? тоталитарная? низовая? рок-культура?). Нетрудно продолжать и продолжать, обращаясь к самым разным сферам приложения только этого действительно ключевого понятия. Но и так ясно, сколь необманчивым было первое побуждение составителя, посчитавшего идею подобного словаря «невозможной и бессмысленной». Она вправду неосуществима (по крайней мере усилиями одного автора), и не было ни малейшей необходимости выдавать собрание по разному поводу написанных статей и заметок за некое единое сочинение. К тому же такое, что, по уверениям издателя, понадобится и школьнику-абитуриенту, и студенту, и научному работнику, поскольку книга получилась «удобочитаемой и полезной в качестве справочного пособия». Как раз эти два достоинства присущи «Словарю» в наименьшей степени. А реальным достоинством нужно бы назвать четкость концепции, выступающей за всей пестротой материала, вобравшего в себя «интимизацию» рядом с «логаэдизацией» и «травму рождения» за десяток страниц до «формальной школы».

Концепция не удивит читателей «Логоса» и других культурфилософских изданий, где часто печатается В. П. Руднев, хотя, возможно, озадачит не столь искушенную публику, которая еще не забыла, с какой жадностью лет десять назад ожидалась свежие номера рижских «Родника» и «Даугавы», где он вел свои рубрики. С тех пор много утекло воды, и составитель «Словаря» не то чтобы резко пере-

менился, но настолько уверился в непогрешимости своих исходных установок, что начались сплошные поучающие монологи вместо прежних остроумных комментариев с их наблюдательностью и скепсисом, порою не щадившим самого говорящего. Питомец тартуской школы, последователь Б. М. Гаспарова, автор относится к наиболее убежденным отечественным приверженцам постструктурализма — из тех, кто правовернее самого Ж. Бодрийара. Он буквально боготворит Л. Витгенштейна. И, мягко говоря, он весьма не расположен к испытывающим хотя бы некоторые сомнения в обоснованности подходов, близких ему самому.

Маловерие прослеживается им до истоков и подавляется в зародыше — приемами, слишком памятными по недалеким временам идеологических проработок. Желаящие в этом удостовериться соблаговолят открыть статью «Диалогическое слово», где они прочтут, что Бахтин, не жаловавший мыслителей, милых сердцу В. П. Руднева, скомпрометирован в глазах «передовых теоретиков литературы» тем, что его учение противопоставляли формальной школе и структурализму (надо понимать, неприкасаемым). Мало того, Бахтин не замечал, что «диалог связан с властью, когда последняя опутывает своим словом обывателя», то есть, договаривая до конца, выступил как адепт тоталитарного сознания, хотя, «пожалуй, он не несет за это ответственности». Во всяком случае, какое счастье, что «его теории и понятия... уже пережили апогей популярности».

Тут что ни слово, то напоминание о Зазеркалье, где действует закон «задом наперед, совсем наоборот», но само рассуждение очень типично для школы, которую представляет В. П. Руднев. Эта школа всегда была привержена разговорам о плюралистичности, о заведомой неполноте доступного нам знания, а стало быть, всего лишь предположительной справедливости любого вывода, но все это относилось ею к другим — не к себе. В «Словаре» В. П. Руднева есть даже специальная статья, доказывающая преимущества позиции, выражаемой посредством слов «как бы», перед той, для которой естественно сочетание «на самом деле». Однако это сплошная теория, а в действительности взгляды и понятия, близкие составителю, трактуются именно как «на самом деле» истинные. Никаких «как бы», когда речь заходит об основополагающих категориях — скажем, о «мотивном анализе», посредством которого Б. М. Гаспарову «удалось показать многослойный полифонизм булгаковского романа-мифа». Мыслимое ли дело подступаться с недоверчивым «как бы» к работе, явившейся «литературоведческим шедевром, которым зачитывались до дыр».

С интертекстом, деконструкцией, аналитической философией, семантикой возможных миров и другими понятиями, важными для составителя, происходит то же самое — они описаны как ключевые «на самом деле», в прямом и буквальном значении слова. На всякий случай читателя, который вздумал бы этому не поверить, припугивают тем, что в точности то же значение придавали таким понятиям то один «блестящий современный аналитик» (само собой, витгенштейновский ученик), то «всемирно известный культуролог» (мобилизованный в союзники Вяч. Вс. Иванов), то лично «великий философ XX века»: описание трудов и дней Витгенштейна в статье «Биография» (где хрестоматийная работа Г. О. Винокура не упомянута хотя бы мимоходом) сразу вызывает в памяти правила житийного жанра в официальной советской версии.

Коли проведена столь фундаментальная подготовка, читателю становится боязно проявить скепсис даже в тех случаях, когда словарная статья активно его провоцирует: улыбнешься — и сразу попадешь в ретрограды, если не в невежды. Вот хотя бы: вас информируют, что «удалось сформулировать общую тему (инвариант) всего творчества Пушкина» — ни много ни мало. Поколения бились над каждой его страницей и каждой строфой, а все оказалось, в общем-то, не сложнее пареной репы: есть начало изменчивости, есть и неизменность, у Пушкина их «амбивалентное противопоставление» — вот и формула. Простовато, чтобы ею обнимались и «К морю», и «Египетские ночи», и «Выстрел»? Но это вы находите, что простовато, да и с натугой выдуманно, а такой авторитет, как А. К. Жолковский (для повышения его статуса указано: ныне профессор в Америке), все это доказал в научном сочинении.

Или еще пример: «Было установлено, что в описании любой картины мира лежат бинарные оппозиции, причем они носят универсальный характер». Замеча-

тельно, как это формулируется: было установлено, и не кем-нибудь, а Ю. М. Лотманом, В. Н. Топоровым, тем же Вяч. Вс. Ивановым, чьи работы названы в библиографии к статье. Выходит, это они доказали, что «роль Б. о., открытая в XX в., поистине не знает границ» и все на свете поддается упорядочиванию по принципу «правый — левый», «близкое — далекое», «счастье — несчастье», причем то, что слева, хорошо, а то, что справа, плохо. Спасовав перед уверенным тоном изложения и отсылками к звучным именам, вы гоните прочь крамольное подозрение, что, в таком случае, обыкновенный светофор содержит более сложную картину мира, чем самые изысканные Б. о. Ведь в светофоре помимо запретительного красного и разрешающего зеленого есть еще предупреждающий желтый. А вот в «Б. о.», сколько ни толковать про модальности и медиации, никак не отыскивается зримо воплотившийся «третий срединный член», и вся гамма отношений насильственно сводится к набору банальностей вроде тех, которые Маяковский растолковывал крохе, впервые заинтересовавшейся аксиологией.

Вам страшно: неужто здравый смысл приближает к простым, но существенным истинам надежнее, чем глубокомысленные выкладки с привлечением принципа дополнительности Н. Бора и соотношения неопределенностей В. Гейзенберга? Но постарайтесь этот страх преодолеть, хотя, следует отдать должное В. П. Рудневу, в искусстве страшить публику умом он далеко обогнал Клеона из пушкинской эпиграммы, целящей в бедную Аглаю.

Буквально на каждой странице «Словаря» он обрушивает на читателя каскад весомо звучащих терминов вроде шизотизма, верификационизма, фальсификационизма, аутистизма и еще многого в том же жанре. Потомки оценят эти старания внести посильный вклад в обогащение великого и могучего русского языка, и, может быть, им, усвоившим, что число измов есть главное мерило образованности, будет легче с беспристрастностью оценить ее качество. Нам же пока приходится скорее преодолевать текст, чем его читать, и поэтому какие-то существенные тонкости наверняка ускользают. Однако главная, излюбленная мысль В. П. Руднева, кажется, довольно ясна, ведь он использует и самый случайный повод, чтобы к ней вернуться.

Собственно, она заявлена уже на вступительных страницах, где автор усиленно советует не забывать, что им предложен не просто словарь, а «гипертекст». Соль вовсе не в том, что его произведение, которое «является подчеркнуто гипертекстовым», можно читать подряд, статья за статьей, а можно и выборочно, следуя системе отсылок. Важны не прием, не композиция, важна идея. Вот она, говоря без ухищрений: все на свете (включая, например, посещение дантиста, бахтинскую теорию полифонического романа или уход Толстого из Ясной Поляны — примеры взяты из «Словаря») представляет собой «языковую игру», или же совокупность языковых игр, и ничего иного. Существует «лингвистическая терапия», которой, в сущности, по преимуществу и занималась культура XX века, доказавшая плодотворность пути «от мишуры дискретных логических выводов — к чистоте континуального поствербального опыта». Те, кто избрали этот путь и прошли по нему чеканя шаг, стали репрезентативными фигурами, выдающимися художниками, современными классиками (к примеру, Саша Соколов, написавший «Школу для дураков», которая не меньше как «последнее великое произведение русской литературы XX в.»: в соперниках только Д. Галковский, тоже «последний великий русский писатель», создавший «последний великий русский роман» — «Бесконечный тупик», если вы не в курсе дела). Те, кто остался в плену «мишуры», не стоят и упоминания — имя им легион. Брехт ли, Платонов, Гамсун, Есенин, Голдинг — все они и сотни других, не питавших энтузиазма по части «семантики возможных миров» и «гипотезы лингвистической относительности», не имеют ровным счетом никакого отношения к «основной, характерной для XX в. эстетической онтологии» (она же «культурная идеология», она же «идеология творчества XX в.» — похоже, В. П. Руднев серьезно думает, что размашистые определения подобного толка способны обладать сколько-нибудь уловимым смыслом).

Этот назойливо повторяющийся «XX век» по-своему умилителен как свидетельство простодушной веры составителя в новизну и современность доктрины «гипертекста», то есть теории, «в соответствии с которой текст есть нечто первич-

ное по сравнению с материальной реальностью» и «текстом оказывается все на свете»: любое явление, любое деяние человеческое. Жили люди и, пока Шоу не объяснил им это в «Пигмалионе», даже не догадывались, что «наибольшую важность в жизни человека играет язык». (Оцените изящество, с каким выражена эта фундаментальная для автора мысль. Знакомой школьнице за «играет значение» сбавили на вступительном экзамене балл. Ее мать возмущалась, а я бы снял и второй, заступаясь за язык, хотя и без твердой веры в его «наибольшую важность».)

«Пигмалион», в соответствии с теориями составителя признанный, пусть это явный абсурд, одним из важнейших текстов современной культуры (наряду с «Замком», «Волшебной горой», «Мастером и Маргаритой», «Хазарским словарем» Павича, набоковским «Бледным огнем» и, как же обижать «своих», сорокинской диалогией, где — только не спрашивайте, что сон сей значит, — «тотальная виртуализация культуры превращается в ее дереализацию») сочинен в 1913 году. «Алиса в Зазеркалье» написана сорока двумя годами раньше, и там есть эпизод, когда Белый Рыцарь намерен спеть героине песенку: «Заглавие этой песни называется „Пуговки для сюртуков”».

— Вы хотите сказать — песня так называется? — спросила Алиса, стараясь заинтересоваться песней.

— Нет, ты не понимаешь, — ответил нетерпеливо Рыцарь. — Это заглавие так называется. А песня называется „Древний старичок”.

— Мне надо было спросить: это у песни такое заглавие? — поправились Алиса.

— Да нет! Заглавие совсем другое. „С горем пополам”! Но это она только так называется.

— А песня эта какая? — спросила Алиса в полной растерянности.

— Я как раз собирался тебе об этом сказать. „Сидящий на стене”! Вот какая это песня! Музыка собственного изобретения».

Эту знаменитую сцену интерпретировали много раз, находя в ней — и с полным основанием — все важнейшие компоненты будущих теорий метаязыка и философии имени. Но при этом все-таки никогда не забывалось, что Алиса беседует с Рыцарем в Зазеркалье, то есть в сказочном, в смеховом мире, за пределами которого лежит сфера реальности, где Алисе не надо ни увеличиваться, ни уменьшаться в размерах. И где дискуссия о том, едят ли мошки кошек или бывает только наоборот, не приобретает того сакраментального значения, каким схожие темы наделяются в «Словаре» В. П. Руднева.

Алису забавляет мысль, что она очутилась в местах, где «люди вниз головой» и называются, кажется, антипатиями. Современными мыслящими культурологами та же ситуация воспринимается как совершенно естественная. В результате являются на свет труды, в своем роде представляющие собой тоже странствие по Стране чудес. Только уже без тени иронии и романтики, которые сопутствовали путешествию кэрролловской героини.

Алексей ЗВЕРЕВ.



О ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ МЫСЛЯХ ЛЬВА ТИХОМИРОВА

Лев Тихомиров. Критика демократии. Издание Редакции журнала «Москва», 1997, 667 стр.

Втрясину революционности Россия, разумеется, погрузилась вовсе не в одночасье. На это в течение десятилетий работали сотни идеологов и ландскнехтов Освободительной идеологии — от публицистов до террористов.

Нельзя, конечно, сказать, что им ничего не противостояло — противостояли силы очень значительные, высокоуровневые, оригинально мыслящие, тут, так сказать, само качество противостояло количеству, но, как это обычно и бывает, количество пересилило. Вождей этого «количества» читать, однако, теперь невозможно: «полезные идиоты» сделали свое дело и устарели до безнадёжности. Зато публицистика «проигравших» актуализируется во времени и читается с большим интересом, несмотря на утопические панславистские aberrации.

...Так что объемный том статей «рenegата» народовольчества, одного из немногих образумившихся, Льва Александровича Тихомирова, вышедший в приложении к журналу «Москва» (и в той же серии на выходе следующий — «Апология монархии»), штудируешь с карандашом в руках неотрывно, прощая чрезмерное порой многословие и повторы. (Ведь прежде вообще писали водянистее, чем теперь, когда само время, кажется, стало бизнесом.)

Влиятельный, отсидевший несколько лет в тюрьме народоволец Лев Тихомиров к тридцати пяти годам отшатывается от революции, «чтобы, — как записывает он в дневнике (8 марта 1886 года), — иметь возможность служить России так, как мне подсказывает мое чутье, независимо ни от каких партий». В своем мировоззренческом движении Тихомиров — предтеча русских философов и культурологов начала века, «веховцев», как известно, проделавших плодотворный, но, увы, не определивший отечественную историю путь «от марксизма к идеализму». Правда, и в освободительном деле, и в «идеализме» Тихомиров был радикальнее «веховцев»: выздоровев от революционной заразы, он превратился в Дон-Кихота русской монархии без дежурных либеральных извинительных оговорок. Иван Ильин, Иван Солоневич могут считать его твердым своим предшественником.

«С ранней молодости, — свидетельствует Тихомиров, — я только и слышал, что Россия разорена, находится накануне банкротства, что в ней нет ничего, кроме произвола, беспорядка и хищений... Что мир развивается революциями — это было в эпоху моего воспитания аксиомой, это был закон... Чем больше времени прошло без революции, тем, стало быть, меньше осталось ждать».

Терроризм родился из недр либеральной психологии, утратившей твердое религиозное основание, — у Достоевского это диагностировано гениально: бес Петенька — сын идеалиста 40-х годов из круга Герцена и Грановского. (Точно так и взаимоотносились в реальности Нечаев с «коллективным» Степаном Трофимовичем: Бакуниным, Герценом, Огаревым — весь спектр тех же комплексов налицо.) Наши либералы всегда держали нос по ветру, дувшему только слева. А власть предержавшие верили, «будто бы стоит угодить либералам, и террористы сами исчезнут» (Тихомиров пишет в данном случае о Лорис-Меликове). Режим незримого «максимального благоприятствования» революционерам превращал всю общественную атмосферу России в питательный бульон для террора, вылившегося в конце концов в первую русскую революцию. В течение нескольких десятилетий — вплоть до Столыпина — революционеры не слышали властного *нет* террору: республиканские кадеты, снисходительные правительственные чиновники порой самого высокого ранга, уж не говоря о массе разночинной интеллигенции, — все симпатизировали ревподполью, рывшему под Россией гигантский пороховой погреб.

«Революция, — пишет Тихомиров, — считалась неизбежной даже теми, кто вовсе ее не хотел». И приводит замечательно характерную нотацию полицейского офицера арестованному бунтовщику: «Эх, молодые люди... и из чего вы хлопчете? Ну, поставят вам памятник через пятьдесят лет: да *вы-то* где будете в эти времена? Давно сгинете где-нибудь». То есть «государственный человек» отличался от «нонконформиста» лишь степенью цинизма, но отнюдь не пониманием сути происходящих социальных процессов¹.

Максимализм был, однако, имманентной составной личности Тихомирова. Выбравшись из революционной клоаки, он весь до конца отдается новой утопии, несравненно более значительной и высокой, чем революционная, — но все равно утопии, а следовательно, чему-то уже внежизненному, точнее, не имеющему долгосрочных исторических перспектив.

...И западная демократия и автократия — покоятся на Библии. Но ежели демократия может существовать теперь и в не религиозного обоснования «прав человека и гражданина» (как шутил Вл. Соловьев, мол, человек произошел от обезьяны, следовательно, будем любить друг друга), то у самодержавия нет других логических моральных оснований кроме того, что Монарх — Божий помазанник, кото-

¹ Кстати, практически то же самое говорили и мне на Лубянке в начале 80-х. И это лишний раз убеждало меня, что, по сути, коммунизму кранты, дело только во времени.

рому власть вручена свыше, и подтверждающий это авторитет Церкви — залог истинности помазанничества.

Как минимум со времен Просветительства — вместе с религиозной ортодоксией — такое понимание монархии стало вымываться из сознания человечества, монархия как таковая пошла трещинами, где погибла, где выродилась в декорум. И как бы ни логичны были по-своему Тихомиров или, позднее, Иван Ильин, как бы ни высокоблагородны были их построения, убеждения, уговоры (ибо им по праву хотелось постулировать свои высокие идеалы, а конкретный тон часто сбивался именно на уговоры соотечественников эти идеалы принять), сколько бы ни утверждались они в нравственной высоте и даже сиюминутной выгоде для общества самодержавного монархического начала, оно утекло в решето новейшей цивилизации, ушло — уходило прямо на глазах у русских монархистов, которые в монархической России чувствовали себя сиротливее террористов.

Почва уплывала из-под ног, превращалась в один неуправляемый оползень. «С Россией я совсем недоумеваю, — признавался Тихомиров уже в 1910 году. — Стою на своих бастионах, знамену не опускаю, палло из орудий... но родная армия уходит от тебя все дальше, и — по разуму человеческому — немислимо и ждать от нее ничего... Народ русский!.. Да и он уже потерял прежнюю душу, прежние чувства». Тихомирову выпало испытание дожить до окончательного обвала, до развязанного революцией геноцида, до самоизничтожительного беснования «народа русского», всей многонациональной России. Юные революционные иллюзии Тихомирова обрели зримое кровавое воплощение.

...Основу тома составляют публицистические статьи Тихомирова 90-х годов в «Русском обозрении» — журнале, стремившемся противостоять освободительному болоту (среди авторов «Русского обозрения», редактировавшегося А. А. Александровым, — Фет, Полонский, Страхов, Розанов, Говоруха-Отрок; однако, как сказано в новейшем биографическом словаре «Русские писатели»: «К 1898 году „Рус. обозр.“ потеряло читат. интерес и за отсутствием подписчиков прекратило существование»).

Тихомиров первым стал глубоко и верно писать о Константине Леонтьеве (об этом см., в частности, нашу работу «Неотшлифованный самородок» — «Новый мир», 1996, № 9); его полемика с Владимиром Соловьевым не менее интересна, чем известная полемика последнего со Страховым по поводу Данилевского.

Как известно, неприятной чертой Соловьева была чрезмерная публицистическая резкость и утверждения, доходящие до дразнящего эпатажа, он любил действовать не только на разум, но и на нервы «противника» и, кажется, сам знал за собой этот грех, поскольку, по сути, был человеком добрым, хотя и, разумеется, не простым. Друг Фета и Достоевского, знакомец Ивана Аксакова, своим религиозным пафосом безусловно связанный со славянофильством, Соловьев был далеко при этом не чужд чаадаевской (ежели не печеринской) жилки. И это не могло не раздражать по-русски серьезного Тихомирова. Язвя и утрируя, Соловьев задевал оппонента и заставлял оспаривать себя даже там, где с ним можно было бы и согласиться. «Византийское православие было в действительности возрождением всех ересей. ...Народ русский купил, со святым Владимиром, евангельскую жемчужину, всю покрытую византийской пылью», — такого рода соловьевские утверждения больно царапали православное сердце Льва Тихомирова, и без того, во-первых, уязвленное духовным неблагополучием окружающей жизни и, по понятным причинам, неопитское, во-вторых. Кроме того, тут сошлись два разнящихся представления о социальной роли христианства в мире и православия — у нас в России, и этот конфликт актуален посегодн.

Никак нельзя сказать, что Тихомиров или, например, Леонтьев были против социальной активности христианства: то политическое устройство — автократия, — которое они скорее мечтали, чем надеялись утвердить в пику гуманистической демократии, зижидилось именно на роли Церкви; противоречие, что должна спасти Церковь — общества или души, — в значительной мере мнимое. В конце концов, речь шла (и идет) о том, должно ли быть православие «силой социальной... двигательным принципом исторического прогресса» (В. Соловьев) или — во что бы то ни стало — сбергать духовно-автократический, иерархический принцип.

Демонизировать ли секулярный гуманистический прогресс или — понимая его как естественное развитие — быть его независимым участником, а где можно и режиссером, работающим над его исправлением.

Пуще Тихомирова обрушился на Соловьева Константин Леонтьев — за его социальное христианство. Но и он — в своем проникновенном очерке об оптинском иноке Клименте (Зедергольме) — писал: «Сначала я думал, что он меня не понимает, но потом убедился, что не он меня, а я его не понимал... Я думал о судьбах Европы, а он, тревожно и настойчиво возражая мне, думал о душе моей». И как бы горячо, даже горячечно ни спорили между собою Леонтьев, Тихомиров — и Соловьев о роли христианства в истории, все они вольно-невольно скорее думали «о судьбах Европы» (и, конечно, России), чем о «личном спасении». Разница их представлений о христианской активности не абсолютна, все они уделяли христианству в дальнейшем развитии человечества первостатейную роль, просто видели ее — в разном².

Обширную сплотку публицистического наследия Тихомирова составитель (и автор предисловия и несколько дерганого комментария) М. Б. Смолин озаглавил симптоматично: «Критика демократии». Хотя, собственно, эта критика отнюдь не покрывает содержания книги и даже, пожалуй, не составляет ее единственной доминанты. Но читать книгу именно с таким названием сегодня так же интересно, как, допустим, лет пятнадцать назад было б читать книгу «Апология демократии». Опыт последних лет углубил наши представления о демократии, а следовательно, осложнил их³.

...Самодержцу власть «делегирована» Господом Богом, демократическому лидеру — народом, лишь тогда — в том и другом случае — их власть легитимна. Господа Бога никто, как говорится, в глаза не видел, народ — вот он, так что, кажется, все ясно и нечего огород городить. Но еще сто шестьдесят два года назад Пушкин, сам потерпевший от самодержавия, дал — на примере США — удивительно емкую критику демократии (в статье «Джон Теннер»). И с тех пор многие и многие большие умы — вплоть до наших дней, до А. Солженицына, — не устают указывать на отрицательные стороны демократии.

Сегодня в пытающейся опаматоваться после коммунизма России мы ищем новых путей политического развития. Да на пороге их теперь и весь просвещенный мир, ибо демократические принципы технократической цивилизации, принципы во многом релятивистские, имморальные, не могут ответить на вызов времени: человечество стоит перед проблемами, которые решаться могут только на нравственном основании, а не обязательным большинством. И тут «реакционеры» прошлого неожиданно становятся пророками грядущего изменения. Дело здесь не в их монархизме, но в их поисках религиозно-нравственного мироустройства, утверждения ценностной иерархии бытия. Самодержавие как таковое ушло из человеческой истории. Но это отнюдь не значит, что демократия «как меньшее из зол» не трансформируется в будущем в нечто более соответствующее возможностям выживания человечества.

«Я желаю развития нашего права, но именно с тем, чтобы оно исходило из христианского понятия справедливости, — писал Тихомиров, — а не из условных и фиктивных понятий „естественного права“ или „народной воли“ („всенародного волеизъявления“, как определяют сегодня. — Ю. К.). Я, собственно говоря, тоже признаю своего рода „естественное право“ личности, которое считаю выше прав общества, но это „естественное право“ есть, точнее выражаясь, право „божественное“, то есть оно устанавливается не нашим спорным анализом, а бесспорными указаниями религии, голосом Божиим. Когда мы способны будем поставить свое право сознательно на эту почву — развитие его, кроме пользы, ничего не даст. До тех же пор, пока мы сами не знаем, из чего создаем свое „право“, оно выходит таким, что одной рукой дает мне свободу, а другой отнимает».

² О том же и с замечательной силой и свежестью написано эссе матери Марии «Типы религиозной жизни», чудом недавно «обретенное» в подвале бердяевского дома под Парижем (см.: «Вестник РХД», № 176).

³ Глубокую историческую критику демократии см. в сборнике статей «Церковь и демократия» (М., «Отчий дом», 1996).

Для современного человека, внешне как никогда свободного, а на деле зачастую зомбированного предпринимателями от политики и культуры, формующими его кругозор и стимулирующими потребительский аппетит, — очень злободневные мысли. Казалось бы, именно ради естественного равенства и совершался мировой эгалитарный процесс. На деле же получается по-другому. Пользуясь прежними понятиями, можно сказать, что при демократии «богатый» — прибегая к новейшим пропагандистским технологиям — может воздействовать на сознание «бедного» в выгодном для себя направлении с никак не меньшим успехом, чем при старых деспотиях. Причем происходит не только (и не столько) злостная эксплуатация «бедного», сколько самой Земли и ее биосферы, эксплуатация, без которой новейшая цивилизация не продержалась бы и года...

Вот почему, повторяю, «труды и дни» тех, кого и сегодня называют «реакционерами», «обскурантами» — как там еще? — часть интеллектуального наследия, которое может пригодиться при отстройке новой «социальности», перехода от затратной цивилизации — к нравственной, экологической и культурной.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.



АВАНТЮРИСТЫ КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ

Александр Строев. «Те, кто поправляет фортуна». Авантюристы Просвещения. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 400 стр.

Книга Строева посвящена знаменитым европейским авантюристам XVIII столетия, побывавшим в России. Казалось бы, материал и типовой сюжет, к которым обращается исследователь, достаточно тривиальны: некоему проходимцу приходит в голову мысль воспользоваться ситуацией культурного контакта, чтобы разбогатеть. Он прибывает в страну «догоняющей» культуры и выдает себя за культуртрегера, пророка, целителя и чудотворца. На первый взгляд, такой сюжет больше подходит для авантюрной исторической беллетристики (Михаил Кузмин, Алексей Н. Толстой и т. д.). Но в книге Строева мы сталкиваемся с массой фактов, не укладывающихся в наши привычные представления и об известных авантюристах, и об эпохе в целом. Автор отмечает, например, такую закономерность: сокрушительные поражения езезжие «рыцари удачи» терпят именно в России, в стране, которая примкнула к европейской цивилизации менее чем за сто лет до описываемых событий. И напротив — наиболее значительных успехов авантюристы добиваются в Париже и других просвещенных столицах. Еще один любопытный факт: эра авантюристов кончается после Великой французской революции. Но вовсе не потому, что остальная Европа наводнена титулованными особами и выдавать себя за чужеземного принца невыгодно и опасно. Младшие современники авантюристов, принадлежащие к тому же социально-психологическому типу, находят себе иное применение — они идут в революцию: они наконец-то оказались востребованными обществом и временем.

Такая жесткая связь между эпохой Просвещения и деятельностью авантюристов, естественно, наводит на мысль, что авантюризм — явление, которое нельзя понять без анализа историко-культурного контекста породившей его эпохи. К выполнению этой задачи Строев приступает исходя из своего определения авантюриста — создавая собирательный портрет «искателя приключений». Как правило, это человек незаурядных внешних данных, талантливый лицедей, предприимчивый и энергичный, умеющий нравиться и женщинам, и мужчинам; путешественник, виртуоз карточной игры, сведущ в медицине, политике (алхимии, горном деле, коммерции...) и почти всегда — литератор, библиофил, мечтатель, вынашивающий утопические проекты. Обладая столь блестящим набором талантов, многие персонажи книги Строева тем не менее ухитряются умереть в нищете. Как показывает автор, такой итог жизненного пути для «рыцаря удачи» вполне закономерен. По его определению, авантюрист — это прежде всего человек, не пожелавший прими-

ряться с делом, выпавшим ему при рождении. По своему произволу авантюрист меняет национальность, сословное происхождение и подданство, вернее, старается по возможности обходиться без них. Однако набор социальных ролей, из которых авантюрист должен выбирать, задан раз и навсегда. Возможность приблизиться к недостижимой, идеальной свободе дает лишь непрестанная смена этих ролей, несовместимая с преуспеянием, к которому вроде бы авантюрист должен стремиться в первую очередь.

Строев перечисляет основные амплуа «искателя приключений» и указывает, в какое отношение ремесло «рыцаря удачи» ставит его к эмблематическим фигурам эпохи Просвещения. Таковыми Строев считает Щеголя, Философа, Монарха и Купца и с помощью оппозиций, которые они образуют (щеголь — философ, монарх — купец), описывает социальное пространство эпохи. Положение авантюриста, согласно этой системе координат, как бы срединное и — по функции — посредующее: внешне он старается выглядеть и держать себя как щеголь, но при этом ощущает в себе тягу к эксцентрическому поведению философа; монарх оказывается средоточием его помыслов: служить монарху, оказать ему услугу, быть им оцененным по достоинству — вот о чем мечтает авантюрист, но при этом делает ставку на те свои качества, которые характеризуют его более как представителя «третьего сословия».

Похождения авантюриста XVIII столетия требуют реального комментария. И значительная часть работы Строева является как раз таким комментарием. Монография состоит из трех разделов. Первые два исследуют социальный и культурный срез эпохи («Социальное пространство Просвещения»; «Литературное пространство Просвещения»). Третья («Географическое пространство Просвещения») повествует о пребывании авантюристов в России. Из материала первых двух разделов, посвященных условиям повседневной жизни интеллектуального сообщества, вырастает системное описание менталитета просвещенного европейца XVIII столетия. Особого внимания заслуживает анализ информационного пространства эпохи Просвещения, из которого явствует, что люди того времени имели совершенно другие критерии достоверности, чем те, на какие ориентируется наше время. Автор показывает, что повседневная жизнь в «век разума» была не менее открыта иррациональному началу и даже — пронизана им, чем в предшествующие и последующую эпохи. Нарисованная Строевым картина если и не противоречит хрестоматийной, то по крайней мере расширяет ее настолько, что позволяет увидеть эпоху Просвещения изнутри, если угодно, глазами авантюриста. Так выясняется, например, что читали тогда вовсе не те книги, с помощью которых мы строим свои представления об этой эпохе, что порой сами философы Просвещения экстравагантностью своей повседневной жизни могли дать сто очков вперед любому авантюристу.

Задача авантюриста в этом обществе — с максимальной полнотой удовлетворить ожидания людей, нередко достаточно образованных, но пожелавших узнать неведомое и для этого готовых обратиться к сомнительному источнику знания. Авантюрист в данном случае как бы обслуживает «коллективное подсознание» эпохи, куда стараниями просветителей была вытеснена присущая человеку тяга к иррациональному. В этой ситуации «рыцари удачи» тщательно имитировали масонские ритуалы, выдавали себя за алхимиков и чудотворцев, тайных вершителей судеб Европы, венчающих масонскую иерархию. Строев анализирует, например, историю Казановы, взявшегося переселить душу пятидесятидвухлетней маркизы д'Юрфе в тело юноши. В спектакле, разыгранном перед маркизой, кроме своих актерских, режиссерских и плутовских талантов, авантюрист использует репутацию человека, посвященного в масонские тайны, знатока каббалистики и оккультных наук.

Прибегая к семиотическому методу, берущему начало в работах Бахтина и развитому затем Борисом Успенским, Строев интерпретирует поведение авантюриста как знаковую деятельность, как высказывание, обладающее собственной «поэтикой». Специфика случая авантюриста заключается в том, что он, в отличие от большинства современников, манипулирует поведенческими кодами сознательно, делаясь как бы творцом собственной биографии, «поэтом собственной жизни».

При таком ремесле лицедею не избежать влияния и других знаковых систем, определявших коллективное сознание эпохи, а именно — литературы, а главное, театра. Чувствуя, насколько их успех зависит от чуткости к запросам общества, при создании своей «легенды» авантюристы широко использовали романские топосы. Хотя здесь, как мне кажется, категориальная сетка, которой пользуется Строев, встречает заметное сопротивление реального материала. Часть литературных типов, по утверждению автора уже используемых авантюристами, еще только оформлялась в литературе и недостаточно глубоко проникла в сознание читателей того времени. Гораздо убедительнее автор в своих рассуждениях о влиянии деятельности авантюристов на формирование литературных мифов (Дон Жуан, Фауст). Очень интересны наблюдения автора за последовательностью эпизодов того представления, которое устраивает авантюрист, пытаясь обмануть очередную жертву. Парадоксальным образом последовательность эта совпадает со стереотипной последовательностью эпизодов классицистической комедии. Корни этого явления Строев усматривает в действии архетипа карнавального короля, чествуемого, а затем приносимого в жертву (метафорически) праздничной толпой.

Первые главы третьего, посвященного приключениям авантюристов в России, раздела книги описывают иммиграционную политику Екатерины II. Анализ этой политики приводит к неожиданным выводам: классический авантюрист, пробующий счастья в России, зачастую был неотличим от благонамеренного прожектера, а то и от обычного иностранного специалиста. Стремясь привлечь в Россию как можно больше иностранных ученых и специалистов, императрица распространяла в Европе миф о России как стране дикой, но управляемой просвещенными и исключительно богатыми господами, миф о стране безграничных возможностей. И, соответственно, реальное стремление властей укрепить и модернизировать Россию руками иностранных специалистов делало северную империю желанным поприщем для просветителей. Идея переустройства жизни на разумных началах в неосвоенной и малонаселенной стране приобретала вид милой их сердцу утопии сотворения разумной жизни из ничего. Однако в России их ждал, как правило, холодный прием — Екатерина нуждалась прежде всего в квалифицированных исполнителях. Реальная возможность воплощения идей Просвещения в сфере экономики, государственного и гражданского устройства была здесь значительно скромнее, чем в Европе. Прожектеры же, все как один, рассчитывали на финансирование своих проектов из государственной казны. Самый, пожалуй, экзотичный из подобных проектов принадлежал Бернардену де Сен-Пьеру, задумавшему создать колонию международных авантюристов на берегу Аральского моря. «Сто пятьдесят дворян и сто пятьдесят ремесленников» должны были образовать государство, которое «будет признано русским двором как суверенная вольная республика». Колония авантюристов должна будет «завоевать и цивилизовать дикий край и юные народы. Она будет уравновешивать русский деспотизм и разнузданную татарскую вольницу. Авантюристы поставят под свой контроль торговлю Индии с Россией, а в идеале и со всей Европой».

В этой части книга превращается в увлекательное повествование о приключениях иностранцев в России, об их головокружительных карьерах и сокрушительных неудачах. Хрестоматийные похождения авантюристов типа Казановы кажутся бледными и заурядными на фоне описываемых здесь переменчивых судеб, таких, как, например, судьба французского экономиста барона Андреу Билиштейна, получившего в России должность советника коммерц-коллегии и планировавшего строительство в России грандиозной сети каналов, соединяющих Москву с Петербургом, Волгу и Дон, занимавшегося планами застройки Петербурга, предпринимавшего попытку создать из двух российских провинций, Молдавии и Валахии, единую суверенную республику и т. д. — и все с нулевым результатом. Или малороссиянина Ивана Тревогина: учился в Харькове, издавал в Петербурге журнал «Парнасские новости», потом ушел в матросы, бедствовал в Голландии, жил в Париже, выдавал себя за голкондского принца Нар-Толонда, он сам сочинил не только голкондскую географию, государственное устройство, но и язык; крал, плутовал, сидел в Бастилии, а потом — в Петропавловской крепости, был отправлен солдатом в Сибирь, умер в двадцать девять лет.

В целом же книга Строева может служить неплохим пособием по русской и европейской культуре XVIII столетия. Несмотря на узкую тематику, Строев предложил достаточно последовательно продуманные модели социального, информационного и литературного пространства эпохи. В результате создана цельная картина общеевропейского культурного континуума эпохи Просвещения.

P. S.

Одна из первых рецензий на книгу Строева, принадлежащая Игорю Алексееву («Русская мысль», 1998, № 4234, 6 — 12 августа), побуждает меня продолжить разговор о некоторых ее недостатках, связанных с применяемой автором методологией. Однако стержневое положение рецензии Алексеева представляется мне необоснованным — Строев вовсе не является, как утверждает рецензент, убежденным постмодернистом в науке, сознательно творящим фикцию вместо полноценного исторического исследования. Следует согласиться с тем, что композиция книги чересчур калейдоскопична, что, стремясь найти закономерности, Строев нередко принимает за таковые лишь тенденции, в результате некоторые формулировки повисают, оставаясь недостаточно обоснованными. Однако виной тому как раз не методологический нигилизм автора, а его стремление оставаться в русле культурологической традиции, которая у нас в России вышла из филологии и которую он сопоставляет со школой Анналов. Культурология — всегда попытка синтеза, за что приходится расплачиваться и «расплывчатостью объекта исследования», и «формальными противоречиями», а главное, метафоричностью. Культурология не имеет собственных понятий, они всегда заимствованы из других областей знания. Отчего становятся менее точными и утрачивают системные связи, присущие им в исходной области. В частности, это касается психологии и семиотики, к чьей помощи не может не прибегнуть культуролог. Поэтому собирательный образ Строева — псевдонаучного постмодерниста, предложенный Алексеевым, следовало бы распространить и на других ученых, ну, например, на Лотмана.

В. К.

И. И. ГУРВИЧ. Русская лирика XX века. Рубежи художественного мышления. Иерусалим, 1997, 152 стр.

Намерение рассказать на ста пятидесяти страницах совсем не убористой печати о «рубежах художественного мышления» Блока, Пастернака, Ахматовой, Мандельштама, Хлебникова, Георгия Иванова, Цветаевой, Бунина, Ходасевича, Гумилева и Бродского насторожило сразу, а беглый просмотр «примечаний» весьма скромных по перечню источников — тем более. Ожидание не обмануло. Книга прочитана, и с сожалением приходится признать, что к пониманию творчества ведущих поэтов XX века она добавляет не много.

Автор определяет поэзию XX века как «постклассическую», имея в виду, что она отходит от «коммуникативной нормы» (= формально-логическая правильность высказывания), на которую опиралась классическая поэзия. Гурвич по-

лагает, что сознание постклассического единства поэзии серебряного века важнее привычного деления по направлениям: символисты, акмеисты, футуристы. Каждый из крупных поэтов серебряного века предложил собственную «структурную версию постклассического искусства». Однако поскольку «постклассическое» изначально определяется негативно, как нарушение нормы, то творческую практику классиков XX века приходится описывать в терминах отклонения от нормального: «двойственность», «неопределенность», «невнятица», «затемнение смысла» и «совершенная заумь в конечном счете».

Ожидание, что конкретный анализ компенсирует чрезмерную ясность теории, к сожалению, не оправдывается. На поверку индивидуальные «структурные версии постклассического искусства» в большинстве случаев оказываются переложением весьма популярных представлений. Блок нарушает «комму-

никативную норму» тем, что «мнимый хронотоп, создаваемый прозрениями и видениями», у него накладывается на «хронотоп подлинный»; «чуждый мистике» Пастернак (Гурвич образно называет его «природоведом») гиперболизирует принцип антропоморфизма и тем самым добивается того, что «обыкновенный ландшафт превращается в непостижимый феномен»; Ахматова избегает «закодированности и невнятицы» на уровне словосочетаний и фраз, но вводит «логические разрывы» в композиционную структуру; у Мандельштама «однаправленное затемнение смысла... перекрывается „блаженным бессмысленным словом“»; Хлебников к уже описанному «формам затемнения» добавляет еще одну — словотворчество. На Хлебникове мы прервем изложение книги. И потому, что сказанное об Г. Иванове («ахматовский след», цитатность), Цветаевой (эллиптический синтаксис) и других не более оригинально, и потому, что после Хлебникова стоит сделать «еще шаг — и стих упадет в пропасть бессмыслицы, эстетически неопосредованной». Тем более, что этот шаг уже сделали «многие и многие эпгоны, вульгаризировавшие заветы серебряного века — вплоть до нынешних стихотворцев, подобных Пригову или концептуалистам».

Хотя книга Гурвича не богата аналитическим материалом, хотя его наблюдения не отличаются новизной, а предложенный подход к описанию истории поэзии XX века не кажется плодотворным, чтение его книги небезынтересно. В ней есть изюминка. Книга Гурвича дает хороший повод подумать о литературоведе вне его статусной позиции («МЫ») — как о читателе («Я»), лишенном привилегий своей роли. Открыть в литературоведе читателя, кому текст желанен, любим или, напротив, раздражает его, выводит из себя. Может быть, такие живые читательские реакции скажут о литературоведе больше, чем его построения. Теория — это потом, а сначала опыт чтения, с его привычками, вкусами. Как теория связана с этими вкусами — вот что интересно. Выработанный, дисциплинированный язык описания стирает следы первичных читательских реакций. А книга Гурвича интересна как раз тем, что у него связь между суждениями литературоведа и эмоциями читателя не оборвана. В его

языке нет чистоты школы, он синкретичен, и мы имеем возможность послушать не только утверждения автора, но то, что говорит о нем самом его язык.

Да, способ выразиться, присущий Гурвичу, бывает порой причудлив. В его речь то и дело вторгаются осколки инородных жанров и смещают ее самым веселым и неожиданным образом. Строптивую склонность к буквализации демонстрируют странно близкие автору метафоры движения и пространства: «По наводкам серебряного века Иванов уверенно прокладывает собственную дорогу», «Ходасевич приводит своего героя туда, где до него побывали многие лирические персонажи», «Романтик заглядывает туда, куда ему не следовало бы заглядывать — в комнату старой девы», «Гумилев отдает нескудную дань любовным признаниям, а они, понятно, находятся вне координатной сетки, в нулевом хронотопе». В любви к рубежам и дорогам сказывается что-то подспудное. Какая-то романтическая география, муза странствий. Красноречивы выдержанные в том же духе названия главок: «Поворот в пути», «Крутой подъем», «Постепенный переход», «В колее классической традиции», «Проложенным курсом».

Но вернемся к читательскому вкусу. Из всех персонажей книги по-настоящему за живое Гурвича задевают только двое — Ходасевич и Гумилев. Когда речь заходит о них, суждения вкуса прорываются сквозь все препоны учености с темпераментной и воинственной непосредственностью. Ходасевич остро неприятен. О стихотворении «Окна во двор» и подобных Гурвич судит кратко и эмоционально: «до того противно, что читать нет сил». Зато у Гумилева в отличие от приземленного Ходасевича автор с отрадой находит «процесс преображения — превращение „фотографического“ наблюдения в очаровательное, великолепное, величественное зрелище». Один из примеров «очаровательного зрелища»: «Видишь, мчатся обезьяны / С диким криком на лианы», — кажется автору столь неотразимым, что восторга он не смиряет: «Как читатель, подтверждаю: вижу и слышу. И верю выводу: „Это значит — близко, близко / От твоей лесной поляны / Разъяренный носорог“».

В репликах о Гумилеве и Ходасевиче эстетика Гурвича проявляется вполне — не та, что для рассуждений, а читатель-

ская, безотчетная. Вот это и стоит иметь в виду. Если Гурвич резюмирует, что стихи Ходасевича «уходят за грань эстетики», то подразумевается вовсе не какая-то для всех обязательная эстетическая теория. Нечаянный эпитет «очаровательный» говорит об этой эстетике и всей на ней построенной теории гораздо больше, чем вуалирующие суть дела термины «постклассический», «коммуникативная норма», «структурная версия» и «нулевой хронотоп». Это все от лукавого, а «очаровательный» — по существу.

Тяга к понятному и очаровательному как раз и есть та почва, которой питаются рассуждения Гурвича о литературе. Именно она, а не какой-нибудь структурный анализ диктует поющую фразу: «По-пушкински, по-фетовски звучат гумилевские стихи, отделанные до совершенства». Читательские вкусы Гурвича конечно же не исключительны. Они укоренены в распространенной и авторитетной системе взглядов на искусство. «Пусть изобразят они мне мужика, но мужика облагороженного... А то что мы видим? ...Выскочил из кабака и бежит по улице в растерзанном виде! Ну, что ж, скажите, тут поэтического? чем любоваться?» — вот императив таких взглядов. В этой эстетике как раз чрезвычайно важен занимающий Гурвича вопрос, «каковы пределы возможного и допустимого» в искусстве. Вернее, не вопрос, а заранее известный ответ, предопределенный «коммуникативной нормой». К тому же воззрению на искусство восходит неприятный, признаемся, душок поучительности и наставничества, с каким обращается автор к персонажам своей книги, указывая, что нередко они занимались совершенно «непродуктивной тратой таланта».

II. СОФИЯ ПАРНОК. *Собрание стихотворений. Вступительная статья, подготовка текста и примечания С. В. Поляковой.* СПб., «ИНАПРЕСС», 1998, 540 стр.

В белый добротнo-увесистый коленикоровый томик Софии Парнок уместились все изданные ею при жизни книги: «Стихотворения» (1916), «Розы Пиерии» (1922), «Лоза» (1923), «Музыка» (1926), «Вполголоса» (1928), а также около сотни стихотворений, оставшихся

в рукописях. Все написанное, и — впервые для нас, после семи десятилетий забвения. Вообще-то «Собрание стихотворений», которое мы теперь получили, уже печаталось, но не у нас, а за океаном, в «Ардисе», в 1979 году. И место, и дату первого издания не мешает иметь в виду. Они многое поясняют в пафосе этой книги, пафосе, который сегодня может показаться не совсем внятным — слишком изменился исторический и культурный фон. То, что могло поразить вчера, сегодня кажется почти неразличимым.

Именно так — пафос. Дело в том, что «Собрание стихотворений» — это не только стихи Софии Парнок. Эта книга — плод большого и упорного труда (а вернее, служения) филолога Софии Поляковой (1914 — 1994): ее вступительная статья и комментарии составляют едва ли не половину пятисотстраничного тома. Это особый сюжет. У Поляковой была солидная академическая репутация филолога-классика и переводчика с древних языков, но встреча с наследием Парнок что-то изменила, сдвинула в ее жизни. Начиная с 70-х она полностью посвящает себя творчеству забытой поэтессы, собирает и изучает ее наследие, готовит к изданию «Собрание стихотворений». Надо припомнить давние комплексы и фобии этого времени, его морали, чтобы оценить упорство в занятиях «отреченным» поэтом. Ведь в цветаевском томе 1965 года, где впервые появилось несколько стихотворений из цикла «Подруга», стыдливо умалчивалось об их адресате, дабы не компрометировать М. И.

Статья (скорее монография) и комментарии Поляковой оснащены всеми атрибутами академического труда, но по духу своему, по тому ясно ощущаемому страстному и пристрастному отношению к материалу это менее всего академическая работа. Здесь стоит говорить о способе самовыражения, а может быть, о самопознании. Во всяком случае, для исследователя встреча с наследием Парнок стала открытием особого женского мира, который может существовать независимо от мира мужского. И вступлением в этот мир: «Имя С. Я. Парнок раскрывало мне двери и сердца».

Этот пафос открытия и утверждения прав *иного* объясняет особо пристрастное отношение Поляковой к Ахматов-

вой. Пути знаменитого и признанного поэта, всю жизнь «стилизованвшего самое себя», противопоставлен опыт всеми забытой ее современницы, пробиравшейся к полному самораскрытию в слове и жизни и утверждавшей свое право быть иной без оглядки на общественную мораль. Маске противопоставлено Лицо: «Может быть, Ахматова в своем четверостишии „К стихам” высказала больше правды, чем сама подзревала, написав: *„Вы так вели по бездорожью, / Как в мрак падучая звезда, / Вы были горечью и ложью, / А утешеньем — никогда”*». Заметим, кстати, что комментатор не упустил случая язвительно подметить, что последняя строчка этого четверостишия напоминает об «Интернационале»: «А паразиты — никогда». Остроумно.

Интерпретируя жизнь и творчество Парнок как путь к собственной подлинности, из всего ее наследия Полякова закономерно выделила и акцентировала посвященные Н. Е. Веденеевой циклы стихов 1932 — 1933 годов «Ненужное добро» и «Большая медведица». «Стихи веденеевского ряда — высшее достижение лирики Парнок, которое ставит ее поэзию в ряд с лучшими образцами блистательной плеяды ее современников, единственный в своем роде дневник, с редкостной свободой самовыражения запечатлевший историю трудной любви и сложных состояний духа... Подумать только, здесь с толстовской безоглядной правдивостью описывается любовь женщины, почти достигшей пятидесяти лет, к другой, ей сверстной, седой Музе, не готовой к предлагаемой ей поздней буре чувств, любовь „невыпадет и как-то мимо”».

Понятная, но чрезмерно завышенная оценка. «Веденеевские» стихи Парнок разделяют все достоинства и недостатки «дневниковых, слишком дневниковых» стихов. Есть среди них замечательные удачные, но немало и экспромтов в альбомном духе, и стертых романсовых клише вроде «души измученной моей». И все отмечено печатью набросочности, все слишком здесь и теперь, все не имеет в виду «провиденциального» собеседника. Кстати, может быть, на «веденеевские» стихи было бы уместно взглянуть и в иной контексте, чем любовная поэзия первой трети XX века. Есть феномен предсмертной, старческой лирики,

которой свойственна какая-то особенная обнаженность и отсутствие заботы о взгляде со стороны, когда жизнь напоминает «изношенный халат». Поздние стихи Вячеслова, кое-что у Некрасова, Георгия Иванова — в сопоставлении с ними по-новому можно услышать тональность и небрежную стилистику последних стихотворений Парнок.

Осматривая ее творчество в целом, книгу за книгой, видишь, что ракурс, избранный первым комментатором Парнок, не охватывает, конечно, всего его проблемного и стилистического поля и «дух жизненной достоверности» отнюдь не единственный ориентир поэтессы. Тем более не объяснить ее творчество «виолой заблудившегося пола». Страсть ее не была беспроблемной и в себе убежденной. Чувство отреченности вновь и вновь возвращалось в стихах в стремлении понять самое себя: *«И душевные мне шепчут сны, / Что я еще от тела буду, / Как от беременной жены, / Терпеть причуду за причудой. / О, темный, темный, темный путь, / Зачем так темен ты и долго?»* Это самосознание выражалось не только в дневниковой искренности, оно преломлялось в культурно-исторической символике, искало религиозный смысл своих конфликтов и путь к преображению.

Знание творчества Софии Парнок вряд ли изменит что-то существенное в сегодняшнем видении русской поэзии XX века и шкалы ее ценностей, но некоторые детали в общей картине несомненно уточнит. В частности, более обширным становится контекст творчества Ходасевича. Для Парнок его поэзия была важным и бесспорным ориентиром, стилистическим и моральным: *«У меня есть на свете тайный, родства не сознавший брат»*. И конечно же стихи Парнок вновь напоминают о том, сколь обширным и разнообразным было поле женской поэзии в начале XX века. Сколько имен еще известно пока лишь номинально, по поводу чего-либо: Надежда Львова, Лидия Лесная, Паллада Богданова-Бельская, Анна Радлова, Аделаида Герцык, Мария Моравская...

Конечно, не скажешь, что о Софии Парнок до выхода «Собрания стихотворений» не помнили вовсе. Нет, но все же и ее имя всплывало не само по себе, а по поводу, в связи с другим, магнетически привлекательным. Жизнь Парнок

и ее образ сузились постепенно до размера эпизода в судьбе Марины Цветаевой. Такой, цветаевской, она и помнилась. Демонический женский образ в стиле модерн из цикла «Подруга»: высокий чистый лоб под тяжелой рыжей гривой, тающий овал бледного лица с огромными серыми глазами и важной извилиной капризных губ, властные руки, к «которым шел бы хлыст». Ванда из «Женщины в мехах». «Собрание стихотворений» резко меняет освещение и перспективу. Все и проще, и сложнее. И в этом смысле «русская Сафо» (тоже, впрочем, стилизация, и еще более плоская) действительно возвращается. Без этой фигуры не написать ни историю русской женщины в XX столетии, ни историю русской поэзии.

III. М. ЦВЕТАЕВА. Неизданное. Сводные тетради. Подготовка текста, предисловие и примечания Е. Б. Коркиной и И. Д. Шевеленко. М., «Эллис Лак», 1997, 640 стр.

Том «Сводных тетрадей» открывает серию «Неизданное», которая дополнит семитомное собрание сочинений публикациями материалов из литературного архива М. Цветаевой. «Сводные тетради» — это авторский дайджест обширного собрания черновых записей и набросков, охватывающих почти два десятилетия жизни, с 1921 по 1938 год. В два захода, в 1932 — 1933-м и 1938 — 1939-м, в предвидении возвращения в Россию, Цветаева просмотрела свои рукописи и переписала из них все, что сохранить полагала необходимым. Выписки заполнили четыре тетради. С возможной степенью аутентичности и необходимыми комментариями они воспроизведены составителями тома Е. Б. Коркиной и И. Д. Шевеленко.

Итак, «Неизданное». В первый заход перелистываешь том не без привкуса разочарования. Как раз по части «неизданности». Сливки вроде бы уже сняты. Многое знакомо по прежним, то там то сям, публикациям. Однако тетради не отпускают, цепляют внимание и втягивают в чтение. Сначала выхватываешь наобум отдельные записи, потом возвращаешься к ним и перечитываешь, наконец, начинаешь читать сплошь, сравнивая наброски с окончательными вариантами текста в Собрании сочине-

ний, заглядывая в примечания. Чтение увлекает. Обнаруживаешь, что уже известные тексты здесь, в «Сводных тетрадах», предстают по-новому: в энергии первоначального творческого порыва, в тесном переплетении с обстоятельностью жизни, провоцировавшими и сопровождавшими письмо. В тетрадах эти тексты как бы утрачивают твердую форму последней редакции, возвращаются в состояние творческой текучести. Мы захватываем самый момент рождения вещи. Так, письма к А. Г. Вишняку в тетрадах застигнуты еще на полпути к «Флорентийским ночам», и перипетии эпистолярного романа сохраняют в первичной записи весь колорит еще не остывшего жизненного эпизода.

Главный интерес именно в том, что «Сводные тетради» обнаруживают в едином потоке все то, что в собрании расходится по разным томам: стихи к стихам, поэмы к поэмам, проза к прозе, письма к письмам. Здесь все явлено вместе в реальном синкретизме творческого процесса: во взаимных сцеплениях и переходах, диалоге, в обрамлении авторских ремарок и *NB*. Самоанализ вклинивается в наброски плана поэмы, черновик письма перемежается строчками стихотворений, афоризмами, разгонной пробой слова на слух: «Сестра: в этом и простор и страдание». Читая тетради, переживаешь напор творческой стихии как бы в первоизданном ее явлении.

Название тома — «Сводные тетради» — от составителей. Внешне номинативно нейтральное и внутренне, в контексте творчества Цветаевой, глубоко содержательное: у нее это слово — «тетрадь» — одно из ключевых. Предмет интимного отношения. Приметы своих тетрадей и записных книжек она прописывает с медленным глубоким вниманием: «маленькая красная кожаная толстенькая, с резинкой», «желтая картонная черновая, высокая и узковатая, с красным корешком». Они одушевлены (как стол в известном цикле стихов), прощание с ними трогательно: «Здесь кончается моя старая верная московская тетрадь (черепаша, ящерица, та, которую десять лет спустя с любовью грею на солнце)».

Еще бы. У Цветаевой тетрадь — синоним жизни: «все прошедшие через эту тетрадь, т. е. мою жизнь»; «собой (ду-

шой) я была только в своих тетрадах»; «перерыв в 5 дней (грибы, поездка в Прагу, Алин день рождения). Возобновляю 5/18 сентября (день Алиного рождения) с лишним раз подтвержденной достоверностью, что *все*, кроме писания, — ничто. (Все не разряжающееся — разрешающееся — в слове)».

«Сводные тетради» действительно погружают читателя в жизнь Цветаевой. Не столько в подробности ее, сколько в основные сюжеты и темы, повторяющиеся ситуации и символику. Перечитывая прежние записи, Цветаева перечитывала свою жизнь. А отбирая, что написать, расставляя NB!, вписывая реплики на полях, вольно или невольно сгущала материал вокруг основных силовых линий собственной жизни. Прописывала их с нажимом. В тетрадах эти жизненные темы даны предельно концентрированно и резко и в символике своей, и в мелочных житейских проекциях. В этом захватывающий интерес чтения. Насущный, потому что в жизни Цветаевой — общий культурно-исторический и экзистенциальный смысл и урок. Выраженный с такой чистотой и непримиримой последовательностью, аналогов которым не подыскать.

Главный проблемный узел, вновь и вновь в самых разных вариациях возвращающийся в записях: Я (ПОЭТ) и ДРУГИЕ (НЕ ПОЭТЫ). С диапазоном решений от: «Когда я не пишу стихов, я живу как другие люди. И вот вопрос: — Как могут жить *другие* люди. И вот, на основании опыта: другие люди НЕ живут», — до: «После встречи (с Радзевичем. — В. А.) завидую... всем простым, вижу себя игралищем каких-то слепых сил (демонов)». В тетрадах Цветаева формулирует эту главную свою проблему с откровенной резкостью: «Почему люди (мужчины) меня не любили». Математически исчисленный, как доводы «за» и «против» женитьбы в дневнике Чернышевского, перечень причин: «П. ч. не любила людей; п. ч. не любила мужчин; п. ч. я не мужчин любила, а души; не людей, а вокруг, над, под»... В жизни другие были адом Цветаевой. Конфликт разрешался только в тетради: «Исконная и полная неспособность жить с человеком, живя им: жить им, живя с ним... Жить с ним, живя им — могу только во сне. И — чудно! Совершенно так же, как в своей тетради».

Да, в тетради, как во сне, другие теряли свою упрямую неподатливую другость, становились пластичными: в письме их можно было «любить, т. е. иносказать — в другой мир». Описание своей встречи с А. В. Бахрахом Цветаева озаглавила: «Эпилог к одной моей *Idylle Cerebrale*». Такое точное, трезвое и полное самоиронии определение: мозговая идиллия (припоминается «мозговая игра» в «Петербурге» Андрея Белого). Но трезвость и ирония самосознания не отменяли ничего. Было что-то более властное в жизни Цветаевой, и сценарий «*Idylle Cerebrale*» она упрямо проигрывала вновь и вновь. Красноречива помета к фразе «таких писем я не писала никому», адресованной Вишняку-Геликону: «С тех пор как перо стала держать — нет, даже до пера! — ВСЕМ, ВСЕГДА». В тетради Цветаева была не властна над собой. И вот Эренбург, Геликон, Бахрах — каждый из них неизбежно становился предметом «мозговой игры» и был для Цветаевой уже не другой, а Герой, Нежный, Дитя. Становился персонажем ее мира, в сущности — ее собственным отражением, другим «я»: «Я охотно посылаю (отсылаю, ссылаю) свою душу в другие тела (на другие звезды!), чтобы отсюда с ней же, или оттуда с собой же — беседовать... Или: я охотно заселяю чужие тела своей душой. (Вроде колоний)». Это «заселяю чужие тела» волей-неволей предвосхищает стереотипный сюжет фантастических триллеров вроде «Чужих». Эпилог всех «*Idylle Cerebrale*» был так же стереотипен. При реальной встрече другой все же оказывался разочаровывающе другим, и Цветаева переживала состояние перманентной обманутости.

«(Меня не обманули только Б. П. и Р. М. Р<ильке>. Меня (упорство моего неверия в видимость как в таковую) подтвердили только Б. П. и Р. М. Р.¹, которые оба мне были не суждены. И *все* поэты (которых не знала). И слово Гёте:

Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss²

Которое я знала, которое я *явила* — *отродясь*. ...Меня обманули только — люди, которых я пыталась, *все* люди

¹ «Вместо я, я так же свободно могла бы говорить Пастернак (NB! ошиблась — 1938)». Встреча с Рильке не состоялась.

² Все преходящее только подобие (*нем.*).

(мно-ого!), которых я пыталась любить, т. е. иносказать — в другой мир, откуда — мне казалось — они, как я, родом, все — родом... и оказавшиеся как раз тем, чему я не верила».

«Мой дом — лбы, а не сердца», — может быть, эта фраза действительно многое освещает в жизни и творчестве Цветаевой. Сухое умственное опьянение, сухие мозговые страсти. Цветаевой («соименнице моря», моря странно не любившей) не хватало влажности, влаги: «Сивилла: выжжена, сивилла: ствол. / Все птицы вымерли, но Бог вошел». Такой была неизбежная плата за предназначение быть Поэтом в ее понимании.

В «Сводных тетрадах» среди многочисленных и странных реплик маленького Мура Цветаева сохранила одну под точной датой, 21 августа 1930 года: «Мама! Для чего Вы стали писательницей, а не шофером и не другим таким?»

Владимир АБАШЕВ.

Пермь.

*

ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ. Тень. Стихотворения. СПб., «Феникс», 1998, 112 стр.

Имя этой книги не содержит даже намека ни на тематику, ни на стиль, ни на позицию автора в следовании какой-либо поэтической традиции, не содержит цитаты из какого-нибудь стихотворения — этакой визитной карточки! Полная затененность, зашторенность. Отдергиваем первую шторку — и приятное удивление: глазам открывается не замусоленный миллионами взглядов фасад железобетонной коробки, не лубочно разрисованная рама (без хлеба, как в известной рекламе, — одно зрелище), не — при недостаточной освещенности — тусклое отражение собственной твоей, читатель, физиономии — открывается живой, красочный, а главное, узнаваемый мир, где «цветок качается в седле, неся точеный череп на стебле», где «внезапный полдень» озаряет «сухие стебли улиц», где «часы расцвели на стебле четырехгранном», где «ходит облако на ногах дождя» и оно же, «завитое облако, обрезает локон / лесу на память, приоткрывшему

слишком / частые ребра, дремучую тьму подмышки». Рискну утверждать, что именно такой мир является реальным, а такая поэтика реалистической. Современный реализм, как мне кажется, есть способ взглянуть на вещь с самых разных сторон, найти разнообразные, порой неожиданные ракурсы, тем самым приближаясь к наиболее объемному, объективному изображению.

Вещи в реальности составляют сложную, мозаичную систему, пронизанную «тонкими невидимыми связями». Именно эти связи пытаются передать Татьяна Вольтская, позволяя взаимопроникать, переплетаться, растворяться друг в друге одушевленному и неодушевленному, фантастическому и обыденному. Здесь все дышит, все живет, все меняется: «Травы спят с открытыми глазами...», «Мокрой траве золотя колени, / Солнце снимает с холма помятые тени...», «Снег обвивает все, как виноград...», «Повсюду с грацией верблюжьей / Двугорбые сугробы спят...».

Подобные олицетворения, возможно, являются продолжением традиционной образной системы («солнце садится», «вьюга воеет» и т. д.), давно отошедшей в область обыденной речи, но здесь, в стихах Т. Вольтской, предстающей в новом, перспективном, развивающемся качестве.

В этой книге все свободно перетекает одно в другое, и в этот мир совершенно гармонично вписывается, точнее, вплетается лирическое «я» автора:

Тела необитаемый остров.
Перевернутая лодка ладони,
Покачиваемая дыханием,
Набегающим на пологий берег.

Именно лирическое начало, по традиционному заблуждению ассоциирующееся с женским, дается женщинам, как мне кажется, труднее всего. Многие километры так называемой «женской лирики» безумно скучны и монотонны, их проскакиваешь на большой скорости, по одной размеченной полосе. Ибо естество и искусство суть вещи противоположные даже по семантике («естественный» и «искусственный», как известно, антонимы). То, что кажется истинным, искренним в жизни, смотрится на бумаге банально, а то и вымученно-истерично. Переход же чувств в область искусства предполагает некую

отстраненность и, как следствие, уже бесстрастность. Лирика Т. Вольтской — это удачная, за малым исключением, попытка не только передать субъективное через объективное (в данном случае — пейзаж, зарисовки), но и сопоставить, сравнить эти две реальности, органически вплести собственные чувства в канву ювелирно выписанной действительности.

Успокойся, — говорю себе, — успокойся!
Крутит ветер над крышей из дыма кольца.
Что случилось, — говорю себе, — что
случилось?

С шумом вылетел из болота чибис,
Закачалась кочка, вздохнула сырость,
И душа побледнела и оступилась.

Дело в том, что оригинальная словесная игра, насыщенная метафоричность, интересные сюжетные, тематические придумки не есть самоцель: «...имеет ценность лишь тот пейзаж, в котором скрыта боль». Эта боль, своеобразная мука окружающего мира предстает как следствие душевной обнаженности, внутреннего терзающего холода («...если загораю — снег под купальником все равно не тает»), который готовит для автора побег в иной, чуждый этой муке мир:

Ах, была б я зерном — заслужила б милость —
Я от всех под землю бы провалилась,
Закатилась бы под высокую гору,
А была бы мышью — забились в нору.
А была бы синицею — улетела бы за море,
Самое глубокое, синее самое.

Может быть, настроение это несколько наивно, а идея такого «ухода» часто встречается у самых разных поэтов, но в данном воплощении она звучит трогательно, а местами пронзительно, поскольку, по сути, мы все пишем об одном и том же, важно — как.

Юлия СКОРОДУМОВА.

*

В. С. ЕЛИСТРАТОВ. Язык старой Москвы. Лингвоэнциклопедический словарь. М., «Русские словари», 1997, 703 стр.

Было время, когда поговору я мог определить, хотя и приблизительно, откуда человек родом. На столичной Комсомольской площади, куда стекают-

ся пассажиры со всех концов страны, когда-то разливался шумный океан непривычной для московского уха речи. Волжан, владимирцев можно было узнать по полному, открытому звуку «о» (с гордостью восклицал поэт С. Марков: «Всю жизнь я верен звуку „о“ — на то и костромич! Он — речи крепкое звено, призыв и древний клич...»). Жители Рязани и Смоленска «якали», вологжане, архангелогородцы завязывали человеческую речь в ядреные узлы и извлекали при этом круглые, как горох, «скорострельные» звуки с вопросительной интонацией. Диалектных черт в русском языке великое множество. Известны даже дразнилки, в которых обыгрывались особенности речи жителей того или иного региона. Так, в дразнилке о рязанцах: «у нас в Рязани гряды с глазами, их ядят, а они глядят» — указаны и яканье, и мягкое «т» в третьем лице глаголов. О жителях города Зубцова Тверской области, употреблявших «ч» вместо «ц», говорили: «Ты кто, молодец? Зубцовский купеч».

Не обойден народным вниманием и вальяжный говор москвичей, который, по свидетельству лингвистов, является промежуточным между северными и южными наречиями. Озорных частушек на сей счет, правда, не сохранилось, но есть отзыв острой на язычок бабушки из вятской глубинки, которая всего лишь однажды побывала в Москве: «Там даже балакают не по-нашему, а с вывертом и наособицу. У нас говоря скорая, круто замешенная, а у их с ленцой и потягушками. Вроде как не выпались люди али не опохмелились. Мы, вятские, больше на „о“ упираем, вроде как на обруче катаемся, а Москва дак все „а“ да „а“. Как по животу себя гладит...»

Словарь В. Елистратова, к сожалению, не приводит примеров фонетической транскрипции старых слов, но и этого количества лексического материала (4000 единиц) вполне достаточно, чтобы судить о том, насколько богата, подвижна, щедра и прихотливо-изменчива московская разговорная речь. Вообще язык города исследован гораздо меньше, чем язык деревни. Отечественная диалектология всегда была нацелена на изучение крестьянских говоров, что совершенно справедливо, но город при этом оставался как бы в тени. Между тем именно скопления разнородных масс представ-

ляют собой особую, свободно развивающуюся стихию, в которой наряду с элементами древними, унаследованными от прошлого, прослеживаются новые речевые процессы, завязываются оригинальные языковые модели для выражения общепринятых понятий. Не скованные нормами книжно-письменной речи, городские говоры имеют множество словообразований, синонимов, смысловых оттенков, которые совершенно отсутствуют в литературном языке. «Основная масса текстов, ставших источниками для словаря, — это тексты московских писателей, очеркистов, мемуаристов и т. п. о Москве, — пишет в предисловии Елистратов. — Но Москва — это не остров и не „зона“. Специфика ее как раз в том и заключается, что она в своей специфике универсальна, и наоборот: в своем универсализме — специфична. Никакого противоречия здесь нет... Ежегодно Москва наполнялась десятками тысяч людей со всей России и со всего мира, которые тут же, как тогда говорилось, „намосквичивались“ и, продолжая быть китайцами, татарами, нижегородцами, белорусами, можайцами, персами, немцами и т. д., становились вместе с тем москвичами».

Словарь описывает язык и быт старой Москвы в самых разных социальных ипостасях конца XIX — начала XX века. Это было время, когда парикмахер и извозчик, студент, нищий и банщик, букинист, вор и портной, мелкий чиновник, кухарка, трактирный половой и базарный торговец владели своей, свойственной исключительно его занятиям терминологией, вырабатывали и совершенствовали свое профессиональное арго, нисколько не заботясь о «благозвучности» некоторых выражений.

Любопытно, что еще со времен Карамзина мы встречаемся с высокомерным и порой язвительным отношением к языку, услышанному на улице, на рынке или «в чистом поле от добрых поселян». Некоторые простонародные выражения, как писал автор «Бедной Лизы», услаждают слух, возбуждая в душе «любезные идеи: о свободе и сельской простоте». Другие же слова — как, например, «парень» — рисуют в воображении облик «дебелого мужика, который чешется неблагопристойным образом». Искусственное разделение простонародной лексики на «бурлацкую»,

«мужицкую», «неприличную для дамских ушей» — с одной стороны, и изысканную, «нравственную» — с другой, вызвало в свое время ироничную реакцию А. С. Пушкина, заявившего, что «разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава Богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований». Вслушиваясь в народную речь, поэт отмечал в ней «какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться».

Зазывы, выкрики, балаболки, матюки, прибаутки, остроловицы — весь этот словесный материал, как семечко на ветру, разлетался по окраинам Москвы, рекламировал свой товар, комментировал производственные, коммерческие и любовно-семейные связи, лепил человеческие образы, обличал пороки. Смешил, ёрничал, издевался, огрызался, переиначивал иностранные слова на свой лад — в результате получилось нечто живописное, искрящееся гранями, обладающее магической силой и даром внушения.

Что, к примеру, означало прилагательное «теплый»? Среди известного нам значения было и такое: склонный к воровству, мошенничеству — «теплый народец», «теплая публика», «теплая компания». Кого в Москве называли «слесарем»? Далекого родственника, седьмую воду на киселе («нашему слесарю двоюродный кузнец»). А что такое «сливки»? Остатки пива и вина, слитые вместе. «Читалка» — женщина, читающая молитвы над гробом.

Городской топоним «Чистые пруды» вызывал у жителя Москвы XVIII века совсем не те ассоциации, что у нынешнего москвича. Дело в том, что в этот пруд годами выбрасывали отходы мясной торговли; место считалось самым зловонным в городе. Но после того, как в начале XVIII века пруд очистили, его стали называть «Чистым», хотя прохожие по инерции продолжали зажимать носы... «Ландрин» — разновидность конфет, которые благодаря случайности изобрел Федор Ландрин. «Стали конфеты называться „ландрин“ — слово показалось французским... ландрин да ландрин. А сам он новгородский мужик и фамилию получил от речки Ландры, на которой деревня стоит» (В. Гиляровский)...

А вот что касается словечка «ад» (так назывался трактир-притон на Трубной площади, место тайных встреч московских террористов, где разрабатывались планы покушения на Александра II), мне хотелось бы дополнить автора словаря: здесь не вскрыты смысловые значения и оттенки этого диалектизма... «Адом брать», «драть ад» — значит криком отстаивать свои интересы («Чего ад-от дерешь?»), чрезмерно громко говорить, широко раскрывая рот, возмущаться действиями партнера («Чего ад открыл, бессовестный?»). Так ворчала на меня моя няня — Василиса Тихоновна Лебедева, родом из деревни Дубровка Серпуховского уезда, всю жизнь прожившая в Москве, когда укладывала меня, пятилетнего, спать, а я капризничал или баловался.

Слово не может навсегда кануть в Лету. Оно как бы притаивается, помалкивает до поры до времени — и в любой момент может вырваться из темных глубин памяти и засверкать свежими красками, новыми значениями. Все время, вопреки мнению скептиков и нашествию всяческих «менталитетов» и «толерантностей», идет процесс обогащения нашей устной и письменной речи народными говорами, хотя их влияние не всегда наглядно, ощутимо. Диалект, если так можно выразиться, держит под прицелом литературный язык, атакует его, до неузнаваемости трансформирует, подгоняет под себя, приручает, как норовистую лошадь, и, если новое слово ему по душе, отправляет его в жизнь. Слушай, впитывай, запоминай!..

Олег ЛАРИН.



БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Виктор Астафьев. Собрание сочинений. В 15-ти томах. Том 10. Прокляты и убиты. Роман. Книга 1 — 2. Красноярск, «Офсет», 1997, 768 стр., 10 000 экз.

Ив Бонфуа. Невероятное. Избранные эссе. Перевод с французского, комментарии М. Гринберга, Б. Дубина. М., «Carte Blanche», 1998, 256 стр., 2000 экз.

М. А. Булгаков. Белая гвардия. Подготовка текста и послесловие И. Ф. Владимиров. М., «Наш дом — L'Age d'homme», 1998, 288 стр.

Текст отличается от канонического (парижское издание 1927 — 1929 годов) — публикатор предлагает «подлинную авторскую редакцию», восстановленную по гранкам и правленной автором машинописи. Кроме того, в текст впервые вставлена обнаруженная в 1991 году 21-я глава.

Георгий Владимов. Собрание сочинений. В 4-х томах. М., «NEQ-2 Print», 1998, 10 000 экз.

Т. 1. Большая руда. Повесть. Рассказы. Верный Руслан. Повесть. Шестой солдат. Комедия. 461 стр.

Т. 2. Три минуты молчания. Роман. 397 стр.

Т. 3. Генерал и его армия. Роман. 462 стр.

Т. 4. Литературная критика и публицистика. 462 стр.

Сергей Есенин. Несказанное, синее, нежное. Составление А. Марченко. М., «ЭКСМО-Пресс», 1998, 384 стр., 15 000 экз.

Сергей Залыгин. Свобода выбора. М., «Панорама», 1998, 430 стр., 5000 экз.

Проза Залыгина, писавшаяся и публиковавшаяся им в последние годы. Читайте в следующем номере отклик на опубликованные в этой книге произведения.

Евгений Карасев. Бремя безверья. Стихи. Тверь, Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1998, 176 стр., 1000 экз.

Стихи тверского поэта, неоднократно публиковавшегося в «Новом мире».

Константин Кедров. Улисс и Навсикая. М., Издание Е. Пахомовой, 1997, 48 стр.

«Античные» стихи Кедрова в сопровождении иероглифической графики Михаила Панферова, стилистика которой отсылает нас к латиноамериканскому (майя) орнаменту.

Тимур Кибиров. Избранные послания. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 1998, 152 стр., 5000 экз.

Послания Рубинштейну, Пригову, Файбисовичу, Айзенбергу, Гандлевскому, Денису Новикову, Померанцеву; а также «Элеонора», «Послание Ленке», «Двадцать сонетов к Саше Заповой», «Колыбельная для Лены Борисовой», «Солнцедар», «Возвращение из Шильково в Коньково».

Махабхарата. Книга 10. Сауптикапарва, или Книга об избииении спящих воинов. Книга 11. Стрипарва, или Книга о женах. Перевод, подготовка издания С. Л. Невелева, Я. В. Василькова. М., «Янус-К», 1998, 236 стр., 2000 экз.

Семен Надсон, Константин Фофанов. Избранное. Составитель А. Ф. Заиванский. СПб., «Золотой век», «Диамант», 1998, 448 стр., 10 000 экз.

К. Плешаков. Ферма с карасями. Рассказы. М., «Глагол», 1998, 182 стр., 1000 экз.

Подобранный Пригов. М., Российский государственный гуманитарный университет, 1997, 261 стр., 1000 экз.

Избранное. К стихам прикладывается список рукописных книг, составлявшихся поэтом с 1978 по 1993 год (61 наименование), и статьи о Пригове В. Шмида, М. Айзен-

берга, Л. Рубинштейна, а также беседа Андрея Зорина с автором, названная «Пригов как Пушкин».

Маркиз де Сад. Собрание сочинений. Том 1. Занимательные истории, новеллы и фавлю. Злоключения добродетели. Эжени де Франваль. Перевод с французского Э. Браиловской. Комментарии Е. Храмова, Д. Харитоновича. Предисловие Виктора Ерофеева. М., «Арт-Бизнес-Центр», 1998, 544 стр., 5000 экз.

Общий объем издания пока не определен — издательство предполагает выпустить не менее десяти томов.

Бенедикт Сарнов. Перестаньте удивляться! Непридуманнные истории. М., «Аграф», 1998, 364 стр., 3500 экз.

Писатель предлагает не удивляться бытовым, идейным и прочим абсурдностям, бывшим повседневностью нашей недавней советской действительности, — он вспоминает сотни историй, «отчасти... собственных... отчасти слышанных от других».

Виктор Соснора. Верховный час. Стихи. СПб., «Петербургский писатель», 1998, 208 стр., 2000 экз.

Пять книг стихов под одной обложкой: «Совы» (1963), «Хроника» (1967), «Знаки» (1972), «Хутор потерянных» (1976), «Верховный час» (1979). Большинство стихов ранее не печаталось.

Сто лет поэзии Приморья. Антология. Владивосток, «Уссури», 1998, 296 стр.

Собрание стихотворений приморских поэтов и поэтов, писавших о Приморье, более чем за сто лет.

Владислав Ходасевич. Из еврейских поэтов. Составление, вступительная статья и комментарии З. Копельман. М., Иерусалим, «Гешарим», 1998, 408 стр., 5000 экз.

Переиздание антологии новоеврейской — ивритской, «поколения Бялика» — поэзии в переводах Ходасевича, над которыми поэт работал в 1917 и 1918 годах. Антология выходила в 1918 году (два издания в Москве), в 1922 (Берлин) и в 1923 (Петербург — Берлин). В книгу вошли стихи Хайма Нахмана Бялика (1873 — 1934), Давида Фишмана (1859 — 1922), Саула Черниховского (1875 — 1943), Якова Фихмана (1881 — 1958), Залмана Шнеура (1887 — 1959), Давида Шимоновича (1886 — 1956), Ицхака Каценельсона (1885 — 1944), Авраама Бен-Ицхака (1883 — 1950). Стихи публикуются параллельно на языке оригинала и в переводах Ходасевича. Нынешнее издание антологии сопровождается подборкой статей З. Копельман (раздел «О еврейских стихах, которые переводил Ходасевич, и об их авторах»), воспоминаниями первого издателя и инициатора антологии Лейба Яффе о Ходасевиче и совместной работе над переводами, статьями Ходасевича о Бялике, Черниховском, воспоминаниями Черниховского о Ходасевиче. Вступительная статья Р. Тименчика «Два слова о еврейской теме у Владислава Ходасевича».

П. Б. Шелли. Великий дух. Стихотворения. Перевод с английского К. Д. Бальмонта. М., «Летопись», 1998, 416 стр., 15 000 экз.

И. С. Шмелев. Собрание сочинений. В 5-ти томах. Том 2. Въезд в Париж. Рассказы. Воспоминания. Публицистика. Составление Е. А. Осьминина. М., «Русская книга», 1998, 508 стр., 5000 экз.



Нора Букс. Эшафот в хрустальном дворце. О русских романах Владимира Набокова. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 208 стр.

Исследование «цитатности» романов Набокова литературоведом из Франции.

С. Булгаков. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. Составление, подготовка текста, примечания, подбор иллюстраций А. П. Олейниковой, Н. А. Струве. Орел, Издательство Орловской государственной телерадиовещательной компании, 1998, 474 стр., 5000 экз.

Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Зарубежная литература XVII — XVIII вв. Общая редакция, составление Вл. Новикова. М., «Олимп», «АСТ», 1998, 832 стр., 13 000 экз.

Жак Деррида. Эссе об имени. Перевод с французского Н. А. Шматко. М., Институт экспериментальной социологии, СПб., «Алетейя», 1998, 190 стр., 2000 экз.
Книгу составили три работы: «Страсти», «Кроме имени», «Хора».

Жиль Делёз, Феликс Гваттари. Что такое философия? Перевод с французского и послесловие С. Н. Зенкина. М., Институт экспериментальной социологии, СПб., «Алетейя», 1998, 288 стр., 2000 экз.

Совместная работа Жюль Делёза и психоаналитика Феликса Гваттари (1930 — 1992). Модель философии, предлагаемая авторами, «отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия — творчество „концептов” — работает в плане „имманенции” и этим отличается, в частности, от „мудрости” и религии, апеллирующих к трансцендентной реальности. Философское мышление — мышление пространственное, и потому основные его жесты — „детерриториализация” и „ретерриториализация”» (из аннотации).

Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма (1830-е — 1917 годы). Иллюстративно-биографический словарь. Издание готовили М. А. Аруин и др. М., Фирма «КРАБик», 1998, 322 стр., 5000 экз.

Э. Кассирер. Избранное. Опыт о человеке. Перевод с немецкого. Составители С. Я. Левит, Л. В. Скворцов. М., «Гардарика», 1998, 780 стр., 5000 экз.

Жан-Франсуа Лиотар. Состояние постмодерна. Перевод с французского Н. А. Шматко. М., Институт экспериментальной социологии, СПб., «Алетейя», 1998, 160 стр., 2000 экз.

В книге «освещаются вопросы знания, его состояния и модели легитимации в постсовременную эпоху, а также различные типы языковых игр и их прагматика. Автор исследует, каким образом в наше время может легитимироваться социальная связь, что происходит с идеей справедливого общества, может ли результативность и эффективность системы быть целью познания и развития общества» (из аннотации).

Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. 1918 — 1940. Том 1. Писатели Русского Зарубежья. Главный редактор А. Н. Николюкин. М., «РОССПЭН», 1997, 512 стр., 1000 экз.

Д. С. Лихачев. Развитие русской литературы X — XVII веков. СПб., «Наука», 1998, 206 стр., 1000 экз.

А. Ф. Лосев. Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения. Составление А. А. Тахо-Годи. М., «Мысль», 1998, 750 стр., 5000 экз.

Не привози с собой Гомера... Письма Е. П. Шлиман Генриху Шлиману. Предисловие, подготовка текста, примечания И. А. Богданова. СПб., «Дмитрий Булавин», 1998, 226 стр., 2000 экз.

Г. Л. Нефагина. Русская проза второй половины 80-х — начала 90-х годов XX века. Учебное пособие для студентов филологических факультетов вузов. Минск, Издательский центр «Эконом-пресс», 1998, 231 стр., 5000 экз.

Современная проза рассматривается исследователем в пяти разделах книги:

«Неоклассическая проза» — Астафьев, Распутин, Айтматов, Алфеева, Олеся Николаева, Бородин, Варламов, Маканин, Ермаков;

«Условно-метафорическая проза» — Искандер, Кабаков, Петрушевская, Курчаткин, Адамович, Ким, Пелевин;

«Другая проза» — Кураев, Каледин, Габышев, Петрушевская, Палей, Пьещух, Евг. Попов;

«Постмодернизм» — Галковский, Сорокин, Виктор Ерофеев, Евг. Попов, М. Харионов, А. Королев;

«В поисках новых путей» — Б. Кенжеев, Евг. Попов («Накануне накануне»), Пелевин («Омон Ра»), З. Гареев, Ю. Мамлеев.

Александр Николюкин. Голгофа Василия Розанова. М., «Русский путь», 1998, 503 стр., 4000 экз.

Монография о жизни и творчестве Розанова. Подзаголовок книги: «Житие Василия Васильевича, рассказанное им самим и дополненное его родными и близкими».

Валерий Перевозчиков. Правда смертного часа. Владимир Высоцкий, год 1980-й. М., «Сампо», 1998, 272 стр., 10 000 экз.

Хроника последних шести месяцев жизни поэта и актера, восстановленная по воспоминаниям и свидетельствам родных, близких, друзей, — взаимоотношения с родными, с коллегами, с женой, попытки уйти из театра в кино (кинорежиссура), гастрели, концерты, заработки, столкновения с властями. Отдельная — трагическая — тема: отчаянная и безнадежная борьба Высоцкого со своим недугом — наркоманией. Первоначальное обращение к наркотикам было вызвано потребностью восстановить колоссальные траты творческой энергии, а затем, по мнению его близких, стало еще и некой формой «социально-психологической компенсации». Мнение врача Щербакова: «Высоцкий не получал от общества адекватного вознаграждения: зажимали, травили, не давали работать в полную силу... Может быть, наше общество и не убило Высоцкого, но оно его выталкивало! У него была не банальная наркомания — это была, повторяю, форма социальной защиты — своеобразный химический костыль...»

Имея дело с таким эффективным материалом, провоцирующим на дурную сенсационность, автор обошелся с ним предельно тактично — книга получилась информационно насыщенная, откровенная и умная; «погружения в быт» не уплощают образ, а, напротив, углубляют.

Владимир Пропп. Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни волшебной сказки. Составление, научная редакция, текстологические комментарии И. В. Пешкова. М., «Лабиринт», 1998, 512 стр., 3000 экз.

Первые две известные работы изданы как единое (по замыслу автора) произведение. В разделе «Комментарии» помещены работы Е. М. Мелетинского «Структурно-типологическое изучение сказки» и А. В. Рафаевой «Методы В. Я. Проппа в современной науке». Издательство выпустило книгу под грифом «В. Я. Пропп (собрание трудов)» и на титульном листе указало содержание будущих книг: «Русская сказка», «Русский героический эпос», «Русские аграрные праздники», «Поэтика фольклора», «Проблемы комизма и смеха», «Повести. Дневник. Воспоминания».

Русские писатели. XX век. Библиографический словарь. В 2-х частях. Под редакцией Н. Н. Скатова. М., «Просвещение», 1998, 20 000 экз.

Часть 1. А — Л. 784 стр. Часть 2. М — Я. 656 стр.

В. Н. Топоров. Древнеиндийская драма Шудраки «Глиняная повозка». Приглашение к медленному чтению. М., «Наука», О.Г.И., 1998, 414 стр.

«Непосредственные импульсы к написанию этой книги исходили из круга преимущественных интересов автора в области реконструкции «основного» мифа, разысканий, связанных с исследованием ритуальных основ драмы в древнейших индоевропейских литературных традициях (прежде всего древнегреческой и древнеиндийской), и генезиса поэтики и ее ключевых элементов и операций из текстов, непосредственно входящих в ритуал и/или его описывающих...» («От автора»).

Фрагменты ранних стоиков. Том 1. Зенон и его ученики. Перевод, комментарии А. А. Столярова. М., «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 1998, 446 стр., 3000 экз.

П. Я. Чаадаев: pro et contra. Личность и творчество Петра Чаадаева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. Издание подготовили А. А. Ермичев, А. А. Златопольская. СПб., Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1998, 878 стр., 15 000 экз.

О. Шпенглер. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. Перевод с немецкого, вступительная статья, примечания К. А. Свасьяна. М., «Мысль», 1998, 668 стр., 5000 экз.

А. Шопенгауэр. Афоризмы и максимы. Перевод с немецкого. Составление, вступительная статья, примечание М. А. Блюменкранца. М., «ЭКСМО-Пресс», Харьков, «Фолио», 1998, 734 стр., 15 000 экз.

А. Шубин. Махно и махновское движение. М., «МИК», 1998, 176 стр, 1000 экз.

Ефим Эткинд. Материя стиха. СПб., «Гуманитарный союз», 1998, 506 стр., 2000 экз.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«Вечерняя Москва», «Волга», «Вопросы истории», «Вопросы литературы», «Голос Зарубежья», «День и ночь», «День литературы», «Дон», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Звезда», «Индекс/Досье на цензуру», «Иностранная литература», «Итоги», «Кулиса НГ», «Культура», «Литературные перекрестки», «Москва», «Наш современник», «НГ-Религии», «НГ-Сценарии», «Независимая газета», «Новые страницы», «Общая газета», «Октябрь», «Посев», «Пушкин», «Россия», «Русская мысль», «Русский Телеграф», «Сутолока», «Фигуры и лица», «Французские новости»

Николай Александров. Немемуары Анатолия Наймана. — «Ex libris НГ», 1998, № 27, июль.

Критическая рецензия на книгу Анатолия Наймана «Славный конец бесславных поколений» (М., «Вагриус», 1998): утомительная мизантропия повествователя; трогательная полемика о «розовых трусах»; «пусть я не Бродский, зато я — христианин».

См. также памфлет протоиерея Михаила Ардова «Др. и А. Г.» («Кулиса НГ», 1998, № 12, июль) в форме письма к анонимному другу: «дорогой N...» Против Анатолия Наймана, опять-таки в связи с его мемуарами.

Между тем Юлия Большакова («Общая газета», 1998, № 29, 23 — 29 июля), рецензируя мемуарную книгу Наймана, отмечает: «Пусть, возможно, более нравственный и целеустремленный Михаил Ардов имеет свои личные счеты с Анатолием Найманом по праву совместной молодости и близкой в юношеском возрасте дружбы. Но его письмо, опубликованное в „Независимой газете“, обнаруживает смятенную душу, не имеющую мира в себе самой и не примирившуюся со своим прошлым».

Александр Архангельский. Где сходились концы с концами. — «Дружба народов», 1998, № 7.

Над страницами романа Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени». Цитата: «Петрович — литературная проекция Маканина, биография героя — несостоявшийся „андеграундный“ вариант судьбы автора. А для Петровича, в свою очередь, убогий брат Венечка — олицетворение не прожитой им последовательно-честной, последовательно-бескомпромиссной жизни. Маканин с прищуром, оценивая его наблюдает за Петровичем: стоило — не стоило платить такую цену за право остаться самим собой? стоило — не стоило опускаться на дно, чтобы не жертвовать талантом? ошибся я или не ошибся, встроившись в истеблишмент? А Петрович с восхищением и ужасом наблюдает за Венечкой: стоило — не стоило, подобно ему, идти напролом, расплачиваясь утратой личности и помутнением сознания? Для Маканина — бескомпромиссен Петрович; для Петровича по-настоящему бескомпромиссен безумец Венечка. И потому старый „агэшник“ (от „андеграунд“. — А. В.) подсознательно стремится в сумасшедший дом, чтобы попробовать испытать на себе: можно или нельзя устоять в единоборстве с Системой?..» Интересное наблюдение рецензента: связь романа с известным американским фильмом «Человек дождя»; «Маканину так важно обратить внимание читателя на эту кинопараллель, что он начинает заимствовать из «Человека дождя» готовые сюжетные блоки, превращая финал своего романа в литературный римейк кинофильма».

В связи с романом «Андеграунд...» см. также статью Андрея Немзера в № 10 «Нового мира» за этот год и неоконченную статью недавно умершего Владимира Черняева «Меня нет в вашем сюжете...» в саратовском журнале «Волга» (1998, № 7).

Анастасия Архипова, Наталья Маршалкович. Вавилонская башня на телеэкране. Культурология и эзотерика — два полюса сериала о космосе. — «НГ-Религии». Ежемесячное приложение к «Независимой газете». 1998, № 7, июль.

Религиозно-философский анализ известного космического телесериала компании Warner Bros. «Вавилон-5», «скрытую педагогическую интенцию» которого, по мнению авторов статьи, «немедленно уловили зрители, по роду своих занятий склонные к умственным упражнениям...».

Виктор Астафьев. Из тихого света. Попытка исповеди. — «Россия». Ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный журнал. 1998, № 7.

Россия. Ужас. Дети. Бессмертие. Текст датирован так: 1961, 1975, 1992, 1997.

См. также отклик Марии Ремизовой «За здравие, за упокой...» («Независимая газета», 1998, № 123, 10 июля) на новую повесть Виктора Астафьева «Веселый солдат» («Новый мир», 1998, № 5, 6) о — словами рецензента — «раздавленных жизнью в победившей стране».

Петр Баренбойм. О библейских корнях доктрины разделения властей. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4230, 9 — 15 июля.

Профессор Баренбойм считает, что «есть много резонов отпраздновать 3000 лет доктрины разделения властей в этом году, при полном понимании условности такой даты».

Александра Белкина. Мастер и — Мастер. — «Пушкин». Тонкий журнал / читающим по-русски. 1998, № 5. Электронная версия журнала «Пушкин»: www.russ.ru

Читаем книгу — М. Булгаков, «Дневник. Письма. 1914 — 1940» (М., «Современный писатель», 1997). «Времена меняются, и наш Булгаков меняется вместе с ними. Новый Булгаков — это сначала морфинист, потом неврастеник, жлоб, страдающий фобиями и манией величия, мизантроп, эротоман, доходяга...»

А. В. Блюм. Поэт под цензурным прессом. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 7.

Николай Олейников и советская цензура. К 100-летию со дня рождения поэта.

К. В. Болдырев. Менхегоф — лагерь перемещенных лиц (Западная Германия). — «Вопросы истории». Ежемесячный журнал. 1998, № 7.

Исторический очерк об уникальном во многих отношениях лагере для перемещенных лиц, в котором, в частности, началось издание известных журналов «Посев» и «Грани».

Петр Вайль. Из жизни горожан. Нью-Орлеан — Теннесси Уильямс, Нью-Йорк — О. Генри. — «Иностранная литература». 1998, № 6.

Авторская рубрика «Гений места». Среди прочего: «Маскультом был театр Шекспира, музыка Моцарта, проза Дюма — дело в уровне. Может, „Дары волхвов” (О. Генри. — А. В.) и в самом деле сусальная история для глянцевого журнала. Но — лучшая в мире сусальная история!»

Алексей Васильев. Инструмент Гефтера. — «Пушкин». Тонкий журнал / читающим по-русски. 1998, № 5.

В связи с Первыми Гефтеровскими чтениями. Автор, известный, по определению редакции, «своими самобытными философскими взглядами», — бывший охотник-промысловик, в настоящее время — водомерщик, живет в Ципикане. Цитата: «Я поглядел на московский базар и отчасти ретировался в своем отношении к фашистам. Возможно, и у них есть нужное России содержание. Принять его на вооружение сложно. Но это как раз то дело, при котором оказывается социально затребуванным элитарный интеллект. Судя по текстам, Глеб Павловский (главный редактор журнала «Пушкин». — А. В.) чуть не самый умный в России. Но от остроумия у нас аллергия, а вот пусть он придумает, как устоять на либеральных позициях в отношении к положительному содержанию фашистов и тем расчеканить клапан, предотвратив взрыв».

Владимир Всеволодов. Минлаг. Документальная повесть. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 6.

Вторая часть мемуарной книги «Записки советского „фашиста”» (начало в № 12 «Звезды» за 1995 год). Автор умер осенью 1996 года.

Александр Генис. Довлатов и окрестности. Главы из книги. — «Иностранная литература», 1998, № 6.

Другие фрагменты этой книги см. в «Новом мире» (1998, № 7).

Олег Генисаретский. Неисчислимое чувство. — «Пушкин». Тонкий журнал / читающим по-русски. 1998, № 5.

О том, что книги, выходящие по разряду «психотерапия», есть *словесность*, род литературы. И более того: *отменное чтиво!*

Алла Головачева. О тех, кто читает Спенсера. Чехов и его герои накануне XX века. — «Вопросы литературы», 1998, № 4 (июль — август).

Английский философ и Россия. «Если можно вообразить себе такой показатель, как „содержание Спенсера», — он должен быть вписан в curriculum vitae Чехова: Спенсер бродил в его крови, он не прошел даром ни для его творческой, ни для его личной судьбы».

Анатолий Голубовский. Ну что, брат Пушкин? — «Итоги». Еженедельный журнал. 1998, № 27, 13 июля.

Тригорское. Михайловское. Проблемы реконструкции и реставрации. «...„Свежий новодел” заменит „новодел со стажем”, пришедший в полную негодность, устаревший морально и физически». Полемику на эту тему см. также в № 10 «Нового мира» за этот год (два письма в рубрике «Из редакционной почты»).

Жан Делюмо. Религиозность, религия, светскость. Беседу вел Жан-Пьер Аллалли. — «Французские новости». На французском и русском языках. Париж, 1998, № 10-11, июль — август.

Профессор Коллеж де Франс, принимавший участие в коллоквиуме, организованном Французским университетским коллежем при МГУ: «...наша западная цивилизация является *первой агностической цивилизацией в мире* (курсив мой. — А. В.)».

Г. Р. Державин. Христос. В современном переложении Генриха Митина. — «Литературные перекрестки». Газета клуба писателей ЦДЛ. Главный редактор Генрих Митин. 1998, № 1, июнь.

Все мы вышли из оды Державина «Христос» (1814), считает Генрих Митин. Кроме переложения оды на современный русский язык в первом выпуске новой газеты «Литературные перекрестки» напечатаны «Мемуары в картинках» Николая Шмелева, рассказ Бориса Евсеева «Босой», статьи Александра Когана «Булгаков и Сталин», Алены Злобиной «Любите ли вы театр так, как не люблю его я?», Анатолия Ланщикова «И былое, и думы», заметки Льва Аннинского и другие материалы.

Валентин Ежов, Рустам Ибрагимбеков. Белое солнце пустыни. Роман. — «Дон». Российский литературно-художественный ежемесячный журнал. Ростов-на-Дону, 1998, № 4.

Сухов. Саид. Верещагин. Баркас. P. S.: «Овладев специальностью бетонщиц, бывшие жены Абдуллы всем гаремом отправились на строительство канала в Голодной степи». *Бетонщиц, говорить?..*

Виктор Ерофеев. Период ментального оледенения. — «Московские новости», 1998, № 28, 19 — 26 июля.

Писатель вглядывается в будущее, отвечая на анкету «Московских новостей» — «Рубеж веков». Среди прочего: «Нет таких научных открытий, которые бы укрепили позиции атеизма. Атеизм — плод естественного отчаяния, богоборческая жестикуляция, вызванная богооставленностью. Юношеский атеизм так же полезен, особенно для творческих натур, как и мастурбация. Все технические новшества будут вопить о том, что Бог есть».

См. также рецензию, подписанную инициалами Г. Ш., «С голубого ручейка начинается река» («Ex libris НГ», 1998, № 26, июль) — краткий, но смачный отзыв на книгу Виктора Ерофеева «Пять рек жизни» (М., «Подкова», 1998). Цитирую: «Русско-немецкий и индо-африканский писатель Виктор Ерофеев — он что Вознесенский в поэзии, только лучше: величие замысла плюс концептуальный идиотизм формы... В новой книге писатель выступает не только в роли путешественника, но в привычной ему роли пророка. В роли путешественника все им написанное сильно напоминает удешевленный вариант „Гения места” Вайля. Что касается пророчеств, то на теме грядущего XXI только ленивый еще не сплясал чунга-чангу. Соответственно и Ерофеев, проплыв реки (Волгу, Рейн, Ганг и Миссисипи. — А. В.), решил, что ждет нас единая метафизическая религия совсем уже скоро. Во всех мифах и религиях фигурируют четыре реки, сетует писатель. Поэтому задача человека — найти себе пятую и примирить ею все четыре. Этой пятой явились для писателя окрестности реки Нигер, где он обнаружил-таки следы примиряющей реки не то слова, не то еще чего-то эзотерического. В остальном же тексты Ерофеева — как и прежде — поражают фантомной призрачностью авторского бытия (что сам писатель объясняет необходимостью умаления автора и привлечения в активную среду повествования читателя), дурным русским языком, дешевым экстремизмом всех сортов, срыванием и примеркой всех и всяческих масок, корявой эротикой, переходящей в тяжелое концептуальное порно, и разнокалиберными матюгами. С чем его и поздравим...»

Игорь Ефимов. Кто более равен? — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 7.

Авторская рубрика «История неравенства». В ее основе — книга Игоря Ефимова «Стыдная тайна неравенства», которая готовится к выходу в издательстве «Эрмитаж» (США) в 1999 году. Набраться мужества и произнести вслух политкорректную истину: «ЛЮДИ ОТ ПРИРОДЫ НЕРАВНЫ». Автор вводит свою терминологию: люди «высоковольтные» и «низковольтные». Демократия и естественное неравенство.

Об историческом романе Игоря Ефимова «Не мир, но меч» см. рецензию Алексея Козырева («Новый мир», 1997, № 11).

Наум Ефремов. Итоги подмены. — «Индекс/Досье на цензуру». Главный редактор Наум Ним. Редактор русского издания Елена Ознобкина. 1998, № 2.

По мнению язвительного рецензента, составителям роскошного, увесистого издания «Самиздат века» (Минск — Москва, 1997) удалось свести уникальное явление самиздата к «какой-то малозначительной, не очень интересной и даже жалкой составляющей абсурдного существования советского общества». Наум Ефремов видит в самиздате *систему коммуникаций*, а не способ самовыражения.

Многие материалы номера посвящены 50-летию Всемирной Декларации прав человека. Заслуживают внимания рассказ Ивана Алексеева «Былая слава бардаков Пномпеня», записки Олега Павлова «Из дневника больничного охранника», статьи Ларисы Богораз, Натальи Горбаневской, Владимира Буковского, а также Хроника правозащитного движения 1956 — 1984 годов, Хроника самиздата 1952 — 1984 годов, Хроника общественных выступлений 1956 — 1982 годов и ряд материалов из английского журнала *Index on Censorship*.

Электронную версию журнала «Индекс/Досье на цензуру» см.: www.integrum.ru, www.lexy.com

Анатолий Жигулин. Обломки «черных камней». Вступительная заметка Ирины Ришиной. — «Дружба народов», 1998, № 7.

Рабочие записи к известной автобиографической книге А. Жигулина «Черные камни».

Заговорщик Волгин. Беседовал Дмитрий Быков. — «Ex libris НГ», 1998, № 27, июль.

Беседа с известным достоевсковедом Игорем Волгиным, автором книги «Коллеблюсь над бездной». Цитата: «Как сказано, „оглянься вокруг себя“: одни Свидригайловы. (Недаром Достоевский сетовал: все мы до единого Федоры Павловичи Карамазовы.) А посмотрите на нашу политическую или литературную тусовку: сплошные Фомы Опискины мужского и женского пола. Наши „акулы пера“ — чем не Ракитины? (Правда, куда менее образованные, чем те же семинаристы.) Ментальные механизмы все те же, никуда они не делись».

Андрей Zubov. Правовое преемство и правовая идентичность в сегодняшней России. — «НГ-Сценарии». Приложение к «Независимой газете». 1998, № 7, июль.

Легитимное существование России прекратилось 2 марта 1917 года, когда Николай II нарушил свое священное обязательство хранить в неизменном виде законы о престолонаследии. Монархию в России до сих пор никто *законным* образом *не отменял*. «Быть России монархией или республикой, надо решать демократическим порядком сейчас... Но до того, как такое решение будет принято, мы не можем считать Россию не чем иным, как только монархией».

Этим же проблемам посвящена статья А. Зубова «Обращение к русскому национальному правопорядку как нравственная необходимость и политическая цель» («Континент», № 92).

Александр Зырин. Шрамы истории: Россия и Средняя Азия. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 6.

Рубрика «Строительство Империи». В итоге: «...распад Союза для народов Средней Азии, ее республик был не случайным, а долгожданным».

Роберт Ибатуллин. Черный ворон, красное вино. Романтическая повесть с волшебством, злодеяниями, интригами, таинственными книгами и вещими снами, литературными аллюзиями, абсолютно достоверными историческими портретами, любовью, преодолевающей всё и вся, с прологом и эпилогом и, конечно, со счастливым концом. — «Сутолока». Литературный журналчик. Уфа, 1998, № 2-3.

«А началось все в июне 1813-го, в день, когда Сушков впервые увидел Елену...»

Лев Игошев. Битва духа. — «День литературы». Газета русских писателей. 1998, № 7, июль.

«В выражении „тюрьма народов“, которым столь щеголяли всевозможные „передовые люди“ прошлого века, было немало правильного. Конечно, в тюрьме пребывали отнюдь не народы, как раз многие представители „малых народов“ могли сделать в России блестящую карьеру — и так было с давних времен. Но история показывает, что эти народы регулярно выделяли (и выделяют из себя до сих пор) хищническую составляющую. Именно поэтому их свободное, независимое существование невозможно. Им нужна если не тюрьма, то лагерь — а Россия обречена на Бог весть какого срока дежур»

ство при этом лагере с обязанностью жесточайше подавлять всякие поползновения их по выбору на волю. Прорыв этих образований к воле, как показывают события последних лет, есть разгул разбоя и людокрадства — и только. Русский же народ обязан стоять караульным этой всей команды».

Владимир Кавторин. Советский интеллигент в роли российского реформатора. — «Нева», Санкт-Петербург, 1998, № 6.

Медленное чтение мемуаров Егора Гайдара «Дни поражений и побед» (М., 1997). Резюме: «...главным российским реформатором оказался типичный советский интеллигент, человек честный, умный, мужественный, безусловно достойный всяческого уважения, но обремененный всеми комплексами советского интеллигента, что и обусловило его промахи и ошибки, тяжело сказавшиеся на судьбе всего демократического движения».

Бахыт Кенжеев. Даровитый самородок Ремонт Приборов. Стихи. — «Октябрь», 1998, № 7.

Стихи даровитого самородка: «Экономическая баллада о молодом аудиторе», «Экономические стансы Светлане Кековой в связи с повышением курса рубля на Московской валютной бирже» и проч.

Кирилл Кобрин. Фабрика и ее работник. Л. С. Выготский и глобальные русские общественно-культурные проекты XX века. — «Октябрь», 1998, № 8.

Выготский и символизм. Выготский и футуризм. Выготский и большевизм. Выготский и Троцкий. Выготский и советская семиотика 60-х. «Контекст, породивший Выготского, оказался исчерпанным».

Юрий Ковалев. Битники. Полувековой юбилей. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 7.

Джек Керуак, Аллен Гинзберг и другие. Beat generation.

Алексей Колобродов. Как наши братья... — «Волга», Саратов, 1998, № 7.

Подзаголовок повести двадцативосьмилетнего саратовского писателя: «Клип-эссе по русскоязычным песням в некоем несовременном музыкальном стиле, оптимальное время которого пришлось на 70-е годы XX века, затянувшиеся на Приволжской возвышенности вплоть до апрельского, 1985-го года пленума ЦК КПСС и много позднее». Автор является также редактором «независимого журнала необъединенных литераторов» «Мышь во фраке».

Виктор Конецкий. Из зазеркалья. Вокруг и около писем читателей, из книги «Эхо». — «Нева», Санкт-Петербург, 1998, № 6.

Женские письма к прозаику, без комментариев.

Конкурс предложений по декоммунизации российского общества. — «Посев». Общественно-политический журнал. Основан в 1945 году в эмиграции, с 1992 года издается в России. Главный редактор А. Ю. Штамм. 1998, № 5-6 (май — июнь).

В этом номере «Посева» мое внимание привлекло следующее объявление. Общественно-политическое движение «За демократию без коммунистов», о котором я, признаться, доселе не слышал, объявляет конкурс предложений по декоммунизации российского общества. Цитирую: «В соответствии с целями и задачами Движения предлагаем каждому гражданину России и стран СНГ, которому дороги конституционные права и свободы личности в демократическом обществе, прислать свои политические предложения и законопроекты по декоммунизации государства и общества, которые способствовали бы освобождению рабочих, интеллигенции, бизнесменов, фермеров от власти прогнившей номенклатуры КПСС, которая по сей день „управляет“ государством. Основные темы конкурса: закон о запрете Компартии; закон о декоммунизации органов государственной власти и управления; закон о запрете коммунистической символики; демократические гарантии конституционных прав и свобод граждан; освобождение возрождающегося Казачества от коммунистического влияния; освобождение СМИ, сфер образования, науки и культуры от коммунистического влияния; борьба с коммунистической круговой порукой, имеющей место в органах власти и управления...» Контактный телефон таинственного Движения — 948-81-64.

Игорь Куберский. Американочки. Повесть. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 7.

Калифорния. Русский человек на rendez-vous.

Виктор Кудрин. Условие нашего исцеления. — «Москва», 1998, № 7.

Автор статьи считает, что следует немедленно отказаться от современной русской орфографии («сквернописания»), а именно: «1). Поставить в Государственной думе

вопрос о денонсации декрета Наркомпроса от 23 декабря 1917 года и декрета СНК от 10 октября 1918 года. 2). Не дожидаясь этой денонсации (поскольку Церковь с самого начала не обязана повиноваться декретам), во всех церковных изданиях воссоздать орфографию, какой она сложилась к 1917 году. Современные информационные технологии позволяют не только немедленно прекратить фальсификацию текстов дореволюционных авторов, но и создать программы для автоматического восстановления правил русской орфографии во вновь набираемых текстах. Это относится к букве „ять” и к твердому знаку в конце слов, оканчивающихся на согласную. 3). Во всех учебных заведениях, находящихся в ведении Русской Православной Церкви, воссоздать преподавание всех предметов на „додекретном” русском языке. 4). Основать фонд воссоздания русской письменности с целью поощрения тех издательств, которые ранее других перейдут к додекретной орфографии. 5). Во всех изданиях, напечатанных большевистской сквернописью, изъятие которых из обращения пока не представляется возможным, устранить наиболее возмутительные кощунства, то есть восстановить написание „безсмертный”, „бесконечный”, „мир” (где речь идет о мирском), и во всех случаях, где совесть владельца книги более ни одного мгновения не позволяет потворствовать этим кощунствам. 6). Перейти на правильную орфографию в своем быту...»

Игорь Кузнецов. Прохладный свет. О подлинной реальности Мирчи Элиаде и Гайто Газданова. — «Иностранная литература», 1998, № 6.

«Все же вот что, на наш взгляд, в наибольшей степени роднит последовательного мистика Элиаде и религиозного скептика, агностика Газданова — поразительная покорность судьбе, то есть мудрое принятие ее как данности. Они полностью осуществились в жизни благодаря тому, что никогда не искали виноватых в своих злоключениях, а находили свой собственный предопределенный свыше путь — порой ошупью, порой совершенно сознательно: просто они знали (в случае Элиаде) или хотя бы догадывались (в случае Газданова) о существовании в мире такого, что открыто лишь подлинно посвященным».

Борис Кузьминский. Умер писатель Владимир Дудинцев. — «Коммерсант-Daily», 1998, № 134, 25 июля.

«В истории литературы советского периода главные книги Владимира Дудинцева — „Не хлебом единым” и „Белые одежды”, — скорей всего, обрастут скептическими комментариями. Однако почетное место в истории русской общественной мысли второй половины века им обеспечено... Его проза была уникальна прежде всего как попытка обогатить чисто советскую традицию „производственной эпопеи” опытом классического философского романа. Наукообразная терминология, которую используют персонажи „Белых одежд”, — метафора полемики вселенского добра с вселенской пагубой. Для того, чтобы понять сущность противостояния Федора Дежкина и академика Рядно, не нужно штудировать стенограммы злополучной сессии ВАСХНИЛ 1948 года. Рядно здесь — вовсе не карикатурная копия Лысенко, но воплощение абсолютного Зла вроде манновского Нафты, а постулаты генетики — псевдоним святого Грааля. Дудинцев демонстративно озглавливал свои романы цитатами из Библии, но даже это не помогло их адекватному восприятию. Виноват в этом не писатель, а светлая эпоха, с которой он был созвучен лишь на первый, невнимательный взгляд».

Слава Лён. Постмодернист номер один. — «Фигуры и лица». Приложение к «Независимой газете». 1998, № 13, июль.

Обстоятельная апология Зураба Церетели. С некоторыми любопытными наблюдениями. «Интертекстуальный св. Георгий Победоносец в Нью-Йорке (1990) и в Москве (1995) обозначает победу добра над злом, но фактически две разные, хотя и взаимосвязанные победы: в „горячей” (1941 — 1945) и „холодной” (1945 — 1989) войнах».

Владимир Личутин. Сны бессловесных. — «Наш современник», 1998, № 7. Фрагменты книги «Душа неизъяснимая (размышления о русском народе)».

Борис Любимов. «Последняя съемка страны». Александр Солженицын и его книга «Россия в обвале». — «Ex libris НГ», 1998, № 29, июль.

«...гнетущее чувство поражения России, и как раз именно того, что в ней тебе дорого, начавшееся с русско-японской войны и 1905 года (вспомним «Вехи» и дискуссию 1909 года, недаром Солженицын пишет о 90-летнем пути, не о восьмидесятилетнем), с убийства Столыпина, с августа 1914 или марта — апреля 1917-го, — Россия потерпела самое большое и, в сущности, первое в своей истории поражение...» Но — не окончательное.

Митино кредо. Беседовала Маруся Климова. — «Ex libris НГ», 1998, № 28, июль.

Интервью с поэтом Дмитрием Волчеком, редактором и издателем «Митинога журнала». Цитата: «Действительно, зачем в 1998-м году издавать журнал на русском языке тиражом 500 экземпляров? Ну, вот несколько ответов. Может быть, потому что есть тысяча человек, которые его читают. Потому что он публикует произведения единомышленников — не в каком-то сугубо сектантском, а в эстетическом смысле. И потому еще, что многие из текстов, которые печатает „МЖ“, другие журналы публиковать не решаются. Меня, честно говоря, занимает иной вопрос: зачем существуют в 98-м году журналы, созданные в сталинскую эпоху и до сих пор не потрудившиеся даже сменить названия, не говоря уж о концепции? Журнал — это сообщество единомышленников Я понимаю, например, почему существовали „Весы“ или „Золотое Руно“, почему выходят сейчас „Золотой Век“ или „Место печати“, а вот существования „Знамени“, „Октября“ или „Звезды“ не понимаю. Я не хочу сказать, что они публикуют скверные произведения, напротив. Но эти журналы — сборники текстов, никак друг с другом не корреспондирующихся... Журнал должен восприниматься как метатекст. Если номер можно прочитать от начала до конца как одно произведение — журнал получился. Если нет — это не журнал».

Елена Невзглядова. Волна и камень. Трактат о стихотворной речи. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 6.

Стих как форма речи, способная фиксировать на письме интонацию. Поэзия — интонационное искусство.

Ольга Никитина. Судьба чекиста (Лев Николаевич Захаров-Мейер). — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 7.

Апология дядюшки-чекиста. Поразительная цитата: «Лев Николаевич честно и героически работал в условиях диктатуры, под началом бюрократов-убийц».

Виктория Никифорова. Самое неактуальное кино. — «Русский Телеграф», 1998, № 125, 16 июля.

В связи с ретроспективой фильмов Фасбиндера (в московском кинотеатре «Иллюзион»). «Антиобщественная», антибуржуазная подоплека его работ («а она определяет смысл и настрой любой частной истории, им рассказанной»). «Существуя в режиме западной демократии, Фасбиндер страдал от него не меньше, чем диссиденты от застоя». Именно это позволило ему стать идеологом своего поколения, именно это делает его «самым неактуальным режиссером в сегодняшней России».

Юрий Олеша. «Начнем с того, что я видел царя...». Из литературных дневников. Вступительная статья, комментарии и публикация Виолетты Гудковой. — «Дружба народов», 1998, № 7.

Фрагменты дневников 1931 — 1958 годов печатаются по нескольким единицам хранения из личного архива писателя (РГАЛИ, ф. 358). «Прежде я думал, что воспоминания великих людей редкость, что в мире есть только несколько великих автобиографий... И вдруг оказалось... Как только учредилось издательство „Академия“, поперли золотые книги. Откуда они? Как их много. Оказывается, все знаменитые люди писали дневники. Подозреваю, что все книги „Академии“, все эти потрясающей, кардинальской роскоши издания, которых никто не читает, — пишет один и тот же нанятый на месячное жалованье рублей в двести пятьдесят молодой человек в потертом пальтишке — гофмановского вида молодой человек, живущий на чердаке, над крышами Москвы, и мечтающий о славе. Когда-нибудь обнаружится эта гигантская мистификация! Потому что трудно поверить, что человечество так счастливо, что все великие люди его — оставили на память и в назидание ему описания своих замечательных жизней» (записи 30-х годов). «Бунин, оказалось, самый порнографический писатель из русских — даже не так надо сказать: не самый порнографический, а единственный порнографический (Арцыбашевых и пр. нельзя считать, так как они вне литературы)» (апрель 1955 года). См. также фрагменты литературных дневников Олеша в журнале «Знамя» (1998, № 7). Полностью дневники Юрия Олеша выходят в издательстве «Вагриус».

Милорад Павич. Писать во имя отца, во имя сына или во имя духа братства? Перевод с сербского Ларисы Савельевой. — «Иностранная литература», 1998, № 6. Эссе известного прозаика датировано 1990 годом.

Письма Николая Асева к Виктору Сосноре. Вступительная заметка и публикация Виктора Сосноры. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 7.

Начало 60-х. Соснора вспоминает: «За четыре месяца я стал знаменит, распечатан в самых верхнепартийных изданиях и вошел в первую четверку поэтов страны». Поче-

му именно в четверку? Под каким номером? Кто остальные трое? Мудрый Асеев учит молодого, горячего Соснору: «...если хорошо прочитать „Государство и революцию” да „Эмпириокритицизм и материализм” В. И. Ленина, вряд ли больше нужно для своего высшего образования».

И. Пруссакова. Критики нет? Критика есть! — «Вопросы литературы», 1998, № 4 (июль — август).

Критические жанры в толстых литературных журналах. «И далеко не все дают такие образцы добросовестной работы — рецензентов ли, литературоведов, — как „Новый мир”».

Иван Пыркoв. Дом Обломова. — «Волга», Саратов, 1998, № 7.

«...Попробуем представить роман „Обломов” как законченный писателем-архитектором, мастером словесно-образного зодчества, строение — как дом, который почти полтора века (в 1999 году исполнится ровно 140 лет со дня опубликования „Обломова” в „Отечественных записках”) стоит особняком на одной из нешумных, но известнейших улиц русской словесности, снискав репутацию гостеприимного, хотя и загадочного».

Валентин Распутин. Новая профессия. Рассказ. — «Наш современник», 1998, № 7.

Времена поганые и нравы не лучше. Хорошим людям плохо, плохим — хорошо.

Мария Ремизова. Неизменное существо любви. — «Независимая газета», 1998, № 137, 30 июля.

О двух армейских рассказах Олега Павлова из цикла «Записки из-под сапога» («Москва», 1998, № 6): «Что выгодно отличает прозу Павлова от поделок подавляющего большинства современных литераторов, так это отсутствие позы и унизительного фиглярства перед зеркалом с заведомой уверенностью, что кто-то при этом подглядывает за тобой в щелку... Возникает подозрение, что он действительно *пишет не о себе* (эготизм современной литературы уже не просто рак, а рак с метастазами). И если он и знает какую-то истину, то имеет такт ее не высказывать, оставляя за литературой право существовать отдельно от математики».

Александр Рогов. Ее называли ангелом-хранителем Москвы. — «Фигуры и лица». Приложение к «Независимой газете». 1998, № 13, июль.

К 80-летию мученической кончины великой княгини Елизаветы Федоровны (в девичестве — принцессы Элла Гессен-Дармштадтская). Существенные подробности: после заключения Брестского мира немецкое правительство добилось от большевиков согласия на выезд великой княгини за границу, Елизавета Федоровна отказалась.

Русский бунт как он есть. Немецкие погромы в Москве 1915 года (по неопубликованным материалам). Публикация Сергея Шумихина. — «Независимая газета», 1998, № 125, 14 июля.

«У доктора Адлера (русского) толпа нашла в спирту трупик ребенка. Банка с трупиком была торжественно вынесена толпе как доказательство, что немцы морят русских детей» (из доклада о событиях мая 1915 года, когда после крупных неудач русской армии на фронте по Петербургу и Москве прокатилась волна немецких погромов).

Олег Слепынин. Русь-Колыма, или Век возвращения к отцу. Повесть. — «Новые страницы». Литературный альманах. Черкассы, 1998, выпуск первый.

«Моя Колыма — обиталище когдатошних зеков всех мастей и *вольноприехавших*, людей оторванных от своих корней, и нас, их детей, кому Колыма стала родиной — мистическим полюсом, через который проходит, как игла, ось мира...»

В этом же номере нового черкасского альманаха напечатан короткий рассказ Александра Баховца «Мармелад-солидол» из цикла «По страницам колымского дневника». *Где Черкассы и где Колыма...*

Олег Слободчиков. Заморская Русь. Роман. — «Москва», 1998, № 7, 8. Русская Америка. Автор исторического романа живет на Байкале.

Иван Соловьев. Мессианские речи. Составление и предисловие Михаила Эпштейна. — «Октябрь», 1998, № 7.

Одну из предыдущих публикаций стихов и заметок филолога и поэта Ивана Соловьева (1944 — 199?), которой мы целиком обязаны Михаилу Эпштейну, см. в № 8 «Нового мира» за 1996 год.

Джорж Сорос. Угроза капитализма. — «Пушкин». Тонкий журнал / читающим по-русски. 1998, № 5.

Сокращенный вариант статьи известного финансиста и филантропа, опубликованной в *The Atlantic Monthly* в феврале 1997 года. «Открытое общество не сводится к отсутствию государственного вмешательства и тирании. Это сложнейшая, тончайшая структура, и чтобы создать ее, необходимы сознательные усилия. Так как она сложнее организована, чем система, на место которой она приходит, требуется внешняя помощь, чтобы процесс преобразований пошел быстро. Однако сочетание идей „laissez-faire“, социального дарвинизма и геополитического реализма, господствовавшее в Соединенных Штатах и Великобритании, оказалось разрушительным для надежд на строительство открытого общества в России».

Н. К. Телетова. «Дело лицеистов» 1925 года. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 6.

Одно из многих «дел». Все его участники реабилитированы. В 1994 году.

Татьяна Толстая. Лилит. — «Русский Телеграф», 1998, № 120, 9 июля.

Эссе, регулярно публикуемые писательницей в «Русском Телеграфе». На этот раз — о женщинах начала века, шляпках и двух мировых войнах. Вместо прозы. Лучше, чем проза.

Виктор Топоров. Гонец из Пизы. Борис Парамонов и его книга «Конец стиля». — «Ex libris НГ», 1998, № 26, июль.

Перепарамони! Парамонова! Виват!

Гораздо более «вегетарианскую» рецензию Евгения Ермолина «Рагамонов: глазами клоуна» см. в «Новом мире» (1998, № 6).

Виктор Топоров. Слава и дело. — «Ex libris НГ», 1998, № 27, июль.

К 70-летию со дня рождения Валентина Пикуля, который, по мнению критика, есть «русский Дрюон, может быть, русский Дюма; советский Алданов; страшно сказать, — разрешенный Солженицын». *Не только сказать — слушать страшно...*

Трансатлантическая любовь. Письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрэну. 1947 — 1964 гг. Фрагменты книги. Вступление, перевод с английского и французского Ирины Кузнецовой. — «Иностранная литература», 1998, № 7.

Письма известной французской писательницы к своему американскому возлюбленному. Страсти, политика, литература. «В Латинском квартале студенты опять выталкивают из кафе и травят студентов-евреев, пишут антисемитские статьи против евреев-преподавателей и т. д.» (из письма от 26 октября 1947 года). О Сартре: «Он человек пылкий, темпераментный — но только не в постели» (из письма от 8 августа 1948 года).

См. также рецензию Елены Ознобкиной на книгу Симоны де Бовуар «Второй пол» («Новый мир», 1998, № 9).

Владимир Тучков. «Старые толстые» реализуют новые возможности. — «Вечерняя Москва», № 169, 29 июля.

О том, что «Новый мир» создал одноименный сетевой журнал в Интернете (www.infoart.ru/magazine). В частности, тут есть рубрика, где помещаются некоторые интересные рукописи, которые тем не менее не будут публиковаться в бумажном варианте журнала, поскольку не вписываются в «новомирский» контекст.

У истоков русского штейнерианства. Предисловие К. Азадовского. Публикация и примечания К. Азадовского и В. Купченко. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 6.

36 писем М. Волошина, А. Минцовой и М. Сабашниковой 1905 года. Фрагменты обширной, в нескольких томах, работы «Русские антропософы», охватывающей 1905 — 1923 годы.

Александр Уланов. Ольга Седакова: сложность меры. Первую в истории литературную премию, учрежденную Ватиканом, получила русская православная поэтесса. — «Ex libris НГ», 1998, № 27, июль.

Апология Седаковой. На всю газетную полосу. С избранной библиографией.

Речь Ольги Седаковой на конференции «Владимир Соловьев и христианские корни Европы» в связи с вручением ей Соловьевской премии по разделу поэзии см. в парижской газете «Русская мысль» (1998, № 4230, 9 — 15 июля).

Людмила Улицкая. Я говорю себе, что мир прекрасен. — «Французские новости». На французском и русском языках. Париж, 1998, № 10-11, июль — август.

Русская писательница, удостоенная премии Медичи (1996), глазами ее итальянской переводчицы Сильвии Формикони. Людмила Улицкая: «...я стою особняком, на меня

невозможно навесить ярлык того или иного литературного направления. Зато я могу рассчитывать на широкую читательскую аудиторию».

См. также рецензию Майи Карапетян («Культура», 1998, № 27, 23 — 29 июля) на повесть Людмилы Улицкой «Веселые похороны» («Новый мир», 1998, № 7). О героях Улицкой: «...такие люди, как правило, провоцируют тех, кто оказывается рядом, проявлять самое высокое, что есть в их душах. Как это происходит с огромной и разномастной толпой вокруг умирающего художника Алика... Есть и натуралистические подробности — тяжелый лежачий больной требует вполне определенного ухода. Но и об этом в тексте — естественно и спокойно. В героях Улицкой нет надрыва — у них „легкое дыхание“».

См. также рецензию суровой Марии Ремизовой «Лев Толстой и Людмила Улицкая» («Независимая газета», 1998, № 136, 27 июля), которая считает, что «после „Смерти Ивана Ильича“ любая попытка уже с самого начала уложить героя на смертное ложе и увенчать произведение похоронами и поминками должна считаться с уровнем психологизма и философских откровений, достигнутым Толстым». А Улицкая ну не хочет считаться...

Юрий Фельштинский. Вожди в законе. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 1998, № 3, май — июль.

Большевики. Экспроприации. Убийство Саввы Морозова.

Дарио Фо. Нобелевская лекция 1997. Вступительная заметка Е. Белодубровского. Перевод с английского А. Миролюбовой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 7.

Нобелевский лауреат Дарио Фо — «малоизвестный европейскому литературному бомонду автор» (из предисловия). По мнению Нобелевского комитета, его заслуга состоит в возрождении в своем театральном творчестве языка и традиций средневековой новеллы и притчи.

Карел Чапек. Беседы с Т. Г. Масариком. — «Вопросы истории». Ежемесячный журнал. 1997, № 10, 11, 12; 1998, № 1, 2, 3, 4, 5.

Известный чешский писатель спрашивает, известный государственный деятель Чехословакии подробно отвечает. Национализм. Демократия. Метафизика.

«Человек одинок в этом мире, художник же одинок вдвойне...». Из переписки Вадима Сидура и Карла Аймермахера. Публикация Карла Аймермахера. Вступление Юлии Сидур. — «Октябрь», 1998, № 7.

Фрагменты переписки (70 — 80-е годы) между скульптором Вадимом Сидуром (1924 — 1986) и немецким профессором, славистом Карлом Аймермахером. Общий объем переписки — более чем три тысячи страниц. «Невероятно скучно последний свой роман читает по радио „Свобода“ Синявский. А его жена каждые две-три минуты комментирует прочитанное мужем: „Конечно, вы, дорогие радиослушатели, поняли, что в этом месте Андрей Донатович иронизирует. А сейчас (когда речь идет о другом отрывке) он сожалеет” и т. д. Короче говоря, то, что для них всех является животрепещущим настоящим, для нас — уже древняя история. Нас уже не только Ленин не интересует, не говоря уже о Столыпине, но и Сталин! А занимают нас товарищи Горбачев, Рыжков, Лигачев. Мы вместе с ними являемся участниками современного исторического спектакля, и от того, как будет разворачиваться его сюжет, насколько динамичным будет действие, зависит наше сегодня и завтра, наше благополучие и жизнь...» (из письма В. Сидура от 18 февраля 1986 года).

Михаил Чулаки. Страна рискованного правосудия. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 7.

«Единственный выход: единым приказом уволить всю милицию России — от министра до последнего постового — и набирать заново новую полицию».

Сергей Шаповал. Между Магаданом и Вашингтоном. — «Кулиса НГ». Приложение к «Независимой газете». 1998, № 13, июль.

Интервью с Василием Аксеновым. «Запад — наша единственная надежда», — считает писатель.

Д. Т. Шепилов. Воспоминания. — «Вопросы истории». Ежемесячный журнал. 1998, № 3, 4, 5, 6, 7, продолжение следует.

Журнальный вариант. Работа известного деятеля КПСС Дмитрия Трофимовича Шепилова (1905 — 1995) над своими воспоминаниями, которые первоначально задумывались как критика деятельности Н. С. Хрущева, была в основном завершена в 1966 году. До конца жизни автор вносил в книгу изменения.

Виктория Шохина. Чернышевский глазами Набокова. — «Независимая газета», 1998, № 133, 24 июля.

Бывают странные сближенья: Чернышевский («Дар») и Цинциннат («Приглашение на казнь»). К 170-летию «критика-демократа».

Д. М. Штурман. Бег по? — «Голос Зарубежья», Санкт-Петербург, № 82, апрель 1998.

Против блудословия нынешних «катастрофистов», для которых оппозиционность по отношению к более или менее «вегетарианской» власти есть своего рода униформа (без нее как-то «не сомме il faut»). Для автора статьи «оппозиционность без конструктивной позиции так же страшна, как черно-красно-коричневый реваншизм».

Журнал «Голос Зарубежья» издавался с 1976 года за границей, последние три номера вышли в России. В настоящем номере главный редактор В. А. Пирожкова объявляет о закрытии журнала, поскольку в этом «скромном издании нет больше надобности».

Галина Щербакова. Вам и не снилось, сколько у меня сюжетов. Беседовал Михаил Бутов. — «Общая газета», 1998, № 28, 16 — 22 июля.

Беседа с постоянным автором «Нового мира». Цитата: «Я очень благодарный читатель — по сути своей сначала читатель, а потом писатель. Но когда я натываюсь в каком-нибудь журнале на список „пяти лучших писателей современности“ — поеживаюсь, конечно. Однако затем начинаю говорить себе: ну хорошо, разве кто-то отнял у тебя твое пространство? Ведь нет: никогда не буду писать темные подвалы Петрушевской, раскачиваться на качелях Токаревой, пестовать легкую шизофрению в духе Нины Садур. Но я твердо уверена, пусть это выглядит нескромно, что есть у меня что-то, чего у них нет».

Татьяна Щербина. Сексуальная революция. — «Известия», 1998, № 135, 24 июля.

Статья поэтессы, более известной, «может быть, за рубежом, нежели на Родине», в фирменной известинской рубрике «XX век: лица и явления». Конец сексуальной революции. «Секс стал связан как никогда со страхом. Не с легким таким холодком неизданного, не со сладко-боязным адюльтером Эммы Бовари, а с отвратительным бытовым страхом мучительной смерти ради сомнительного, может быть, удовольствия».



ДАТА: 28 октября (9 ноября) — 180 лет со дня рождения И. С. Тургенева (1818 — 1883).

Составитель Андрей Василевский.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Ноябрь

10 лет назад — в № 11 за 1988 год напечатано «Заблуждение воли» Лидии Гинзбург.

20 лет назад — в № 11 за 1978 год напечатан роман В. Каверина «Двухчасовая прогулка».

30 лет назад — в № 11 за 1968 год напечатаны рассказы В. Шукшина «Из детства Ивана Попова» и «Миль пардон, мадам!».

35 лет назад — в № 11 за 1963 год напечатан рассказ И. Грековой «Дамский мастер».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «НОВОГО МИРА»!

Наш индекс 70636 в Объединенном каталоге «Подписка-99» (стр. 172; спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы также можете оформить *льготную* подписку на 1999 год непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. *Особые льготы* предусмотрены для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также для ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь же можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «New Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

SUMMARY



The poetry section of the issue is presented by series of poems written by poets of thirty — Victoria Inozemtseva, Olga Ivanova, Maxim Amelin, Gleb Shulpyakov, Alexander Leontyev, Dmitry Poleshchuk.

We are publishing the narrative «The Little Fool» by Svetlana Vasilenko, the short story «Apollo Divested» by Sergei Tsvetkov and the continuation of the book «The Seed Got between the Two Millstones. Essays of Expatriation» by Nobel Prize winner Alexander Solzhenitsyn.

In the section «Times and Morals» we are publishing the essay «The Illness» by Valentina Ivanova.

Literary criticism of the issue is presented by the article «Poor Eros» by Vladimir Novikov on erotic themes in Russian literature, the notes «What Is Conceived and What Will Come True» by Vladimir Kagramanov, as well as the topical satire «The Naive Reader and the Educated Author» by Nikita Yeliseyev.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. Е. Борщевская, М. В. Бутов (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев, С. П. Костырко (редактор электронной версии журнала), Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры **Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова**

Редактор-библиограф **А. И. Фрумкина**

Компьютерная верстка — **И. Н. Колесникова**

Компьютерный набор — **Т. В. Дорофеева**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики — 229-25-83, историко-архивный отдел — 209-12-50,
для справок — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@deol.ru

Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.
Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.07.98 г. Подписано к печати 24.09.98 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.
Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 14 560 экз. Зак. 4438. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

**ДО КОНЦА 1998 И В 1999 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. Дух времени и чувство юмора (речь перед австрийской аудиторией);

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Монахи (роман);

МИХАИЛ БЕЛЕНЬКИЙ. Обсерватория (повесть);

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман);

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

ЯН ГОЛЬЦМАН. Пустынные песни (повесть);

НИНА ГОРЛАНОВА. Рассказы о чудесах;

ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);

МАРИНА ДУРНОВО, с участием **ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА.**

Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);

БОРИС ЕКИМОВ. Пиночет (повесть);

АНАТОЛИЙ КИМ. Близнец (роман);

ОЛЕГ ЛАРИН. Блудное лето (сцены из захолустной жизни);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Чернильный ангел (повесть);

МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);

ВИТАЛИЙ СВИНЦОВ. Достоевский и пол;

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Один в зеркале (роман);

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Главы из книги «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. (Очерки изгнания)»;

ВЛАДИМИР ТУЧКОВ. Русская книга военных;

АНТОН УТКИН. Самоучки (роман);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Актриса и милиционер (повесть);

а также романы, повести, рассказы **ВИКТОРА АСТАФЬЕВА,** **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА,** **АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА,** **ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА,** **МАРКА КОСТРОВА,** **МИХАИЛА КУРАЕВА,** **ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ,** **ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА,** стихи **АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА,** **СЕМЕНА ЛИПКИНА,** **ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ,** **ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ,** **ЕВГЕНИЯ РЕЙНА,** статьи, эссе **АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО,** **СЕРГЕЯ БОЧАРОВА,** **РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ,** **НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА,** **АЛЕНА ЗЛОБИНОЙ,** **ЮРИЯ КАГРАМАНОВА,** **АНДРЕЯ НЕМЗЕРА,** **ВЛАДИМИРА НОВИКОВА,** **ИРИНЫ СУРАТ** и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**